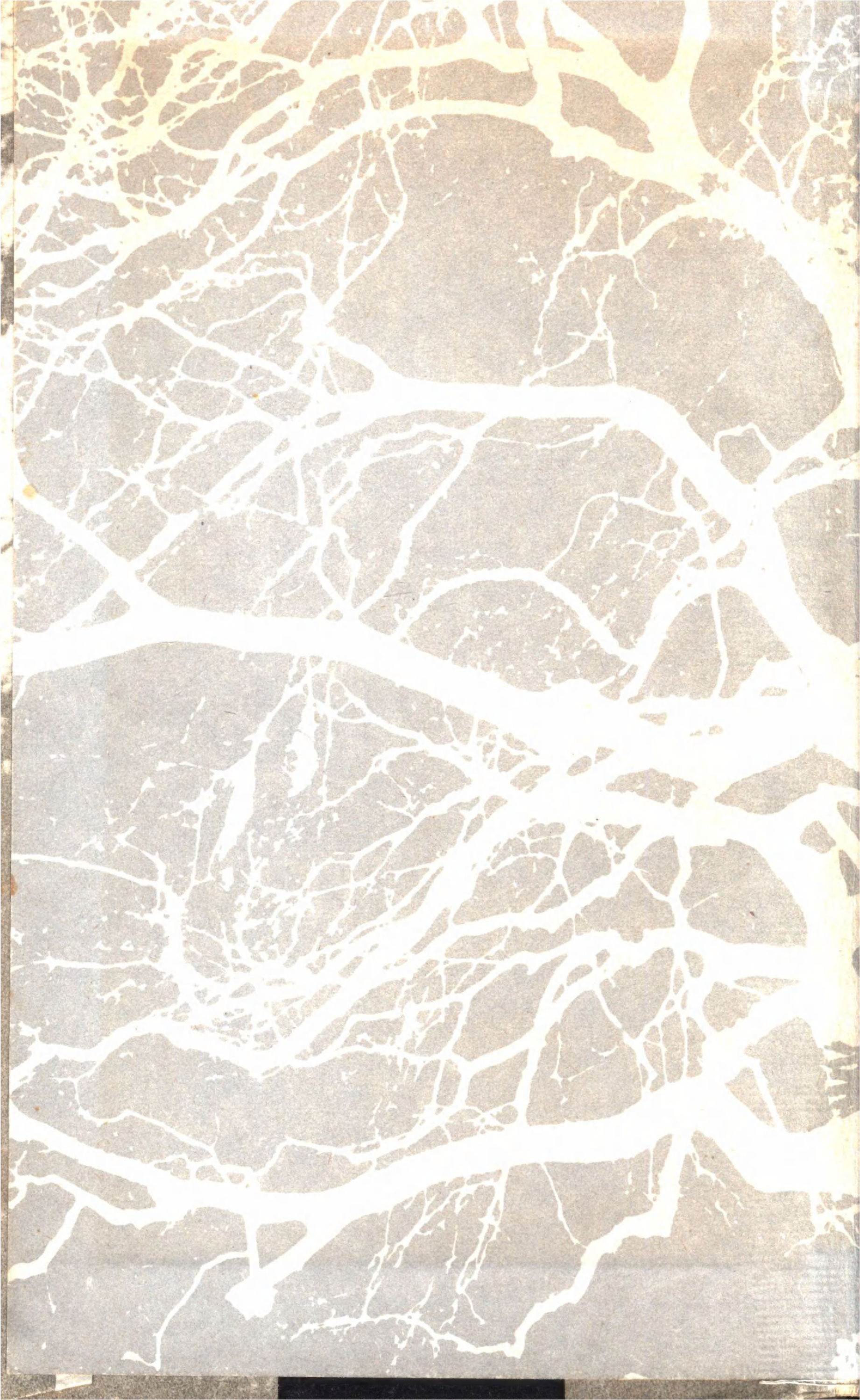
ВЛАДИМИР
ГОНИК

СВЕТ НА ИСХОДЕ ДНЯ







ВЛАДИМИР
ГОНИК



ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ



МОСКВА
СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ

1982

Р2
Г65

«Свет на исходе дня» — первая книга Владимира Гоника, который до сих пор работал в кинематографе в качестве сценариста. Прежде чем стать литератором, автор сменил немало профессий, много ездил по стране. Отсюда разнообразие характеров и биографий его героев, широкая география произведений...

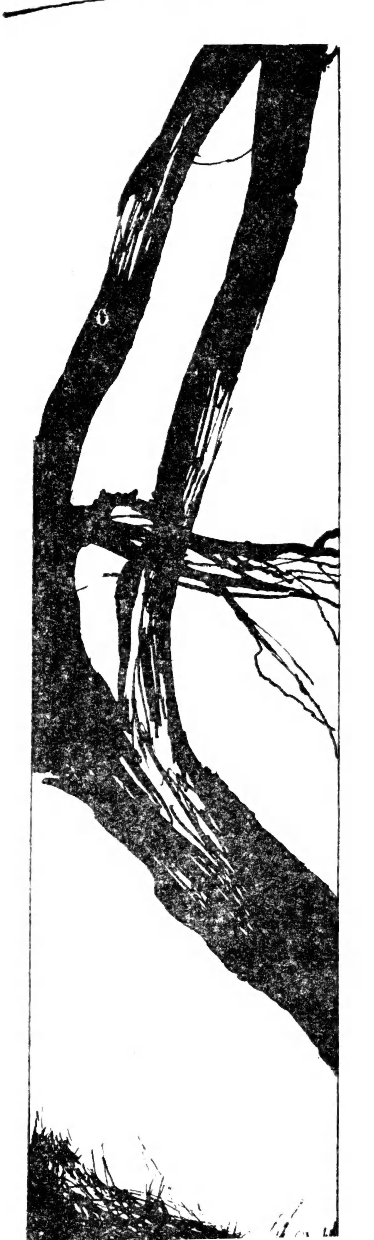
При всей широте творческих интересов автора его в первую очередь волнует нравственный мир современника. Отсутствие четкой жизненной позиции, внутренняя глухота, равнодушие к болям и горестям людей всерьез заботят В. Гоника.

Осуждая сугубо индивидуалистический подход к жизни (повести «Ответ», «Звезда Алькор»), произведения В. Гоника несут в себе большой нравственный заряд.

Художник *Валерий Локшин*

Г $\frac{4702010200-390}{083(02)-82}$ 25—83

Рассказы



Медовая неделя в октябре

По лесу шли двое. Был конец октября, листья уже облетели, покрыли землю, голыми и прозрачными стояли осенние рощи, но одинокие стойкие деревья горели желтым и красным. Было ясно и холодно.

Пятый час они шли друг за другом по узкой тропинке, покрытой листьями; лес приготовился к зиме — отрешился и застыл. Было тихо.

Они несли на плечах рюкзаки. К рюкзакам были привязаны свернутые спальные мешки, у мужчины поверх мешка лежала еще и палатка, на груди у него висела кинокамера, а девушка несла в руке ведерко, и оно тихо поскрипывало в такт шагам.

Она шла, глядя под ноги, лямки рюкзака больно резали плечи. Мужчина легко и ровно нес груз и шагал свободно, как будто испытывал удовольствие; за все время он ни разу не оглянулся.

«Он мог бы обернуться и посмотреть, как я,— подумала девушка.— Он не понимает, что кто-то может уставать».

Она поднимала голову и смотрела в спину человеку, которого еще год назад не знала.

Ноги скользили и разъезжались на влажных листьях.

Они поженились десять дней назад и медовый месяц — две с трудом выкроенные недели — решили провести в походе. И вот уже неделю они шли с рюкзаками, ночевали в палатке, готовили на костре еду.

Их окружали пустынные осенние поля, густые сосновые боры, голые рощи с редкими вскриками последних желто-красных деревьев и тишина — та отрешенная, глубокая задумчивость и оцепенение, которые охватывают русскую природу перед началом зимы.

С утра они весело делали на раннем холоде зарядку, ловили друг друга, боролись, часто целуясь и хохоча. Обессилев от смеха, умывались ледяной водой, а потом завтракали и шли дальше.

Все, что их окружало, — высокая дикая замерзающая трава, светлые капли, висящие на черных ветках, поля и бревенчатые срубы,— все это им нравилось, и они все старались запомнить и унести с собой.

По вечерам они ужинали, потягивая холодное вино, грелись, обнявшись, у костра, читали в палатке при свете фонаря, забравшись в спальные мешки,— каждый день и каждую ночь были только вдвоем; они затерялись в безлюдье и тишине, остались одни в целом мире.

Сейчас они молча шли по тропинке.

Они не знали, когда и как это произошло: в то состояние полной принадлежности друг другу, в котором они жили все эти дни и в котором, казалось, нет ни одной щели, вдруг проникло что-то смутное и неуловимое.

Вчера он поймал себя на том, что стал замечать, какая она неумелая хозяйка.

А сегодня утром не хотелось идти дальше. Но все же встали, спокойно сделали зарядку,— не боролись, не целовались, позавтракали и пошли. Вроде бы ничего не изменилось.

Но томили их тишина и монотонность дороги.

Что-то глухое и недоброе молчаливо вошло в них, осталось в груди, ворочалось и пугало.

Они не сказали друг другу ничего плохого — ни глазами, ни словами, а вот оказались там, где воздух горестен и тяжел.

«Можно было бы идти побыстрее,— думал Глеб.— Чудесно идти с парнями, все идут на равных,— сколько нужно, столько пройдут, все ясно, просто, все сбиты, притерты и понимают друг друга, как в хорошей футбольной команде. А на привале каждый знает свое дело — дрова, костер, вода, палатка, и вот наступают блаженные минуты еды, тепла и разговоров: о спорте, о женщинах, о политике... Все, конец. Никаких шатаний с друзьями, ни орущих мужских трибун, ни пивных после. Забудь. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит».

Шаги за спиной слышались то чаще, то реже, иногда отставали, стихали, потом, спотыкаясь, торопливо настигали его. Он почувствовал неприязнь к молодой женщине, которая шла позади.

Тропинка спускалась в лесные овраги и поднималась на склоны холмов. Желтые запотевшие листья покрывали землю, ноги скользили, идти было трудно.

«Неужели он не понимает? — задыхаясь, думала Наташа.— Неужели он меня не жалеет?»

Она шла, стараясь не отстать, но все чаще отставала и торопливо догоняла мужа.

Как будто не было горячего дыхания и губ в темноте, и разрывающей грудь нежности, и той счастливой слитности, и оглушающего чувства, что каждый — часть другого.

Она шла, безнадежно глядя под ноги. Ей казалось, никогда не кончится эта тропинка, покрытая скользкими листьями, это монотонное, тяжелое движение; сейчас вся дальнейшая жизнь представлялась ей таким движением. Наташа механически передвигала ноги, а рюкзак все тяжелел и все сильнее давил на плечи.

Она не замечала, как в первые дни, красоты осеннего леса, ясной чистоты холодного воздуха; уже не поражала ее новизна состояния, в котором она оказалась: она, Наташка, мамина дочка,— жена! — и не радовала ее, как прежде, эта затерянность вдвоем среди пустых полей, прозрачных осенних лесов и глухих сосновых боров, прорезанных оврагами с холодными серыми ручьями.

В последние перед свадьбой дни Глеб приезжал поздно вечером к ее дому, Наташа выходила к нему, и они бродили у дома, молчали и целовались.

— Ты знаешь, я никак не дождусь,— говорил Глеб.

— И я,— отвечала Наташа, и они целовались.

Ноги разъезжались на распластанных листьях. Деревья потеряли отчетливую резкость. Не хватало дыхания. Рюкзак обрывал плечи; хотелось сбросить его и свалиться рядом. Но сильнее усталости был твердый, холодный, темный ужас, и когда он исчезал, долго шевелился страх. «Что же будет?» — растерянно думала Наташа, чувствуя рядом пропасть и черную пустоту внутри себя.

Наташа знала, что останавливаться нельзя, нужно одолеть подъем, но она хотела, чтобы Глеб обернулся и что-нибудь сказал. Он шел впереди, чужой и посторонний.

«Нет, все...— подумала Наташа.— Пусть как знает...»

Она сбавила шаг и отстала. Через минуту Глеб был далеко впереди, и, не оборачиваясь, уходил дальше, и все реже показывался среди деревьев. «Как же так?.. Как же так?..» — думала она, едва не плача, глядя вслед уходящему мужу.

Глеб шел, погруженный в свои мысли, и вдруг понял, что давно не слышит сзади шагов.

«Да с ней просто нельзя ходить», — раздраженно подумал он и оглянулся.

Наташи не было видно. Он постоял, глядя вниз: она показалась среди деревьев далеко внизу.

Она совсем выбилась из сил, медленно шла вверх, глядя в землю сквозь слезы; лицо ее осунулось, волосы слиплись, прядь закрывала один глаз.

И была она такой несчастной, такой слабой и одинокой в этом лесу, что Глеба полоснула жалость.

«Это моя жена!» — обжег его стыд; он сбросил рюкзак и побежал вниз.

Он подбежал к Наташе, снял с нее рюкзак и стал целовать ее волосы, лицо и мокрые от слез глаза. Потом он сел на перевернутое ведро, прислонился спиной к дереву, а Наташу усадил на колени.

— Отдохни, родная,— сказал он, обняв ее. Она положила голову на его плечо. Глеб покачивал ее, как ребенка.— Ничего,— сказал он ей в ухо.— Сегодня мы заночуем в деревне. Найдем хорошую хозяйку и будем ночевать в теплом доме. Повезет, так и баню растопим... А завтра будем целый день отдыхать.

Она прижалась лицом к его шее, он обнял ее одной рукой, а другой гладил ее волосы. Лес подступал к ним черными стволами. Было тихо, в тишине слышались шорохи, поскрипывали деревья, иногда, задевая ветки, падал поздний лист.

«Нужно следить за собой, пока не научимся жить вместе,— думал Глеб.— Теперь день-другой надо пожить среди людей».

Он поднял голову и посмотрел вверх: небо было исчерчено голыми ветками; желтый лист метался в воздухе, долго падал, коснулся земли и вздрагивал, как живой.

— Я тебя злю? — спросила Наташа.

— Ты моя любимая,— ответил Глеб.

Их окружал лес, его шорохи и скрипы, а тропа, которая вела их сегодня, петляла среди черных стволов и желтой ниткой поднималась по склону.

— Ничего,— сказал Глеб.— Все будет хорошо... Это оттого, что мы устали и каждый день одно и то же. Сейчас придем в деревню, отдохнем, а вечером пойдем в клуб, фильм посмотрим. Или ляжем и будем читать, слушать музыку, вспоминать знакомых и гадать, что они делают. А в доме будет тепло, хозяйка напоит нас молоком и станет рассказывать о своих детях. Ничего, родная...

— Я тебя люблю,— сказала Наташа, и ему не хватило дыхания.

Они долго сидели молча. Потом он надел ее рюкзак, они пошли вверх. Спустя полчаса Глеб выволок оба рюкзака на вершину холма.

Отсюда открывалась широкая долина. Она тянулась среди холмов, покрытых лесом, аккуратные поля взбирались на склоны.

Узкая речка, укрытая зарослями ольхи, текла вдоль гряды холмов. Она наталкивалась на запруду и разливалась озером,— непонятно было, откуда в ней столько воды.

На берегу озера лежала деревня. Она тянулась вдоль воды, отделенная от нее прибрежным лужком и огородами. Несколько домов уходили один за другим от края деревни вверх по луговому косогору.

Глеб посмотрел Наташе в лицо и сказал:

— Мы спустимся только до первого дома, потерпи, родная.

Лес остался позади. Последние деревья выбежали из леса, потянулись за ними в одиночку, но вскоре отстали: на приволье Глеб и Наташа почувствовали смутное облегчение, стало веселее и легче идти.

Первый дом стоял совсем на отшибе. Хозяева, видно, были ретивые: новая ограда окружала ухоженный сад и огород, но и сам дом был новый, год-два как поставлен, бревна еще не успели потемнеть.

Они вошли во двор и по дорожке пошли к дому. В куче песка играли дети, мальчик и девочка. Они открыли рты и смотрели на пришельцев. Дверь отворилась, навстречу вышла молодая женщина в серой юбке, ситцевой пестрой кофте и калошах на босу ногу; голова была низко повязана платком.

Они поздоровались; Глеб попросился на ночлег.

— Ночуйте,— ответила женщина,— места не жалко. А вот постелей нет.

— У нас все есть,— сказал Глеб.

— Ночуйте, — повторила женщина, повернулась и пошла в дом.

Они сняли рюкзаки и за ней вошли в сени. Она отворила боковую дверь, за дверью была просторная комната. Стены чисто выбелены, посредине непокрытый стол, у стены незастеленная кровать, а под окнами широкая лавка; пол вымыт и опрятно блестит.

— Мы в ней не живем,— сказала хозяйка,— а то дров не напасешься.

В комнате было холодно. Глеб внес рюкзаки и стал их развязывать.

— Сейчас затоплю,— сказала хозяйка.

— Я помогу,— вскинулся Глеб.

Он вышел во двор, наколол дров и принес в ведрах воду. Потом растопил печь.

Наташа сидела на лавке в простенке между окнами. Она привалилась плечом к стене и устало смотрела, как растапливали печь.

— Притомилась? — спросила хозяйка. — Не разберу я городских: ходите-ходите с мешками себе в тягость. Ведь сами пошли, никто не неволил?

— Сама,— слабо улыбнулась Наташа, а Глеб засмеялся.

— Охота пуще неволи,— сказал он.

— И то правда,— согласилась хозяйка.

Тяга была хорошей, дрова быстро разгорелись и весело потрескивали. В комнате стало уютно, и она уже не казалась такой пустой и холодной.

— Как же вас звать? — спросила хозяйка.

— Меня — Глеб, а жену — Наташа,— ответил Глеб.

— Наташа! — вдруг удивилась хозяйка.— А и я Наталья!

И все засмеялись.

Глеб распаковал рюкзаки, бросил на пол спальные мешки и свернутые надувные матрацы, постелил на стол тонкую, прозрачную скатерть и разложил на ней еду.

— Может, я картошку сварю? — спросила хозяйка.

Глеб посмотрел на Наташу. Она все еще не сняла куртку и сидела, уронив без сил руки.

— Спасибо,— сказал он.— Мы сейчас немного перекусим. А попозже сварим.

— Вам виднее,— сказала хозяйка.— Если что нужно будет, вы позовите.

Она ушла к себе, и за стеной были слышны ее шаги.

Глеб снял с жены куртку, они помыли в сенях под рукомойником руки и немного поели. Потом он положил на кровать спальный мешок.

— Я посплю,— сказала Наташа и уснула.

Он сидел у печки и подкладывал дрова. Скоро в комнате стало совсем тепло. Наташа разбросалась во сне, раз-

метала светлые волосы, лицо ее покраснело, кожа чисто блестела.

На дворе было еще светло, но маленьким оконцам света не хватало, в комнате смерклось. Глеб взял книгу и открыл печную дверцу — красные блики легли на пол, на стены и на книгу; он читал, придвинувшись к пламени, чувствуя его жар.

Наташа проснулась и лежала не двигаясь, глядя на мужа. Она видела его плечо и профиль и сейчас знала, что любит этого человека.

Он почувствовал ее взгляд, поднял голову и посмотрел на нее. Она легко и гибко вскочила, запрыгала, запела:

— Бриться, стричься, умываться!..

Из окна своей комнаты хозяйка видела, как они поливали друг друга, плескались и дурачились. Девчонка плеснула парню за шиворот и побежала по двору. Муж принялся ее ловить.

«Ишь резвая,— подумала Наталья,— только что пластом лежала, а теперь что коза скачет».

Глеб догнал Наташу, они стали бороться, а потом обнялись и поцеловались. Хозяйка смотрела в окно.

Ее дом был полная чаша. Сама она была не ленивая, спорая, ни минуты не сидела без дела. Да и помимо достатка все как будто обстояло неплохо. Ели сытно, ни в чем себе не отказывали и покупали в дом что хотели; сад, огород, скотина — все было ухожено, муж работал, деньги отдавал ей и пил в меру, не как другие, а в праздник они вдвоем ходили в гости. Но было бы дико обоим просто так, среди дня, целоваться.

Постояльцы вернулись в дом и вдвоем весело пришли просить картошки; от них пахло холодом и свежестью. Наталья отсыпала им, но что-то в ней переменилось: она двигалась спокойно, а на них не смотрела. Они почувствовали перемену, притихли, уняли свою веселость, но было видно, что ненадолго — пока они здесь, в комнате.

На землю уже пришли сумерки. Небо за озером было светлым, догорала осенняя заря, а здесь воздух потемнел и показались звезды. В деревне зажглись огни.

Глеб и Наташа почистили картошку, потом Глеб разжег походный примус и открыл мясные консервы. В комнате, еще недавно пустой и холодной, теперь было тепло и уютно, трещала печь, играла музыка и поспевал ужин. Теперь им было легко и свободно, они были рады друг другу.

Наталья покормила детей и присела к столу. Старые ходики, как всегда, стучали на стене, и, как всегда, из них хитро поглядывал по сторонам веселый кот. Наталья бездумно глянула на часы и поразилась: почти час сидела она без работы, не двигаясь с места.

— Да что ж это я! — ругнула она себя.— Сейчас Иван придет.

И она стала греметь кастрюлями и горшками.

В дверь постучали. На пороге стоял Глеб, он приветливо улыбнулся и, согнувшись в проеме, сказал:

— Поужинайте с нами.

Наталья стала отговариваться, что сейчас придет муж, нужно его кормить, но постоялец улыбнулся и сказал, что они и мужа накормят, и тогда она сказала: «Ладно, я сейчас», а он повернулся и из сеней сказал: «Мы вас ждем».

Дети тихо играли на полу. Она спустилась в погреб и набрала полные миски соленых огурцов, помидоров, моченых яблок и квашеной капусты. Потом она переодела юбку и кофту, сняла платок, причесалась и заколола сзади волосы большим гребнем. Потом поставила все миски на доску и пошла к постояльцам.

У них было тепло, вкусно пахло едой, на столе играл маленький приемник.

— Ох, какой у нас стол! — обрадовался Глеб.

Хозяйка побежала к себе, чувствуя праздничное оживление, принесла тарелки, вилки, маленькие стопки и стаканы. Глеб разливал водку, а Наташа накладывала всем картошку с мясом, когда пришел Иван.

— В самый раз угодил,— сказала Наталья.— Помойся да смени рубаху.

Скоро он пришел в белой полосатой рубахе, застегнутой на все пуговицы, торжественный, от него пахло машинным маслом. Они выпили, поели и снова выпили, было приятно сидеть за столом в теплой, светлой комнате, есть, пить и разговаривать.

Иван покрутил транзистор и спросил:

— Вы и в поле ночуете?

— Ночуем, у нас палатка,— ответила Наташа.

— Не промокает? — спросила хозяйка.— Да и ночи холодные.

— Ничего,— сказал Глеб,— у нас спальные мешки.

Иван обвел глазами походный примус, кинокамеру, охотничий нож, затянутые в тонкий войлок фляги.

— Как у вас все приспособлено,— сказал он.

— Это я заядлый турист,— ответил Глеб.— Вот поженились и решили пойти.

— Только поженились?! — удивилась хозяйка.

— Десятый день,— ответил Глеб, и хозяева засмеялись.

— Так у вас медовый месяц,— сказал хозяин и повернулся к жене: — А ты спрашиваешь, не холодно ли!

Потом Глеб и Иван стали говорить о машинах и моторах, а Наташа придвинулась к хозяйке и тихо спросила:

— Ну, а вы?

— Что мы? — не поняла Наталья.

— Вы давно женаты?

— Четыре года,— сказала Наталья.

Потом она вышла, уложила детей спать. Потом пили чай с вареньем, которое Наталья сварила минувшим летом, но Иван беседовал уже вяло, томился, зевал, а потом поднялся и сказал:

— Поздно, пойду спать.

— Что вы! — удивилась Наташа. — Только девять часов.

— Ваше дело такое,— сказал Иван.— А мы рано ложимся.

Гости почувствовали стыд за свою праздность. Было неловко оттого, что этот человек целый день работал, устал, а они гуляли в свое удовольствие да еще ссорились, и было неловко за то, что завтра они могли вволю спать, а хозяевам рано вставать; Иван не хотел их упрекать, но так вышло.

— Посидел бы еще,— сказала Наталья.— В кои времена люди в доме!..

— Вот ты и посиди,— ответил Иван, попрощался и ушел. Снова как будто упрекнул их в чем-то.

Наталья немного посидела и тоже поднялась.

— Пойду, пожалуй...— Она открыла печную дверцу, заглянула в печь и сказала: — Дрова догорят, вьюшку закройте, чтобы не выстудить.

— Спасибо, мы знаем,— ответил Глеб.

— Спокойной вам ночи.

Когда Наталья вернулась, Иван уже спал. Он густо и мерно храпел, запрокинув голову и открыв рот. Она подошла ближе.

«Устал»,— подумала она. Еще она подумала, что они живут четыре года вместе; ей почему-то захотелось заплакать и растормошить его.

— Ваня,— позвала она и взяла его руку. Рука была тяжелой, в кожу въелась чернота металла и мазута. Он не ответил и продолжал спать.— Ваня!

Не просыпаясь, он неразборчиво пробормотал что-то во сне, отнял руку и отвернулся к стене. Она вышла во двор.

С луга и озера тянуло холодной свежестью. На холме за садом и огородом шумел под ветром лес, небо открывалось отчетливыми крупными звездами и светлой пылью Млечного Пути. В деревне горели огни. За домами в темноте томительно и щемяще переливалась гармонь, за ней протяжно вели девушки:

...Моя подружка бессердечная
Мою любовь подстерегла...

Наталья обернулась и посмотрела на окна постояльцев. В них горел свет.

Она почувствовала удары своего сердца. К горлу подступили слезы. Она кусала губы, чтобы удержаться, а слезы уже накатывались на глаза и рвали последнюю тонкую преграду.

...И увела его, неверного,
У всех счастливых на виду,—

угадывала Наталья слова, потому что и девушки, и гармонь, и песня уходили все дальше в темноту и доносились редкими всплесками.

Она вспомнила, как гуляли они с Иваном до свадьбы,— такие же вечера, запах трав, огни, и угасающие вдали песни, и безумная скорость мотоцикла, ветер рвет платье, а она все теснее прижимается к спине Ивана: вспомнила, как ждала его из армии, хмель и горесть проводов, письма, отсчитывающие месяцы, недели, дни, вспомнила себя в белом новом платье, свой страх и свою радость, толчею, многолюдие вокруг, топот каблуков, пьяно-требовательные крики: «Горько!», свадебную суету и внезапную тишину, когда они остались вдвоем. Она вспомнила все это сразу.

— Нет,— прошептала Наталья,— нет...

Она, как слепая, вошла в сени, плечи ее вздрагивали, а рукой она зажимала рот. У постояльцев играла музыка.

Наталья стояла под чужой дверью, лицо ее было мокрым от слез. Потом она сделала в темноте два шага и без сил опустилась на высокий порог. Под ветром у дома шумели деревья, в деревне взлаивали собаки. Со двора тянуло ночной свежестью, и черным ясным холодом открывалось ей чистое небо.

Она не знала, сколько прошло времени, лицо ее было уже спокойно, слезы высохли, она бездумно сидела на пороге и неподвижно смотрела в ночь. Она не знала, что и гости ее сидят в молчаливой, задумчивой неподвижности. Что-то новое открылось им обоим друг в друге и в самих себе в этот день. Но еще глубже они почувствовали опасность, которая стерегла их: сегодня обошлось, но впереди была — вся жизнь.

Наталья долго и неподвижно сидела на пороге своего дома. Она сидела, застыв, как будто окоченела на морозе, лицо ее было спокойно, без печали и радости. Потом она поднялась, затворила дверь и ушла в дом.

В комнате было тепло, дети спали, разметавшись во сне. Она стояла над ними, согреваясь после ночного холода, смотрела на них, медленно оттаивала.

Где-то вдали, у самого озера, горел и отражался в воде ночной костер.

1967

Восемь шагов по прямой

Когда он вышел, они еще стояли. Они поджидали его с восьми часов, а сейчас было около десяти. Высокий грел дыханием пальцы, а тот, что был пониже, пританцовывал, держа руки в карманах.

Они прятались от ветра у гаражной стены, за длинным рядом осыпающихся деревьев, лица их покраснели от холода; должно быть, они потеряли надежду и уже не ждали его, а стояли просто так, не решаясь уйти.

Соседи, конечно, заметили их, слишком явно они торчали под окнами, мозолили всем глаза.

В доме жили серьезные, деловые люди, ходившие каждый день на службу, им невдомек было, что можно праздно торчать под чужими окнами; кое-кто, он чувствовал, считал и его бездельником.

При случае соседи не прочь были похвастать, что он живет здесь в доме, в парадном, на этаже — но временами он чувствовал их иронию и снисходительность: «Было у отца три сына, двое умных, а третий спортсмен».

Где-то шла у них своя жизнь, он угадывал смутно, в институтах, в министерствах, в лабораториях, в конструкторских бюро — ну да ладно, бог с ними, ему до них дела нет. Все чаще в последнее время он испытывал непонятное раздражение и какую-то странную усталость, хотя мышцы не подводили и сердце работало как мотор.

Он давно уже привык к таким парням и мальчишкам, поджидающим его в разных местах. У дома его поджидали не часто, но бывало. Адрес узнавали разными путями, обычно через адресный стол, нужны лишь фамилия, имя, отчество и возраст, но многие знали даже его рост и вес. Цифры были как будто важными показателями урожая или добычи полезных ископаемых, ими гордились и часто повторяли в печати и в репортажах по телевидению.

Когда он вышел, они растерялись. Маленький увидел его первым и толкнул высокого в бок. Они отклеились от

стены и испуганно таращили на него глаза,— Рогов увидел, как они замерзли.

По такой погоде они были одеты слишком легко. Расклешенные брюки, истоптанные каблуками, одинаковые дешевые куртки с блестящими пуговицами, но высокий из своей вырос, и его голые тонкие руки торчали из рукавов.

Маленький был смуглым, черноглазым, черными были у него и густые волосы, а на лице пробивался темный пух. Рядом с ним высокий казался светлее, чем был на самом деле, узкие плечи и длинные светлые волосы делали его похожим на переодетую девушку.

Порыв ветра сорвал горсть листьев, а те, что лежали на земле, смахнул и погнал вдоль стены; на ветру мальчишки казались совсем беззащитными.

Все утро они торчали напротив дома, шарили глазами по окнам, переговаривались, иногда толкались и подпрыгивали на месте, чтобы согреться, но сразу замирали, когда открывалась дверь.

На него часто пялились на улице и в магазинах, и даже в других городах: знакомое лицо, люди напрягали память. Ах, телевидение, услада зимних вечеров, вся страна у экрана, а операторы так любят крупный план, когда человек сидит на скамеечке для штрафников; он посиживал не очень часто, но и не редко — не чурался.

Юнцы смотрели на Рогова, будто не верили глазам. «Сейчас автограф попросят»,— подумал Рогов. Обычно он молча расписывался, не глядя в лица, он считал это никчемным, но неизбежным занятием и покорился раз и навсегда — расписывался и шагал дальше.

Мальчишки напряженно за ним следили. Он снял замок, распахнул ворота, выехал из гаража и остановился — они смотрели издали и не подходили.

«Странные какие-то,— подумал Рогов.— Провинциалы. Когда-то и я был таким».

На ветру они выглядели ужасно сиротливо: маленькие дети, оставшиеся без взрослых; губы у них были совсем синими.

Рогов тронул машину с места, мелькнули их напряженные лица, мелькнули и исчезли; в зеркало он видел, как они неподвижно смотрят вслед.

Машина проехала вдоль десятка гаражных ворот, неожиданно остановилась и покатила назад. Мальчишки смотрели все так же напряженно и серьезно.

Рогов открыл заднюю дверцу.

— Залезайте.— Они не двинулись, вроде и не слышали, и смотрели, как прежде, с напряженным вниманием.— Залезайте, кому говорю! — нетерпеливо повторил Рогов.— Машину выстудите.

— Кто? Мы? — спросил высокий, не веря ушам, а маленький испуганно оглянулся — нет ли еще кого.

— Вы, вы! Кто еще?!

Мгновение они не верили себе, потом робко залезли, осторожно сели на заднее сиденье и сидели не дыша; высокий три раза хлопнул дверцей, но так и не смог закрыть, Рогов перегнулся через спинку и захлопнул.

Машина уже шла по улице, а они все еще не знали, что произошло, и не решались шевелиться. Он и сам не знал, что произошло.

— Продрогли? — спросил Рогов.

Оба кивнули и вместе, одним дыханием, по-деревенски ответили:

— Ага...

— Откуда вы?

Высокий помялся и сказал:

— Мы за городом живем...

— Сколько ж вы сюда добирались?

— Два часа.

— А встали когда?

— В четыре.

«В четыре мороз будь здоров»,— подумал Рогов и в зеркало посмотрел на их одежду:

— Курточки ваши на рыбьем меху?

Они смущенно улыбнулись, еле-еле, одними губами.

Они встали в четыре утра, шли по морозу на станцию, дожидались на платформе поезда, а потом ехали в вагоне и добирались по утренней Москве, чтобы торчать на ветру под его окнами.

— У вас здесь дела, что ли? — спросил Рогов.

Они помялись и не ответили. Он рассмотрел их в зеркало: никак не меньше восемнадцати, только щуплые очень. Рогов вспомнил молодняк команды, их ровесников, которых в команде называли полуфабрикатами: верзилы под стать взрослым мужчинам, примут на бедро или впечатают в борт — костей не соберешь.

Мальчишки отогрелись и заработали глазами. Он услышал восторженный шепот и поймал их взгляды: на ветровом стекле висели маленький хоккейный ботинок с конеч-

ком и такая же маленькая клюшка, знакомые всем московским автоинспекторам.

— Сувенир из Канады,— сказал Рогов.

Играла музыка, исправно грела печка, славно так было ехать холодным осенним утром, тепло и уютно. Вчера было воскресенье, команда после субботней игры отдыхала, и Рогов ночевал дома. Обычно они ночевали на загородной тренировочной базе, где проходил сбор. Домашний ночлег ценился высоко, и отыграл Рогов в субботу прилично, и команда выиграла, но сидело в нем недовольство, не понять только — чем.

По улице бежал сплошной, без просветов, поток автомобилей. Рогов улучил момент и юркнул в середину. Мальчишки глазели по сторонам: с левой стороны нависал просторный и светлый, как витрина, автобус с иностранцами, справа выглядывал из машины большой пес.

Машины неслись большим сплоченным стадом, уносились назад дома и люди, и было тепло, играла музыка, и чуть-чуть кружилась от скорости голова, и это была уже не совсем езда, а немного праздник,— мальчишки озирались и бросали восторженные взгляды на Рогова.

— Мне на Курский вокзал. Вам к метро? — спросил Рогов.

Они растерянно посмотрели на него и поскучнели, оживление их угасло, и вид они теперь имели горестный. Он высадил их и сразу о них забыл.

В зале ожидания на вокзальном диване трое провинциального вида мужчин ели, обложенные чемоданами, сетками и пакетами; Рогов стоял и смотрел, как они едят.

— Леша! — Они заметили его и вскочили. Он торопливо подошел, обнял каждого.— Ух ты, матерый какой! Ты гляди, модник-то! Ах ты мать честная, Леша наш прямо иностранец! — окружив, они тормошили его.

— Да ладно вам... ладно...— Он добродушно улыбался.— Ну, будет, будет...

Наконец они угомонились, притихли и смотрели на него молча и внимательно.

— Ну, Алексей... — медленно произнес самый старший — Федор.— Четыре года тебя не видели. Совсем другой человек.

Четыре года назад они вместе работали в забое — бился в ознобе компрессор, гудели моторы, пыль заволакивала штрек, четверо орудовали лопатами, словно шли в штыковую, Рогов и эти трое. Сейчас они в том же составе стояли

вокруг высокой буфетной стойки, на которой лежала в бумаге снедь — яйца, хлеб, мясо...

— Миша...— Федор сделал знак, и Миша достал резиновую грелку, вывинтил пробку и разлил по стаканам жидкость.

Рогов прикрыл стакан рукой.

— Ты что? — приятели удивились.— Леша, по старой памяти!

Он покачал головой, отказался.

— Режим? — Они сочувственно покивали.— Ну, тогда мы за твое здоровье. Они выпили, стали есть.

— А что, Леша, трудно все время на режиме?

— Привык.— Он улыбнулся.

После смены, чумазые, они все вместе стояли в поднимающейся клети, потом раздевались, мылись под душем.

— А мы решили на курорт съездить, как раз путевки пришли. Дай, думаем, съездим, Лешу по дороге повидаем, все ж таки работали вместе.

Они стояли в вокзальном буфете, вокруг было людно, гулко работало радио, объявляя посадки и отправления. Рогов был рассеян, задумчив и то с интересом слушал друзей, то думал о чем-то.

— Отдыхать едете? — переспросил он и добавил с завистью: — Хорошо!

— Надо на солнце погреться, да и вообще... У нас ведь глушь, сам знаешь, — ответил средний по возрасту — Степан.

— Леша, а мы тебя часто по телевизору видим,— оживленно сказал младший из них — Миша.— То ты в Канаде, то в Швеции... Весь мир на тебя смотрит.

— Погодите, я сейчас.

Рогов прервал разговор, вышел и направился к автомату. Он позвонил, но ответа не дождался, повесил трубку и неожиданно наткнулся на мальчишек.

— Вы?! — Рогов изобразил удивление.— Да вы просто сыщики, вам в милиции работать.— Он глянул в их смущенные лица и сказал:— Ладно, хватит, делом займитесь,— и вернулся в буфет.

— Леша, а ты как, в сборную попадешь?— спросил Степан.

— Стараюсь...

— Да уж постарайся, на Олимпийские игры поедешь.

— Странная штука жизнь, Алексей...— сказал Федор.— Вот вкалывали мы вместе в забое, шайбу гоняли в свобод-

ное время, за шахту играли, начинали вместе, в общежитии в одной комнате жили — и вот на́ тебе, как все переменилось. Чудеса!

Он хотел что-то еще сказать, но умолк; все молча ели.

— Вы что думаете, я бездельником стал? — спросил Рогов.

— Что ты, Леша, кто думает! — ответил Миша.

— Думаете. Есть такая мысль. Многие так думают. Вроде все работают, а я... — Он осекся.— Ладно, бог с ними. Я ведь пота проливаю больше, чем вы все вместе.

— Леша, ты только не обижайся,— сказал Федор.— Нам с тобой делить нечего. Вкалывали вместе, в шайбу играли и вообще. И разговор у нас свойский, без обиды...

Миша выжал в стаканы грелку, свернул ее и спрятал.

— Леша, а играть думаешь долго? — спросил Степан.

Рогов молча сделал неопределенный жест — мол, кто знает.

— Леша, а что потом?

Вопрос повис в воздухе, Рогов не ответил. В молчании они взяли стаканы.

— Братцы!..— опешил вдруг Миша, озираясь. Все трое с недоумением смотрели по сторонам.

Они стояли в центре немого и неподвижного людского круга, зрители пялили глаза. Рогов поморщился от досады.

— Пошли отсюда,— сказал он раздраженно, и они стали продираться сквозь толпу.

— Ну, ты прямо народный артист,— засмеялся Федор, когда выбрались из толчеи.

Они вышли на перрон, к платформе подавали состав, мимо ползли вагоны.

— Ну как, Леша, назад возвращаться не думаешь? —с усмешкой спросил Федор.

— Да знаешь...— Рогов развел руками,— я уж, наверное, отрезанный ломоть.

— Смотри...— Степан пожал ему руку.— Бывай.

Миша и Федор тоже пожали ему руку, взяли чемоданы и сетки и пошли вдоль поезда; Рогов смотрел им вслед. Черные старомодные пальто, кепки, авоськи с апельсинами, потертые прямоугольные чемоданы,— Рогов смотрел с сожалением, словно терял что-то свое, верное — навсегда. Он резко повернулся, стремительно прошел сквозь толпу, рослый, в распахнутом светлом плаще. Он подошел к телефону, позвонил, но ему не ответили, и он быстро напра-

вился к выходу. Наперерез ему кинулись двое мальчишек, но он не заметил их, прошел мимо и сел в машину.

У катка кучками стояли болельщики. Это было их постоянное место, да еще у касс на улице. В любую погоду они толпились здесь и спорили. Когда он вылез из машины, все, как по команде, повернулись и без смущения уставились на него в упор.

— Молодец, Рог, в субботу хорошо бодался,— сказал кто-то.

Он привык не обращать внимания, когда его вот так разглядывали и когда отпускали реплики, хотя после неудачных игр реплики бывали обидными и первое время ему стоило труда пропускать их мимо ушей, но потом он понял раз и навсегда, что всем всего не объяснишь; к счастью, плохие игры случались редко.

Вдруг он снова увидел мальчишек. Дул пронизывающий ветер, они поворачивались к нему то боком, то спиной и, как раньше, выглядели неприкаянными.

«Опять они»,— подумал Рогов, но не удивился.

Он давно не удивлялся: все, казалось, видел, ко всему привык.

Когда все тебя знают и ты объездил весь мир, столько всего видел и испытал, и привык глушить в себе страх и боль, и смотреть в глаза противнику, который тоже парень не промах, и столько всего пережито — счастья и отчаяния,— чем еще тебя удивить?

Вот только какая-то глухая усталость, но не в теле, не в мышцах, а так, внутри, непонятно где, в мыслях, что ли...

Он замедлил шаг, раздвинул толпу и приблизился к мальчишкам.

— Опять вы? — недовольно спросил он.— Времени свободного много? — Они молча потупились.— Почему бездельничаете?

— У нас отгул,— понуро ответил маленький.

— Отгул за прогул?! Знаю я таких!

— Нет, у нас правда отгул,— сказал высокий.— Мы не врем.

— А если отгул? Делать больше нечего?! — спросил Рогов. Мальчишки молчали.— Я спрашиваю: нечего?

— Есть,— сглотнув слюну, тихо произнес высокий.

— Ну и займитесь! Хоть польза будет!— Рогов повернулся и направился к двери. Они стояли, словно побитые. Он прошел несколько шагов и обернулся: — Ладно, пошли...

Они недоверчиво переглянулись и стояли нерешительно, не зная, что делать.

— Да идите же! — прикрикнул на них Рогов, и они кинулись за ним.

Болельщики смотрели с интересом.

— Может, и нас возьмешь? — спросил кто-то из них.

Вахтер протянул Рогову ключ от раздевалки и бдительно перекрыл дорогу мальчишкам.

— Со мной,— сказал Рогов.

Он снял трубку телефона, набрал номер и подождал — никто не ответил.

Втроем они прошли по коридору, Рогов открыл дверь, мальчишки осторожно вошли в раздевалку и стали озираться. Они стояли, как богомольцы в знаменитом храме,— едва дыша. Рогов повесил плащ и стал раздеваться. Он любил приехать раньше всех и сосредоточенно, без спешки, переодеться.

Рогов медленно зашнуровал панцирь, аккуратно приладил пластмассовые щитки. Идти на лед не хотелось. Он давно уже шел на лед, как ходят на давнюю, привычную работу.

Дверь распахнулась от удара, ворвался Пашка Грунин, весельчак и балагур, самый быстрый нападающий в команде.

— Привет! — крикнул он живо и осекся. Потом поморгал, дурачась.— У нас пополнение?

— Привел двух игроков,— ответил Рогов.

— Вот это удача, повезло команде! Согласитесь за нас играть?

Они ошалело молчали.

— Не хотят,— сокрушился Грунин.

— Брось,— улыбнулся Рогов.

— Вы где раньше играли? «Монреаль канадиенс»?

Маленький пробормотал:

— Мы сами...

— Самородки? Тоже неплохо. Технику свою покажете?

— Какую? — растерянно спросил высокий.

— Не хотят. Да они совсем профессионалы!

— Кончай,— сказал Рогов, но сам не мог удержаться от смеха.

— Нет, Алексей, ты как знаешь, а я хочу расти. Не могу я упустить такую возможность.— Грунин выскочил в дверь и вернулся с двумя парами коньков.— Примерьте...

Они растерянно посмотрели на Рогова.

— Если хотите покататься, надевайте,— сказал он.

Они стали обуваться.

— Устроим совместную тренировку профессионалов,— Грунин показал на парней,— и любителей,— он показал на Рогова и себя.

В зале было сумрачно и холодно.

— Свет! — заорал Грунин, прыгнул с порожка на лед и сразу, на одном толчке, укатился к другому борту; его крик прозвучал гулко и одиноко в емкой пустоте темного, холодного зала.

Электрик включил фонари, лед засверкал, обозначилась цветная разметка зон, трибуны погрузились в полумрак. Грунин заорал, засвистел и очертя голову принялся бешено носиться, бросая себя в крутые виражи; на тренировках он заводил всю команду. Он еще испытывал голод по льду и по скорости, даже усталость не могла его угомонить: на льду он все забывал.

Рогов и себя помнил таким, когда его волновал лед, а сила требовала выхода и рвалась наружу. Теперь он делал что нужно, не отлынивал и в игре отдавал что мог, но спокойно, без прежнего азарта.

Грунин без устали носился из края в край катка. Рогов стоял у борта и смотрел. Молодость, твоя молодость скользила, неслась стремглав по льду, сумасшедшей атакой на чьи-то ворота, жестким напором, в реве трибун, при ярком свете — вперед, вперед,— и некогда перевести дыхание, лишь скорость и восторг забивают дух.

Он стоял и внешне спокойно, даже безразлично, лениво даже смотрел на безостановочное движение напарника.

Так незаметно проскользят годы, прокатятся безоглядно по льду, размеченному цветными полосами зон, и так же, как до тебя другие, откатаешь свое ты, исчезнешь незаметно, уступив кому-то место. Так было всегда, вечный закон, другого нет, но трибуны по-прежнему будут требовать и молить, и кто-то горячий и неопытный будет рваться в клочья, забыв себя, как ты когда-то, как сейчас Пашка, как будут после нас,— и что же дальше, что еще?!

Он ступил на лед и стал медленно раскатываться вдоль борта, волоча за собой клюшку, как страшную тяжесть.

Парни нерешительно вышли на лед и остановились.

— Веселей! — крикнул им через все поле Пашка.

Они несуразно выглядели на льду в своих куртках с блестящими пуговицами, в длинных брюках, с которых сзади на коньки свисали нитки.

Грунин подвез и сунул им в руки клюшки, парни медленно покатились, а потом стали горячиться, стучать клюшками о лед и неумело гонять шайбу.

— Не робей, профессионалы! — крикнул Грунин и закружил вокруг них, засновал причудливыми резкими зигзагами, как падающий лист, и мелко-мелко сучил клюшкой, ведя шайбу, внезапно, без замаха, со страшной силой ударял ею в борт и снова подхватывал. При каждом броске они сжимались беззащитно и застывали, как раньше от холода.

Рогов спокойно, словно в игре, выкатился вперед, угадал следующий шаг Пашки, поймал его на бедро и резко разогнулся — Грунин перелетел через него, как через забор. Коньки взлетели, блеснули в воздухе и прочертили круг; Рогов медленно покатил дальше.

— Ух ты! — восхищенно охнул высокий.

Маленький в восторге махнул кулаком:

— Во дал!

Пашка приподнялся и с уважением сказал:

— Как ты меня подловил...

Команда собиралась на льду. Игроки один за другим появлялись в проходе, стуча коньками о пол, направлялись к борту и выходили на лед. Они медленно разогревались, переговаривались, неторопливо катались, цветные рубашки выглядели на льду красиво.

Мальчишки стояли у борта и во все глаза пялились на игроков. Впервые они видели их так близко, наяву, могли слышать каждое слово и даже находились с ними на одном льду, вроде тренировались вместе.

Игроки постепенно ускоряли бег. Рогов подъехал к мальчишкам.

— Хотите посмотреть тренировку — снимите коньки и садитесь на трибуну,— сказал он и уехал работать.

Рогов как следует размялся, пока мышцы не разогрелись и тело не стало податливым и послушным; постепенно и он стал испытывать удовлетворение от работы.

Он напрочь забыл о мальчишках. На бегу он падал на колени, на живот, резко вскакивал, ускорялся, ездил в свинцовом поясе, водил по льду диск от штанги, отрабатывал рывки, пристегнутый к борту тугим резиновым жгутом, а потом одного за другим принимал на себя стремглав бегущих нападающих и без передышки падал под шайбы, летящие от нескольких игроков, закрывая собой ворота, и сам стрелял по воротам; всей пятеркой они по-

долгу наигрывали комбинации и без жалости бросали друг друга на лед, потому что в игре их никто не жалел. Рогов взмок, пот скатывался со лба и заливал глаза, а по спине бежали струйки.

Это была его работа. Это была его обычная, ежедневная работа, в которой у него не было секретов и которую он всегда старался делать хорошо.

Сколько пота он пролил на этот лед за все годы, едкого пота настоящей мужской работы, но вот только в чем результат — в замирании ли трибун, в счете ли шайб, в неистовом мгновении победы, во множестве забытых игр или в тех немногих, которые помнятся?

После тренировки команда мылась под душем. Голоса, плеск воды, шлепки ладоней и смех сливались в гулкий, неразборчивый шум.

Вот они, небожители, все голые, мощные торсы и плечи под струями воды — сейчас всего лишь шумная компания здоровых молодых мужчин. Но вот наступает момент, когда они в яркой форме, в шлемах, под стать друг другу выходят один за другим на лед — выпрыгивают и катятся в свете всех фонарей, и гремит музыка, и тысячи людей замирают на трибунах и миллионы по всей стране,— у всех захватывает дыхание и волнение сжимает сердце, и тогда они — Команда!

Все знают каждого по фамилии и по имени, но на льду они одно существо — Команда, их принимают как одно существо, и гордятся ими как одним существом, и любят как одно существо — неизменной, вечной любовью.

Рогов стоял под горячей водой, едва можно было терпеть. Товарищи резвились в облаках пара:

— Рог наш воспитателем в детский сад устроился...

— Леша, платят прилично?

— «Я, го-о-рит, с детства мечту имел...»

Все громко смеялись, но не зло, его любили. Он не наблюдал издали, когда в игре задирали товарища, а первым кидался на выручку, оттирая обидчиков, или устраивал им «шлагбаум»: брал клюшку поперек груди и удерживал их до тех пор, пока страсти не угасали.

— Ах ты боже мой, что благородство с человеком делает!

— «Я, го-о-рит, призвание чувствую...»

Рогов засмеялся:

— Ну, давай, жеребцы, давай...

Кто знал его призвание? Знал ли он сам его? Было ли оно в том, чтобы гонять шайбу, или в чем-то другом, хотя шайбу тоже нужно гонять с толком? Ладно, теперь уже поздно выяснять, нечего голову ломать.

— Ох, и задумчив ты стал! — крикнул из пара голый Грунин и с размаха хлопнул его по спине, даже звон пошел.

Рогов схватил его и поставил рядом с собой под горячую воду, почти в кипяток. Пашка задышал часто-часто и стал вырываться, но Рогов пустил вдруг холодную, и Пашка присел, сжался и завизжал.

Рогов одевался, когда к нему подошел тренер и сел рядом.

— Как самочувствие?

— Нормально.

— А вообще жизнь?

— Нормально.

— У тебя что, сегодня приема нет?

— Почему? — засмеялся Рогов.— Есть.

— Не нравишься ты мне...

— Играю плохо?

— Прилично. Игра у тебя идет. Настроение мне твое не нравится. Что-нибудь стряслось?

— Да нет, так, ничего...

— Как учеба?

— Какая учеба, «хвостов» набрал.

— Ничего, сдашь, надо же было в Канаду поехать.

— Вышибут меня, вот и будет Канада.

— Что ты преувеличиваешь?! — рассердился тренер.— Ты весело должен жить, легко... Вон как Пашка Грунин. Чего тебе не хватает? Из тебя защитник мирового класса может выйти, а ты...— Он умолк и глянул Рогову в глаза.

«Ладно,— подумал Рогов, — надо кончать, поговорили». Он бодро кивнул.

— Да,— сказал он,— конечно.

— Что? — опешил тренер.

— Все правильно, я и сам так считаю. Нормально. Не подведу.

— Да? — недоверчиво посмотрел тренер.— Смотри, держись, молодняк подпирает. Я на тебя надеюсь.— Он еще раз глянул внимательно и отошел.

Рогов не изменился в лице и не подал виду, но на мгновение кольнул страх. Он старался не думать об этом, еще

не вечер, поиграем, только и начинается настоящая игра. Но вот сказаны вслух слова, и впереди смутно обозначилась черта, за которой все неразличимо; какой-то холодный ветер долетел оттуда и коснулся лица.

Одевшись, Рогов подошел к столу вахтера и взял трубку.

— Леша, подвезешь? — спросил Надеин. Рядом стоял Грунин.

— Сейчас.— Рогов набрал номер, но никто не ответил, и он положил трубку.

Они вышли на улицу, сразу нахлынули болельщики, пришлось пробираться в плотной толпе; Рогов возвышался над всеми, самых назойливых он отодвигал в сторону. Машина была облеплена мальчишками и подростками, Рогов тронулся с места и едва ехал, не переставая сигналить.

— Черт, под колеса лезут! — Он напряженно сжимал руль.

— А для него, может, счастье под твою машину попасть,— насмешливо сказал Грунин.

— Балбесы! — в сердцах отмахнулся Рогов. Выехав на улицу, он с облегчением перевел дух и прибавил скорость.— С Канадой играть легче.

— Кумир! — засмеялся Грунин.

— Развелось бездельников, прохода не дают. Выйти никуда не могу.— Рогов посмотрел в зеркало заднего вида: неподвижная толпа мальчишек и подростков, запрудив дорогу, смотрела вслед машине.

— Удивляюсь я тебе,— сказал Надеин,— что ты все звонишь? Мало женщин вокруг? О таком, как ты, любая мечтает. Хочешь, познакомлю?

Рогов не ответил. Он часто слышал эти разговоры — привык, а первое время пытался объяснить, что ему не нужна любая, ему нужна одна, одна из всех.

— Леша, не сохни, смотреть больно. Дать телефончик? Во! — Грунин показал большой палец.

— Что с тобой? — спросил Надеин.— Сопляков каких-то привел...

— А где они? — вспомнил о них Рогов.

— Не знаю, я видел, их сержант увез.

— Куда?!

— Кто их знает, натворили чего-нибудь... Леша, ты что?!

Рогов неожиданно круто развернулся на перекрестке и помчался назад. Он резко затормозил у здания катка и побежал внутрь.

— Двое? В одинаковых курточках? — переспросил вахтер.— Они в милиции. Коньки увели.

— Как?!

— Украли.— Вахтер достал две пары коньков.

— Это Грунин им дал!

— Да?

— На моих глазах было.

— Значит, ошибка вышла. А их в отделение повезли.

Рогов бросился к машине.

— Леша, что стряслось? — невинно спросил Грунин.

Рогов глянул на него в бешенстве и рванул машину с места. Они подлетели к отделению. Парни сидели у барьера на жестком вокзальном диване, вид они имели убитый, а у высокого было заплаканное лицо.

Дежурный капитан сразу узнал Рогова, показал на парней и сказал:

— Отпираются.

Рогов набрал номер катка и протянул трубку капитану:

— Поговорите...

— Дежурный слушает,— сказал тот. Потом помолчал и недовольно сказал: — Надо было на месте разобраться.— Он посмотрел поверх барьера на парней и спросил: — Что ж толком не объяснили? А то бормочете: «Мы не брали», а так все говорят. Можете идти.

Они недоверчиво встали и неуверенно пошли к выходу.

— Ну что? — спросил Рогов на улице.— Нашли приключение?

Высокий глубоко вздохнул, как ребенок после плача, почти всхлипнул:

— Мы им говорили, а они не поверили и повезли.

На улице гулял ветер. Было малолюдно и оттого еще холоднее. Ветер гнал по асфальту сухие листья, наметая к стенам домов.

Рогов открыл дверцу и сел на сиденье, тихо работал мотор. Парни остались на тротуаре, ежились и провожали Рогова взглядами. Нет, с него хватит.

— Все в порядке? — спросил Грунин.

— Ничего,— вмешался Надеин,— умнее будут.— Он приспустил стекло и сказал:— Детки, сделайте дяде ручкой.

— До свидания,— сказал тот, что был повыше.
— Спасибо,— добавил маленький.
Рогов включил печку и приемник. Заиграла музыка, прибавилось уюта, жизнь показалась веселее, да и вообще не было повода печалиться: все живы, все здоровы, вот и справедливость восторжествовала.
— Поехали, что ли? — спросил Грунин.
— Поехали,— ответил Рогов и сказал в окно: — Ладно, лезьте в машину, подвезу.
— Да ты просто отец родной! — засмеялся Грунин и пропищал детским голосом:— Папаша...
Они ехали по улицам. На шесть была назначена вторая тренировка, после которой команда уезжала на загородную базу, где они жили постоянно, приезжая лишь на каток.
Вся их жизнь была расписана по часам, день за днем, год за годом,— менялись вратари, защитники, нападающие, но распорядок не менялся.
В редкие свободные минуты семейные торопились домой, а холостые находили занятие по душе, чаще бросались развлекаться, ныряя в городскую толчею. Еще недавно и Рогов пускался во все тяжкие, но со временем интерес пропал — стареем, что ли? — веселье шло стороной.
Все тебя знают, все мечтают свести с тобой знакомство, девушки сохнут, мальчишки подражают, но вот выдалась свободная минута — куда податься?
Можно, конечно, пойти в разные места, в разные дома, где тебе рады, приласкают, согреют, но все не то, все не то, а где то — кто знает?
Город жил дневной суетной жизнью, улицы были полны людей и машин. Рогов притормозил у тротуара, они вышли втроем, мальчишки остались в машине; сквозь стекла они во все глаза смотрели на игроков.
— Ты куда? — спросил Надеин.
— Позвонить надо,— ответил Рогов.
— Все звонишь,— засмеялся Грунин.— Леша, пошли со мной, у моей подружка есть.
Рогов покачал головой, отказываясь.
— Пока,— сказал он.— В шесть в зале.
Грунин заглянул Рогову в лицо и воскликнул:
— Леша, не грусти, жизнь прекрасна! — Он погрозил через стекло юнцам: — Детки, не шалите,— и уходя, сделал «козу» Рогову.— Папаша...— пропищал он детским голосом.

Приятели пошли по тротуару, элегантно-спортивные, броские, мужчины-загляденье: широкие плечи, веселые лица, ясно — удачливые ребята. Отхватили в жизни счастья, пробились... Надолго? Не стоит об этом думать... Пока все чисто, на горизонте ни тучки. Ну, а потом, когда-нибудь? О, до этого целая жизнь!

Рогов вошел в будку, набрал номер, но никто не ответил. Он повесил трубку и вернулся в машину. Они снова ехали по улицам, полным дневной сутолоки.

— А вы раньше где играли? — спросил маленький.

Рогову казалось, он в команде всю жизнь. Вроде бы в ней родился, рос и живет. Все у него в команде, и потеряй он ее сейчас, он не знал бы, как жить. Но ведь придется... Да, когда-нибудь. Но это потом, позже, еще долго... Постепенно отмирает в тебе что-то, отсыхает, и отпадаешь сам, как... как осенью лист с дерева. Дерево стоит, а листья появляются, распускаются, вянут и облетают одно за другим.

— Я на шахте начинал. Работал, ну, и... шайбу гонял... На Дальнем Востоке было.

— В городе?

— Вроде... Поселок.

Город, городок — какой это город, избы среди гор. Правда, почти пять лет прошло, может, уже и город. Узкая долина, быстрая речка петляет среди хребтов, тайга начинается у дома, стволы карабкаются по склонам и сбиваются в чащу.

Стоит зайти в кассу Аэрофлота, день в кресле, потом пересаживаешься на местный рейс, еще три часа в воздухе — сопки становятся выше, приходится набирать высоту.

Ах, как хрупок самолетик в небе, болтается среди гор вверх-вниз, как детская игрушка на резинке, а ты — внутри. Но ничего, обходится...

По утрам горбатыми улочками люди идут к сопкам, переодеваются в брезентовые робы, натягивают сапоги и каски, расходятся по штрекам и забоям. И пошла работа, что твой хоккей: стране нужна руда.

— А играть страшно? — спросил высокий.

Маленький повернул к нему голову и сказал:

— Трус не играет в хоккей.

— Ты это точно знаешь? — спросил Рогов, и тот смутился.

— А если бы наши и канадцы в открытую дрались, кто б кого? — спросил высокий.

— Не знаю, надо попробовать.

Он действительно не знал и не лукавил, но он всегда был готов идти до конца, противники это чувствовали и потому остерегались.

— А вы чем занимаетесь? — спросил Рогов.— В школе учитесь?

— Работаем,— сказал маленький.

— Где?

— А, железо всякое...

— Мы монтажники,— добавил высокий.

— Нравится?

— Ничего,— вяло сказал маленький.— Только скучно. Каждый день одно и то же: на работу, с работы...

— Вот у вас жизнь! — сказал высокий.

— Какая?

— Ну-у... такая... Ездите всюду, играете. Все вас знают, по телевизору показывают... Слава и вообще... А вас на улице узнают?

— Иногда узнают.

— А мы бы сразу узнали. Только не поверили бы.

— Нам и так никто не поверит, что мы с вами... ездили, говорили,— заметил высокий.

— Я и сам не верю,— вставил маленький, и все засмеялись.

— А что ж вы о себе не рассказываете? — спросил Рогов.

— Да это неинтересно,— ответил маленький.— Что мы, так...— Он махнул рукой.

Рогову тоже нечего было рассказывать, когда он работал на шахте, руда — она и есть руда, какой в ней интерес? Долбишь ее изо дня в день, пляшет свет лампы на влажной черной стене, а ты забираешься в глубь земли, будто ты корень дерева и в тебе его жизнь.

— А хоккей вы любите? — спросил он у них.

— Любим! — ответили они в один голос.

— Еще как! — добавил высокий.— Больше всего. Мы и сами играем.

— По телевизору ни одного матча не пропускаем,— сказал маленький.

— Скажите, а под шайбу страшно ложиться? — спросил высокий.

— Об этом не думаешь.

— Я б не смог. Я всегда думаю: сейчас она как даст!

— Я тоже. Не хочешь, а тебя самого к ней спиной поворачивает,— сказал маленький.

— А когда в борт врезаются, больно? Такой грохот, а игрокам хоть бы что! А вратарю страшно? А почему наши все в шлемах играют, а канадцы не все?

Они торопливо засыпали его вопросами, как будто опасались, что он вдруг исчезнет и они не успеют всего узнать. Глаза их горели, щеки пылали. Они ерзали на сиденье, а высокий то и дело возбужденно вскакивал и ударял головой в крышу.

— Слушай,— сказал ему Рогов,— так ты мне крышу пробьешь. Представляешь, идет машина, а из крыши голова торчит.

Они представили и рассмеялись.

— А скажите...— начал высокий.

Хватит, голубчики, хватит, сыт по горло. Он не очень подходит для игры в вопросы-ответы, для этого есть специалисты получше. А он умеет принять на себя шайбу, сам может щелкнуть без подготовки, может встретить любого нападающего, бросить на лед или прижать к борту, как прессом, умеет постоять за себя, за партнеров, если выдалась нервная игра,— что еще он умеет? А что еще нужно?

Все у него есть, полное благополучие, слава, как у киноартиста, девушки-подружки, звони любой, приятели — пол-Москвы. Что еще у тебя есть? Команда? Правильно, команда. Но не навек же. Что еще нужно? Любви? Не проговорись в команде, ребята засмеют. Да оглянись по сторонам, осчастливь кого-нибудь... Сколько писем ты получаешь? Сколько красавиц смотрит на тебя, когда ты выходишь на лед? Губят, как говорится, широкие возможности твою личную жизнь.

Они подъехали к дому, машина остановилась.

— Приехали. Мне сюда.— Рогов вылез.

— До свидания,— сказал высокий печально.

— До свидания, спасибо,— добавил маленький.

— Счастливо.— Рогов закрыл и подергал дверцы.— Вы, наверное, есть хотите? Поешьте. Деньги есть?

— Есть,— кивнули они оба.

— Вот и сходите. Шутка ли, с раннего утра не ели. Так недолго и ноги протянуть, как вы в хоккей играть будете?

— Да что там мы играем,— улыбнулся с грустью маленький.— Так, балуемся.

— Все равно есть надо,— сказал Рогов, и они опечаленно направились в пельменную на другой стороне переулка.

Он смотрел сквозь широкие окна: мальчишки ставили на подносы тарелки, говорили о чем-то, медленно продвигаясь вдоль раздачи. Рогов стоял и смотрел. Он был рассеян и задумчив и не замечал уличной сутолоки вокруг.

Высокий вдруг увидел его и застыл, а потом толкнул товарища локтем; оба ошалело смотрели на стоящего за стеклом Рогова, потом бросили ложки и, подталкивая друг друга, кинулись к выходу.

Втроем они вышли на широкую улицу, по которой гулял холодный ветер и текла пестрая толпа. Рогов открыл тяжелую дверь с массивной медной ручкой, они прошли в роскошный вестибюль, зеркала отразили среди пальм, бронзы и мрамора растерянно озирающихся мальчишек: сразу было видно, что они впервые в таком месте.

Вслед за Роговым они испуганно вошли в зал, стройный, франтоватый метрдотель слегка поклонился Рогову и спросил с недоумением:

— А эти...

— Со мной, со мной...— успокоил его Рогов.

Мальчишки робко сели и стали настороженно озираться: резные дубовые панели, плафоны с пастушками и амурами, за окном иностранные машины, на столиках лампы с абажурами... Гибко двигались проворные официанты, за столами было много иностранцев.

Парни затравленно озирались, к столу приблизился официант.

— Мои гости,— Рогов показал на сидящих напротив мальчишек.

— Очень приятно,— ответил официант почтительно, но с еле заметной иронией и положил перед ними меню. Потом вышколенно отступил и застыл в ожидании.

Мальчишки заглянули в меню, ошарашенно переглянулись и оторопело посмотрели на Рогова.

— Ничего, ничего, рассчитаемся,— улыбнулся он.— Я выберу, хорошо?

Над столами витал разноязыкий гомон, мальчишки таращились во все стороны. Официант быстро и умело расставил все на столе, поклонился — «Приятного аппетита» — и ушел; мальчишки боялись пошевелиться.

— Вы что? — спросил Рогов.— Ешьте.— Они не двигались, и он повторил: — Ешьте, кому говорят?!

Они смущенно улыбнулись и робко взяли вилки. Он сидел напротив, рассматривая их: лица загорелые, но загар медно-красный, как у матросов или рыбаков, видно, много находятся на ветру, руки темные, в ссадинах, кожа грубая, шершавая, как наждак, на пальцах металлическая чернота, никакое мыло не отмоет, устанешь тереть. Он и себя помнил таким, только вместо загара въевшаяся в кожу рудная пыль.

— А вы на тренировках устаете? — спросил высокий.

— Как когда.

— А после игры? — спросил маленький.

— Смотря какая игра. А вы на работе устаете?

— Сравнили! То работа, а то хоккей! Мы что, подумаешь! Нас и не видит никто.

— Эх, пожить бы с командой! — вздохнул высокий.— Я бы клюшки за всех носил.

Рогов расплатился, они вышли на улицу.

— Прощаемся,— сказал Рогов. — Счастливо.

— До свидания,— грустно сказал маленький.

— До свидания,— как эхо, повторил высокий.

Рогов вошел в телефонную будку, позвонил, но по-прежнему никто не отвечал. Может, что-то случилось с телефоном? Хоть сейчас беги, взлети через три ступеньки, возникни на пороге: «Это я!»

Но нельзя, риск, можно только в назначенное время. Угораздило тебя влюбиться в замужнюю. Так ведь и ты готов жениться, за тобой дело не станет. А она? Неизвестно. Поэтому приходи вечером, будем одни. Все у тебя на вечер, на ночь, на сезон, на пять сезонов, весь ты на время, а что у тебя навсегда? Навсегда?!

Он почувствовал мимолетный страх — кольнул, пропал. Рогов медленно побрел по улице, дошел до знакомого дома. Подняться? Нельзя. Вот ведь как просто: третий этаж — взбежал, позвонил...

Он постоял, повернулся в досаде и быстро пошел к машине. Мальчишки вприпрыжку бежали следом. Он шел, погруженный в свои мысли, не замечая, как они, толкаясь, вьются рядом и заглядывают ему в лицо. Наконец он их заметил:

— А, это вы... Ну, хватит, хватит... Довольно. Гуляйте.

Они отстали, он дошел до машины, сел и поехал на вторую тренировку.

Когда он вошел, в раздевалке стоял гомон голосов и дружный хохот.

— Папаша пришел,— пропищал Грунин детским голосом.— Детки, несите отметки!

Все засмеялись, Рогов стал переодеваться.

— Леша, не дозвонился? — спросил Надеин.

— Так, может, дать телефончик? — живо подхватился Грунин. Он изобразил руками гитару и пропел жестоким романсом: — Я вам звоню печаль свою... — Потом сделал Рогову «козу».— Папаша...

— Слушай, ты!..— Рогов стянул рубаху на его груди в кулак.

В раздевалке все умолкли и застыли.

— Пусти. — Лицо Грунина стало печальным. — Пусти...— повторил он с горечью. Рогов отпустил.— Я же вижу, как ты маешься, я хотел... а ты...— Он махнул рукой и отошел.

В молчании Рогов натянул тренировочный костюм и вышел в зал. Два помоста, шведская стенка, низкие гимнастические скамьи, станки с грифами и дисками, большое зеркало во всю стену... Здесь обычно проходила атлетическая подготовка, но пока в зале было пусто. Рогов сел на скамейку, вытянул ноги, откинулся к стене и закрыл глаза.

Он не двигался, не имел ни сил, ни желания, и стрясись что-нибудь — пожар или землетрясение, не тронулся бы с места.

Не было точки опоры, какой-то твердой определенности, принадлежащей только ему, где было его начало и продолжение, заповедного места, куда бы он мог вернуться, что бы с ним ни случилось и где бы он ни был — отовсюду.

Весь он был сейчас здесь, целиком, весь, со всем, что имел. А человек должен иметь еще где-то часть себя — землю, людей, дела...

Кто-то тронул его за плечо, он открыл глаза — Иван Иванович, администратор команды.

— Не дозвонился? — спросил он.

Рогов глянул на него удивленно, но он сам знал, что в команде почти не бывает секретов, и молча покачал головой.

— Не ладится что-то,— вяло сказал Рогов после молчания.

— Ты что? — испугался неожиданно старик.— У тебя сейчас самый расцвет! На Олимпийские поедешь!

— Я не о том,— возразил Рогов.

Иван Иванович глянул на него как бы в изумлении и удрученно, как больному, покивал.

— Мудришь,— сказал он неодобрительно и спросил неожиданно: — Ты в Париже бывал?

— Проездом. А что?

— А в Японии?

— Бывал.

— А в Америке? В Канаде?

— Бывал...

— Ну, а Хельсинки, Стокгольм, Прага?

— Да бывал, бывал! — уже с досадой подтвердил Рогов.

— Квартира у тебя есть? А машина?

— Ты к чему клонишь?

— Погоди. Друзья у тебя имеются? А подруги? Игра у тебя идет? Так что тебе нужно? Что ты с собой, как курица с яйцом, носишься?!

Рогов помолчал, покивал понимающе и усмехнулся:

— Что ж, я для того и родился, чтобы шайбу гонять?

— Ах, вот оно что!.. Во-первых, шайбу гонять нужно тоже уметь. А во-вторых, нечего голову ломать. Ты подумай, сколько людей тебе завидуют!

— Ну и что?

— У тебя игра идет! Тренером станешь! Чего тебе еще?!

Рогов молчал, словно собираясь с мыслями, он хотел что-то сказать, но не сказал, а встал и начал разминаться.

Послышался глухой топот ног, стукнула дверь, зал наполнился голосами. Сначала все разогревались, потом голоса и смех умолкли, и слышались лишь натужное дыхание, грохот и звон штанг; по всему залу сгибались и разгибались игроки, цветные рубахи потемнели от пота.

Рогов лежа отжимал от груди штангу, когда его тронул Надеин и глазами показал на окно: к стеклу были прижаты два лица. Стекло от дыхания быстро запотевало, и тогда появлялась ладонь и протирала его. Тренер тоже посмотрел туда и сказал:

— Ты меня удивляешь.

— Он их по хозяйству использует,— засмеялся кто-то в зале.

— Мог бы получше найти, их же ветром сдует,— смеясь, сказал еще кто-то.

— Теперь ты от них не отделаешься,— вмешался Иван Иванович.

«Действительно, прилипли»,— подумал Рогов, выжимая штангу.

— Зачем они тебе? — спросил тренер.— Эти раззвонят, другие прибегут. Тут их столько набьется, не протолкнешься.

— Шпана,— сказал Надеин.

— Ты таким не был? — Рогов уложил штангу в козлы.

— Я? Нет. Я играть хотел, цель имел.

— Какой ты у нас целеустремленный! Ну, и что ты теперь за ценность?

Надеин молча завел диск от штанги за голову и стал отбивать поклоны.

— Понимаешь, Алексей,— сказал тренер медленно,— разница между любым из вас и большинством людей в том...— он сделал паузу и посмотрел, все ли слушают,— что вы их работу худо-бедно сделаете. Подучитесь и сделаете. А они вашу — вряд ли... Тут, как говорится, все от бога: если есть, то есть, а нет — ничем не поможешь.

«Пожалуй, так», — решил про себя Рогов.

После второй тренировки все испытывали усталость. На улице их поджидал большой автобус, один за другим они поднимались и садились — каждый на свое место.

Сейчас автобус тронется, шофер погасит в салоне свет и включит приемник, они будут долго ехать по городским улицам, лежа в креслах, как авиапассажиры, сонливо будут смотреть в окна, слушать музыку, слишком уставшие, чтобы разговаривать.

Потом они выедут за город, автобус прибавит скорость и понесется по вечернему шоссе, мимо далеких и близких огней, пробивая корпусом темноту.

Приехав, они сытно поужинают, станут коротать вечер, лягут рано и спать будут, как спят уставшие молодые здоровые люди, а утром встанут легкими и свежими, опять будут шутить и балагурить, и от вечерней усталости не останется и следа.

Так они ездят день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, а кто выдерживает — год за годом, и вдруг — стоп, сойди, твое место в автобусе занимает другой.

Вместе со всеми Рогов вышел из раздевалки и направился к выходу. На столе дежурного зазвонил телефон.

— Спортивный зал,— дежурный снял трубку.— Кого? — Он пошарил взглядом по сторонам.— Рогов, к телефону!

— Только недолго,— напомнил тренер.

Рогов подошел к столу и взял трубку.

— Слушаю... Ты?! — Он задохнулся от неожиданности и подержал трубку на весу, чтобы прийти в себя.— Я тебе звонил.

Она произнесла только одно слово, но и этого было достаточно, чтобы он почувствовал неодолимое желание бежать к ней — без раздумий, тотчас, сию минуту. Она сказала: «Приезжай», и он уже чувствовал жгучее нетерпение, лихорадку, озноб, — до него не сразу дошел смысл сказанного. «Сейчас?» — переспросил он и тут же понял, насколько это безнадежно.

— Рогов, веселее! — уже с недовольством крикнул тренер, стоя в дверях.

— Я попробую...— неуверенно сказал Рогов в трубку.— Ты одна? — спросил он, понял неуместность вопроса и добавил твердо: — Сейчас я приеду.— Он готов был приехать даже под угрозой отчисления из команды.

Рогов положил трубку и подошел к тренеру:

— Мне нужно остаться.

— Что еще? — холодно спросил тренер.

— Я приеду утром.

— Команда находится на сборе. Через день игра. Все едут на базу. И ты мне режим не путай.

— Могут же быть обстоятельства...

— Знаю я ваши обстоятельства! Каждый из них,— тренер мотнул головой в сторону автобуса,— так и шарит глазами по сторонам. Дай только волю. Удержи их потом в узде. Чем ты лучше? Будешь тренером, поймешь.

— Я понимаю...

— Ничего ты не понимаешь! Ладно... Ночевать в городе не разрешаю, приедешь на базу к отбою. Все.

Автобус осветил переулок, тронулся с места и, мягко покачиваясь, понес тяжелый корпус вперед. Вскоре его красные стоп-сигналы исчезли за поворотом. Рогов направился к машине. Торопись, тебя ждут, каждая минута в счет свидания...

Он вдруг заметил мальчишек: они стояли в стороне и смотрели на него.

— Вы?! — спросил он раздраженно.— Что еще?!

— Ничего,— растерянно ответил маленький.

— Ничего,— повторил за ним высокий.

— Что вы за мной ходите?! Что вам надо?! Целый день шляетесь! Привыкли баклуши бить?!

Они стояли, держа руки в карманах и горбясь от холода. Было видно, как они замерзли, зуб на зуб не попадал.

— А ну, марш отсюда! И чтоб я вас больше не видел! — крикнул Рогов.

Они попятились, лица у них стали испуганными. Он сел в машину, включил мотор и печку. Торопись, не теряй времени, не так много отпущено...

Возле машины уже никого не было. Он сидел в полумраке, не двигаясь, уличный свет проникал сквозь стекла, шуршание печки нарушало тишину.

Медленно, будто с великим трудом, он выжал сцепление, включил первую передачу и тронулся с места. Так на первой передаче он и ехал вдоль тротуара, проехал несколько домов, прежде чем их увидел. Они быстро шли вперед, держа руки в карманах брюк и втянув головы в плечи; некоторое время он медленно ехал сзади, потом остановился и сидел в неподвижности, уткнувшись в рулевое колесо.

Они скрылись из виду, он догнал их через квартал. Машина поравнялась с ними и дала сигнал, они испуганно шарахнулись в сторону и застыли, вцепившись друг в друга. Он открыл дверцу и сказал:

— Ну и пугливые... Садитесь.

Они не поняли, страх еще не прошел, и лица оставались напряженными.

— Садитесь, садитесь, подвезу,— повторил Рогов. Они все еще смотрели недоверчиво.— Что мне вас, силой засунуть? Лезьте в машину!

Они медленно и неловко сели на заднее сиденье и настороженно застыли.

Машина шла по пустынному шоссе, было темно — в полях по сторонам дороги, в небе, и только изредка появлялись и исчезали вдали огни; позади, где остался город, светился горизонт.

— Вы и работаете там или только живете? — спросил Рогов.

— Работаем,— ответил высокий.

— А когда заканчиваем, переезжаем на новое место,— добавил маленький.

— Значит, вы путешественники? — усмехнулся Рогов.

— Какие мы путешественники...— махнул рукой маленький.— А вы за границей часто бываете?

— Приходится...

— Вот бы поездить,— вздохнул высокий.

— Поездите еще,— успокоил его Рогов.

— Да где нам,— снова махнул рукой маленький.

— Мы в отпуск в деревню свою ездим,— сказал высокий.— То крышу починить, то огород вскопать... Дело всегда находится.

Рогов подумал об этой забытой давно жизни. Она попрежнему шла вокруг, за какой-то чертой его существования,— без аплодисментов, без свиста, без постороннего одобрения или негодования,— тихо текла и заполняла собой все время людей.

Мальчишки притихли и вспомнили этот день, весь долгий день, с утра до сей поры, в нем столько было всего, что не верилось, как он один столько вместил, они переживали его весь заново.

— Вы местность знаете? — спросил Рогов.— Где сворачивать?

— Там башня, мы покажем,— ответил маленький.

Разговор оборвался, они зевали, сонно терли глаза, потом он услышал сзади сопение и увидел, что они спят. Они спали в неудобных позах, привалившись друг к другу, рты их были приоткрыты, и лица выглядели совсем детскими.

Рогов доехал до поворота, притормозил, погасил фары и вылез, тихо прикрыв дверцу, чтобы не разбудить мальчишек. Он стоял, слушая тишину, вокруг была такая кромешная темнота, что казалось — глубокая ночь окутала всю землю. Постепенно глаза привыкли, он стал различать далекие огни. Где-то лаяли собаки, доносились звуки гармони, потом вдали запели девушки, пели протяжно, подеревенски. Песня и гармонь удалялись в непроглядную черноту, Рогов слушал, словно вспоминал то, что знал когда-то давно, но забыл.

Он заметил неподвижные красные огни, необъяснимо висящие в темном небе, разбудил мальчишек и спросил:

— Здесь, что ли?

Они встрепенулись, сонно выглянули и подтвердили: «Здесь». Рогов сел в машину, съехал на проселок. Свет фар скользнул по строительной площадке и осветил металлический вагон, увешанный плакатами по технике безопасности, штабеля труб и балок, железные бочки, лебедки; четыре массивные опоры поднимались из земли и уходили вверх.

— Здесь мы работаем,— сказал высокий.

— Наверху,— добавил маленький.

Рогов притормозил и посмотрел вверх, но ничего, кроме красных огней, не увидел, Он опустил стекло — лицо обдало

вечерним полевым холодом,— погасил фары и сразу как будто окунулся в ночь: кругом лежало темное поле, над которым высоко в небе неподвижно висели красные сигнальные огни.

— Хотите посмотреть? — неожиданно предложил маленький и, не дожидаясь ответа, вылез из машины. Следом за ним вылез высокий.

От дороги в сторону башни шел ухабистый проселок с глубокой колеей, выбитой грузовиками. Рогов посидел в машине и пошел за мальчишками, чувствуя чистоту и свежесть холодного воздуха.

Высокий подошел к сараю и дернул рубильник — сильные фонари осветили всю башню, она стройно уходила вверх, вонзаясь в небо.

— Вы ее собирали? — спросил Рогов.

— Мы,— ответили они в один голос, а маленький объяснил:

— Это ретранслятор, для телевидения.

— Не страшно наверху?

— Нет,— улыбнулись они.

Рогов представил всю высоту, расстояние до земли, открытое стылое пространство вокруг, словно очутился там наяву, — стало холодно, тоскливо заныла грудь.

Он с замиранием отчетливо почувствовал пустоту под ногами, даже голова слегка закружилась, будто земля на самом деле была далеко внизу.

— Вы в поясах работаете? — спросил Рогов.

— В поясах,— подтвердил высокий.

— Пристегиваетесь?

— Полагается,— ответил маленький.— По технике безопасности.

— Что значит полагается?! Пристегиваетесь?

— Вообще-то да... Но иной раз и так пройдешь с одной стороны на другую. Там балки...

Рогов представил, что ему нужно пройти там над пролетом по балке, и почувствовал легкую тошноту — ноги ослабли. Он даже застыл, словно и впрямь мог потерять равновесие и разбиться.

— Поехали.— Рогов повернулся и зашагал прочь. Он влез в машину и включил печку — его знобило.

Мальчишки подошли и молча остановились.

— Мы пойдем,— тихо сказал маленький, будто спрашивал разрешения.

— Садитесь,— ответил Рогов.

— Нам тут близко,— сказал высокий.

— Садитесь,— повторил Рогов,— довезу.

Они въехали в поселок и проехали мимо темных окон, свет фар скользил по заборам и отражался в черных стеклах.

— Здесь,— сказали мальчишки, машина остановилась возле большого сруба.

Теперь нужно было расстаться, на этот раз окончательно. Все долго молчали.

— Ну что ж...— сказал Рогов.— Прощаемся?

— Чаю хотите? — неожиданно спросил маленький.

Рогов посмотрел на часы: к отбою он уже опоздал.

Втроем они вошли в темный дом. Вспыхнул яркий свет, Рогов увидел просторное помещение, в котором стояли десять кроватей, на всех, кроме двух, спали люди.

— Зря зажгли, разбудите,— сказал Рогов, щурясь от света, но никто не проснулся.

От большой печи несло теплом, на веревке сушились носки и портянки. Стены былы оклеены вырезками из журналов, фотографиями киноактрис, боксеров в перчатках, он увидел и себя — на льду, с клюшкой в руках.

Пахло прелой одеждой, мазутом, пóтом, и было шумно от храпа. «Давно я не был в рабочих общежитиях»,— подумал Рогов.

Мальчишки суетливо сновали по комнате, резали хлеб, заваривали чай.

— Никто и не поверит, что у нас Рогов был,— тихо сказал высокий, а маленький кивнул:

— И не докажешь...

Рогов вспомнил о маленькой клюшке и маленьком ботинке с коньком, которые висели на ветровом стекле в машине, и решил подарить им перед отъездом.

Они сели к столу и стали пить крепкий обжигающий чай; в комнате было жарко и душно.

— Я на шахте работал, тоже в общежитии жил,— сказал Рогов.

Они ели, посматривая на него, и не решались говорить.

— Сколько те балки? — спросил Рогов.

— Какие? — не понял маленький.

— По которым вы ходите...

— Широкие, двести миллиметров.— Высокий пальцами отмерил на столе расстояние.

— Двадцать сантиметров! — Рогов покачал головой: куда как широко.

— Да там по прямой шагов восемь или девять всего,— успокоил его маленький.

Рогов снова представил себя там, наверху: нет, лучше без судей и без правил играть с канадцами.

Рогов допил чай и посмотрел на часы.

— Пора.— Он встал.

— Может, переночуете? — тихо и без всякой надежды спросил маленький, оба напряженно смотрели ему в лицо, ожидая ответа.

— Я вам кровать уступлю,— быстро сказал высокий.

Рогов почувствовал, как его разморило; клонило в сон, и не хотелось никуда ехать.

Он вышел на улицу, после тепла плечи и спину охватил озноб. Было темно, холодно, туманно, в тумане чернели ближние дома. Рогов крепко потер щеки, чтобы прогнать сон, потом завел мотор, оставил греться и вылез из машины.

Парни вышли его проводить. Теперь на них были теплые, ватные куртки с широкими монтажными поясами, к которым были приторочены каски,— рабочая одежда, как хоккеистов форма, делала мальчишек крупнее, чем они были на самом деле.

— До свидания,— сказал маленький.— Спасибо.

— И вам спасибо.— Рогов пожал им руки.

— Вы теперь в Канаду поедете? — спросил маленький.

— Поеду, если возьмут.

— Вас возьмут,— убежденно сказал маленький.

— Возьмут,— подтвердил высокий.

— Ну, раз вы так уверены...— улыбнулся Рогов.

— Хоть бы раз съездить...— мечтательно и печально сказал высокий.

Рогов сел в машину и тронулся с места. Потом остановился и открыл дверцу.

— Обещайте, что будете пристегиваться наверху. Обещаете?

Оба кивнули.

— Смотрите, вы слово дали.— Он захлопнул дверцу.

Рогов проехал по улице и выехал из поселка. В темноте он увидел над полем красные огни; отсюда не понять было, на какой они высоте.

Огни висели высоко в черном небе, и казалось, что они не связаны с землей, а горят сами по себе, как звезды.

Он подумал, что забыл отдать мальчишкам подарок, и огорчился.

Над лощинами стоял туман, но небо было чистым, и Рогов видел красные огни все время, пока ехал через поле. Он испытывал какую-то неловкость, смущение, но не отчетливо, а так, смутно, невнятно.

Он выехал на шоссе, прибавил скорость, машина понеслась, прорезая фарами темный воздух; в кабине играла музыка, было тепло и уютно. Теперь ему предстояло так ехать до самой Москвы.

1975

Свет на исходе дня

Единственной улицей протянулась деревня вдоль озера, избы смотрятся в воду, против каждой на мелководье мостки: стойкие, шаткие — какой где хозяин.

Озеро плоско лежит среди лугов, за лугами глухой, без просветов, бор; проселок, выбежав из деревни, канет в лесу и, сдавленный деревьями, уходит куда-то.

Ранним утром, когда лужи затянуты молодым льдом, а полуживая от холода трава взята инеем, по улице идет стадо. Тонкий лед ломается под копытами, над ним проступает вода. Коровье дыхание вырывается паром и взлетает облачками — по всей улице над течением спин плывут в холодном воздухе облака пара, как привязанные к рогам надувные шары.

Изо дня в день движется стадо по улице, огибает озеро и рассыпается по лугу. Изо дня в день, долгие годы.

В запотевших освещенных окнах двигаются неразличимые тени, над трубами поднимаются дымы, в них бегут, обгоняя друг друга, искры.

В одном из домов, как и в других, горела печь. Хозяйка появилась на пороге.

— Сима, скотину выгони,— сказала она.

Сима сидит на неметеном полу в длинном зимнем пальто, отслужившем давно срок,— полы прикрывают ноги — и смотрит в огонь. Лицо ее без выражения, глаза редко мигают, большие красные руки лежат на коленях. Она не шевельнулась и продолжает смотреть в огонь.

Хозяйка подошла к Симе и громко, раздраженно повторила:

— Не слышишь? Скотину выгони!

Сима молча встала — открылись босые ноги — пошла к двери. Потом она выпустила из хлева корову и двух овец и выгнала на улицу. Стадо уже прошло, удары кнута слышались в конце улицы. Сима взмахнула руками, издала

хриплый отрывистый звук и погнала корову и овец вдогонку.

Босыми ногами она ступала по мерзлой, белой траве, по окаменевшей за ночь грязи — торопилась за стадом, которое огибало озеро.

Она ходила босая до снега. Зимой носила на босу ногу большие стоптанные валенки, в них и спала, и сбрасывала, едва в первых проталинах открывалась земля. Другой обуви она не знала.

Местные привыкли, не удивлялись. Приезжие озадаченно смотрели, как она переставляет темно-багровые ноги, и скорбно спрашивали:

— Что ж, некому ей обувь купить?

— Да покупали,— отвечали деревенские.— И сестра покупала не раз, и люди давали... Не носит. Так ей вольней. А холода она не чувствует.

Сима пустила корову и овец в стадо и вернулась. Перед воротами она стала в лужу, обмыла ноги и пошла в дом. Сестра возилась у печи, взглянула мельком и ничего не сказала, Сима остановилась, посматривая на сестру и на ситцевую занавеску, отгораживающую часть комнаты.

— Не смотри, нечего тебе там делать,— сказала Варвара.

Сима покорно села на высокий порог и закрыла ноги ветхим пальто. Она сидела у низкой входной двери, обитой мешковиной, и смотрела перед собой так же непроницаемо, как раньше в огонь.

— Чем без дела сидеть, курей покорми,— сказала Варвара и протянула решето с остатками хлеба.

Сима вышла во двор и опрокинула решето. Со всех концов двора сбежались куры. Она смотрела на их возню.

Сестра была сегодня не в духе, Сима чувствовала это; она знала лишь отдельные слова — «иди», «дай», «возьми»...— и не понимала, о чем люди говорят между собой, но сразу, как зверь, постигала, кто из них добрый и кто злой.

Дверь за спиной у нее отворилась, с ведрами вышла сестра.

— Пошли,— сказала она и направилась на берег.

Сима пошла за ней.

На берегу против соседней избы плотники рубили баню. Расставив ноги, они брусили бревна; у свежего, в пояс высотой, сруба земля была усыпана белой щепой.

— Серафима, иди к нам, подсоби! — крикнул один из плотников, двое других разогнулись и с интересом смотрели.

Сима направилась к ним. Она всегда доверчиво делала то, что ей говорили, не понимая подвоха. Она уже прошла полпути, когда Варвара обернулась и кинулась за ней.

— Куда ж ты, дура?! — Она схватила Симу за руку и потащила за собой.— Кобели! — ругалась она под смех плотников.— Жеребцы стоялые! Холостить вас некому! Иди, иди, недоумка... Откуда ты взялась на мою голову?!

— Зря ты, Варвара,— сказал средний по возрасту плотник.— Симу твою можно вместо телеги приспособить, спина у нее во! — два бревна ляжет.

Пологим берегом сестры сошли к воде; озеро за ночь отступило, обнажив сырой песок: Варвара подала Симе ведро, а сама осталась стоять. Сима побрела по мелководью, пока вода не поднялась до пальто.

— Черпай! — крикнула Варвара.

Сима наполнила ведро и побрела назад. Она вышла на берег, остановилась и ждала, глядя на сестру.

— Что смотришь? Ставь, бери другое,— сказала Варвара.

С пустым ведром Сима снова побрела в воду.

— Что ж ты, Варя, в такой холод ее гонишь? — с упреком спросил старик плотник.— Зима на носу.

— Ничего ей не сделается, здоровей нас,— хмуро ответила Варвара.

— Здоровей-то здоровей... Только не сладко, поди, в такую воду лезть. Ты вон в сапогах и то не лезешь. Она смирная, ты ее и гонишь. Сестра ж все-таки...

— Она не чувствует,— пробормотала Варвара, отворачивая лицо.

Сима вышла из воды и без труда понесла оба ведра в дом. Варвара шла сзади.

— Вот сила в бабе,— сказал молодой плотник, глядя им вслед.

— Да ну, держит, как лошадь, в хозяйстве,— недовольно ответил старик, ловко стеганул топором по бревну и отщепил длинную ровную полосу.

Одну Симу по воду не пускали. Она любила смотреть, как ведро медленно наполняется и постепенно исчезает,— она смотрела и не двигалась: ее лицо, всегда одинаковое и неподвижное, странно оживало, в нем появлялся какой-

то непонятный интерес, тяжеловесное, медлительное любопытство.

Ведро тонуло — Сима продолжала неподвижно смотреть, не стараясь его удержать. Ей часто за это попадало, но она не менялась. Тогда сестра перестала отпускать ее одну.

Сима поставила ведра и села на пол перед печью, поджав ноги и укрыв их полами пальто. Она всегда сидела здесь, когда была дома. Никто не знал, какие мысли ворочаются у нее в голове, думает ли она или просто греется,— да и кому было до нее дело на земле, где и так каждому хватает забот.

Хлопнула дверь, сестра вышла в чулан. Сима тотчас поднялась, пересекла избу и тихо отвела ситцевую занавеску. На кровати разбросанно спал парень. Он лежал на боку, длинные ноги вразлет бежали куда-то, в его позе и в лице застыла спешка — улучил минутку, прикорнул и сейчас вскочит и кинется дальше. Он и спящий торопился, был не здесь, где-то далеко.

Это был Митя, сын хозяйки, Симин племянник.

Сима опустилась на пол перед кроватью и застыла; ее неподвижные глаза были преданно, по-собачьи, уставлены в лицо спящему; взгляд лежал плотно, как неумелая тяжелая рука.

Митя был знаменит в округе, его знали как отчаянного сердцееда. А прежде был безропотный, застенчивый мальчик, примерный ученик, тихоня. Неслышно бродил он вокруг села, рвал цветы и листочки, сушил, как учили в школе.

Когда в раздраженном состоянии духа мать отчитывала его, он безответно терпел, его уши горели от обиды.

Ругать его было несправедливо, он никогда не озорничал, и только нелегкая и неудачливая жизнь Варвары была причиной.

Митя никогда не оправдывался, покорно сносил материнский гнев и, забившись в укромное место, молча горевал про себя.

В Варваре росла досада на его безответность. «Что ты за мужик растешь, как ты мать защитишь?» — упрекала она его — он молчал, молчание травило ее, она облыжно придиралась к сыну, распаляясь до ярости, а потом плакала, и раскаяние едко точило ей сердце; она горячо целовала Митю, жалея его и себя и тоскуя.

В двенадцать лет Митя пристрастился к рыбной ловле. Он отправлялся с товарищами на соседнее рыбное озеро под Выселки. С удочками мальчики проходили край Выселок, сокращая путь. Шли быстро потому, что торопило нетерпение, и потому, что стереглись здешних мальчишек. И оттого, должно быть, в обостренном внимании Митя заметил в одном из крайних дворов женщину, которая неподвижно следила за ним, когда они проходили мимо. Митя несколько раз обернулся — она стояла и смотрела, он запомнил ее взгляд. И теперь часто, когда Митя ходил на озеро под Выселки, он видел у дороги внимательное лицо.

На озере он забывал о ней. После ловли они купались нагишом и, уже не боясь распугать рыбу, резвились в воде: разбегались с берега и прорезали воздух смуглыми телами, ярко сверкнув белыми ягодицами.

Однажды во время купания Митя заметил эту женщину в кустах на береговом пригорке: она неподвижно стояла и рассматривала его внимательно и неотрывно, как будто ощупывала. Ее глаза прошлись по нему, они встретились взглядами; она повернулась и легко пошла прочь. Он ничего не понял.

Митино лето неторопливо катилось по сочным, прохладным травам из зноя в светлые дожди и снова в пахучую солнечную дрему — миновало и отлетело.

В следующее лето все повторилось. За зиму он забыл о ней и с первой ловлей увидел на дороге. Она снова появилась на берегу, рассмотрела его и вроде бы отметила про себя что-то.

И это лето, и следующее, и еще одно прошли по душистым полуденным лугам, по заросшим лесным оврагам, отплескались в прозрачной озерной воде — чужая странная женщина появлялась обок Митиных тропок. Она как будто пасла его издали, отмечала в нем перемены и ждала чего-то.

В пятнадцатое лето он увидел ее ближе, почувствовал затаенный интерес к себе и неизвестно отчего смутился.

Митя был высок, худ, даже костляв, голос его уже сломался, но не окреп.

Он плавал, когда она появилась на берегу, но он не сразу ее заметил. Митя вдоволь накупался, замерз и поспешил на горячий песок. Глаза слепили от света. Солнце стояло высоко, озеро горело среди леса, как зеркало в траве. Сквозь капли воды на ресницах в переливающемся мокром блеске неожиданно возникло женское лицо.

Он вышел из воды и от неожиданности оцепенел: она стояла на песке перед кустами и внимательно смотрела на него. Он вдруг понял, что раздет.

Митя упал на мелководье лицом вниз, с незнакомой прежде яростью схватил со дна горсть мокрого песка и швырнул в нее. Она усмехнулась едва-едва, повернулась и ушла.

На обратном пути Митя отворачивался от ее дома так, словно в эту сторону ему и головы не повернуть.

И теперь он ее не забывал. Не раз приходили на память ее лицо и внимательный взгляд, стойко держались в мыслях и тянули на дорогу в Выселки.

В шестнадцатое лето случилось вот что.

Митя работал в колхозе на сенокосе. Целые дни верхом или спешившись Митя управлял лошадью, впряженной в сенную волокушу. Изгибающиеся по лугу рядки скошенной травы гладко взбегали на оструганные колья волокуши. По сторонам шли две девушки, Катя и Галя, и деревянными вилами подправляли травяной ручеек.

Когда набиралась копна, девушки упирались вилами в ее основание, Митя понукал лошадь, и та, дернув, вытаскивала волокушу — копна оставалась на земле. Длинные ряды копен тянулись через луг.

Сенной дух поднимался над землей, густел на жаре, кружил голову, забивал все запахи, и временами людям казалось, что и они отрываются от земли и, покачиваясь, плывут в душном аромате.

Первые дни были солнечные и веселые, девушки шутили, вгоняя Митю в краску.

— Митенька, не гони, не гони, родненький! — кричала Галя.

За ней вступала Катя:

— Сколько силушки накопил, какой мужичок поспел нам на радость!

Митя смущался и от смущения гнал лошадь — не раз они сбивались с ряда и теряли собранное сено, а девушки со смехом валились в развалившуюся копну, задирая ноги, которые и без того в коротких цветных платьях были все на виду; Митя конфузился еще больше.

В один из дней Митя, приехав поутру на луг, вспыхнул, едва кожа не загорелась: вместо Гали была та женщина из Выселок. Он долго не мог впрячь лошадь в волокушу, перепутал всю упряжь.

За лесом постукивал, тяжело перекатывался гром, небо там было не светлее леса.

— Дождик будет,— сказала за спиной у Мити Катя.

Женщина непонятно вздохнула, Митя и в этом вздохе почувствовал что-то для себя.

Они работали спокойно, без остановок и смеха, не то что в прежние дни, и не смотрели друг на друга, не говорили, но какое напряжение во всем теле, какая строгость, шея заболела — как бы не повернуться ненароком, не взглянуть случайно...

После полудня туча надвинулась, сразу стало темно, все вокруг застыло, и вдруг налетел ветер, и упали первые капли. Все, кто работал на лугу, с криками и смехом понеслись под копны — в них долго не смолкали стоны и визг. Только Митя остался среди луга, распряг лошадь и пустил пастись. Ударил и замолотил по земле дождь. Он напал на мальчика, вмиг промочил, но Митя не торопился, только горбил спину и втягивал голову в плечи.

— Митя...— услышал он из ближней копны.

Дарья глубоко зарылась в сено, только длинные голые ноги были подставлены дождю, копна нависала над ней, как пышная прическа. Он неподвижно стоял перед ней.

— Что мокнешь? — спросила она спокойно.— Иди сюда...

Он послушно пошел к ней, как к матери. Она втянула его в копну и посадила рядом. Дождь шуршал над ними, они не проронили ни слова; они смотрели на хлесткие струи, которые шарили вокруг и сбивались поодаль в сплошную пелену.

— Замерз? — спросила она.

Он не ответил, она прижала его рукой к боку, сквозь мокрую одежду он почувствовал ее тепло. Они молчали и не шевелились; спине было тепло и колко, спереди веяло дождевым холодом. Сидеть бы так и сидеть без времени.

Она подалась вперед и исподлобья глянула вверх.

— Не переждать,— сказала она.

Он молчал.

— Пошли.— Она встала, роняя сено, и подняла Митю за руку.

Он так же молча и покорно пошел за ней.

Они пришли к ней в дом; внутри было так опрятно, что Митя не решался переступить порог.

— Входи, входи,— позвала она, сбросила туфли и босая легко пошла по чистому, гладкому дощатому полу, оставляя узкие мокрые следы.

Он шагнул и остановился.

— Сейчас печь разожгем,— сказала она, посмотрела на него и впервые улыбнулась.— Я не съем тебя, проходи, садись...

Вскоре горела печь, треск поленьев сливался с шумом дождя. Митя сидел скованно, как будто вконец окоченел.

— Раздевайся,— сказала она.— Обсохни.

Он неловко стянул мокрую рубаху и застыл.

— Снимай, снимай,— сказала она, забирая рубаху и вешая перед печью.

Митя снял штаны и остался в трусах. Она повесила штаны и улыбнулась.

— Стесняешься? — Дарья подошла к кровати и отвернула край одеяла.— Ложись. Накройся и разденься.

Он сделал, как она сказала. Его одежда висела на бечевке перед печью, капли с раздельным, внятным стуком падали на пол.

Вскоре воздух прогрелся, в комнате стало тепло. Хозяйка гремела кастрюлями на кухне. Митя робко осмотрелся: такой чистоты в доме он не знал; в горнице даже пахло опрятно — чистыми, мытыми полами, свежим глаженым бельем... Славно попасть в такой дом, а в непогоду — вдвойне: приветливо, укромно... Потрескивала печь, дождь застил свет и прибавлял горнице уюта. Было в ней что-то спокойное, ласковое, как в хозяйке.

— Согрелся? — спросила она, внося дымящуюся тарелку.

Он кивнул, принимая тарелку щей и ложку, хозяйка, как больному, поставила у него за спиной подушку, чтобы он мог есть сидя.

— Наелся? — спросила она, когда он съел щи и мясо.

Он снова молча кивнул, она забрала у него тарелку и села рядом. Было слышно, как по двору бродит дождь. Волосы Дарьи пахли сеном, Митя замер и сидел скованно, опустив лицо.

— Тебе сколько лет? — спросила она.

— Шестнадцать...— ответил он едва слышно.

— Похож на отца,— сказала она, а он был так оглушен, что не услышал ее слов.

В тот день Варвара долго ждала Митю. Уже прошли все сроки, она не знала, что думать. Миновали сумерки,

настал вечер, непроницаемо слились озеро, луга и лес. Варвара чутко прислушивалась к деревенским звукам. Какая-то тревога, смутное предчувствие гложили ее, а Сима и вовсе вела себя непонятно, то и дело поднималась с пола и направлялась к двери, как будто что-то знала, как будто ей известно было, куда идти и где искать,— не удерживай ее Варвара, подалась бы бог знает куда.

— Пошли,— сказала Варвара сестре, когда ждать стало невмоготу.

Дождь уже стих, но было холодно и сыро. Они шли по деревне, стучась в каждый дом.

— Митю моего не видели? — спрашивала Варвара, а Сима неподвижно стояла в стороне.

Но никто Митю не видел. Уже отчаяние копилось в груди, подступало к горлу и рвалось наружу, когда встретилась им Катя.

— Его Дарья из Выселок к себе повела, дождь шел,— сказала девушка простодушно.

Что-то оборвалось в Варваре, она едва не опустилась на землю.

— Мы-ы-тя? — вопросительно промычала Сима — единственное слово, которое научилась говорить.

— Нет твоего Мити,— ответила ей Варвара, горько плача.

— Мы-ы-тя!..— настойчиво требовала Сима в непонятливом, тупом упрямстве.

В поздний сырой вечер сестры шли по разбухшей дороге. После дождя в лесу было тихо. Варвара часто останавливалась, прислушиваясь, не слышно ли голоса, и только по чмоканью грязи под босыми ногами сестры узнавала, что она в лесу не одна.

Иногда по вершинам деревьев пробегал ветер, и тогда лесной шум, как гул поезда, катился над головой.

Дорога вывела их на околицу Выселок. Темные дома таились среди деревьев и робко жались друг к другу; Выселки молчали, как будто притихли и ждали, что будет.

Сестры вошли во двор. Дом смотрел в кромешную ночь слепыми окнами, в темноте мерно и оглушительно падали в бочку с водой срывающиеся с крыши капли. И едва сестры приблизились к окну, как створка распахнулась и в черном проеме появилась Дарья.

— Пришли? — спросила она просто, точно встреча была назначена.— Тихо, спит он.

Она была в белой рубашке, голые руки лежали на подоконнике.

— Отпусти его,— плача, попросила Варвара.

— Отпущу,— тихо и покладисто согласилась Дарья.— Я ведь твоя должница, Варя, вот и отдаю должок.

Она исчезла, и сразу в глубине комнаты послышался ее тихий голос:

— Митенька, мама пришла, одевайся, голубчик...

Послышались шорохи, тихая возня и ласковый приглушенный голос Дарьи:

— Надевай, сухое уже... Так... штанишки... рубашечку...

Варвара уткнула лицо в ладони и глухо зарыдала.

Дверь отворилась, на крыльцо нескладно вышел сонный Митя.

— Получи, Варя, мужичка в готовом виде,— насмешливо сказала Дарья из окна.

— Мы-ы-тя! — замычала радостно Сима и засмеялась счастливо.— Мы-ы-тя! Мы-ы-тя! — ликовала она, а Варвара всхлипывала и стонала, как от боли.

Митя не знал, в чем его мать должница перед Дарьей. Но Варвара знала...

Когда-то увела она, что называется из-под венца, жениха у Дарьи. Увести увела, но не удержала, он канул однажды, как в воду,— по сей день.

Два дня Митя молчал, словно немой, подурнел, почернел лицом, два дня никуда не выходил, а когда Варвара по привычке вздумала его отчитать, сказал хмуро и твердо:

— Отвяжись.

Она едва не задохнулась от злости:

— Что?!

Но он не оробел, не потерялся, как прежде, а с той же хмуростью и твердостью сказал:

— Замолчи.

Она поняла: что-то переменилось.

Шла в нем скрытая напряженная работа, а потом вдруг он, как будто решился на что-то, встал и пошел к двери.

— Ты куда? — спросила Варвара. Он не ответил, она стала на его пути.— Куда?

Он сказал непреклонно:

— Отойди.

До нее одним ударом, одним острым уколом дошло: как было, не будет, вся их жизнь теперь переломится.

Митя не раз и не два уходил по известной дороге, петлял и слонялся вокруг Выселок,— две деревни насмешничали: «Была у Варвары одна полоумная, теперь двое...»

Он весь высох, тосковал отчаянно, Варвара боялась, не заболел бы... Хоть сама иди к Дарье, проси угомонить мальчишку. Полной мерой отдавала ей Дарья долг.

В один из дней Митя снова направился в Выселки. Он дошел до обычного предела, но не свернул, не побрел потерянно в сторону. Напряженный от борьбы, страха и решимости, он шел к знакомому дому. Он шел бледный и оцепенелый,— повернуть бы, убежать,— но он уже переступил себя, взнуздал на первый взрослый поступок — и скованно шел с холодом в груди.

Он приблизился к дому, взошел на крыльцо — дверь открылась. На грани полумрака и света стояла Дарья.

— Ты куда? — спросила она легко и улыбчиво, как будто на мгновение оторвалась от приятного занятия. Он остановился и молчал.— Куда, Митенька?

Он молчал, губы его вздрагивали.

— К тебе,— сказал он хрипло и кашлянул, стараясь очистить осипший от волнения голос.

— Ко-о мне? — живо пропела она и глянула на него с веселым удивлением.— А что это ты, дружок, мне «ты» говоришь? Я ведь постарше тебя, а?

Он хмурился, стремительно краснея, а она насмешливо заглядывала в лицо.

— В гости? — И снова усмехнулась легко и ласково.— А ведь я не звала тебя в гости.

Он топтался перед ней, и было заметно, как тянет его убежать или даже заплакать. Но победило что-то новое, что проснулось в нем в эти дни.

— А тогда? — спросил он все еще сипло и скованно.

— Тогда? — повторила она.— Тогда я позвала тебя, а сейчас не зову,— объяснила она ему ласково, как маленькому.— Да и видишь, как мама тогда испугалась. Иди домой...

— Я сам знаю, что делать,— сказал он угрюмо.

— Знаешь? Нет, Митенька, пока еще не знаешь. Потом, может, и узнаешь, а пока — нет. Иди.

— Не пойду.

— Ну, ну, не упрямься... иди.

— Сказал — не пойду!

— Что ж, так и будешь стоять? — засмеялась она.— Ну, стой...

Дверь закрылась, легкие шаги потерялись в глубине дома. Митя не двигался. Сердце его колотилось, как после бега. Вокруг было тихо, точно все дома и жители умолкли, смотрели и ждали.

Он тронул дверь, она скрипнула, поехала внутрь, в полумрак, но скрип, словно привязью, сразу же явил Дарью.

— Ты что? — спросила она с легкой строгостью и недоумением.— Иди, я тебе все сказала, не напрашивайся.

Она коснулась его ладонью, обозначив запрет. Митя дернулся и отстранился. Дарья засмеялась:

— Не брыкайся, мал еще.

— Я не мал,— ответил ей Митя. Голос его очистился и звучал зло и ломко.

— Мал, мал, подрасти... Ишь ты, нужда вздернула! Успеешь еще мужского хлеба наесться, вся жизнь впереди, баб на твой век хватит.

Она хотела снова закрыть дверь, но неожиданно для себя самого Митя протянул руку и не пустил. Дарья даже не сразу поняла, что мешает.

— Ты куда пришел?! — спросила она рассерженно.— Тебе еще в игры с мальчишками играть, а ты себя мужиком вздумал?! А ну, пусти! — Она с силой захлопнула дверь.

Он ткнулся было вперед, но внутри так же рассерженно стукнула щеколда.

Митя бешено ударил кулаком в дверь, пнул ногой и озирался в лихорадке. На глаза попалась большая кадка с дождевой водой, он метнулся к ней, с неизвестной прежде силой рванул и опрокинул — вода хлынула, обдав его по пояс.

В окне показалась Дарья. Она стояла, скрестив руки, и смотрела внимательно и спокойно, с некоторой печалью. Митя рванулся к поленнице дров, сложенной во дворе, схватил полено и пустил в окно, где стояла Дарья. Полено ударило в переплет рамы, зазвенели и осыпались стекла. Дарья вздрогнула, отступила, но не произнесла ни слова и смотрела все так же внимательно и спокойно. Он схватил второе полено и бросил в другое окно. Снова зазвенели стекла, а Митя толкнул всю поленницу, накренил, упираясь ногами, и с грохотом обрушил. Потом, мокрый, усыпанный дровяной пылью, бросился прочь.

Скоро его узнали в окрестных деревнях. Вечерами или среди ночи он тихонько стучался то к одинокой женщине,

то к мужней жене, у которой муж работал на стороне. Даже в ненастье, когда и плохой хозяин жалеет выпустить собаку, Митя шастал по округе.

В школу он больше не пошел. Сколько ни упрашивала его мать, сколько ни плакала — не помогло. Митя пошел слесарем в колхозные мастерские.

После работы он приходил домой, наскоро ел, переодевался в свой первый в жизни костюм и уходил. Варвара уже смирилась и только жалобно просила:

— Не поздно, сынок...

Не пустить его она уже не могла. Митя стал диким и злым, как лесной кот, в ярости бледнел, натягивался, точно струна.

«В отца»,— думала Варвара и старалась не сердить сына, чтобы и он однажды не канул бесследно.

С него могло стать. В гневе он подбирался весь, стискивал зубы и почти что впадал в беспамятство,— любой отступал: мало ли... Даже начальство на работе старалось не гладить его против шерсти.

Как-то новый молодой и бравый мастер приказал ему что-то. Митя работал за верстаком и, не оборачиваясь, сказал:

— А пошел ты...

— Что-что?! — удивленно переспросил мастер и двумя пальцами потянул его за рукав.— Ну-ка, повтори...

Митя удобно взялся за разводной ключ.

— Хочешь, дырку в голове сделаю?

Мите не дали премию, но работать было некому, и тем обошлось.

Вечерами Варвара не находила себе места. Митю не раз били. Бывало, разбитого в кровь, его приводили чужие люди, но чаще он сам кое-как, насилу, добирался до дома. И все же он не менялся, оклемается — и за свое.

Случалось, Митю ловили и на горячем.

Шофер Степан Хомутов, здоровенный малый, отсидевший два года за пьяную драку в столовой райцентра, регулярно приезжал с грузом в сельпо и всегда ночевал у Дуняши, веселой пышной продавщицы, разведенной с мужем лет семь назад.

Расписание поездок было постоянное, но однажды Степан приехал в неурочный день. Он поставил машину, как всегда, у ворот и направился в дом. Дверь была заперта, окна плотно завешены. Степан обогнул дом: с другой сто-

роны был вход в магазин. Но и там никого не было, висел замок. Степан прошелся по двору, заглянул в сарай — Дуняши нигде не было.

Раздосадованный Степан слонялся вокруг и вдруг увидел, как от дома к забору метнулся кто-то. Он тут же решил, что в магазин забрались, и, срезая угол, огородом кинулся к забору.

Человек с разбега вскинул руки на доски, подпрыгнул, наваливаясь животом на край, и занес ногу.

Степан рванулся и, падая вперед, успел поймать беглеца за ногу.

— Ах ты падло! — прорычал Хомутов, стаскивая человека с забора.— От меня не уйдешь!

Человек молча отбивался свободной ногой, но против Степана был слаб, Хомутов свалил его на землю, подмял под себя и, тяжело дыша, прерывисто матерясь, сжал железными руками.

— Пусти, сволочь,— глухо произнес человек под ним.

Степан от такого нахальства забыл материться.

— Я тебе пущу...— произнес он угрожающе.— Ты у меня узнаешь, как в магазин лазить!

— Нужен мне твой магазин...

— А что ж ты там делал?!

— Да пусти ты меня! — рванулся человек.— Тоже мне хозяин! Ты сам-то кто здесь?!

Не очень находчивый, Степан растерялся:

— Как кто?! Я... товар вожу...

— Ну и вози!

— А ну-ка, встань, я на тебя погляжу,— приказал Степан и поставил незнакомца.

Тот поднял лицо, Степан узнал Митю.

— Ты, малец? Что это ты здесь делаешь? — с удивлением, смешанным со злостью, спросил Степан.

— А ты что? — дерзко спросил Митя.

— Как что? — растерялся Степан, и вдруг догадка осенила его.— Ну-ка, пойдем,— предложил он, поворачивая в сторону дома.

— А на кой мне? — спросил Митя.

— Пойдем, пойдем...

— Мне там делать нечего, я товар не вожу. Это у тебя там дела.

— Да иди ты! — рявкнул Степан, схватил Митю и впереди себя, как бульдозер, погнал к дому.

— Пусти, гад, сволочь лагерная! Пусти!..— вырывался Митя, бросаясь в стороны, но «бульдозер» неумолимо толкал его к дому.

Дверь была закрыта, Степан стукнул кулаком, как молотом:

— Отвори!

Зашлепали босые ноги, приблизились к двери.

— Кто там? — невинно произнесла за дверью Дуняша.

— Открывай! — приказал Степан, держа Митю.

Дверь приоткрылась, Дуняша стояла в длинной белой рубахе, покрытая большим платком.

— А-а, Степан, я и не думала, что ты,— ласково сказала она и повернула назад, оставив дверь открытой.

Хомутов втолкнул Митю и, как щенка, поставил у порога.

— У тебя был, сука?

Дуняша обернулась и засмеялась:

— Кто, этот? Вот еще, Степа, выдумаешь...

— Отсюда шел!

— Мало ли кто под окнами шастает. У меня на дворе сторожей нет.

— Смотри, Дунька!..

— Что мне смотреть, я и так смотрю. А врываться с выражениями да еще тащить кого-то, поищи другую.

Степан повернулся и выволок Митю во двор. Потом сорвал с него брюки так, что посыпались пуговицы, одной рукой стянул с себя ремень, удерживая другой вырывающегося Митю, разложил его на широкой колоде и, припечатав рукой и коленом, стал пороть. Тоже неистовый был мужик.

У Мити бежали слезы. Он ругался, как никогда в жизни, и рвался, но тяжесть прижимала его такая, что отклеиться от колоды он не мог, только ерзал на месте, плача от бессилия.

— Вот так, щенок,— сказал Степан, вставая и заправляя ремень в брюки.— И чтоб в эту сторону и смотреть забыл.

— Все, шоферюга, ты от меня имеешь,— глотая слезы, сказал Митя.

Он схватил полено и бросился с ним на Степана. Тот отступил, потом вцепился в Митю и сжал его вместе с поленом.

— Тебе мало? — спросил Степан, стягивая в кулак Митину рубаху и бросая его к воротам.

Он вытащил Митю на улицу и швырнул на землю. Стукнула калитка, Митя остался один. В глубине двора заскрипела и хлопнула дверь, и стало тихо.

Боли Митя не чувствовал, только горело и чесалось все тело и мучал стыд. Еще ни разу, в самую жестокую трепку, его так не унижали, от стыда он не знал, куда деться.

Поблизости никого не было. Митя осмотрелся и, утерев лицо, скользнул узким проходом за избы и огороды. Он зарылся в душную копну, сжался и затих.

Он лежал неподвижно несколько часов, картины мести одна ужаснее другой проходили у него перед глазами.

Стороной в деревню с мычанием пробрело стадо. Темнело, сумерки густели, переходили в вечер. Гасли нешумные деревенские звуки, далеко за домами на берегу озера сбивчиво наигрывала гармонь. Потом и она стихла, и настала полная тишина. Митя подождал немного и выбрался из укрытия.

Прислушиваясь, он осторожно вышел на улицу. Было пусто. Свет горящих окон освещал машину Степана; Митя подкрался и заглянул в кабину: повезло, ключи торчали. Не будь их, пришлось бы идти домой, подбирать другие.

Митя осторожно открыл дверцу и сел на сиденье. Потом осмотрелся, нет ли кого. Никого не было. Из открытых окон соседних домов доносились неясные голоса, и оглушительно бухало в груди собственное сердце.

Он проверил все в кабине и нажал стартер. Мотор всхлипнул, набирая дыхание, и смолк; стоило большого труда не выскочить и не удрать. Сжав зубы и чувствуя в груди холод, Митя нажал еще раз и с облегчением услышал рокот мотора.

«Порядок»,— подумал он, тронул машину с места и уже на ходу захлопнул дверцу.

Из ворот выскочил голый по пояс, в одних брюках и босой Степан.

— Стой! — закричал он на всю деревню.— Стой!

Увесистые, как булыжники, ругательства полетели по улице вслед машине. Степан рванулся бежать, но было поздно: машина пронеслась мимо домов, вылетела за деревню и исчезла в лесу. Только вой мотора некоторое время доносился оттуда. Потом и он исчез.

Степан стоял возле чужого забора и матерился. Из окон высунулись люди, кто-то вышел на улицу, голоса перекликались от избы к избе.

— Угнал,— повторял Степан.— Митька угнал, подлец.

Люди подходили, негромко переговаривались, узнавая, в чем дело.

— Непутевый малый, плохо кончит,— сходились соседи на одном.

Митя гнал машину по лесу. Деревья вплотную подступали к узкой дороге и в свете фар бежали мимо сплошным забором.

«Хорошо идет,— думал Митя о машине,— следил, гад... Ничего, я тебе устрою...»

Он пронесся пятнадцать километров и свернул на глухую просеку. Поблизости находилось небольшое лесное озерко с цветущей стоялой водой. Машина выла и скрипела, тужась без дороги, вокруг метались кусты и деревья.

Берег был болотистый, вязкий, передние колеса сразу мягко подались вниз. Яркие фары осветили затянутое ряской озеро, от радиатора машины расходились волны.

Митя проехал вперед, машина круто наклонилась, мотор заглох. Вода подступала к самой кабине.

— Так...— сказал Митя и открыл дверцу.

Он вылез на крыло и поднял капот, потом стал на ощупь вывинчивать детали — мотор он знал хорошо.

Вынув деталь, Митя размахивался и бросал ее в воду; всплески нарушали тишину. Погасли фары, наступила полная темнота. Митя столкнул в воду сиденье, оно тяжело ухнуло, подняв брызги.

— Ты меня запомнишь,— пробормотал Митя.

Под конец он выдернул ключ зажигания, на котором висел брелок, и с силой пустил его подальше. С одиноким всплеском он упал где-то в темноте.

«Все»,— подумал Митя. Он вылез в кузов и с заднего борта прыгнул на берег. Земля чавкнула, обдав Митю грязью.

Он долго шел по ночному лесу, вернулся поздней ночью. Деревня спала, он обогнул ее стороной и огородом подкрался к дому. Все было спокойно, тихо. Он осторожно вошел и закрыл за собой дверь на засов.

— Дунькин Степан приходил,— лежа в темноте на кровати, бессонно сказала Варвара.— Грозился...

— Я знаю,— ответил Митя.

— Что ты натворил?

— Ничего, спи.

— Кабы беды не было, он сидел, у него вся кожа в наколках.

— Ничего не будет, спи.

— Боюсь я за тебя...
— Не бойся.
— Ох, когда это кончится...— тяжело вздохнула Варвара и умолкла.
Митя не раздеваясь лег на свою кровать за занавеской.
Едва рассвело, раздался стук в дверь. Варвара испуганно вскинулась и, сидя на кровати, тревожно спросила:
— Кто там?
— Я. Степан.
— Чего тебе?
— Митька пришел?
— Отвори ему,— сказал Митя.
— Нет, что ты, он бешеный.
— Ничего, отвори.
— Он убьет тебя!
— Не убьет.
— Открывай! — дико крикнул Степан, ударяя кулаком.— Дверь высажу!
Варвара робко подошла к двери и оттянула засов.
Степан рванул дверь и остановился. Посреди избы, рассекая ее почти до потолка, выпрямившись, стоял Митя с топором в руке.
— Где машина? — медленно спросил Степан с порога.
— Ищи,— ответил Митя.
Степан выругался и сказал:
— Ты же срок получишь.
— Не твоя забота.
— Ты угнал мою машину!
— Докажи.
— Доказывать не надо — ты!
— Кто видел?
— Вся деревня знает. Кроме тебя, некому.
— Кто видел?
— Я тебе голову откручу!
— Попробуй.
Степан посмотрел на топор:
— Брось. За это знаешь...
— Знаю.
— Ты же сядешь...
— Ты сам сюда пришел.
— Отберу — руки переломаю.
— Отбирай.

Степан посмотрел долгим взглядом Мите в лицо и понял: убьет, не дрогнет. Он знал в тюрьме таких, кого и отпетые рецидивисты не трогали.

— Ладно,— сказал Степан, повернулся и вышел.

Машину он нашел на другой день, и только через три дня ее вытащил трактор. Потом на буксире отправили в район. Больше Степан никому не сказал ни слова. Вся деревня понимала, что-то здесь кроется, но что, никто не знал. А веселая Дуняша никак не могла взять в толк, почему Митя не выдал ее Степану.

Но Митя никогда никого не выдавал, не хвастал победами, все хранил про себя.

Постепенно все узнали — с ним лучше не связываться. Каждый сразу чуял: этот пойдет до конца. Даже взрослые, крепкие мужики остерегались:

— Он же спяченный... Зря, что ли, тетка у него полоумная? Ну его к черту, еще пырнет...

Было и это.

На восемнадцатом году отправился Митя за три села на танцы. Среди веселья подошли к нему двое местных, подышали с двух сторон бражным духом и спросили:

— Ты, говорят, орел?

— Ходок, говорят, первый на район? К нашим подбираешься?

Митя посмотрел по сторонам: гремела радиола, в густой пыли шаркали подошвы. Среди многолюдья он был один.

— Пойдем, поговорим? — предложили местные.

Митя все знал наперед, но отказаться ему не позволяла гордость. Он снял руки с испуганной партнерши, бросил ее посреди площадки и пошел в сторону.

Он шел и чувствовал, как где-то в глубине появляется злость, поднимается сильными толчками и устремляется тугими сгустками в голову. Вдруг здесь, сейчас его мучительно потянуло в чистую горницу с гладкими крашеными прохладными полами и опрятным запахом — укрыться бы там от всех в надежном убежище,— он увидел ее так отчетливо, что даже больно стало, и так же невыносимо он почувствовал, как надоело все ему — до смерти, насквозь,— хоть сейчас под нож.

Провожаемые серьезными взглядами, они шли среди танцующих; все вокруг поняли вдруг страшную, откровенную неумолимость их движения, сторонились и давали дорогу.

Они пересекли улицу и задами вышли к большому амбару. Здесь было пусто, просторно, тихо; кротко горел закат, дальний лес зубчато отрезал ломоть солнца. И только там, откуда они шли, за домами и огородами, дико, как в издевке, выла радиола.

Они подошли к амбару, местные затоптались, не зная, с чего начать. Митя стал спиной к бревенчатой стене.

— У тебя нож есть? — спросил он у одного.

Тот растерянно посмотрел на товарища.

— Нет? Тогда возьми мой.— Митя вынул свою финку с наборной разноцветной рукояткой, сработанную им самим в мастерских, и сунул парню в руку.

Парень оторопело и неловко зажал нож в руке.

— Бей,— сказал Митя, расстегнул верхнюю пуговицу и подставил грудь.

Парень испуганно оглянулся. Его товарищ стоял немного сзади. Медный закатный свет растекся по земле и окрасил копны; тень амбара рассекла второго парня пополам, один глаз его светился на солнце, другой скрадывала тень.

— Ты что?! — спросил второй.

— Отдай ему,— сказал Митя и мотнул головой на второго.

Первый послушно отдал нож товарищу и отступил назад.

— Да ты что?! — повторил тот, что держал теперь нож.

— Бей,— предложил снова Митя, выставляя вперед грудь.

— Мы ведь так...— вставил первый.

— Так?! А я не так! — сказал Митя, вздрагивая от ярости.

— Мы поговорить хотели,— сказал тот, что держал нож.

«А-а, пропади все оно пропадом»,— подумал Митя и срывающимся от ненависти голосом сказал:

— Не можете?! Ну, так я могу!

Он выхватил у парня нож и тут же сунул его назад.

Парень взвизгнул, смолк и в ужасе посмотрел на Митю. Потом бережно приложил ладонь к боку, подержал и отпустил — пальцы и ладонь стали красными.

— Кровь...— недоверчиво проговорил второй.

Несколько капель, вспыхнув, повисли на пальцах — все трое неотрывно смотрели на них,— капли упали, пропитав землю, и оставили на ней аккуратные темные кружочки.

Раненый, опустив голову, с медлительным любопытством рассматривал кровь. Митя и второй парень тоже не двигались и смотрели оцепенело.

— Ты меня убить мог,— капризно сказал раненый.

Второй вдруг сорвался и побежал. Раненый повернулся и медленно побрел за ним, изогнувшись и прижимая ладонь к боку; кровь пропитала рубаху и брюки, тонкие струйки сочились между пальцами.

«Все. Теперь конец»,— подумал Митя устало.

Ему захотелось забиться в тесное укромное место, лечь, накрыться с головой, сжаться и застыть.

Он медленно шел по лугу, держа нож в руке, не догадываясь спрятать его или выбросить. За спиной, за домами и огородами по-прежнему надрывалась радиола и как бы в насмешку вопила вслед.

Митя без дороги вошел в лес. Начинались летние сумерки, под деревьями стемнело, над лесом и на открытых местах было еще светло.

Он шел, ни о чем не думая, на память приходили какие-то слова, чьи-то лица, мимолетно он пожалел мать, но шел он не домой, и все, что он мог сейчас, это брести по лесу и ни о чем не думать. Иначе бы взвыть, кататься по земле...

Постепенно стемнело. Митя не боялся ночного леса, сколько раз возвращался со свиданий, сколько раз бродил в ожидании,— в лесу ему было спокойнее, чем в деревне. И сейчас торопиться бы беззаботно в гости или весело возвращаться бы, шагая по лесу, как по своему дому,— он всем телом и кожей всегда ощущал защитную глушь окрестных лесов. Вот и нынче, кажется, никому не достать его, не найти,— но одна мысль давила его неодолимой тяжестью и студила ледяным холодом: сколько осталось ему быть на воле?

Запах дыма, ленивый собачий лай и отдаленные женские голоса выдали в лесу деревню. Тихо и неторопливо жила она посреди вечернего леса и тронула сейчас Митю покоем и прочной безопасностью, поскребла по душе сладким щемлением летней деревенской глуши. И все это уходило надолго, может быть — навсегда.

Митя не знал еще, что именно такие вечера вспоминаются потом вдали от родины, по ним ноет и болит грудь,— не знал, но сейчас в ожидании неизбежной и строгой разлуки угадал что-то от этого чувства, хотя его давно уже манили и влекли грохот и спешка большого мира.

Выселки, казалось, были забыты всеми на земле. Укрыться бы здесь, притихнуть, отлежаться. Чтобы тишина и никого... Но нет, поздно, наверное, уже рыщет погоня, и скоро встанут за спиной конвоиры.

За деревьями уютно открылись деревенские огни. Выселки спокойно коротали вечер, ничто здесь никому не грозило, не стерегло,— пронзительно и остро Митя завидовал сейчас всем, кто был в домах и ни о чем не тревожился. Но легче не было от деревенского покоя, а стало холодно и страшно. Спиной, кожей, всем телом он чувствовал неотвратимую опасность — ближе, ближе,— и ни избавиться, ни скрыться.

Таясь, он огородами пробрался к знакомому двору, подкрался к окнам и постучал.

— Кто там? — раздался спокойный голос Дарьи. Она подошла к окну, но никого не увидела.— Кто там? — повторила она.

— Это я,— тихо сказал Митя.

— А-а, что ж хоронишься?

— Я человека убил,— ответил он.

Она посмотрела внимательно и впервые с того дождливого дня сказала:

— Войди.

Митя вошел в горницу. Дарья закрыла за ним дверь — стукнула щеколда, Мите на мгновение почудилось, что он в безопасности.

Снова он был в заветном доме, второй раз — пораньше бы или вообще ни разу.

Он сел к столу.

— Это ты меня довела,— сказал Митя.

Она молча стояла перед ним, сложив руки на горле. Два года прошло после того летнего дождя в сенокос, перед ней сидел другой человек.

— Меня уже ищут, наверное,— сказал он, прислушиваясь.

Но в деревне было тихо.

Дарья подошла к нему наклонилась и поцеловала.

— Если тебя будут брать, пусть у меня,— сказала она, крепко обнимая его.

Варвара уже знала, в чем дело, ей рассказали деревенские, бывшие на танцах. Выслушав, она обессиленно села на лавку, не кричала, не плакала, окаменела и сидела, как неживая.

Сима долго и неподвижно смотрела в гаснущую печь. Пламя увяло, Сима оглянулась.

— Мы-ы-тя...— произнесла она с большим трудом.

Ей никто не ответил. Твердая, отчетливая тишина стояла в доме.

— Мы-ы-тя...— повторила она, и звук остался в тишине, как брошенный и вдруг повисший в пустоте предмет.

Варвара сидела не двигаясь и невидяще смотрела перед собой.

Сима встала и побрела к двери. Ее никто не удерживал. Она вышла за ворота, прошла несколько шагов вдоль забора и вошла в соседний двор. Босыми ногами она бесшумно поднялась на крыльцо и неслышно вошла в сени.

Вся соседская семья мирно сидела за столом под красным абажуром, когда вдруг распахнулась дверь, на пороге возникло и столбом застыло длинное пальто.

— Мы-ы-тя! — натужно прокричала Сима, как будто бросила в избу кирпич.

Все вздрогнули, а дети сжались и вцепились в стол.

— Фу ты, черт! — выругался хозяин.— Носит же образину! Нет твоего Мити, вали отсюда!

Сима повернулась и бесшумно исчезла в темноте.

Она прошла всю деревню, и дорога, как поводырь, ввела ее в лес.

Не было видно ни зги. В кромешной темноте она бесшумно брела лесом, и даже крепкий мужик, натолкнись сейчас на нее, мог бы пропасть от разрыва сердца.

Ни огонька, ни звука не было на этой дороге. Где-то железом гремела жизнь, не зная ни дня, ни ночи, здесь же даже смельчаку и сорвиголове бывала тревожна эта дорога в одиночку, но Сима не понимала страха — она в лесу была одним из его деревьев.

Выселки уже спали. Дарья и Митя в чутком ожидании лежали на кровати, прислушиваясь к шорохам. Они вместе услышали, как снаружи кто-то тронул и потянул дверь, и напряглись.

— Пришли,— замерев, прошептал Митя.

Был он сейчас маленьким робким мальчиком и ждал от Дарьи защиты.

Дарья поцеловала его и прошептала:

— Не бойся, я пойду с тобой.— Она встала, оттянула щеколду и сказала:— Входите.

Но никого не было. Потом дверь медленно отворилась, со двора потянуло ночной свежестью, и на пороге возник-

ла темная, неясная фигура. Дарья зажгла свет. В дверном проеме стояла и слепо щурилась Сима.

— Мы-ы-тя! — промычала она радостно.

Это было так неожиданно, что до первых слов прошло много времени.

— Как она нашла? — спросил Митя.

— Она была тогда здесь,— ответила Дарья.— С матерью...

— Никто не знает, что я здесь. Откуда она узнала?

— Спроси, приходили за тобой?

— Она не ответит. Она ничего не понимает.

— Сима,— громко и раздельно сказала Дарья,— за Митей приходили? Кто-нибудь домой приходил?

— Мы-ы-тя...— улыбаясь, промычала Сима.

— Сима, слушай... Я спрашиваю: за Митей приходили?! К вам, к вам домой! — еще громче и медленнее спросила Дарья.

Но Сима продолжала тупо улыбаться и повторила:

— Мы-ы-тя...

Дарья покачала головой.

— От нее ничего не добьешься.

— Она такая с рождения.

— Как только она нашла? — задумчиво спросила Дарья, внимательно глядя на Симу, на ее босые ноги.— Что-то она чувствует, мы не понимаем. Старухи раньше говорили: убогие — божьи люди.

Они смотрели на нее, догадываясь, что кроется во всем этом какая-то загадка, которую им не раскрыть. Было ли у нее некое тайное чутье, неведомое прочим людям, или еще что — узнать они не могли.

Неожиданно Сима опустилась на пол перед кроватью, прикрыла ноги полами пальто, как делала это дома, и уставилась на Митю. Дарья присела у стола. Долгая тишина установилась в горнице.

— Что будем делать? — спросила Дарья, когда сидеть уже было невмоготу.

— Не знаю,— ответил Митя.

— Придется идти домой, мать, наверное, с ума сходит,— медленно произнесла Дарья. Он посмотрел на нее.— Вместе пойдем,— добавила она.

Варвара неподвижно сидела на прежнем месте. Она не удивилась, увидев Дарью, ничего не сказала, только заплакала, оттаивая.

Они сидели все вместе и ждали, как на возале. Только к утру их сморила тяжелая дрема.

Проснувшись, они удивились, что находятся здесь все вместе, но вспомнили причину и удивились, что никто не пришел.

Митю не взяли. Обошлось. Нож скользнул краем под рубаху и не вошел, лезвием рассек кожу на боку; парень не заявил, в деревне поговорили и умолкли.

Митя вскоре отправился в ту деревню, разыскал парня, и они вместе напились в старой бане за огородом, а потом вышли в обнимку и, поддерживая друг друга, нетвердо побрели по улице, горланя песню.

Ночевал Митя теперь всегда дома. И не потому, что его не оставляли на ночь или он сам не хотел. Если он долго не возвращался, Сима поднималась с полу и уходила из избы. Она неслышно брела в темноте, подходила к чужому дому и молча садилась на крыльцо. Никто не понимал, как она узнает, что Митя здесь. Но Сима ни разу не ошиблась.

Подойдя к дому, она не стучала в дверь, не звала Митю — просто садилась на крыльцо и ждала. Как ни хоронился Митя, она всегда находила дом, в котором он был, и молча стерегла его под дверьми, могла прождать ночь.

И Митя не выдерживал, выходил и, ругаясь, шел домой.

— Пропади ты пропадом! — говорил он, ежась после тепла.— Ну что ты за мной ходишь, дура?! Нянька нашлась! Своего ума нет, другим жить не даешь. Как ты меня находишь, хотел бы я знать? Настоящая ищейка! Тебя бы в милицию вместо собаки!..

Сима молча шла следом, пока не приводила его домой.

Иногда она улучала минутку, пока Варвара хлопотала по хозяйству, тихо отводила занавеску, за которой спал Митя, садилась на пол перед кроватью и смотрела на спящего.

Это бывало утром, на рассвете, и под вечер, когда в полумраке все выглядит иначе, чем днем,— причудливо и странно, хотя на самом деле кто знает, в какое время человек виден отчетливей, на свету или впотьмах?

Но, говорят, на склоне ночи, под утро и вечером, в сумерках, душа понятней чужому взгляду. Правда, не всякому, не любому — нужен особый дар. И если дано, она откроется на исходе дня полней, чем днем.

Так говорят, хотя многие верят лишь в ясный свет полдня.

Сима сидит на полу, ее преданный взгляд плотно лежит на Митином лице, как тяжелая, грубая рука.

Митя от взгляда просыпается. Веки его разомкнулись, он потянулся. И, встретив близко неподвижные глаза, вздрагивает.— Опять вперилась! Мать! — кричит он требовательно.— Что пустила эту заразу?! Спать не дает!

Сима поднимается, отходит к печи и садится на пол.

Осенью Митю возьмут в армию. Кто знает, кем он станет,— кем-то станет, дороги открыты — выбирай. Одно известно: в деревню он не вернется — мир большой...

Долгими туманными вечерами Сима будет ходить от дома к дому, подходить к светящимся окнам и неразборчиво мычать: «Мы-ы-тя...» — единственное слово, которое научилась говорить.

Хозяева уже знают, это повторяется каждый вечер, и никто не выходит. Только изредка какая-нибудь сердобольная старушка пожалеет убогую, высунется в приоткрытую дверь и скажет:

— Нет твоего Мити...

Дома Сима будет подолгу сидеть перед печью, иногда встанет, заглянет за занавеску, где стоит пустая кровать, хотя сестра повторяет каждый день:

— Нет Мити, уехал...

Но Сима по-прежнему будет заглядывать за занавеску и ходить по домам.

Дарья тоже не станет жить в Выселках, уедет, и след ее затеряется в далекой стороне. Симу будет встречать мертвый дом, заколоченный старыми досками...

Но это потом, позже, не скоро, а пока Митя пришел рано, включил телевизор, который показывает хоккей из Канады, и гул и волнение далекой страны, пролетев полмира, попадают в избу.

Сима сидит на полу, смотрит на экран и рассеянно, неизвестно чему улыбается.

1976

Повести



Звезда Алькор

Среди живых на земле его уже не было. Сознание существовало вне тела — в сумерках, в необъятном пространстве, мерцало едва, как слабая свеча в ночной пустыне.

Из сумеречной пустоты отрезанно, сами по себе, являлись тусклые видения, бессвязные слова, протяжные угасающие звуки.

Иногда глухо доносилась неразборчивая речь и то ли смех, то ли плач — в темноте, рядом и в то же время далеко, не понять где; временами возникали переменчивые, призрачные огни, блеклые колеблющиеся тени.

Последнее, что он помнил, была страшная тряска — кто-то могучий вытрясал из него душу, и удалось, вытряс: набежали росшие на склоне деревья, выросли в мгновение ока и оказались у самых глаз. Машина ударилась о черные стволы, перевернулась и замерла.

Жизнь едва теплилась в нем, сам он об этом не знал. Душа его парила в темноте над ним, прощаясь с телом и как бы пребывая в последнем мучительном сомнении — то ли остаться, то ли улететь?

По размышлении на третьи сутки она вернулась.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Детства Жвахин не помнил. Вернее, не вспоминал, не было нужды. И забыл постепенно, выветрилось из памяти день за днем.

Жвахин помнил свою жизнь с той поры, как отец с матерью разошлись: неделю чувствовал себя беззащитным — на морозе в одной рубахе,— потом решил, что врозь родители ему ни к чему, и повзрослел сразу, сам определил себя взрослым.

По этой причине школу кончать он не стал, хотя оставался всего год, и ушел из дома.

Он отправился в ближний рыбацкий поселок, нанялся матросом на сейнер; жить его поместили в общежитие, шестым в комнату.

Это был старый двухэтажный сруб, из окна был виден берег, в непогоду долетал гул океана. В общежитии жили рыбаки из местных уроженцев, жили вербованные, жили демобилизованные солдаты, осевшие на сезон, да и просто скитальцы, занесенные в эту даль неизвестно каким ветром.

И на сейнере, и в общежитии Жвахин был самым младшим, едва получил паспорт. Дома его все любили, он привык к ласке, думал и говорил книжно, слыл мечтателем и посещал кружок астрономов.

После дома на первых порах ему пришлось круто, народ вокруг был грубый, насмешничал по скуке, и Жвахин не раз плакал украдкой и не спал по ночам, горевал втихомолку, пока не понял, что никто ему не поможет. И терпел пока безответно — зрел.

В ту осень на Дальнем Востоке держалась хорошая погода. Все дни воздух оставался прозрачным — по утрам, на закате и даже ночью; к полудню воздух прогревался на огромном пространстве: в глубине материка, на побережье, на таежном севере, на островах и на юге, у корейской границы.

Рыба в ту осень ловилась на редкость, работали круглые сутки. Ночью и днем ловили на глубине, тралом или заметывали на поверхности кошельковый невод; все потеряли счет времени, спали и ели урывками, впопыхах, а рыба шла, шла — каждый день они набивали трюмы.

Даже опытные ловцы выбивались из сил. Иногда Жвахину казалось, он не выдержит, тело казалось деревянным, рукой-ногой не шевельнуть. В редкие паузы не было сил раздеться, все валились, как мертвые. Стоило задремать, перед глазами качалась выскобленная до белизны палуба, ползла мокрая сеть и текла, текла рыба, билась на досках, не было ей конца-края, громоздился и рос на корме живой серебряный холм.

Они ловили день и ночь. День и ночь тянулся сплошной аврал, все гнали из себя душу — заработок начисляли с хвоста. Изредка, пока шли с тралом, удавалось соснуть, но потом надо было снова вскакивать, натягивать тяжелые резиновые оранжевые робы с капюшонами, становиться к бортам и лебедкам. Без разбора чинов и званий они черпали рыбу, загружали трюм и снова готовили снасть: разби-

рали подборы устья трала, укладывали поплавки и грузила, таскали с места на место тяжелые траловые доски, распутывали ваера, жесткие мокрые тросы, чтобы сделать новый замет.

Вторую неделю они не заходили в порт, рыбу у них забирали на плаву. Вся команда валилась с ног от усталости: красные, с лихорадочным блеском глаза, осунувшиеся, заросшие многодневной щетиной лица.

Еще через неделю рыба исчезла бесследно. Они тралили квадрат за квадратом, но рыба ушла — ни одного косяка за все дни. Трал каждый раз приходил пустым: несколько крабов, гребешков, кальмаров, два-три маленьких осьминога... Капитан решил сделать передышку, они направились в порт.

Все, кроме вахтенных, рухнули спать, как подкошенные. Один из матросов, здоровенный малый Серов, которого все звали Серый, очнулся под утро от тяжкой, сдавленной духоты тесного кубрика — все спали,— Серый, пошатываясь, выбрался наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха, и вдруг на палубе, за рубкой, увидел Жвахина.

Мальчишка сидел, задрав голову, и смотрел в ночное небо. Странна и необъяснима была одинокая фигура на пустой палубе, когда все отсыпались, измочаленные вконец неделями аврала.

— Ты чего? — ежась от холодного воздуха и зевая спросонья, поинтересовался Серый.

— Смотрю...— застенчиво ответил Жвахин. Он побаивался Серого и старался держаться от него подальше.

Серый поднял голову и тоже посмотрел, но не увидел ничего, кроме чистого темного неба, которое высоко и просторно было распахнуто над верхушками мачт.

— Куда?! — недоумевая, спросил Серый. Ему вдруг показалось, что мальчишка тронулся умом, такое случалось иногда в океане, вдали от берегов: человек не выдерживал безграничного пустого пространства.

— Звезды,— ответил Жвахин.

— Какие звезды?! — Серый снова недоверчиво посмотрел вверх; сейчас ему почудилось, что мальчишка потешается над ним,— а иначе что ж, иначе как понять? — Ты что, смеешься?

— Нет...— Жвахин растерялся. Неожиданно он заговорил, водя рукой над головой.

Ночь была на исходе. Три звезды Ориона переместились к югу и уходили на запад, где находились Кассиопея и Персей.

На востоке висели Близнецы, среди них выделялись две яркие звезды — Поллукс и Кастор, а еще дальше к востоку располагалось похожее на Близнецов созвездие Возничего, в котором ярче всех горели Капелла и Нат.

Серый недоверчиво вертел головой. Жвахин умолк внезапно, как и начал. Серый молчал, не зная, что сказать, с него слетел весь сон.

— Да ты малый с приветом,— произнес он наконец. Он тщился понять, как это человек один, ночью, когда можно спать, глазеет на звезды, но, как ни силился, не понимал; он не мог разгадать, что за этим кроется, не знал, что и думать, подозревая подвох или обман.— Умнее других хочешь быть? — усмехнулся он и пошел вниз, в привычную тесную духоту.— Сосунок ты еще,— добавил он, стуча сапогами по крутым ступенькам трапа.

С этой ночи к прочим обидчикам добавился Серый. До сих пор он просто не замечал Жвахина, а теперь заметил и не упускал случая поддеть — проходу не давал.

Нет, Жвахин не хотел быть умнее других, он не отошел еще от домашней жизни и детства, доверял чужим и не знал, как вести себя. По природе он был застенчив, держался тихо и неприметно, и когда шумные, признанные балагуры обращались к нему, он терялся.

Со временем чем дальше, тем подшучивать над ним стали злее, он сносил, постепенно самые робкие поняли, что с ним можно проделывать любые штуки — не ответит.

Жвахин замкнулся, стал подозрительным, на каждом шагу ему мерещились обиды; единственное, о чем он мечтал,— чтобы его оставили в покое.

Но какой покой, если общежитие, комната на шестерых, общий коридор, а на сейнере одна палуба, один кубрик... Только иногда ночью ему удавалось посидеть одному в тишине, глядя в небо.

Жвахин отыскивал укромное место и сидел, задрав голову; только в эти минуты у него было спокойно на душе: его никто не трогал.

В другое время он мнительно озирался, прислушивался и постоянно был начеку в ожидании насмешки или обиды. Уже сам себе он был противен, лучше было вовсе не жить, чем видеть себя таким; все чаще его тянуло дать отпор, но пока не знал — как — и терпел безответно — зрел. И сам,

своим умом, доходил постепенно, что начинать надо с того, кто сильнее всех, прочие отпадут сами.

Так он решил неискушенным еще своим умом.

Главным обидчиком был Серый. Ему было за тридцать, он едва знал грамоту и то и дело с помощью силы старался доказать, что и он шит не лыком.

Так случилось, что плавали они на одном сейнере, жили в одной комнате — деться Жвахину было некуда.

Но не в том была суть, что некуда деться, а просто понял Жвахин, что если спасует сейчас, то пойдет так и дальше: впредь и всегда, здесь и везде.

И это тоже он решил неискушенным еще своим умом.

К счастью, его хватило не начать сгоряча, мелким визгом, а накопить себя на решительный шаг. День за днем вытравлял он в себе робость, разжигал злость и взращивал твердость, пока не набрал характера на ответ.

Серый уже успел пройти в жизни огонь, воду и медные трубы славы: на побережье и в окрестностях знали его нрав и силу. Он прошел Колыму, прииски, шахты и острова, на свете не было ничего такого, что могло бы его испугать.

Серый был медлителен, сонлив и, зная свою силу, всегда спокоен. Жвахина он снисходительно называл сосунком. За ним повторяли другие, Жвахину это не нравилось.

Наконец он решил возразить. В сборе была вся комната, было дымно, орал транзистор, четверо резались в карты; Серый в одежде спал на кровати, свет и крик ему не мешали.

Жвахин тоже лежал на койке, но не спал — думал. Он думал, что сегодня — пора.

Было пусто, холодно, замирало сердце, но назад пути не было: он уже взнуздал себя, и теперь будь что будет.

Серый проснулся, сонно, с хрустом, тянулся, ворочался тяжело, потом сказал:

— Сосунок, время...

Жвахин не ответил, словно не слышал. Он делал вид, что читает, глаза скользили по строчкам, он ни слова не понимал; внутри у него все застыло, и пересохло во рту.

— Ты что, оглох? — Серый с неудовольствием зевнул.

Жвахин закрыл книгу, повернул голову и сказал внятно:

— Я прошу тебя, Серый... не называй меня сосунком.

— Что? — не понял Серый и поморщился.— Что ты бормочешь?

— Я прошу тебя: не называй меня сосунком,— отчетливо повторил Жвахин.

— Да? — усмехнулся Серый. Было видно, до него еще не дошло, что происходит.— Тише, вы! — недовольно прикрикнул он на картежников, и те сразу умолкли.— Ты так просишь?

— Да,— подтвердил Жвахин.

Серый удивился, но поразмыслил и неожиданно с ухмылкой согласился:

— Хорошо. Сопляк тебе подходит?

— Нет.— Жвахин изо всех сил старался остаться спокойным, но сердце было ему не подвластно, бухало в груди, как чугунное.

— Какой ты разборчивый... Тебя сейчас поучить или потом?

— Ты не будешь меня учить,— сказал Жвахин, холодея от того, что он делает, и подумал: «А, все равно...»

Игроки вывернули головы и оторопело воззрились на мальчишку: до сих пор он сносил. В тишине орал приемник, кто-то тронул ручку и убавил звук.

— Сопляк, время...— улыбаясь, но медлительно, с давящей тяжестью сказал Серый.

— Шесть без пяти,— не выдержал один из игроков.

— Заглохни, шестерка. Не тебя спрашивают,— отрезал Серый, не взглянув на него. Он спустил ноги и сел; кровать жалобно скрипнула под его весом.

Жвахин положил книгу и тоже сел; они сидели друг против друга.

— Сопляк, время,— уже без улыбки, всерьез повторил Серый с неприкрытой угрозой и в ту же секунду прянул в сторону, прикрыв голову локтем: Жвахин схватил с тумбочки графин с водой и пустил ему в голову.

Графин ударил в стену и разлетелся вдребезги, осыпав постель стеклом и окатив водой. От стены отвалился кусок штукатурки и упал за кровать.

— Ах ты падло сопливое!..— удивленно, как бы в страшном недоумении протянул Серый и встал.

Жвахин двумя руками подхватил табуретку, и только успел занести над головой, Серый был тут как тут.

Разумеется, он вздул Жвахина так, что впору было класть в больницу. Но Жвахин никому ничего не сказал, не жаловался, пролежал три дня, молчаливый и голодный. Соседи пытались его накормить, он не ел, только пил воду и отворачивался от всех.

— Ну как, соплячок, схлопотал? — ухмылялся Серый, но на лице у него сохранялось недоумение: он не мог взять в толк, как этот пацан решился.

На четвертый день Жвахин уже ковылял по берегу, грелся на камнях под осенним солнцем. К нему подходил участковый, но Жвахин сказал, что скатился по трапу и расшибся. Навестил его и комендант общежития, но и ему Жвахин ответил так же.

Был ноябрь, часто штормило, они пережидали ненастье в бухте, в редкие затишья выходили в море.

Последний выход пришелся на пятницу. Целый день портовый надзор не давал выхода: держался ветер, море было рябым — чересполосица белых гребней и темной воды.

Команды собирались в диспетчерской порта: по скрипучей лестнице поднимались на вышку и заходили в жарко натопленную комнату, где помещалась рация. Постепенно набилось много людей, стало тесно, душно, окна запотели, пахло прелой овчиной, мазутом, рыбой, горящими дровами, гомон стоял, как в пивной. Все уже предвкушали окончание сезона — декабрь на носу,— людей тянуло в отпуск; к тому же завтра суббота, кому охота идти в ледяное море на ночь глядя — от тепла, от жен, от подруг, от выпивки, от картины в клубе...

В толчее голосов все склонялись, что выходить в море не стоит, но вдруг портнадзор объявил, что волнение спадает, и все вроде бы с облегчением поднялись и, топоча сапогами, стали расходиться.

Жвахин вместе со всеми шел над водой по дощатым на сваях мосткам, перешагивал через чальные тросы. Другая сторона бухты была погружена в густую, непроглядную тьму. На причале редкие тусклые фонари слабо высвечивали черную студеную воду, горы бочек и ящиков, кранцы из старых автомобильных покрышек, борта и рубки сейнеров.

Команда собралась в кубрике, тесной коморке с привинченным столом и койками в два яруса. Кто-то уже растопил круглую железную печь, и она гудела тугим пламенем, заглушающим плеск волн.

— Отходим,— сказал капитан, все заняли свои места, застучала машина, Жвахин отдал носовой и кормовой концы и прыгнул с причала на палубу. Плавно двинулись с места береговые огни, причалы, каменные и деревянные

амбары, склады, пакгаузы, малым ходом сейнер выбирался из бухты.

Вскоре машина застучала громче, корпус стал дрожать, началась качка: они вышли в открытое море. Дул резкий холодный ветер, срывая белые гребни волн, брызги тотчас замерзали по всему фальшборту, на тросах и антеннах, ледяная бахрома свисала с крыши рубки.

Жвахин любил стоять в рубке, когда было темно и шкала компаса освещала лица бледно-зеленым фосфоресцирующим светом. Время от времени капитан включал рацию, и рубка наполнялась густой мешаниной звуков — музыкой, треском, морзянкой, разноязыкой речью; больше всего в эфире было японцев.

Казалось, в темноте за краем пустынного моря кишит огромный невидимый муравейник; стоило тронуть рукоятку, звуки сыпались тучей — чудна была эта немыслимая разноголосица среди черноты и безлюдия ночи.

Капитан поговорил с берегом, толкнул дверь в кубрик и сказал:

— Ребятки, трал...

Ловцы влезли в просторные оранжевые робы, надвинули капюшоны и вышли на корму. Вспыхнули яркие фонари, осветили стертые до белизны доски палубы, свернутый кулемой трал и маслянистую черную воду за бортом. На мачте вспыхнули бело-красные огни, означавшие «иду с тралом», и теперь все встречные суда должны были уступать им дорогу.

Загудели лебедки, побежала, полилась в море густая сеть, тяжело бухнулись в воду обитые железом траловые доски, растягивающие на глубине устье трала.

Пока сейнер шел с тралом, все, кроме капитана и моториста, сидели в теплом кубрике, расслабленно дремали, переговаривались лениво, потом вновь натянули робы и полезли на палубу. Каждый занял свое место, лебедки потрескивали, наматывая ваера на барабаны.

Наконец кошель трала, с которого ручьями бежала вода, повис над палубой; пока он висел, каждый на глаз прикидывал улов.

— Давай, сосунок, давай! — весело закричал Серый.

Все ожидали, что Жвахин дернет конец и откроет трал, но Жвахин неожиданно метнулся в сторону, схватил багор и, взмахнув, с силой опустил Серому на спину.

Серый не ожидал, он упал на мокрую, скользкую палубу, вскочил, матерясь,— от его мата могло закипеть мо-

ре,— вскочил и остановился: Жвахин ожидал его с багром в руках. Острый конец он держал перед собой на уровне груди.

— Отставить! — крикнул капитан.— Это еще что на борту?! Спишу обоих!

— Ладно,— мрачно кивнул Серый.— После поговорим.

Они принялись за работу. Жвахин дернул конец, трал распался, и поток рыбы хлынул на палубу; в один миг на корме вырос живой, трепещущий серебряный холм.

Они быстро загрузили рыбу в трюм, и, пока шла работа, Серый то и дело поворачивал голову и пристально поглядывал на Жвахина: ничего хорошего этот взгляд не сулил.

Они освободили трал, вновь забросили его в море, помыли палубу и спустились вниз.

После холода и пронизывающего ветра блаженно сладким показалось вязкое, настоявшееся тепло, всех разморило, навалилась, обволокла густая, тягучая истома; на круглой железной печке шипела сковородка со свежей рыбой и кипел чайник.

Серый спустился последним. Он остановился у двери и посмотрел на Жвахина, который сидел напротив, с другой стороны стола, у самой печки.

— Теперь ты отсюда не выйдешь,— сказал Сергей устало и опустился на рундук. Жвахин молчал и не двигался.— Тебе не нравится, как я тебя называю?

В кубрике никто не проронил ни слова.

— Не нравится,— бесстрастно подтвердил Жвахин. Было похоже, предстоящая неминуемая расправа его не пугает, он выглядел спокойным, даже безучастным, но был бледен.

— Я тебя буду называть так, как я сам...— начал Серый и умолк.

Все посмотрели на Жвахина и поспешно отодвинулись от стола к переборкам: Жвахин держал на весу кипящий чайник и ждал.

— Серый, он нас всех обварит,— встревоженно сказал один из матросов.

Серый тяжело посмотрел через стол на Жвахина и, видно, понял: обварит.

— Поставь чайник, салага,— сказал он.— Разговор отложим до берега.

— Серый, я тебе при свидетелях говорю: если ты меня тронешь, тебе не жить больше,— спокойно, даже вяло как-

то, почти сонливо заметил Жвахин. Он не горячился, нет, был в каком-то странном, задумчивом оцепенении, и потому было отчетливо понятно: сделает, как сказал.

Не было и намека угрозы в том, что он произнес, просто один человек спокойно, без лишних слов, известил другого о том, что ему предстоит. Обычно так сообщают о всяких привычных, житейских делах — рассудительно и без крика.

В кубрике стало неуютно. Точно тень смерти осенила всех разом и не ушла, затаилась рядом, дожидаясь своего часа, чтобы коснуться одного из них.

Мальчишка был способен на все. Жуть и оторопь брали от его холодного безразличия и обыденности, с которой он готов был идти до конца. Казалось, он равнодушен к тому, что с ним будет, во всяком случае, для него это не имело значения; было похоже, у него отсутствуют естественный инстинкт самосохранения и всякая забота о себе самом.

Сейчас он просто сказал, что собирается делать, как будто речь шла о покупке или сборах на танцы. И каждый поверил: это правда.

Серый усмехнулся, но все видели, ему не до смеха. Судя по всему, он тоже поверил.

После своих слов Жвахин встал и пробрался к двери; все в кубрике сторонились, давая ему дорогу. Он переступил через ноги Серого и вышел.

— Из молодых ранний,— покачал головой мастер добычи.

— Серый, оставь его,— посоветовал один из матросов.— Я видел, у него под матрацем нож разделочный,— указательными пальцами он показал на столе размер.— Полоснет ночью, проснуться не успеешь.— Матрос помолчал и добавил: — А ведь сможет.

Все покивали, соглашаясь.

— Серый, ты взрослый мужик, думать должен,— сказал механик, который был старше всех.— Это он не думает, у него еще мозгов нет. Такие самые опасные.

— Помню, у нас в Магадане такой пацан здорового мужика загнал. Тот ему подзатыльник дал, так сопляк на него из канистры бензином плеснул и с зажигалкой за ним гонялся. Насилу поймали.

Жвахин стоял на палубе, укрывшись за рубкой от ветра. Ноги еще дрожали, он сел, опершись спиной. Ни зги не было видно, кромешная чернота заполняла все про-

странство вокруг, и только огни на мачте — красный и белый — оповещали мир, что в темноте есть жизнь.

Жвахин задрал голову. Как пыльная светлая дорога тянулся с востока на запад Млечный Путь, в его зените, за Полярной звездой, ярко горели пять звезд Кассиопеи, среди которых выделялись Шаф и Шадор. Рядом к западу было видно созвездие Цефея, на востоке можно было увидеть висящие на одной прямой три звезды Ориона, а в созвездии Тельца отчетливой стрелой летели с запада на восток Плеяды.

Жвахин постоял, глядя вверх, и вошел в рубку. Внутри было темно, бледной зеленью, как аквариум, мерцал компас.

— Что у тебя с ним стряслось? — спросил капитан.

— Ничего,— ответил Жвахин.

— Он тебя обозвал? Не обращай внимания. А то знаешь, что он с тобой может сделать?

— Знаю,— кротко ответил Жвахин.— Я с ним тоже могу.

— Лучше участковому сказать.

— Нет,— ответил Жвахин,— я сам.

— Сам! — рассердился капитан.— Он не таких обламывал! Сам!.. От него даже здоровые мужики плакали. Сам ты покойником станешь! Сам...— Он помолчал и спросил: — Ты что, жить не хочешь?

— Хочу,— сказал Жвахин.— Он тоже хочет.

Капитан вздохнул и сокрушенно покачал головой:

— Откуда ты такой взялся?

Жвахин открыл дверь рубки и, задрав голову, постоял на мостике.

— Ты чего? — спросил капитан.

— Погода будет хорошая.

— Почему ты решил?

— Алькор виден, звезда такая.

Капитан помолчал и сказал:

— Странный ты какой-то...

Они тралили всю ночь. К утру ветер стих, море стало спокойным. Океан ровно и гладко пылал под солнцем, сверкал неподвижно до самого горизонта, неоглядная светлая равнина, ошеломительный простор на сколько хватало глаз.

Ранним утром они возвращались домой. В бухте от воды поднимался прозрачный пар, взбухал над гладью,

сквозь туман на солнце розовели высокие дикие заиндевелые скалы; издали они казались невесомыми.

Жвахин пришел в общежитие и сразу лег спать. Вскоре пришел Серый; взял стул, подсел к его кровати. Жвахин открыл глаза и лежал не двигаясь. Серый с мрачной сонливостью сидел рядом, возвышаясь над ним, как гора. В комнате все проснулись и молча смотрели на них.

— Дай-ка ручку,— Серый протянул руку, похожую на большой совок.

Жвахин подал ему свою. Серый сжал ее и продолжал сжимать все сильнее; лицо Жвахина стало белым, но он не проронил ни слова.

Ему казалось, руку стянуло металлом. Серый давил, как мог, но Жвахин так ничего и не сказал.

— Терпеть умеешь,— сказал Серый, отпуская его.

Жвахин несколько раз сжал и разжал побелевшие пальцы.

— Потолкуем? — спросил Серый.

— Нечего нам толковать,— ответил Жвахин.— Не вяжись ко мне — и все.

— Понимаешь, дело не в том, как я тебя называю. Но ты передо мной сосунок, а я...— Закончить Серый не успел: Жвахин приподнялся и взмахнул рукой, Серый едва успел отклониться.— Лежи, лежи...— повторил он угрожающе и прижал Жвахина к постели.— Не заводи меня. А то я из тебя мелкий фарш сделаю.

— Делай,— согласился Жвахин.— Это твое личное дело.

— Может, тебе на другую посудину перейти? И комнату сменить?

— Сам меняй.

— Какой ты несговорчивый...— посетовал Серый.— Значит, ты меня пришить собираешься?

Жвахин молчал. Лежал неподвижно и смотрел на Серого.

— Собираешься?— повторил Серый.

— Ты знаешь,— ответил Жвахин.

— Да я тебя удавлю раньше,— пообещал Серый.

— Дави,— покладисто кивнул Жвахин.— Можешь сейчас, пока я лежу. Это твой единственный шанс.— Он отвернулся к стене.— Тронешь — я тебя утоплю. Или ты меня,— добавил он и умолк.

Он сказал это ровно и безразлично, голос у него был равнодушный, словно речь шла о чем-то привычном, обы-

денном. У всех даже мороз по коже пошел, настолько ясно было: утопит.

Они все знали, при желании это не составляет труда. Промысловая палуба на корме была открыта, без фальшборта, доски от рыбы и воды становились скользкими, даже при малой волне удержаться было нелегко.

— Ладно, посмотрим,— пробормотал Серый и не раздеваясь лег на свою койку.

Позже к Серому подошел капитан и попросил озабоченно:

— Слушай, не задевай ты его. Я не хочу приключений. Черт его знает, что у него на уме. Взбредет в голову, расхлебывай потом. Спрос-то с меня...

Вокруг все боялись, что Серый не выдержит, зацепит мальчишку ненароком, и тогда жди беды, в этом уже никто не сомневался.

Вскоре Жвахина перевели на другой сейнер и дали другую комнату, история угасла сама собой. Но с тех пор Жвахина не трогали больше. Он никогда не лез первым, правда, и за других не заступался, но стоило его задеть, он не спускал.

И теперь он знал, что рассчитывать можно лишь на себя, на себя одного,— то был первый закон, который он усвоил твердо.

Жвахин втянулся в тяжелую работу, был безотказен, хорошо сносил мороз, жару, ветер, был терпелив, никогда не отлынивал и не жаловался. Через пару лет тело его стало сухим и поджарым, он был жилистым, ни жира, ни воды, вот только волосы на голове росли плохо, и он стриг их коротко, почти наголо.

Постепенно лицо его обветрилось, потемнело и со временем стало жестким, особенно выделялись на нем глаза; они светлели, когда он злился, и становились совсем белыми, если он впадал в бешенство.

Руки его от работы затвердели, покрылись мозолями, на обратной стороне кожа была шершавая, как наждак.

Знакомый матрос за бутылку сделал ему на груди наколку — женскую головку, а на левой руке между большим и указательным пальцами наколол кружевную букву Н, что означало Николай.

Жвахин не заносился, держался со всеми ровно и был что называется себе на уме, никогда не распахивал, как другие, душу — ни трезвый, ни пьяный.

И он усвоил раз и навсегда: людей вокруг много, но до тебя никому нет дела, каждый сам за себя,— усвоил и помнил крепко.

К тридцати годам Жвахин много успел. Он плавал на рыболовецких и торговых судах, работал по сезонным наборам, нанимался в геологические партии, рубил уголь на шахтах, строил железную дорогу, служил егерем в заповеднике — помотало его изрядно.

Он был легок на подъем, без раздумий срывался с места, никакая даль — будь то Чукотка, Курильские острова, Сахалин или Камчатка — его не пугала; удобства жизни для него значения не имели.

Его считали двужильным: он мог долго тянуть на пределе, когда другие уже не выдерживали,— терпел и молчал; выносливостью он был сродни вьючному животному.

Жвахин никогда не болел, не простужался, хотя приходилось спать на голой земле, и, бывало не раз, в любую погоду шагал впроголодь, с грузом рубился сквозь бурелом, переплавлялся через горные реки...

Тело его было как будто стянуто из тугих узлов, руки сродни стальной проволоке, обхватит — не расцепить; сложения он был обыкновенного, но ни один верзила столько времени не мог тащить на себе груз, копать не разгибаясь, бить шурфы, валить лес,— Жвахин оставался на ногах, когда все уже валились от усталости.

Он мог простоять три вахты подряд, мог не спать при необходимости, даже в шахте он соглашался отработать две смены, если была нужда. Его вообще не надо было уговаривать на работу: он не жалел себя, выкладывался до конца.

Но имелась одна особенность: он никому не помогал и никогда не просил о помощи.

Он всегда обходился сам, чужого участия не принимал, а в бескорыстие не верил, и если предлагали помощь, он отказывался, чтобы не быть должником.

Но ему никто и не был нужен, силы пока хватает, а если туго, надо потерпеть. И он терпел, а когда видел на стороне чью-то жалость к постороннему или был свидетелем, как кто-то по своей воле помогает другому, он считал то притворством, а притворства Жвахин не любил. В чужом участии ему мерещилась корысть или расчет, он подозревал у каждого свой интерес, у каждого к каждому, интерес или умысел,— одним словом, причина, явная или тайная.

И все реже Жвахин смотрел ночью на звездное небо — реже, реже, пока не перестал вовсе.

Только иногда вдруг, изредка, просыпалось смутное сожаление, точно он потерял что-то, но что — забыл и, как ни силился, не мог вспомнить.

Он не умел теперь плакать, душа его была защищена от обид, и чем дальше, тем защита становилась прочнее. И он не знал, не догадывался даже, что всякий человек нуждается в слезах, которые приносят облегчение.

За все годы кожа его еще больше задубела и просолилась, черты стали резкими, лицо оставалось жестким даже во сне. Мозоли на руках давно уже стянулись в сплошную твердую кору, ладонь была как доска. И голос огрубел постепенно, под стать хмурому выражению лица и неулыбчивым, холодным глазам. Узнать давнего домашнего любимца было никому не под силу.

Где тот мальчик, мечтательный и тихий, который украдкой проливал слезы и по ночам смотрел в небо,— куда делся?

Жвахин давно уже никому не спускал обид. Страха он не испытывал. Если кто-то нарывался, он молчал, терпел до последнего, не отбрехивался, не пылил словами — молчал и лишь щурился, кривя рот и пожевывая губу; он напряженно смотрел на обидчика, копя злость, взгляд его замерзал постепенно, глаза белели от ненависти, и наконец он взрывался, готовый на все.

Дальний Восток Жвахин знал вдоль и поперек. Где задерживаясь, а где мимоходом, он бывал на Кунашире, Итурупе, на Чукотке, много плавал, жил на побережье, а иногда уходил в глубь материка, чтобы потом снова вернуться к морю или податься в любую немыслимую глушь, где, по слухам, платили больше.

В этом деле Жвахин не лукавил и не кривил душой: он любил чистоган. Уговорить его обещаниями было невозможно, ничего другого он не признавал. Он лишь молчал хмуро, кривил рот и пожевывал губу, если его упрашивали, напирая на долг и сознательность, сулили благодарности и грамоты, а потом не выдерживал: «Да что ты мне талдычишь — долг, совесть, сознание!.. Никому я не должен! Плати — весь разговор! А совесть мою не трожь!»

Однажды, как ни уламывали его, как ни упрашивали, как ни стращали опасностью, он в одиночку ушел из экспедиции; случилось это после спора с начальником из-за

выработки — взял свою долю продуктов и двести километров один пробивался сквозь тайгу к океану.

Как одинокий матерый зверь, рыскал он повсюду в поисках добычи, и если не находил, или она иссякала, или в другом месте сулили больше, он уходил, никакая сила не могла его удержать.

И нигде не было у него пристанища, своего угла, насиженного места, привязанности...

Родители его к тому времени умерли.

Слабых Жвахин не жалел. Они вызывали у него досаду. Он не обижал их, привычки такой вообще не имел, но жалости к ним не испытывал, и разжалобить его слабостью было пустой затеей. Сам он в жалости не нуждался.

Он надеялся на себя — всегда, во всем, на себя одного, впрочем, на кого же еще? —у него никого не было. Он был один, никто его не ждал, никто не думал о нем, ни одна живая душа не вспоминала его — поблизости и вдали, ни у кого не болело по нему сердце.

Женщин всерьез Жвахин не принимал. Он знал их многих, сходился на короткий срок, когда оседал где-то, но стоило ему тронуться, он их забывал.

Повсюду, в городах и в любой глуши, на островах и на материке, на всем побережье от Чукотки до Владивостока, он находил женщин, готовых приютить его в надежде хоть на время найти опору. Их было немало, тоскующих в одиночестве, они рады были к кому-нибудь притулиться, даже если знали, что удержать не смогут. О любви не было речи.

Ему казалось, он знает, что такое любовь, видел не раз, особенно на Курилах, куда пароходы привозили на рыбзаводы тысячи сезонниц со всей страны, женские колонии растревоженно гудели, стоило в поле зрения попасть хоть одному мужчине.

Однажды у него на глазах густая толпа сезонниц поджидала у причала судно. Пока пароход швартовался, толпа на берегу пребывала в лихорадке, весь экипаж был в наличии на палубах, девяносто шесть моряков, четвертый месяц живущих без берега: у тех и других горели глаза.

Полоса воды между бортом и стенкой сужалась, все напряженно всматривались, шарили глазами по лицам, волнение росло, вот-вот, казалось, лопнет терпение, и тогда неизвестно что —стихийное бедствие: те и другие могли кинуться вплавь.

На новом месте Жвахин находил себе женщину по душе, но стоило ему услышать в голосе подруги брачные нотки, он уходил и не возвращался.

Он умел ухаживать, не скупился — угощал и дарил подарки, но не сорил деньгами, не спускал до нитки, как другие, одуревшие от шальных денег.

Голову Жвахин не терял никогда. Ему случалось видеть шалую гульбу, когда какой-нибудь рыбак, сойдя на берег после шести месяцев моря, заказывал два такси и ехал из Находки во Владивосто́к — в одной машине сам, в другой чемоданчик, катил в ресторан «Золотой Рог» или в «Приморье» и небрежно бросал официанту: «Все меню! Подряд!»

Стола, разумеется, не хватало, подставляли еще один, а то и два, несли все закуски, все первые, вторые, третьи блюда, курево, десерт, выпивку — все, что значилось в меню и имелось в наличии. Жвахин лишь кривил рот в улыбке, наблюдая со стороны.

Встретив подходящую женщину, он не пускал пыль в глаза, подступал всерьез. Он не прочь был погулять по ресторанам, женщинам это нравилось, но намерений своих не скрывал, речь вел открыто; если дело слаживалось, он собирал пожитки и тут же перебирался.

Обычно на жизнь им хватало, Жвахин не скаредничал и за счет подруги не жил никогда, женщина даже могла не работать, но сам он всегда был не прочь подработать и не отказывался, если была возможность.

Прочее его не касалось. Он считал, все справедливо: женщина дает кров и уход, он дает деньги. Ему казалось, у них уговор честь по чести, без вранья, никто никого не обманывает.

И он старался по мере сил, добывал, где мог, приносил то, что с него причиталось, и отдавал сполна, даже больше.

Но почему-то всегда почти по обыкновению стоило с женщиной пожить, ей становилось этого мало, она начинала хотеть еще чего-то — все как одна.

Он не вникал в их печали. Все честно — он свою долю приносит, и Жвахин не мог взять в толк, что им нужно: некоторые готовы были отказаться от денег, только бы он остался.

С женщиной он обычно жил до тех пор, пока та не предъявляла на него права. У одних это случалось раньше, у других позже, иногда и до слов не доходило, он уже заранее знал, к чему клонится.

Он уходил, уходил тотчас, ни одна женщина не имела на него права, стоило заикнуться о праве на него, он был таков — удержать его было нельзя. Какая любовь, о чем речь?

Он не понимал, что им нужно, каждый дает свою долю, и он честно вносил свою долю, пока жили вместе, а уходя, делился тем, что имел, все справедливо — чего же еще?!

Угрызения совести его не мучали, он был убежден, что никому ничего не должен, рассчитался сполна.

Он умел жить один и лишь иногда приближался к жилью, короткое время делил с кем-то кров и пищу и вновь уходил, не вспоминая и не сожалея.

Жвахин полагал, что жизнь он понимает правильно. Себя он считал старателем, главное — получить сполна. Да не разбоем, не ловкостью рук или хитростью, нет, честно, своим горбом.

Он всегда старался огрести побольше, брал сколько мог. Правда, и выкладывался до конца, так, что дух вон, себя не жалел. И только не надо слов, не мычите ему о долге и совести, сыт по горло.

Жвахин рано стал седеть, короткие темные волосы перемежались сивыми нитками. Но тело по-прежнему оставалось сухим и поджарым, жилистые руки, казалось, сплетены из стальной проволоки. Лицо с годами стало еще суше и резче: светлые глаза, колкий взгляд, впалые щеки, ранние морщины... Угадывались в нем некое постоянное напряжение, натянутый нерв, вечная настороженность, словно он ждал чего-то, неизвестно чего, какой-то угрозы, неведомой опасности — отовсюду, всегда; в любую секунду он готов был дать отпор.

До тридцати двух лет Жвахин не знал устали и не задумывался, как жить. Его мотало повсюду, рабочие руки были нарасхват. Для него не имело значения, где жить, условия были ему безразличны: плати —разберемся. Не он один жил так — многие. Сколько он поменял бараков, кубриков, общежитий с тех пор, как ушел из дома, сколько видел людей и мест — не перечесть.

Тысячи людей срывались повсюду с насиженных мест и без оглядки устремлялись неизвестно куда, подальше от дома, тысячи людей в тех краях, где он бывал, и миллионы по всей стране.

Дни катились в гуле океанского прибоя, набегали на берег и опадали пеной, дни терялись в шелесте тайги, сбегали ручьями по склонам сопок, бежали извилистыми ле-

дяными речками по узким долинам, улетали с ветрами, падали с отвесных скал в море, разбивались о дикие прибрежные камни, курились и таяли в дыму камчатских вулканов, проплывали в бесчисленных бухтах, лагунах, заливах, оставались за кормой траулеров и сейнеров и исчезали, исчезали бесследно. Жвахин не заметил, как разменял четвертый десяток.

Он не разглядывал свою жизнь, не думал о ней — жил как придется, каждым нынешним днем, не оглядываясь назад, и не озирался по сторонам, чтобы понять, что вокруг.

Но иногда вдруг, изредка, крайне редко, он испытывал непонятное глухое сожаление, точно что-то могло быть и не случилось — минуло, прошло стороной, и какая-то смутная горечь невнятно ныла в груди и чуть касалась сердца.

В тридцать два Жвахин женился. Вера была моложе на двенадцать лет. Доброжелатели предостерегали — слишком молода, но у Жвахина на этот счет было свое мнение. Уж если вязать себя, то с такой — опытная ему ни к чему, он сам опытный.

— А потом что? — едко интересовались предусмотрительные и благоразумные.— Ты-то в возраст войдешь, а она еще молодая.

— Моя забота,— отвечал Жвахин и гасил разговор. Он вообще не любил лишних слов, не подпускал к себе никого близко, чужие откровения были ему не нужны, а сам он не раскрывался.

Жвахин смотрел на жизнь трезво: придет время — свернемся. А пока есть сила на работу и на женщин и не скоро еще иссякнет; он надеялся, его надолго хватит.

С женитьбой взгляды его не изменились: он по-прежнему считал, что если люди сговорились жить вместе, то каждый дает то, что с него причитается, иначе и ни к чему, пожалуй, лучше порознь.

А сговорились — изволь... Мужская забота — найти крышу над головой, пропитание и прочее, что нужно для жизни, а дело женщины — устроить так, чтобы было ради чего стараться.

Чем дальше, тем больше он креп в своем мнении. Числишься мужиком — с тебя спрос, а не можешь— уйди, не будь обузой. Либо ты мужик, либо пустое место, лей слезы в сторонке. А третьего не дано.

И он рвался в куски, тянул из себя жилы, чтобы у них все было, все, что положено.

С Верой они познакомились в бухте Врангеля, куда она приехала по набору на строительство порта. Берега плавно замыкали красивую круглую бухту, над которой со всех сторон поднимались сопки, и лишь на противоположной стороне бухты, как брешь, зиял выход в открытое море.

Непрерывный овал гор неожиданно и странно вдруг разрывался, обнажая дальний неограниченный простор воды и неба. Стоило вечером выйти из бухты в море и подняться на перевал, как вдали, на излете взгляда, за темным пространством моря можно было увидеть мерцающее скопление огней: то была Находка.

Они получили комнату в общежитии, но позже бухта Врангеля им наскучила, они переехали в Находку, где устроились на судоремонтный завод. Сначала они снимали комнату неподалеку от Внутренней гавани, но очередь на квартиры была большая, и хотя на окрестных сопках строились новые дома, ждать можно было не один год.

Они поразмыслили и купили небольшой дом на окраине Владивостока, деньги у Жвахина были.

Владивосток Жвахин выбрал не случайно. Уж если оседать, то в таком месте, где тебе нравится, хватит с него глухомани.

Вера была расторопная, бойкая девушка, хозяйственная и смышленая. Она живо привела дом в порядок, вымыла, выскребла все закутки, и дом вскоре стал уютным и обжитым.

Она работала швеей, ловко управлялась по дому, была шумной, веселой, часто смеялась, ее громкий голос был слышен то в одном конце дома, то в другом.

Жвахин работал шофером на грузовике. Целый день он возил грузы по городу, то и дело подрабатывал — возможностей было пруд пруди, он не упускал ни одной.

Он часто выезжал в районы, там машина была нарасхват, и Жвахин дни и ночи трясся в кабине, мотался по всем дорогам, когда другие шоферы отсыпались. Он не щадил ни себя, ни машину, переспит час-другой — и за баранку.

Жена спокойно переносила его частые отлучки: каждая сулила доход. Вера и сама была оборотистой, подрабатывала шитьем, радовалась, если в руки плыл заработок. Была в ней жадность молодости, ей всего хотелось и все казалось мало, мало,— никак не могла насытиться.

Они не виделись почти — надо было поспеть всюду. Она не отговаривала его никогда, сама могла надоумить, если узнавала, что кому-то нужна машина.

Дом их стоял на узкой горбатой улице, петлявшей по склону сопки на окраине Владивостока. Отсюда открывался Амурский залив: широкая, гладкая поверхность воды, меняющая цвет в зависимости от погоды, причалы, мелкие суда, береговые постройки... Дом был виден с залива, один из многих частных домов, рассыпанных по громадной сопке, которая круто поднималась над пологим берегом; дома росли один над другим, образуя уступчатые террасы, издали казалось, что они отвесно карабкаются в небо.

Город лежал по берегам бухты Золотой Рог, старая его часть поднималась постепенно вверх, ближе к сопкам начиналась путаница крутых переулков, дворов, каменных лестниц, выше начинались новые районы, большие белые здания выглядели красиво, а еще выше, над ними, сопки были покрыты россыпью мелких деревянных домов, уползающих под самое небо.

Сверху были видны проливы, гористый Русский остров — город обволакивал пади и склоны, растекался по берегам заливов, маленьких бухт, полуостровов, застроенные мысы выступали в море, но и море причудливыми бухтами и заливами проникало внутрь города.

Во Владивостоке не было ни одной улицы ровной от начала до конца. Человека на каждом шагу подстерегал спуск или подъем, многие улицы и переулки извилисто петляли среди склонов, из оврага в овраг, ныряли вверх-вниз, крались узкими лощинами, чтобы внезапно вознестись к небу, откуда весь город и соседние сопки, и бухты, и заливы, и мысы оказывались под ногами.

Внизу причалы порта тянулись рядом с улицами, вдоль трамвайных путей, подбирались к задворкам, и временами казалось, что на улице тесно от палубных надстроек, труб, мачт, антенн, стрел лебедок, высоких бортов и трапов, в разных местах нос или корма вплотную подступали к домам, могло сдаться, что корабль ненароком вошел во двор.

Бухта Золотой Рог была всегда полна движения. Во всех направлениях по ней сновали буксиры, катера, бункеры и то и дело вплывали или медленно отваливали от причалов огромные океанские суда.

День и ночь в порту ползли составы, лязгали вагоны, вращались стрелы кранов, плыли на тросах грузы, день и ночь над причалами, подъездными путями и окрестными

улицами смешивались короткие, сдавленные, сиплые гудки судов, свистки тепловозов, металлические голоса станционных и портовых динамиков, перестук колес, скрип лебедок, звонки кранов, и не было и минуты тишины или неподвижности. Бухта Золотой Рог не знала покоя.

В центре города, вблизи вокзала, у окон старого здания, в котором помещалось управление пароходства, в любое время дня стояли люди: за стеклами вывешивались сводки о движении судов, и можно было сразу узнать, где ваш родственник или знакомый — в Японии, в Канаде или на переходе между Сингапуром и Новой Зеландией.

Нигде на Дальнем Востоке люди не знали постоянства. Бессонно жили гавани и порты, приходили и уходили корабли, во всех направлениях шли потоки грузов — суда появлялись и исчезали за горизонтом, переменчив был океан, и не знающие оседлости люди в великом множестве перемещались с места на место. И потому всех здесь не покидало чувство безостановочного движения, перемен и непостоянства.

Лишь дом казался Жвахину верным, надежным прибежищем. У них родилась дочь. Вера взяла отпуск на год, Жвахин понял, что теперь спрос с него еще больше.

Впрочем, там, где касалось заработка, он всегда был впереди всех. В сезон он подряжался пилить дрова — купил по случаю бензопилу и допоздна работал по дворам. Жвахин часто ездил в тайгу, ставил обок дорог капканы, проверяя на обратном пути: иногда попадались колонок или куница — тоже приварок, лишняя копейка.

После родов Вера раздобрела, была теперь не тоненькая девушка — пышная женщина. Молодая здоровая женщина, шумная и веселая, ее голос и смех наполняли весь дом.

У нее в руках спорилось любое дело, она носилась по дому и двору, весело напевала и всегда казалась довольной. Но и на самом деле не было причин печалиться: дом есть, обуты, одеты, не голодают, и к тому же сама себе хозяйка... Да и с мужем ей повезло — самостоятельный.

Она ценила его удачу, добычливое везение, фарт и неуемность. Он не сидел без дела, как другие, не околачивался у пивной, не тратил попусту время — без устали искал заработок, искал и находил.

В этом деле у него был особый нюх. Жвахин перехватывал грузы и пассажиров, рыскал на машине по всем дорогам, подъезжал к вокзалам, рынкам, мебельным магази-

нам, ловил подряды на пилку дров,— он был первым везде, где пахло деньгами.

Обычно Жвахин работал без помощников. Он вообще старался обходиться один, ни с кем не любил делиться. Чаще всего машина нужна была тем, кто строил дома, дачи или гаражи. Жвахин мог в одиночку загрузить кузов камнем или мешками с цементом, вручную, лопатой, грузил песок и щебенку,— в работе он, словно в драке, впадал в ярость, пока не закончит, не разогнется.

И он по-прежнему считал — людей вокруг много, но каждый сам по себе, сам за себя.

К сорока годам он изменился мало. Только сивых ниток в темных, коротко стриженных волосах стало больше да морщин прибавилось, а так ничего, слава богу, не жаловался. И силы пока хватало, не износился.

Жвахин не толстел, как многие из его сверстников, домашняя еда как бы не шла впрок, все дотла сжигали работа и нрав. Он все так же был сух, поджар, жилист, на смуглом лице выделялись напряженные светлые глаза, которые белели, когда он злился. Жесткая задубелая кожа обтягивала впалые щеки и костлявые скулы — резкие черты, ни следа добродушия, настороженность и в глубине холодная, сдерживаемая злость.

В сорок лет он, как раньше, работал на износ, себя не щадил, об отдыхе не думал.

Осень в тот год на Дальнем Востоке была теплая и сухая. Целые дни повсюду держалось ровное сонливое тепло, погожая ясность сохранялась над сушей и океаном. По всей причудливо изрезанной береговой линии от залива Чосанман до Охотского побережья океан пребывал в покое, слабая волна едва слышно касалась отвесных скал и бесшумно смачивала песок и камни на диких пляжах Японского моря.

Итак, осенью стояла хорошая погода. Самолеты исправно летали по всем направлениям, ни один рейс не был отменен по причине погоды. Большие и малые аэродромы принимали и отправляли всех желающих.

То была редкая удача. В краю, где расстояние меряется днями и неделями, дорог почти нет и можно подолгу без всякой надежды торчать на берегу в ожидании парохода, каждый день хорошей погоды был как подарок судьбы.

Солнце пригревало заросшие кедровым стланцем склоны Сихотэ-Алиня, в теплом воздухе неподвижно стояли

низкие, корявые, сучковатые японские сосны и высокие маньчжурские кедры, а воздух был так прозрачен и чист, что с перевалов полуострова Муравьева можно было увидеть сразу два океанских залива — с одной стороны Амурский, с другой — Уссурийский, разделенные огромным пространством гор и тайги.

Жвахин гнал по шоссе из Владивостока в Находку. Он спешил, чтобы сдать груз до темноты, успеет — выгадает день, завтра можно будет поработать на себя.

Машина легко разматывала плавные серпантины, на обочине попадались каменные пирамиды с укрепленными в них рулевыми баранками — памятники погибшим на этой дороге шоферам.

В последние дни он мало спал. Везло с погодой, нельзя было упускать время: тем, кто строился, каждый погожий день в эту пору был как находка.

На основной работе Жвахин выгадывал где мог: помогал грузчикам, превышал скорость, без очереди проскакивал на погрузку-разгрузку, чтобы раз-другой обернуться и для себя.

Сейчас его сильно клонило в сон. Если б не груз, он бы притормозил в тихом месте, соснул бы часок на сиденье. Но он помнил, что должен поспеть: сегодня разгрузится — завтра весь день его, можно смотаться в район, машина сейчас нарасхват.

Он думал только о том, чтобы успеть, и гнал, гнал, отматывал скользящее по сопкам шоссе. После Шкотова он даже не остановился нигде поесть, проскакивал все поселки, чтобы поспеть до темноты.

Он ехал, упрямо сжав рот, напряженно глядя вперед, спать хотелось так, что просто глаза слипались; Жвахин не снижал скорости, надеясь, как всегда, пересилить себя.

Впоследствии он много раздумывал над тем, что произошло. Скорее всего он проспал поворот и проснулся в последнюю секунду, когда уже ехал к обочине. К счастью, он успел нажать на тормоз и погасить скорость, да и склон под обочиной оказался пологим, Жвахин даже подумал, что удержится.

Сцепив зубы, он бешено крутил рулевое колесо. Ухабистый склон с силой бросал машину, она исходила стонами и разболтанно дергалась во все стороны и то припадала, как кошка, к земле, то взбрыкивала и отрывалась всеми колесами сразу, как бы в жгучем желании улететь.

Его спасли деревья, росшие на склоне; ниже склон набирал крутизны и срывался в распадок. Машина ударилась о низкие, сучковатые, корявые сосны, упала набок и застыла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Жвахин пришел в себя на третьи сутки. Он вдруг беспокойно зашевелился, словно недоумевая, где он и что с ним, повертел забинтованной головой и попытался сесть.

— Коля, господи!..— Вера заплакала от радости и схватила его за руки, пытаясь удержать.— Коля, миленький, не надо, не вставай! Не надо! — Голос ее сбивался, слезы катились по лицу, падали на белую казенную рубаху Жвахина и расплывались влажными пятнами.

— Вера? — как-то странно, непонимающе спросил Жвахин. Ему казалось, он все еще в машине, и он никак не мог понять, откуда здесь Вера.

— Да, да, это я! — всхлипывая, повторяла Вера, обливаясь слезами.— Это я!

— Где мы? — спросил он тем же недоумевающим и недовольным голосом.

— В больнице,— быстро ответила Вера, держа его руку.

Жвахин задумался, вникая в ее слова. Он медленно и устало брел по дороге издалека, возвращаясь из сумрака, в котором находился все эти дни; до него постепенно доходил смысл того, что случилось; наконец Жвахин вернулся и был здесь телом и душой.

— Что со мной? — спросил он хмуро, уже не пытаясь встать.— Авария?

— Авария.— Отворотом белого халата Вера вытирала слезы.

Жвахин неподвижно лежал на спине, обратив в потолок забинтованное лицо, лишь губы и нос оставались открытыми.

Спустя несколько дней его повезли на первую перевязку. Сестра аккуратно, виток за витком, сматывала бинт, Жвахин подождал и открыл глаза.

Сначала он решил, что повязка надавила глаза, и подождал еще немного, пока они отойдут. Но и спустя минуту, спустя несколько минут и позже он по-прежнему ничего не видел, лишь понял, откуда идет свет.

— Я ничего не вижу,— сказал он.— Эй, кто здесь?.. Я ничего не вижу!

— Правильно, у вас гемофталм,— ответил врач.— Кровоизлияние в глаза.

— Ну и что дальше? — зло спросил Жвахин.

— Должно пройти...

— Должно или пройдет?

— Должно...

— А точнее нельзя?

— Нельзя. Вы скажите спасибо, что живы.

— Спасибо.

— Такой удар!.. Как вы вообще выдержали...— Врач подумал и сказал:— Нужно подождать, пока рассосется гематома.

— Долго ждать?

— Этого никто не знает.

— А что вы вообще знаете?! — закипая, спросил Жвахин.— Что ты знаешь?!

— Не волнуйтесь... Будем лечить.

Жвахин хотел сказать, что ему некогда, надо вкалывать, но подумал, что никому до этого нет дела, и промолчал.

Ему обработали швы, наложили новую повязку и отвезли в палату. Жвахин лег на кровать, откинулся на высокие подушки, которые Вера взбила, пока он был в перевязочной, и застыл, оглушенный новостью.

— Что случилось? — встревоженно спросила Вера.

Он не ответил, погруженный в мысли.

— Коля, что с тобой? — с беспокойством повторила Вера, беря его руку в надежде, что прикосновение выведет его из темноты.

Но он и на этот раз не ответил ей. Перед ним вдруг с пронзительной, беспощадной ясностью предстало его дальнейшее существование.

Ему открылась сумеречная, уходящая вдаль дорога — длинные, не имеющие конца унылые дни, сменяющие друг друга, бессонные ночи.

Вера застыла в страхе. Она не могла пошевелиться, как ребенок, испугавшийся темноты, ей вдруг стало так страшно, что впору было закричать, сжаться или, потеряв голову, кинуться прочь.

— Что? — одним дыханием спросила она едва слышно.

— Я ослеп,— сказал он отсутствующе— не ей, в пространство; Вере показалось, что голос принадлежит комуто другому, Жвахин лишь пользуется им.

Плача, она стала быстро говорить, что это пройдет, он увидит, врач обещал, но Жвахин продолжал неподвижно лежать, и казалось, ее слова не достигают его слуха.

Через две недели сняли швы. После обследований и консультаций был поставлен окончательный диагноз: помутнение стекловидного тела после гемофталма.

Жвахин прошел месячный курс лечения, но улучшения не наступило; комиссия признала его инвалидом первой группы, ему назначили пенсию.

Впервые он подолгу был дома один. В середине дня из школы приходила дочь, обедала, шла гулять, потом садилась за уроки. Под вечер с работы возвращалась Вера. Она приносила с собой оживление, веселую, легкую суету, дом наполнялся отголосками разноликой городской жизни. Все дни Вера была неизменно ласкова и весела, точно ничего не случилось.

Но однажды, проснувшись среди ночи, Жвахин не обнаружил ее рядом. Он слез с кровати, ощупью добрел до порога и сквозь неплотно притворенную дверь обостренным за время слепоты слухом уловил в глубине дома приглушенный плач.

Он стоял на пороге, вслушиваясь в горькие, безутешные рыдания. Жвахин понял, что днем она крепится и не подает вида, а ночью бессонно лежит рядом с ним, спящим, съедаемая тоской, и глушит готовый вырваться плач.

Жвахин вернулся в постель и долго размышлял над тем, что узнал. Позже он услышал крадущиеся шаги и притворился спящим. Вера осторожно легла, притихла, но еще долго не спала, лишь под утро ее сморил тяжелый, беспокойный сон.

С этой ночи он все время думал, как поступить. Без спешки, но и не медля Жвахин доходил до решения.

Время от времени его навещали знакомые шоферы, он попросил одного из них, Ильина, заехать за ним в назначенный день.

По шоссе, вдоль которого тянулись пансионаты и дома отдыха, они выехали из Владивостока, миновали шахтерский город Артем и добрались до аэродрома.

— Слушай, что это ты надумал? — повторял Ильин, пока они ехали.

— Крути, — отмахивался Жвахин и морщился, кривя рот и пожевывая губу.

Они приехали на аэродром, Жвахин попросил отвести его к кассе.

— Да ты что удумал?! — разволновался Ильин.

— Давай, давай... веди,— с досадой подтолкнул его Жвахин.

Он купил билет, они отошли от кассы и сели в зале ожидания.

— Может, вернешься? — снова спросил Ильин.

— Хватит! — Жвахин пристукнул рукой подлокотник кресла.

— Зря ты, ей-богу,— жалобно сказал Ильин.— Вера славная баба.

— То-то и оно. Не хочу, чтобы она терпела.

— А так ей будет еще хуже...

— Слушай, что ты меня достаешь? — зло спросил Жвахин.— Мне сорок, ей — двадцать восемь! Разница есть?!

— Есть...

— Я теперь слепой! Калека! Понял?! Что ж мне, жизнь ей портить?!

— Может, пройдет еще...

— Пройдет — вернусь.

— Надо было обождать...

— Мне виднее,— ответил Жвахин и усмехнулся: глаза не различали ничего вокруг.

Вскоре объявили посадку, Жвахин взял Ильина за локоть, они направились к стоящему неподалеку «АН-2».

— Она не должна знать, где я,— предупредил Жвахин.— Понял?

— Не нравится мне все это,— кисло ответил Ильин.

— Сидеть будем вместе,— усмехнулся Жвахин.— За соучастие тоже полагается.

Самолет летел три с половиной часа с одной посадкой по дороге. Жвахин представлял землю сверху: покрытые лесом сопки, глухие распадки, узкие лощины, в которых петляют извилистые ручьи, редкие таежные деревни, одинокие заимки...

Но мысли его были заняты другим: он думал, как Вера узнает о его бегстве.

Попутчики помогли сойти ему по крутому железному трапу, и один из них, за которым пришла машина, довез его до поселка. Здесь ему тоже повезло: от рудника шел попутный грузовик на побережье.

Дорога лежала вдоль бурной горной реки, которая металась и кипела, сдавленная ущельем. Жвахин напрягал память: горы впереди разойдутся в стороны, ущелье сменится покатой долиной, и река станет спокойной и тихой.

А потом с одного из пригорков откроется океан. Всю дорогу Жвахин напряженно ждал. Наконец машина взлетела на бугор и стремглав кинулась вниз, где густо копился свет.

— Океан? — тихо спросил Жвахин.

— Океан,— подтвердил шофер.

Позже дорога свернула в сторону и вдоль берега привела их в поселок; Жвахин вылез и беспомощно стоял на месте, не зная, куда идти.

Машина ушла, стало тихо, он медленно побрел наугад, потом услышал шаги, остановился и, когда звук приблизился, спросил дорогу. Ребенок — это был мальчик — не понял, что он слеп, стал бойко объяснять, Жвахин перебил его:

— Погоди, я не вижу. Ты проводи меня.

Он вспомнил, пока они шли, запах морской воды, рыбы, водорослей — всепроникающий запах моря, которым был пропитан весь поселок. Запах восстановил в памяти давнюю картину: редкие ветхие ограды — колья и покосившиеся жерди, голые, неухоженные дворы, пустыри и вытянувшиеся вдоль берега дома.

Они вошли в калитку. «Не зови никого, иди»,— сказал Жвахин мальчику, и тот ушел. Жвахин стоял на месте до тех пор, пока в доме не стукнула дверь и женский голос спросил:

— Вам кого?

— Тетя, это я,— сказал Жвахин в направлении дома.

Сначала было тихо, потом раздался короткий, сдавленный, похожий на рыдание крик, женщина с воплем кинулась к нему, обхватила двумя руками и прижалась мокрым лицом.

— Господи, Коля, боже мой!..— Она судорожно вцепилась в него и, захлебываясь слезами, стала что-то бессвязно говорить, припадая к нему и отстраняясь.

Позже она успокоилась, уняла плач и сказала с укоризной:

— Забыл, забыл свою старую тетку!

Он на самом деле редко о ней вспоминал, они не виделись почти двадцать лет. Когда-то они жили все вместе, позже отец и мать расстались, Жвахин ушел из дома, и

тетя Ксения осталась одна в пустом просторном доме, который Жвахин знал в детстве.

Он редко вспоминал о ней. Тетка находилась в таком отдалении от его существования, что ее как бы и не было, и позже, когда умерли родители, он изредка думал о Ксении — как-никак последняя кровная родня.

Жизнь одолевала суетой, и где тут было помнить об одинокой старухе, которая обитала в маленьком глухом поселке далеко на побережье,— своих забот хватало выше головы.

В молодости тетя Ксения была горожанкой, и хотя многие годы с тех пор кочевала с братом по рыбацким поселкам, она сохранила привычки своей давней городской молодости: теплый пестрый халат, крепкий кофе, сигареты, журналы и патефон со старыми пластинками.

Они постояли молча, держась друг за друга. Ксения повздыхала печально, вытерла лицо и сказала уже спокойно:

— Ну, пойдем, Коля, пойдем...

Они направились в дом — она впереди, он сзади, ведомый звуком ее шагов, будто поводырем. Она легко внесла на крыльцо свое маленькое, сухое тело — он не услышал и упал на ступеньках.

— Ах!..— испуганно вскрикнула тетка.— Что с тобой?! Разве можно так неосторожно?! Оступился?

— Я не вижу.— Жвахин поднялся.

— Почему? — спросила она с недоумением.— Не заметил?

— Я вообще не вижу,— ответил он.— Ослеп.

Он не услышал в ответ ни звука, она с ужасом всматривалась в его застывшие и как бы неживые глаза. Жвахин понял ее испуг. Он понял ее недоверие, дурноту, ошеломительный страх, пронизавший ее всю.

— Как?! — прошептала она чуть слышно.— Совсем?!

Он сказал, что разбился на машине. Ксения тихо безутешно плакала, полностью погружаясь в горе, иногда стонала, точно от боли. Это была ноша, непомерная, как смерть, непосильная тяжесть придавила к земле немощное старческое тело, кромешная чернота окутала ее с головой; силы ее оставили, она села на ступеньки и долго и неподвижно сидела, свыкаясь с несчастьем.

Жвахин не знал, сколько прошло времени. Ксения горестно повздыхала, потом ослабевшим, сиплым от плача

голосом позвала его в дом, усадила и стала накрывать на стол.

За едой он рассказал ей о своем отъезде из дома. Она никак не могла взять в толк, что произошло.

— Не хочу быть обузой,— сказал Жвахин.

— Как же так...— голос у нее был растерянный,— жена приходит, а тебя нет? Как же так?

— Переживет.

— Да ты... ты!..— Ксения возмутилась и не нашла слов.

— А лучше будет, если она лямку станет тянуть? Терпеть и молчать? Я решил.

— За нее?! За нее?! — закричала Ксения. Ее низкий, прокуренный голос дрожал от негодования.

— И за нее, и за себя,— ответил Жвахин как можно спокойнее, чтобы рассудительностью успокоить тетку.— От меня теперь мало проку. А ей...

— А ты ее спросил?! — перебила его тетка.

— Я сам знаю.

— У меня нет слов! Зачем тогда жениться?!

Они долго молчали. Ксения часто хрипло кашляла, дым и беспокойство мешали ей свободно дышать.

— Ты не понимаешь, что ты наделал,— с горьким сожалением сказала она.— Бедная женщина... Мечется, наверное, не находит себе места...— Ксения помолчала и крикнула: — Она же твоя жена!

— Устроится...— слабо усмехнулся Жвахин.

— О господи! — Ксения снова закурила и от волнения сломала спичку.— Когда же вы, мужчины, научитесь понимать женщин? А если она тебя любит?

— Любит? — Жвахин наморщил лоб, точно не понять было, о чем речь. Но и усмешка была в его голосе, что-то едкое, от лукавого.

— Черт знает что! — Тетка задохнулась от возмущения, стала кашлять, поперхнувшись дымом.— Ну и ну! — произнесла она сквозь кашель.

— Я знаю, каково ей,— с досадой сказал Жвахин.— Надо было найти выход.

— Выход?! Да?! Выход?! Ты думаешь, ты нашел выход?! — вскричала Ксения в ярости.

Он не сразу ответил, долго молчал, думал и наконец сказал:

— Она сама решит, подходит ей это или нет.

— Как?! Как?!

— Захочет — найдет,— сказал он кратко, будто закончил разговор.

Слова отчетливо повисли в пространстве над столом, врезались в тишину и остались в ней как итог.

И Ксения ничего больше не сказала, глубоко затянулась и задумалась, как бы разглядывая эти зримые, висящие перед ней слова, в которых угадывались сомнение и вопрос: захочет ли?

Они стали жить вместе в старом скрипучем доме. Жвахин вскоре вспомнил его весь — пороги, ступеньки, двери, мебель,— мог передвигаться самостоятельно.

Он даже один выходил во двор, вслушивался в отдаленный шум прибоя. Каждый день тетка водила его на берег. Волны набегали на пляж, океан терпеливо отсчитывал их, безостановочно мерял время, но для Жвахина время исчезло. Оно стало сплошным, неподвижным и потеряло ход; лишь день менял ночь — свет и темень он различал.

Итак, они жили вдвоем в старом доме, отзывавшемся скрипом на каждое движение, на порыв ветра или содрогание земли.

Как ни странно, спать они ложились поздно, полуночничали в разговорах, вернее, говорила одна Ксения: изголодавшись по общению, она наверстывала долгие годы одиночества и молчания.

Никогда, сколько помнил себя, Жвахин столько не слушал. Он узнал о той жизни, о которой ничего не знал. Рассказывая, тетка постепенно забывала себя — хвори, одиночество, старый заброшенный дом, глушь,— разгоралась сердцем: она снова была молодой, веселой, ветреной, безоглядной, жила в большом городе — впереди была целая жизнь.

Память ее сохранила множество людей, домов, историй, разговоров, встреч, своих и чужих романов, писем, размолвок, ошибок, разлук, ссор, примирений, курьезов, измен, поездок, случаев, поступков, характеров... То была пестрая, разноликая путаница, которой, впрочем, и была ее жизнь.

Жвахину вдруг открылось другое время, которого он не знал, но главное было еще впереди: Ксения стала рассказывать о родне.

До сих пор он знал лишь отца, мать, но они жили давно, в прошлом, которое тускнело, стиралось, исчезало постепенно, и Жвахин существовал как бы сам по себе, отрезанный ломоть, перекати-поле.

Неожиданно открылось существование рода, большого, раскидистого фамильного дерева, на котором сам он был одним из многих отростков.

Жвахин не подозревал, что в этом заключен интерес. Его вдруг потянуло узнать об отце, деде, прадеде, о родне со стороны матери, которую тетка знала с детства, он стал допытываться, кто кем был, и Ксения принялась выуживать из памяти все подробности.

Как ни странно, Жвахин на самом деле почувствовал интерес ко многим незнакомым людям, связанным запутанной родственной связью, он был одним из них, а все вместе они составляли род.

Позже тетка догадалась вспоминать по фотографиям. Она достала старые пухлые альбомы и принялась листать их; иногда она забывала о его слепоте, говорила «смотри» и тут же спохватывалась, пугаясь.

— Тетя, вы мне все карточки расскажите, все по порядку,— попросил Жвахин.

— Все? — переспросила она озадаченно.— Я думаю, их здесь тысяча.

— Ну и хорошо, спешить нам некуда,— усмехнулся Жвахин, а она умолкла, ошеломленная, как говорится, величием замысла.

— Что ж, начнем, пожалуй...— произнесла она наконец.— Первая — бабушка и дедушка...

— Чьи? — не понял Жвахин.

— Мои! — гордо заявила Ксения и добавила: — И твоего отца, конечно.

Жвахин удивился:

— Когда ж это было?

— Точно не знаю, но... думаю, лет сто назад, если не больше.

Он притих, подавленный далью времени.

— Это они в день венчания. Она в белом свадебном платье, длинный кринолин по той моде.

Фотографий им хватило на несколько дней. Иногда в сумерки тетка заводила патефон, они сумерничали под песенки тридцатых годов, в доме даже пахло нездешне, чем-то давним, забытым.

— У меня еще письма есть,— сказала тетка.— Я их перечитываю иногда. Если хочешь, нам их надолго хватит.

Писем было много, некоторые из них оказались необычайно длинными. Жвахин подивился перемене людей: никто из его знакомых не умел писать таких писем.

То были отголоски минувших жизней. Людей уже не было, но они продолжали существовать, Жвахин вдруг почувствовал печаль, никогда он не думал, что чужие письма могут так задеть.

Дни были похожи один на другой, мыслями Жвахин против воли то и дело возвращался домой: в глубине души он надеялся, что Вера его отыщет.

Каждый день втайне от себя он ждал ее приезда или письма. День шел за днем, она не появлялась и не давала о себе знать, прошли все сроки, и он подумал с горьким удовлетворением: «Все правильно».

Было немного сладко травить себя, он словно мстил кому-то; несколько дней Жвахин сыпал на рану соль, потом боль притупилась, но саднила в глубине беспрерывно.

Это было нечто новое для него. Все годы он был прочно защищен, отгорожен наглухо — и вдруг на́ тебе, открылось...

Спустя две недели устоявшаяся жизнь была нарушена.

Была суббота, полдень, тетка ушла в магазин, Жвахин слушал радио и не услышал ни шагов на крыльце, ни стука в дверь. Ему вдруг померещилось, что он не один.

— Кто здесь? — спросил он.— Тетя, ты? Забыла что-нибудь?

Ответа он не услышал. Жвахин убавил звук и встал.

— Кто здесь? — повторил он.— Есть кто-нибудь?

— Есть,— тихо ответил незнакомый женский голос.

— Ксения ушла,— сказал он.— Никого нет.

— А вы? — так же тихо, но с каким-то непонятным смыслом спросила женщина.

— Я? Я есть. Но вам, наверное, хозяйка нужна?

— Нет,— сказала женщина.

— Как? — не понял Жвахин.

Некоторое время она молчала, было тихо, он слышал, как поскрипывают половицы у нее под ногами.

— Здравствуйте, Николай Сергеевич,— с непонятной грустью сказала женщина.

— Мы знакомы? — удивился Жвахин.

— Нет,— ответила она.

— Откуда ж вы меня знаете?

— Знаю.

— А я вас?

— Нет.

Он почувствовал любопытство, начало какой-то игры, интерес — по крайней мере надо было найти отгадку.

Жвахин чувствовал, что она внимательно рассматривает его, но никак не мог понять, в чем дело. Вопросов он больше не задавал, ждал.

— Мы с вами учились вместе,— неожиданно сказала женщина.

— В одном классе? — удивился он.

— В школе. Вы были на три класса старше.

— А-а...— он покивал.— Я потом бросил.

— В девятом классе. Я тогда была в шестом.

— Вот оно что,— сказал он.

Ему казалось, она рассматривает его глаза, он повернулся к ней боком.

— Старшие в школе обычно не замечают младших,— сказала она.

— Может, я бы и вспомнил,— произнес Жвахин. Он не сказал «если бы увидел», но было понятно.

— Вряд ли...— с сомнением заметила она.— В школе три года большая разница.

— Да...— согласился он,— пожалуй.

— Вы меня тогда не замечали,— сказала она. Он понял грустную усмешку на ее лице.— Да и что замечать-то? Школьная форма, две косички...

— А сейчас?

Она не ответила. Он чувствовал на себе внимательный взгляд, ощутимый, как прикосновение.

— Много времени прошло,— сказала она после молчания.

Да, времени прошло много, больше, чем он прожил здесь, и вдруг оказывается, кто-то знает его, девочка в форме, с косичками.

— Вы так здесь и жили? — спросил Жвахин.

— Так и жила. Наши почти все разъехались.

— А вы что же?

— Я? — Она вздохнула.— Осталась.

Они помолчали, неожиданно она заторопилась:

— Ваша тетя возвращается, я пойду.

— Почему? — удивился Жвахин.— Вы разве не к ней?

— Нет,— сказала она.

Получилось, она пришла к нему.

Она направилась к выходу, но уже послышались шаги на крыльце и скрипуче пропела дверь.

— А, Маша...— сказала тетка с порога.— Что пришла?

— Проведать,— ответила женщина. Голос показался Жвахину растерянным, будто ее застигли врасплох.

— Спасибо, что не забываешь. А ко мне племянник приехал.

— Я знаю, мы говорили...

— Погоди, я чай поставлю. Печенье купила.

— Нет, я пойду, мне пора уже. Я, может, вечером зайду.

— Заходи, заходи...

Гостья ушла, тетка вздохнула жалостливо:

— Бедняжка...

— Ты о ней? — спросил Жвахин.

— О ней, о ком же... Мужчине этого не понять.

— Что там понимать! Скажи — несчастная любовь...

— Если бы! Несчастная любовь тоже любовь. Жизнь! А тут ничего. Ты понимаешь, что значит — ничего?

— Встретит еще кого-нибудь...

— Вряд ли. Уж очень собой невзрачна, а обмануть не умеет. Другая — ни рожи, ни кожи, а намажется, накрасится, глядишь — глазам не веришь. За красавицу может сойти, если никто умыть не догадается. А эта... Не лукава совсем, бесхитростная душа. Меня на нее иногда даже злость разбирает, уж больно тиха да скромна.

— Опиши мне ее,— попросил Жвахин.

— Что тебе сказать... Обыкновенная. Соли в ней никакой, ни перца, ни изюминки. Одета опрятно, но так... ширпотреб. Выглядит старше, чем есть. Это от работы, устает. Забот было много. Восьмилетку закончила, дальше не могла. Отец рано умер, работать пошла, она старшая была, брат и сестра еще. Мать после смерти отца болела много, вот ей и пришлось... А заботы женщину не красят.

— Ну, и так... внешне?

— Ничего интересного.— Некоторое время тетка размышляла.— Ей бы косметику, парикмахера...— Она вдруг спохватилась: — А тебе зачем?

— Думал, вспомню. Мы, оказывается, в школе вместе учились.

— Она ко мне заходила иногда, навещала. Приболею — поможет: приберется, сготовит... Бывало, о тебе спросит. Постой... Нет, вряд ли... столько лет прошло. Не могла она тебя помнить.— Тетка помолчала немного и сказала задумчиво: — Хотя... кто знает...

Маша пришла вечером. Тетка заварила чай, поставила на стол печенье и повидло. Они сидели втроем под ветхим

абажуром, перенесшим многие кочевья: Ксения не расставалась с ним половину жизни.

Они под музыку пили чай. Тетка поставила патефон на стол рядом с собой, чтобы менять пластинки не вставая. Музыка с трудом прорывалась сквозь треск и хрипы и, казалось, вот-вот потонет в них; к середине диска одышка патефона усиливалась, задыхаясь, он терял силу, голос его угасал, становился низким, плывущим. Ксения приходила ему на помощь: вставной ручкой она подкручивала пружину, и патефон петушился, как молодящийся старик, старался, пока снова не терял пыл.

— Я проигрыватель куплю,— предложил Жвахин.

— Купи,— согласилась тетка.

— И пластинки новые...

— Как знаешь. Эти я на патефоне буду крутить.

— Слов уже не разобрать,— сказал Жвахин.

— А и не надо. Я их наизусть знаю.

Патефон был для нее уже как бы частью тела, вроде руки или ноги, отказаться от него она не могла. Что угодно могло меняться вокруг, своих привычек она менять не намерена.

Ксения держалась за свой абажур, свой кофейник, свой патефон, как за жизнь,— Жвахин впервые понял такую тесную связь людей и вещей; он подумал, что отнять у тетки привычные вещи — все равно что посягнуть на ее жизнь.

Сипло наигрывал патефон, Ксения курила, время от времени подкручивала пружину, дым сигареты плыл над столом, обволакивая абажур, таял в полумраке над ним, и все трое молчали, думая о своем: безмолвное застолье, странное чаепитие...

Ксения сменила пластинку, никто не проронил ни слова. Казалось, они для того и собрались, чтобы в молчании послушать старые пластинки. Маша подливала всем чай. Похоже было, они посидят, дослушают музыку и разойдутся так же молча, как сидели.

Но случилось неожиданное: Жвахин вдруг отставил недопитую чашку, поднялся и кивнул тетке.

— Что? — не поняла Ксения.

— Прошу...

— Танцевать?! — не поверила она, но дала руку и встала.— Не помню, когда танцевала.

Двигалась она легко, умело, видно, знала когда-то в этом толк. Они танцевали на маленьком пятачке возле

стола; когда пластинка кончилась, Маша перевернула ее и завела пружину. Ксения села на место.

— Маша, прошу,— сказал Жвахин.

Она не двигалась и молчала. Он стоял посреди комнаты и ждал, она не шла. Лишь Ксения видела ее испуг: Маша сидела, застыв, будто окаменела. Оркестр уже сыграл вступление, и давний сладковатый тенор повел знакомую старую мелодию — Маша сидела не шевелясь.

— Иди, не бойся,— сказала Ксения ласково.

Маша скованно поднялась и с испуганным, застывшим лицом оцепенело приблизилась к Жвахину.

— Вы точно с мороза,— сказал он, беря ее руку.

Он еще помнил танцы в портовых ресторанах, когда среди шумной музыки, мельтешения и буйного разгула он чувствовал себя хозяином жизни, победителем — сам черт не брат. Тогда было вдоволь денег и силы вдоволь, можно ни о чем не думать — веселись, наслаждайся...

Со стороны, должно быть, странная была картина: красноватый, затененный абажуром свет, хриплый патефон, слепец, танцующий с женщиной, курящая старуха... Странная картина, странное веселье...

Но он не знал, всего, вернее, не видел: ах, танцы-шманцы, что делают с человеком, вроде бы ничего особенного, движения под музыку, но поди разберись, почему вытирает слезы старуха и блестят влажно глаза партнерши?

Хрипел патефон, с треском крутилась пластинка, и едва можно было разобрать мелодию, но все это не имело значения, потому что, как бы там ни было, играла музыка, горел свет, была компания, общество, никто не страдал от одиночества и можно было потанцевать в кои-то веки в этом забытом богом месте на краю земли.

Вечеринка удалась. Это были уже не просто танцы под патефон, не просто чай — это был праздник.

Маша стала бывать у них. Днем она работала на песцовой ферме, вечером приходила к ним.

Обычно она и Ксения читали по очереди вслух, позднее все пили чай и вели разговоры. Бывало, Маша вместо Ксении вела Жвахина на берег. Они гуляли в час отлива по гладкому, вылизанному океаном, мокрому песку.

Редкий день обходился теперь без встречи. Когда Ксении неможилось, Маша ухаживала за ними и вела дом как своя. Она читала Жвахину каждый день и водила его гулять,—без нее ему трудно было уже обходиться.

Вечером Маша уходила к себе. Со временем в ее уходах появилось нечто странное, какая-то ненормальность: казалось, ей надо остаться.

И когда она почему-то не приходила, ее отсутствие тоже выглядело странным и неуместным.

Жвахина она называла Николаем Сергеевичем. Он говорил ей «ты» и «Маша», она ему говорила «вы». Этого он понять не мог, Маша не объясняла.

В одну из суббот они гуляли по берегу, медленно брели вдоль воды по длинной полосе песчаного пляжа. Жвахин остановился, поднял голову: солнце припекало кожу. Лицом он почувствовал свободное, открытое пространство перед собой, неограниченный простор, затопленный ярким светом.

— Штиль? — Жвахин обратил глаза к океану, будто всматривался в даль.

— Штиль,— подтвердила Маша.

— По воде пойти охота.— Он шагнул вперед.— Пойдем?

— Ноги намочите,— она удержала его.

— А так пошла бы?

— Пошла,— ответила она просто.— Я давно готова.

— Давно? — не понял Жвахин. Вернее, понял, но не поверил.

— С шестого класса.

Он молчал, не зная, что сказать. Никогда с ним такого не было, обычно он знал, что ответить.

Получилось, она призналась ему, а он молчит, рта не раскрыл. К тому же она помнила его все годы, а он даже не знает ее.

— Болтают о нас? — спросил Жвахин.

— Говорят...

— Что?

— Все.

Он подумал, что вот идут пересуды, а ведь ничего нет, и ему мнилась какая-то его вина, но не за пересуды, а за то, что ничего нет.

Прежде он никогда за собой вины не испытывал.

— Откуда ты знаешь? — спросил Жвахин.

— Знаю. По улице идем, все умолкают, пялятся. На заборах виснут. Занавески на окнах отводят. Смотрят.

Жвахин не раз замечал, как напрягается ее рука, когда они шли по улице.

— Так уж у нас ведется,— сказала Маша.— Все на виду.

— Ты не боишься?

— Нет,— ответила она спокойно, даже с некоторым безразличием, как будто для нее это ничего не значило или она уже решилась однажды и с тех пор не оглядывалась.

— Болтают, а ничего нет,— сказал он с усмешкой.

— Это от вас зависит,— тихо ответила Маша.

Жвахин молчал, не зная, что сказать,— язык присох. Он вдруг почувствовал себя так, точно стоял на шаткой доске высоко над землей: чуть оступишься — вниз головой.

Снова вышло — она призналась ему, а он отмалчивался, в кусты сбежал.

Он притянул ее за руку и поцеловал наугад, — получилось, в голову.

Жвахин услышал короткий всхлип, будто ей не хватило дыхания, почувствовал, как она обмерла; рука у нее сразу стала ледяной.

— Маша...— растерянно пробормотал Жвахин. Никогда не терялся — и вдруг на́ тебе, как мальчишка...

Похоже было, она окоченела на морозе, голос, стиснутый судорогой, дрожал в горле; она хотела что-то произнести, но давилась рваными, сдавленными звуками.

— Что с тобой? — все так же растерянно спросил Жвахин.

— Я... Никто... В первый раз...— с трудом произнесла Маша.

Позже, когда она успокоилась немного, Жвахин сказал:

— У меня ведь семья...

— Я знаю,— ответила она.

— Я могу уехать...

— Да.— Она помолчала и добавила: — Все равно.

Некоторое время они не говорили, как бы свыкаясь с тем, что произошло.

— Зачем тебе... такой... калека? — спросил он, будто поднял страшную тяжесть.

— Я одна могу управиться... за двоих...

— Я не о том. Я ведь слепой... А что дальше?

Какое-то время она собиралась с мыслями и наконец решилась:

— Николай Сергеевич, я скажу, но вы не поймете. Я одна была, всегда одна. Столько лет ждала, надежду потеряла. Думала, жизнь прошла уже. Таких, как я, пустоцветами зовут. И впереди мне ничего не сулилось, что я

есть, что меня нет — никто не заметит. А тут вы приехали... Вам не понять, я иначе жить стала. То я с работы домой идти не хотела, а теперь рвусь, бегу — ждут ведь. Неужели думаете, я не понимаю, что здоровый вы бы меня и не заметили вовсе? Понимаю. Мимо прошли бы, как тогда, в школе. Да только что ж, ничего это не меняет. Я теперь с работы спешу каждый день — нужна кому-то. Чуть задержусь — у меня уже сердце ёкает и мысли беспокойные: как он там без меня?! Уж за одно это я судьбе благодарна. А что дальше будет, я думать не хочу, сейчас надышаться бы.

Он подумал, что не встречал этого никогда. Женщинам обычно было мало того, что они имели сейчас, они загадывали вперед и старались его привязать. А так — никогда.

Жвахин почувствовал, как засаднило в груди,— не было с ним такого прежде, он считал — и быть не может. А вот ведь повело... Даже дышать трудно стало.

Он сел на песок и замер. Маша молчала и вдруг засмеялась тихо:

— Я ведь оттого такая смелая, что вы не видите меня. Будь вы зрячим, я бы вам на глаза показаться боялась.

Жвахин сидел молча. Что говорить? Он понимал перед собой огромный, настоянный на свету простор, нестерпимый блеск океана, густеющий вдали воздушный дым...

Вечером он сказал Ксении:

— Тетя, что, если я перейду к Маше?

Ксения встретила вопрос спокойнее, чем он ожидал.

— Если ты спрашиваешь, ты уже решил. Но ты спросил, я отвечу: не одобряю. У тебя семья.

— Была.

— Есть.— Ксения долго молчала, курила, потом спросила: — А Маша что же?

— Зовет...

— Ах, беда! — сокрушенно вскинулась Ксения.— Светлая душа, грех обижать. Вот ведь жизнь: хорошие люди горе мыкают.— Она умолкла и заметила: — Некрасива весьма.

— Я этого не знаю,— усмехнулся Жвахин.— Захочу, красавицей представлю. Я ведь тоже теперь не подарок.

— Сам смотри,— сказала тетка резко, поймала себя на оплошности и рассердилась еще больше.— Ты когда из дома сбегал, со мной не советовался!

Она закашлялась, потом молча курила, затягиваясь, ей хотелось высказаться, но она сдержалась.

Маша привела его в старый родительский дом, в котором, кроме нее, уже давно никто не жил. Опрятно пахло мытыми дощатыми полами, свежим глаженым бельем, и сочился неизвестно откуда запах сушеных трав.

— Я одна тут живу,— сказала Маша.— Родители умерли, брат на пароходе плавает, сестра замуж вышла, а я здесь... одна...

— Домом пахнет.— Жвахин поводил головой из стороны в сторону. Ему казалось, он знает этот запах, так пахло в детстве,— знает, но забыл.

— Я слежу. Протапливаю, скребу повсюду... Немного недоглядишь, запустение настает. Одной мне весь дом ни к чему, конечно, комнаты хватит, да я все равно везде прибираюсь. Вроде бы, если я его целиком сохраню, все назад вернутся. Нас когда-то в нем много было.

Он подумал, что она права, пока есть дом, есть надежда, дом ждет всех, кто в нем жил, но если умрет дом, это конец, назад никто не вернется.

Маша провела его по всему дому, назвала все пороги, ступеньки, двери, чтобы Жвахин поскорее привык и мог передвигаться сам.

— Я хочу искупать вас,— сказала она вечером первого дня.

— Ты приготовь все и выйди,— попросил он.

Она не противилась, нагрела воду и сделала, как он велел, но когда он беспомощно тыкался, роняя то мочалку, то мыло, и ползал, шаря руками, она вошла, усадила его без слов в корыто с водой и стала ласково, как ребенка, мыть.

— Кто ж вам поможет, как не я,— сказала Маша, намыливая ему голову.— Вы уж, пожалуйста, не стыдитесь меня,— попросила она, и он покорился.

И вот ночь, и хрустящие, жесткие, будто с мороза, холодные простыни, и высокие, взбитые, топкие подушки, и обоюдная немота, хотя уж, казалось бы, он-то всего повидал, и какая-то горестная тишина, как ожидание, как вопрос, и затапливающая комнату внятная печаль, и страх перед словами, и боязнь молчания, и — робкая, тщедушная надежда.

Вдруг просто и непритворно, как все, что она говорила, Маша сказала:

— Я уж и не надеялась. Думала, помрет во мне женщина, не родившись. Так что ж мне горевать? Могла не узнать, а узнала. И вот вы здесь, рядом... Хоть и не знаю, как там дальше, а нынче — счастье! Вы, Николай Сергеевич, знайте: я вас никогда не оставлю, всегда любить буду. А за себя вы сами решайте. И не мучайтесь, не терзайтесь: как выйдет, так и будет.

Дальнейшая их жизнь выглядела размеренной и лишенной событий. По утрам Маша убегала на работу. Жвахин слушал радио. Она прибегала в обед, кормила его, они беседовали за едой, и она снова убегала на ферму.

Но вечер принадлежал им полностью. Маша читала вслух, они часто навещали Ксению, а иногда тетка приходила к ним, после нее в доме долго не выветривался запах табака.

Прадед Маши был переселенцем из России. Он кочевал по Сибири, брел на восток, перебираясь с места на место, работал в тайге, на горных промыслах, жег уголь, собирал живицу и в конце века с топором и лопатой добрался до океана. Дом строил уже дед, отец расширял его; дом был высок, просторен, крепок, не подвластен ненастью.

Жвахин чувствовал, как баюкает его старый дом. Вроде бы никакие тревоги не проникали сюда; все волнения, горькие мысли, ночные страхи, дурные предчувствия оставались за порогом — дом окутывал покоем и тишиной.

В одно из воскресений они отправились в рощу поблизости от поселка, где склоны были покрыты густыми зарослями облепихи и багульника.

Маша усадила Жвахина на пригретый солнцем камень, а сама бродила вокруг, собирая оранжевые и красноватые ягоды, усыпавшие колючие кусты с узкими длинными листьями.

Время от времени она угощала Жвахина: ягоды были кисло-сладкие, мясистые, по запаху напоминали ананас. Но Жвахину этот запах напомнил что-то давнее, он не мог вспомнить — что.

— Мы облепиху в школе собирали,— сказала Маша.— Помните? Первое лакомство было.

Жвахин вспомнил: это был запах детства. Когда-то давно он любил эти ягоды, потом забыл их, не вспоминал никогда с тех пор, и их как бы не стало. Но, оказывается, они есть, и детство было, стоит лишь вспомнить запах.

Сквозь одежду Жвахин чувствовал, как пригревает солнце, иногда до него доносился треск валежника и веток.

Жвахин снял рубаху и майку и неподвижно сидел голый по пояс среди безветрия и тепла, погруженный в дрему. Но то была не дрема, он вспоминал детство: вдруг треснула жесткая, толстая кора, которая надежно защищала его все эти годы, в трещину проникло что-то едкое — щемило и растравляло.

Ему казалось, он уже не способен вспоминать — душа заскорузла и ожесточилась, но выходит, может, вспомнил.

Нельзя было сказать, что стоит ноябрь. Все дни пригревало солнце, воздух был неподвижен и тих, и даже ночами не ударяли заморозки.

Сводки сообщали, что погожие дни стоят по всему Дальнему Востоку. Везде держалась ясность — на побережье, в тайге, на островах, и даже мнилось — вдруг затянувшееся бабье лето ненароком обманет зиму.

Неожиданно Жвахин поймал себя на том, что не слышит Маши. В лесу было тихо. Лишь слабый шелест нарушал окрестную тишину.

— Маша...— позвал Жвахин. Ему никто не ответил, он повысил голос: — Маша, где ты?!

Шелест листьев был по-прежнему единственным звуком. Жвахин встал. Он застыл, подняв чутко голову, и напряженно поворачивал лицо, прислушиваясь к шорохам и скрипам леса. Жвахин был здесь один.

Он сделал наугад несколько шагов и остановился. Задетый ногой камень с прерывистым мелким стуком прокатился по склону и смолк; оборвавшийся звук подчеркнул тишину.

— Маша! — крикнул Жвахин. Он прошел несколько шагов, наткнулся на колючие ветки и повернул в другую сторону.— Маша!

Со всех сторон дорогу ему преграждали заросли. Он был один, один на земле. В нем проснулась привычная мутная злость. Пустынный враждебный лес окружал его. Жвахин не знал дороги.

— Маша! — крикнул он в ярости и, уже не помня себя — густая, тяжелая ненависть ударила в голову,— кинулся наугад.

Он продрался сквозь первые кусты, попал в чащу и метался, натыкаясь повсюду на колючую стену. Он рычал и матерился, сжигаемый ненавистью, рвался сквозь заросли, обдираясь в кровь, оступался, падал на камни, вскакивал, хватаясь за корни и ветки, и продолжал рваться, не жалея себя и не чувствуя боли.

Маша набежала на него грудью, расставив руки, будто ловила его, а он убегал. Она сдавила его, прижала к себе, и, задыхаясь, словно все еще на бегу, повторяла бессвязно:

— Что?! Что?! Что?!

Они судорожно замерли, сердца их бешено колотились, так близко, что казалось — в одной груди.

И он, и она медленно успокаивались. Маша продолжала его сжимать, словно боялась отпустить от себя; Жвахин высвободился и усмехнулся.

— Мне вдруг показалось, что ты ушла.

— Я — от вас?! — Она как будто не поняла, о чем речь.

— Да. Бросила и ушла.

— Господи!..— Она заплакала, плач то усиливался, то стихал. Потом она взяла его руку и сказала твердо: — Я вас теперь ни на шаг не отпущу.— И вдруг охнула горестно: —Вы же изранены весь!

Чаще всего они гуляли на берегу. Маша уже не оставляла его одного, после случая в зарослях облепихи и багульника она уже не решалась уходить далеко и постоянно держала его под присмотром. Обычно она читала вслух или они разговаривали, но иногда просто сидели молча, слушая шум прибоя.

День шел за днем, началась зима, ударили первые морозы, хотя снег не выпал и, как раньше, светило солнце и ясными были ночи. Жвахину казалось, он здесь всегда. Он жил в каком-то сне и сквозь сон помнил о своей жизни, в которой он был зрячим; сейчас же он спал, и ему снилось, что он слеп.

Казалось, стоит проснуться, все снова станет как было, достаточно лишь проснуться. Но иногда ночью, когда он на самом деле спал, он видел один и тот же сон: машина медленно катится к обрыву.

Жвахин пытался ее удержать, напрягался изо всех сил, но она медленно и неотвратимо продолжала катиться — ближе, ближе,— он просыпался в холодном поту; бешено колотилось сердце.

Проснувшись, он постепенно вспоминал, где он и что с ним,— все, что стряслось. И неизвестно было, что лучше, сон или явь.

Иногда среди дня накатывалась разрывающая грудь тоска: едкая соль касалась вдруг раны, и сильная боль охватывала его всего — живого места не было. Это случа-

лось все чаще, боль усиливалась, в последний раз не было сил терпеть.

Жвахин опустил голову и сжался весь, будто на самом деле испытывал нестерпимую боль.

— Что с вами, Николай Сергеевич? Что с вами? — встревожилась Маша, трогая его плечо.

— Брось,— кинул он ей, словно чужой, и отстранился.

Маша отошла в сторону, он решил, что она ушла, но сейчас ему было все равно, пусть как знает.

Ему вообще сейчас было все безразлично, плевать он хотел на всех, на весь мир; кроме безразличия и злости, он ничего не испытывал.

Его остро потянуло лечь — здесь, на берегу, лечь и лежать, не двигаясь, и пропади все пропадом.

Жвахин посидел, приходя в себя, дождался, пока злость утихнет, встал и направился к дому.

Он медленно брел, спотыкаясь и скользя на камнях. Некоторое время Маша шла в стороне, он слышал ее шаги, потом она приблизилась и молча взяла его под руку; до самого дома они не проронили ни слова. Жвахин морщился, кривил рот и пожевывал губу.

— Николай Сергеевич, я понимаю, вам постыло все,— сказала Маша.— Только вы знайте: вам горько, мне еще горше. Потому что ничем помочь не могу.

— Что ты...— возразил Жвахин.— Ты и так все делаешь.

— Я, если б могла, себе взяла бы,— Маша тяжело вздохнула,— только бы вас отпустило.

Он застыл, пораженный, звука не издал, потому что любое слово, он понимал, любой звук были бы ложью в сравнении с тем, что сказала она.

— Вам лечиться надо,— тихо сказала Маша.

Они замолчали и больше не говорили, но и так было понятно, без слов: чтобы лечиться, надо уехать

День шел за днем, ничего не менялось. Иногда накатывалась тоска, он старался не давать ей воли, но все чаще становилось невмоготу.

Все чаще не было сил терпеть, жгучая злость и досада ели поедом, резали по живому, надоела ему эта жизнь, опротивела — насквозь, до смерти.

В один из дней, когда они сидели на берегу, в небе раздался сильный, раскатистый удар, точно лопнул огромный шар: высоко над землей реактивный самолет прошел звуковой барьер.

За ударом, как нить за клубком, потянулся тугой, ровный гул. Жвахин представил, как стремительно и легко самолет идет вверх, будто скользит по натянутой через небо струне.

Все на свете, вся жизнь проходила мимо — мимо, мимо, стороной! — он даже взглядом проводить не мог. Пронизывающая, невыносимая тоска ударила в сердце, он чуть не задохнулся от нестерпимой боли; одуряющая черная ненависть сдавила голову, взбухала и теснила мысли.

«А-а, пропади оно пропадом»,— подумал Жвахин, встал и неожиданно направился к морю.

Он миновал россыпь мелких камней и продолжал идти по мокрому песку; некоторые волны добирались сюда, оставляя тающую пену.

Следующая волна омыла ноги, он шел, не обращая внимания.

Сзади Жвахин услышал женский крик, но не остановился, вода уже доставала до колен, он продолжал идти, погружаясь все глубже. Одна-единственная мысль оглушительно билась в голове: «Скорей!»

Он услышал за спиной бегущие по воде шаги, настигающий его отчаянный крик — Маша налетела стремглав и с разбега с силой обхватила его сзади.

— Николай Сергеевич, не надо! Миленький, родной, не надо!..— Задыхаясь и плача, она тянула его назад.

— Отвали! — сказал он зло.— Отвали! Мое дело!

Жвахин вырвался, но Маша вновь обхватила его, они вместе упали в ледяную воду.

— Миленький, родной, не надо! — кричала она, повисая на нем, он пытался освободиться, отбрасывал ее, но она хватала его и тащила назад.

— Пошла ты к...— рычал он, матерясь.

Ругательства его били, как тяжелые удары, но она, казалось, не замечала, хватала его снова и снова, стараясь удержать.

— Пусти! Что тебе надо?! Пусти! — Жвахин со злостью отбивался, но не мог отцепить ее от себя, и они, выбиваясь из сил, боролись в ледяной воде.

— Что ты ко мне пристала?! Что тебе нужно?! Кто ты мне?! — кричал Жвахин, отбиваясь.

— Никто! — сквозь плач выкрикнула она, цепляясь за него.— Никто я вам! Никто! Только не надо, я жить не смогу!

Они кружили в воде. Жвахин потерял направление и уже не знал, где берег и где глубина, он сдался и обмяк. Маша из последних сил вытащила его на мелководье и упала рядом с ним в воду. Они лежали, замерзая, потом поднялись и без сил, чуть живые, побрели в дом.

На другой день Маша написала письмо во Владивосток. Спустя неделю они каждый день стали вместе наведываться на почту в надежде получить ответ.

— Да не бейте вы ноги, я принесу, если что,— сказала им почтальон, но они продолжали ходить каждый день, это стало необходимостью, как сон и еда.

Письмо пришло спустя две недели, в понедельник, почтальон отложила дела и прибежала к Маше.

Они услышали скрип калитки, Маша выглянула в окно и выбежала навстречу. У нее не хватило терпения уйти в дом, как была в легком платье, так и осталась на морозе, дрожащими руками порвала конверт.

— Ты хоть бы оделась, простынешь,— сказала ей почтальон, но Маша не слышала, торопливо развернула листок и быстро пробежала глазами.

— Надо везти,— убежденно сказала она, вкладывая письмо в конверт.

Почтальон посмотрела на нее и покачала головой:

— Вон как загорелась, мороз ей нипочем.

Они вместе поднялись на крыльцо и вошли в кухню; сквозь дверь Жвахин слышал шаги и слова.

— Когда повезешь? — спросила почтальон.

— Завтра и повезу,— ответила Маша.

— А с работой как?

— Отпрошусь. Не отпустят — уволюсь.

Некоторое время за дверью было тихо, потом снова раздался голос почтальона:

— Конечно, беда такая... А ты не боишься, станет зрячим, уйдет?

— Боюсь,— ответила Маша тихо.

— И все-таки повезешь?

— Повезу.

Он почувствовал, как трудно стало дышать,— воздуху не хватило.

— Маша, я тебе в матери гожусь, да и мать твоя присмотреть просила, потому и скажу... Ты не обманывайся и зря не надейся: он, может, потому с тобой, что не видит.

— Я знаю,— сказала Маша едва слышно.

Жвахин нашарил рукой и толкнул стул, на грохот вбежала Маша.

— Что?! — спросила она в тревоге.

— Стул упал,— ответил Жвахин.— Маша, еда стынет...

— Я сейчас... Письмо принесли.

Она вышла на крыльцо проводить почтальона, они о чем-то еще говорили, он не слышал.

Жвахин почувствовал, что замерзает, руки-ноги окоченели, он сгорбился, сжался и дыханием погрел пальцы.

Стукнула наружная дверь, Маша прошла в кухню, стало тихо, Жвахин понял, что она обдумывает новость.

— Маша!..— позвал Жвахин.—Маша, поди сюда.— Она вошла и остановилась.— Маша, я тебе одно скажу... Что бы ни было, я тебя не оставлю.

Она подождала, привыкая к его словам, и ответила:

— Вы не закаивайтесь, Николай Сергеевич... Разве можно знать? И слова мне не давайте, чтобы потом не казниться. Как захотите, так и будет. А клясться не надо.

На другой день Маша взяла в сберегательной кассе все деньги, какие у нее были, четыреста рублей, потом дом за домом обошла весь поселок, прося взаймы.

— Смотри, Марья, привыкнешь к нему, прикипишь сердцем, как расставаться будешь? — спросила соседка.

Машу многие предостерегали. В поселке почти все были уверены: выздоровеет Жвахин — уйдет. Маша отмалчивалась или кратко отвечала: «Я знаю»; ей удалось получить в долг триста рублей.

Было похоже, она твердо знает, что делает, была ровна и спокойна, словно ее не мучали сомнения. Жвахин знал, что она никогда не ездила дальше районного центра, и спросил, не страшно ли ей.

— Тревожно,— ответила она.— Тревожно, конечно. Да что делать?

В декабре выпал снег, по ночам морозило, часто штормил океан. Прибой украшал берега причудливой наледью, в сильные морозы казалось, что брызги от волн замерзают в воздухе; мокрые, выброшенные на берег камни быстро покрывались льдом.

Но днем все так же было солнечно, и обледенелые прибрежные скалы ослепительно горели на солнце. Вся береговая кромка материка на тысячи километров, от устья Амура до Находки, была закована в лед и ярко отражала в тот погожий декабрь короткое зимнее солнце.

Они выехали рано утром, на попутной машине добрались до маленького местного аэродрома и купили билеты. Погода благоприятствовала им, вылет состоялся по расписанию.

Всю дорогу Маша держала руку Жвахина — в машине, в самолете и в городе, пока добирались до места; она не отпускала его от себя, и ему всю дорогу было спокойно и надежно, как ребенку, которого мать в толчее держит за руку. Но ни ее, ни его не покидал страх перед тем, что их ждет.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В больницу Маша приходила каждый день. Она сняла комнату, но все время почти проводила в больнице: она бралась за любую работу, чтобы ей разрешили остаться.

Маша мыла полы и туалеты, водила больных гулять, разносила белье и пищу; в отделении ее вскоре уже считали своей и пускали в любое время.

В самом начале лечения Маша подстерегла в коридоре лечащего врача.

— Доктор, я хочу узнать о Жвахине,— обратилась она к врачу.

— Вы его жена? — спросил врач.

— Нет.

— Родственница?— Маша покачала отрицательно головой, и врач удивился.— А кто?

— Никто.

— То есть как?!

— Посторонняя.

Маша молчала и продолжала смотреть на врача, ожидая ответа; было видно, она не уйдет, пока не добьется своего.

— Мы вообще-то посторонним сведений не даем,— хмуро заметил врач и спросил: — Что вы хотели узнать?

— Он видеть будет?

— Не знаю. Будем лечить.

— Ему операцию сделают?

— Нет, только консервативное лечение.

— Долго?

— Трудно сказать. Как пойдет рассасывание... Сделаем анализы, обследуем. Курс обычно месяц-два. Потом перерыв — и повторно. Иногда три курса.

— А увидит когда? — спросила она и добавила: — Так, чтоб человека узнать?

— Этого я не знаю,— сказал врач с некоторой досадой.

Новый год они встретили в больнице. В отделении было пусто, многие больные на праздник выписались, Жвахин остался в палате один. Он помнил и внятно ощущал за стенами новогоднюю суету города, взбудораженность и спешку последних вечерних часов, многолюдье, толчею, разноцветные огни елок за морозными окнами, праздничную иллюминацию, торопливый бег прохожих, яркий блеск стеклянных шаров в витринах, общее веселое возбуждение — в палате было пусто и тихо.

Жвахин остро вспоминал дом. С Верой они ходили в гости или собирали знакомых у себя,— он отчетливо помнил приятную сутолоку, нетерпеливое предвкушение праздника, разноголосый гомон, взрывы смеха, веселую сумятицу застолья, ночной концерт по телевидению...

Врачи и сестры из разных отделений накрыли стол в ординаторской, больные собрались в одной из палат. Сквозь двери доносились отдаленные голоса, шаги, музыка,— даже здесь, в больнице, люди хоть на вечер мечтали забыть о несчастьях.

Маша молча выкладывала из свертков снедь, которую ей удалось купить. Жвахин понуро сидел на кровати.

— Я хотела купить шампанского, но не нашла,— сказала Маша.

— Перебьемся,— мрачно усмехнулся Жвахин.— Такой Новый год, что можно и без шампанского.

— Я вино купила, да не знаю, можно ли вам...

— Ничего. Я уж не помню, когда пил.

Маша все приготовила, они дождались полуночи.

— Вот и Новый год.— Жвахин выпил вина.

— Грустно вам? — спросила Маша.

Он не ответил. Сейчас везде в домах царило веселое застолье, он ощутил остро — вокруг, повсюду, везде, где были люди.

— А тебе весело? — спросил Жвахин.

— Мне — да. Что грустить? Я ведь не одна, с вами. Для меня и это радость. Вот когда одна в доме на праздник, тогда грустно.

— Приходилось?

— Приходилось... Иной раз в гости позовут, а иной и нет. Мы с Ксенией Петровной на посиделки ходили. Соберутся старушки одинокие, а я с ними. А бывало, заупрям-

люсь: неужто это все, что мне в жизни досталось? Нет, не пойду. И одна назло себе дома сижу. А сейчас лучше и желать нечего, мне другого не надо. Я всю жизнь готова так праздновать.

Жвахин молчал. Любые слова были сейчас никчемны, что бы он ни сказал.

— А вам грустно, я понимаю. Город кругом, все веселятся, празднуют, а вы здесь, со мной...

— Маша, ты что?!

— Николай Сергеевич... Я вообще говорить не умею... Может, следовало вас на праздник домой отвезти? Или жену вашу позвать?

Она не притворялась и не лукавила, он знал. И отвезла бы его домой или позвала бы Веру, скажи он об этом,— сделала бы без лишних слов, и никто не узнал бы, какую цену она платит за все.

— Маша! — Жвахин обнял ее, чувствуя, как из глаз у нее бегут слезы.— Ты не знаешь, что ты за человек.

— Обыкновенный,— горько улыбнулась она — он почувствовал — и вздохнула глубоко, чтобы удержать плач.

— Если бы не ты... я... не знаю, что со мной было бы...— сказал Жвахин.

Они лежали на больничной койке, сквозь стекло над дверью в палату проникал свет плафона; они лежали в полумраке, едкая горечь, смешанная с печалью, томила их в новогоднюю ночь.

Однажды он сидел на дворе при солнечном свете. Вдруг — нет, слишком страшно — он закрыл глаза: ему померещилась человеческая фигура.

— Маша...— тихо сказал Жвахин.— Отойди в сторону.

Он видел определенно — пятно переместилось. Не веря себе, он сказал:

— Я, кажется, что-то вижу...

— Да?!— Она побежала к нему и остановилась, закрыв собой солнце.— Видите?!

— Пятно...

— А меня, меня видите?!

Он удивился ее внезапному смятению. Было похоже, она даже дыхание затаила.

— Нет, только пятно,— сказал Жвахин.

— Все равно хорошо.— Маша отошла, он снова увидел освещенное солнцем пятно.— Вы теперь поправитесь.

После трех недель лечения Жвахин едва различал очертания людей и предметов.

— Вам бы в Одессу съездить,— сказал Жвахину лечащий врач в январе.— В клинику Филатова.

— Как? — спросил Жвахин.

— Надо написать. Повезет — они вас вызовут. У них, правда, очередь, надо ждать.

Пока они разговаривали, Маша шваброй протирала в палате пол, но когда врач вышел, она догнала его в коридоре.

— Доктор, вы говорили — в Одессу... Там больница?

— Глазной институт.

— У вас адрес есть?

— Поищу...

Но Маша не стала писать. Она отправилась в агентство Аэрофлота и узнала, что самолеты в Одессу летают четыре раза в неделю. Маша купила два билета. Жвахин был удивлен: она никого не спросила, ничего никому не сказала, просто объявила, что во вторник они летят.

Она забрала его из больницы в понедельник под вечер. Они поужинали в кафе и отправились на Посьетскую улицу, откуда шел автобус-экспресс в аэропорт; всю ночь они коротали время в душном зале ожидания или гуляли вблизи аэродрома, над которым изредка взбухал гул моторов.

Была ясная студеная ночь, близились крещенские морозы, в жестком, колком воздухе сухо поскрипывал снег.

— Даже не верится, что так далеко полечу,— сказала Маша.

— Полетим,— улыбнулся Жвахин.— Небо чистое?

— Все звезды видно.

Он представил высокое небо в январскую ночь, когда стекленел мерзлый воздух. Жвахин давно не видел неба, не смотрел, даже когда был зрячим, было ни к чему, и сейчас он силился вспомнить, мучительно напрягал память и вдруг вспомнил, увидел наяву — чистое январское небо, каким он знал его когда-то, давным-давно.

В рождественские и крещенские морозы звезды всегда казались крупнее и ярче. На востоке всходили три звезды осени и лета: Денеб, сверкающий на хвосте Лебедя, который, распустив широко крылья, всем созвездием вольно летел вдоль Млечного Пути, одна из самых ярких звезд на небе, голубая Вега из созвездия Лиры и Альтаир в созвездии Орла, летящего по Млечному Пути навстречу Лебедю.

Высоко над головой царственно шагал Лев, поблизости от которого почти в зените брела Большая Медведица, ручкой ковша обращенная на восток, где располагался Волопас с ярким оранжевым Арктуром.

На юго-западе, в созвездии Близнецов, были отчетливо видны Поллукс и Кастор, а в близком от них Возничем приметной была звезда Капелла.

А на краю неба, над самым горизонтом, в этот час яркой прямой стрелой летели три стрелы Ориона,— наконечником стрелы была красная Бетельгейзе.

— Сейчас я проверю твое зрение,— неожиданно сказал Жвахин.

— Вы — мое? — удивилась Маша.

— Ты Большую Медведицу знаешь?

— Да, ковшик...

— В середине ручки, вторая от конца, звезда Мицар, конь, значит. Видишь?

— Вижу...

— Рядом что-нибудь есть?

— Маленькая звездочка, едва видна...

— Правильно — Алькор. В переводе — всадник. По этой звезде когда-то зрение проверяли, в древние времена.

— Интересно,— сказала Маша.— Вы в школе астрономией увлекались.

— Откуда ты знаешь? — удивился Жвахин.

— Я помню. Тайком за вами следила. Вы мне таким умным казались, взрослым...

— Да,— Жвахин покивал.— Давно было... Раньше я Алькор тоже видел.

— Еще увидите,— сказала Маша.

— Вряд ли... Уж это вряд ли.

— Увидите,— повторила она убежденно.

В три часа ночи по московскому времени, в десять утра по местному объявили посадку, пассажиры торопливо направились к стоящему неподалеку самолету; Жвахин чувствовал, как напряжена рука Маши.

Они летели шестнадцать часов с тремя посадками — в Чите, Новосибирске и Челябинске. По всей трассе держался мороз, солнце освещало покрытую снегом землю, свет отражался вверх; все беспредельное пространство неба было плотно наполнено светом, который сгущался местами до кисейной плотности.

Они летели через всю страну, вместе с солнцем один за другим пересекали часовые пояса, словно гнались за уходящим временем; в Одессу они прилетели в восемь вечера.

— Чудно́! — удивилась Маша.— Полтора дня летели, а вышло меньше.

Ей было странно и то, что утром они были еще на берегу Тихого океана, на другом конце земли, и вдруг оказались у Черного моря.

Мест в гостиницах не было, они переночевали в зале ожидания на железнодорожном вокзале. Утром на пятом трамвае они поехали на Пролетарский бульвар, где находился институт; Маша оставила Жвахина во дворе за решеткой и ушла.

Он долго гулял по дорожке один. Иногда Маша возвращалась, сетуя на порядки, и вновь уходила обивать пороги. По правилам следовало заранее записаться на консультацию, явиться в назначенный день в поликлинику, а потом ждать вызова в стационар.

— Нам ждать некогда,— говорила всем Маша.— И назад лететь мы не можем.

К середине дня ей удалось добиться консультации.

— Попробовать можно, но сейчас нет мест,— сказал врач после осмотра.

— Когда будут? — спросил Жвахин, чувствуя, как взбухает в нем мутная, одуряющая злость.

— Месяца через два-три. Очередь.

— Мы с Дальнего Востока прилетели,— стоя у порога, сказала Маша.

— Я понимаю, но вы сами видели, что делается,— ответил врач.— К нам со всей страны едут.

— Слушай, ты нам мозги не пудри,— медленно, с ненавистью произнес Жвахин.

— Да вы что?! — поразился врач.— Вы что?!

— Говори прямо — сколько?

— Вы что себе позволяете?! Уходите!

— А я никуда отсюда не уйду! — сквозь зубы в бешенстве сказал Жвахин.— Не уйду! Можете выносить! Деятель нашелся!..

— Тогда я уйду,— сказал врач и вышел.

Некоторое время было тихо, только доносились голоса из коридора.

— Зря вы,— с печальным вздохом сказала Маша.— Нам и так помогли. Нет у нас прав вперед других. Только просить и можно, добром... Пойдемте, Николай Сергеевич.

Коридоры поликлиники были переполнены больными и провожатыми. Приезжие бродили по двору и живописным окрестным переулкам, ведущим к морю: институт располагался на высоком, примыкающем к Ланжерону берегу.

Задний двор выходил на поросший кустарником и высокой дикой травой каменистый склон, напоминающий огромный пустырь, который круто спускался вниз, нависая над прибрежным шоссе; ниже по всему берегу тянулись песчаные пляжи, разделенные на равные отрезки бетонными молами, построенными для защиты от волн.

Маша целый день ходила по кабинетам, просила и добивалась — к вечеру Жвахина приняли. Для него поставили кровать в коридоре на втором этаже, где помещалось отделение травмотологии.

На другой день Маша зашла к палатному врачу и спросила, как будет идти лечение.

— Зачем вам? — удивился врач.— Это наше дело, раз мы взялись.

— Мне нужно знать,— кротко ответила Маша и терпеливо ждала, пока он не пожал плечами.

— Извольте, если хотите... Назначим фибринолизин, папаин или лидазу парабульбарно в инъекциях. Может быть, электро- или фонофорез.— Он снисходительно посмотрел на нее.— Вы это хотели узнать?

— Нет,— сказала Маша.— Вы простите меня, мне нужно знать, когда он видеть начнет. Так, чтобы человека узнать...

— Точно не знаю. Если рассасывание пойдет нормально, к концу месяца, думаю.

— Спасибо,— сказала Маша.— Это я и хотела.

Она вышла, врач задумчиво посмотрел ей вслед. Было похоже, он размышляет над чем-то, что узнал сейчас от нее, хотя она ему ничего не сказала — он лишь смутно догадывался.

Маша приходила к Жвахину каждый день. Она и здесь бралась за любую работу, чтобы ей разрешали оставаться

подольше; некоторые из больных думали, что она и впрямь работает в больнице.

Ночевала она в переулке неподалеку от клиники, в маленькой глинобитной пристройке, которую летом хозяева сдавали дачникам. Хорошо еще был не сезон, не так дорого стало. Комната плохо отапливалась, Маша поверх одеяла накрывалась пальто. Она могла устроиться получше, но здесь она жила рядом с клиникой, можно было дойти за несколько минут.

Маша, как прежде, читала ему, Жвахин с нетерпением ждал ее прихода, но спустя две недели, когда появились признаки улучшения, она перестала вдруг приходить. Ей никто не запрещал, санитарки даже сожалели, что ее нет, но в палате она больше не появлялась.

Она приносила передачу, но на второй этаж не поднималась, просила кого-нибудь отнести, а сама из просторного вестибюля, где на стене висел внутренний телефон, звонила в отделение и просила позвать Жвахина.

— Маша, что стряслось? — спрашивал он каждый раз.

Она не объясняла, и тогда он спешил вниз. Держась за перила, Жвахин торопливо спускался по широкой лестнице — Маши внизу не было.

Тем временем процент за процентом зрение улучшалось, он уже мог самостоятельно передвигаться. К концу месяца Жвахин набрал десять процентов: с пяти метров смутно различал растопыренные пальцы.

Каждый день, иногда дважды, он разговаривал с Машей по телефону — просил и настаивал, чтобы она поднялась, она отказывалась. Причину она не говорила.

Обычно она звонила утром, после завтрака, но бывало и вечером, он не раз пытался ее подстеречь, но ему не удавалось: вероятно, она замечала его издали и уходила.

И неожиданно Маша объявила, что едет домой. Она попрощалась по телефону, горестно вздохнула, но так и не зашла.

Маша поехала поездом, на самолет уже не было денег, а потом от нее пришел денежный перевод: она снова взяла в долг.

Его выписали в конце февраля.

— Двадцать процентов,— сказал врач на последнем осмотре.— Сделаем перерыв. Повторный курс можете пройти на месте, но лучше у нас.

— Когда? — спросил Жвахин.
— Через месяц.

Перед выпиской Жвахин заказал разговор с Машей. Вахтер разрешила позвонить снизу, из вестибюля, где в гардеробной стоял городской телефон.

Жвахин полночи маялся внизу и уже не надеялся, когда раздался звонок, он схватил трубку.

— Маша,— сказал Жвахин, не веря, что она слышит его.— Маша, ты меня слышишь?

— Слышу,— ответила она едва слышно.

— Почему ты пропала? — Ответа он не услышал и крикнул: — Маша!

— Я не пропала,— сказала она отчетливо, но так далеко, что сразу вспомнилось немыслимое расстояние, разделявшее их.— Как ваше здоровье?

— Врач сказал, двадцать процентов. Хожу сам. Как ты?

— Живу...— сказала она неопределенно.

— Ты с почты говоришь?

— С почты. Вызвали...

— У вас сейчас день?

— День...

— А у нас ночь.— Он помолчал и сказал: — Маша, я хочу прилететь на месяц.

Она долго молчала, ему даже показалось, что их разъединили.

— Алло, Маша...— напомнил он.

— Я слушаю,— отозвалась она.

— Ты молчишь...

— Николай Сергеевич,— произнесла она, как будто обдумала все и наконец решилась,— я вас об одном прошу: не надо сейчас приезжать.

— Как?!— не поверил он.— Почему?!

— Не надо. Потом приедете, когда лечение закончите.

— Маша, но... Что стряслось?!

— Ничего не стряслось. Сделайте, как прошу. За Ксенией Петровной я присмотрю. До свидания.

Щелкнул рычаг, наступила тишина. Жвахин никак не мог понять, что разговор уже окончен, и продолжал держать трубку возле уха.

— Поговорили? — деловито спросила телефонистка.

— Поговорили,— ответил он с досадой и положил трубку.

Жвахин снял койку и целые дни бродил по городу или гулял у моря. Особенно интересными были дворы. Как правило, двор со всех сторон был окружен постройками, похожими на голубятни, приспособленные под жилье. Они теснили друг друга балконами, наружными лестницами, галереями, навесами, лепились тесно, замыкая пространство, в котором на уровне второго-третьего этажей сохло белье.

Обычно веревки были натянуты на маленькие колеса или катушки от ниток. Хозяйка, вешая белье, тянула веревку, и мокрое белье плавно въезжало в воздушное пространство двора,— это было похоже на торжественный подъем флага.

В назначенный час на улице появлялся грузовик, рядом с ним шествовал человек с большим колокольчиком, похожим на старый школьный звонок. Стоило позвонить, как тотчас распахивались все двери, из которых, будто по команде, выскакивали хозяйки с ведрами. Казалось, до сих пор они сидели в засаде, дожидаясь условного знака; с разных сторон они сломя голову летели к машине: мусор принимали по очереди, и каждая хозяйка норовила обогнать прочих.

Этот смешливый, горластый город казался всегда праздничным, здесь не верилось в уединенность далекого поселка на берегу океана, где сейчас была Маша и где он сам был недавно.

Одесса напоминала Жвахину Владивосток. Крутые улицы над морем, соседство порта и домов, лестницы на спусках, террасы крыш — сходная картина, хотя другое море на другом конце земли.

Зима случилась строгая и бесснежная. За ночь снег тонко порошил землю, по утрам низовой ветер гнал и крутил по асфальту сухую белую пыль, наметая в углы и под стены скошенные мелкие сугробы.

Жвахин слонялся по городу, гулял по берегу моря и думал о своей жизни; никогда прежде не думал он о ней столько. Зрения между тем у него прибавлялось.

Через месяц его снова приняли в клинику, врач определил тридцать процентов. Новый курс лечения состоял из инъекций в глазницы и в вену, переливаний крови, электропроцедур и ультразвука.

Уже вовсю гуляла и безудержно расходилась карнавальная одесская весна. В центре города с утра до вечера текла праздная, веселая толпа, ртутно переливалась из улиц в улицы, затопляла бульвары, наполняя город томящим предчувствием праздника.

— Прилично,— сказал врач на последнем осмотре.— Восемьдесят процентов. Думаю, вскоре еще десять прибавите. Со временем, может быть, все сто наберется.

— Не будь со мной, не поверил бы,— признался Жвахин.

Постепенно он начинал верить в свое выздоровление, дело явно шло на поправку, но иногда внезапный безотчетный страх вдруг остро колол сердце, появлялся и исчезал, лишь отголосок его долго ныл в груди.

Жвахин выписался в апреле. Теплые, просторные дни неспешно брели по городу, по окрестной степи, по лиманам и морю, солнце перемежалось грозами, после которых город умыто блестел, утопая в свету, и дымились молодой зеленью обрывы над морем.

Из клиники Жвахин ушел после обеда. Времени у него было вдоволь, билет он купил заранее, а вылет был назначен на вечер, в двадцать два пятьдесят.

Жвахин спустился к морю. Он бродил по песку, прощально озирался, переходя с пляжа на пляж, где сиротливо стояли грибки без тентов, уставя в небо голые каркасы, а потом поднялся к шоссе и медленно направился в сторону Аркадии; мимо него, низко пригнувшись, часто проносились велосипедисты в цветных рубахах.

Шоссе то скатывалось вниз, то легко взбегало на открытые пригорки. Жвахин с удовольствием рассматривал траву на склонах, различимые сверху оттенки моря, суда на рейде — самые дальние едва угадывались вдали, размытые блеклой синью моря и неба,— жгучая радость зримой картины всего сущего на земле накатывалась приступами и сжимала сердце.

Глаза различали зелень травы, желтизну песчаных обрывов, яркую окраску пляжных строений, белесую глубину весеннего неба,— слепота помнилась как дурной сон.

Жвахин разглядывал все вокруг с жадностью, будто впервые прозрел, будто никогда до этого ничего не видел, снова и снова накатывалась острая, безоглядная радость —

он видит, видит! — помрачительно будоражила кровь и кружила голову.

Но даже радость не могла избавить его от вопроса: что дальше?

В Аркадии Жвахин поднялся на пирс и постоял над водой. Пахло морем, пронзительно вскрикивали чайки, привыкшие, чтобы их здесь кормили. Жвахин помнил, как стоял на берегу Японского моря,— тот же запах, такой же крик птиц, но какое расстояние, сколько земли пролегло, даже представить трудно, умом не осилить: целый континент!

Подошел прогулочный катер, отправлявшийся в город, к Морскому вокзалу. Там достаточно было подняться Потемкинской лестницей к памятнику Ришелье, чтобы оказаться вблизи агентства Аэрофлота, откуда шел автобус в аэропорт.

Он летел всю ночь. В салонах при тусклом дежурном освещении в откинутых креслах сонно дышали люди, один Жвахин не спал, да еще впереди вяло хныкал ребенок.

Пассажиры спали здесь, в поднебесье, и те, кому снились сны, были в снах там, внизу, на земле, в разных местах вдали отсюда.

Машина несла дыхание спящих людей и их сны сквозь ночь. Жвахин приник к иллюминатору. Земля была непроницаемо закрыта облаками, лишь вверху глубокой, необъятной чернотой было открыто небо, в котором отчетливо и ярко горели звезды: впереди на востоке висел осенне-летний треугольник — Денеб, Вега и Альтаир, на юге высоко над горизонтом был виден Волопас, в котором выделялся сияющий Арктур.

Жвахин смотрел не отрываясь. Глаза различали звездную россыпь, в то же время предстоящий день был неразличим и непрогляден.

Приехать с аэродрома домой он не рискнул. Жвахин и не предполагал, что это окажется таким трудным делом; никогда ничего не боялся, рисковал не задумываясь, а тут — на́ тебе, не смог.

Он отправился на автобазу, его тут же взяли, предложили общежитие. Жвахин снова возил грузы по городу — вверх-вниз по крутым улицам, гляди в оба, то едва взбираешься, мотор в обмороке, груз на плечах виснет, то вниз смотреть страшно, вся надежда на тормоза. Но

мысли его все дни были заняты одним вопросом: что дальше?

Однажды он подъехал к школе, в которой училась дочь. Он увидел ее в стайке детей. Лида несла на спине ранец, в руке держала мешочек с тапками и размахивала им в такт шагам; иногда движением спины и плеч она вскидывала ранец повыше и еще ухитрялась подпрыгивать на ходу.

Жвахин смотрел на нее, забыв обо всем. Должно быть, его неотрывный взгляд задел ее, как прикосновение, она неожиданно остановилась и стала озираться. Потом она пошла дальше, но снова остановилась, недоумевая.

Жвахин смотрел на нее из кабины, морщился, кривя рот и пожевывая губу. Его неодолимо потянуло выскочить из кабины, рвануться к дочери, схватить, сжать, зарыться лицом в курточку,— он закрыл глаза, стиснул баранку и лег на нее головой.

Когда он пришел в себя, Лида уже бежала прочь, догоняя детей; Жвахин расстегнул ворот, перевел дыхание и ладонью вытер лицо.

С тех пор он часто приезжал сюда. Он ставил машину на противоположной от школы стороне улицы и смотрел из кабины, пока дочь не скрывалась из виду.

В один из дней он по привычке подъехал к школе и остановился на противоположной стороне. Лида долго не появлялась, дети, с которыми она обычно возвращалась, уже ушли, ее не было.

Жвахин подумал, что она по какой-то причине осталась дома, и собрался уехать — завел мотор и выжал сцепление,— когда она вышла.

Должно быть, в школе у нее что-то стряслось, вид у нее был грустный, и она не шла — плелась. Он и себя помнил таким, когда не хотелось идти домой, а будущее выглядело чернее тучи. Острая жалость резанула сердце: это был его ребенок!

Это была его дочь, которая с младенчества верила в его могущество, и сейчас ей было плохо, а он, отец, не хотел ей помочь.

Жвахин не выдержал. Он вылез из кабины и застыл у подножки, держа дверцу открытой. Лида медленно брела по другой стороне улицы, рассеянно помахивала мешоч-

ком для сменной обуви, мысли ее были поглощены школьными горестями.

Она пока не знала еще, что все это пустяки — детские обиды, огорчения,— забудутся вскоре, канут без следа, а потом, позже когда-нибудь, те из них, что удержатся в памяти, потеряют к тому времени свою печаль и безысходность и вызовут лишь улыбку: то будут милые сердцу подробности далекой, чудесной поры.

Но сейчас она верила в их огромную величину, они были настоящим большим горем — застили свет.

Лида безучастно скользнула взглядом по машине и побрела дальше. Потом вдруг остановилась и неуверенно посмотрела еще раз.

Они смотрели друг на друга через улицу. Он видел ее недоумение, испуг, потом в лице появилась растерянность. Она рванулась к нему, пробежала несколько шагов, остановилась и стала медленно, недоверчиво приближаться, не сводя с него глаз.

Жвахин обнял ее молча — что он мог сказать? — да и горло отказало, сдавленное спазмом. Потом он сел на подножку, поправил на дочери шарф и застегнул верхнюю пуговицу.

— Почему не застегиваешься? — спросил он так, будто это было самое главное, что интересовало его сейчас.

— Папа, ты где был? — спросила Лида.— Лечился?

Жвахин покивал, держа ее за рукава куртки; он старался проглотить ком, который застрял в горле.

— Мама говорила, ты лечиться уехал.— Лида посмотрела на его глаза. — Ты уже вылечился?

— Не совсем,— ответил Жвахин.

— Но ты уже видишь? Это твоя машина?

— Что у тебя стряслось? — спросил он.

— Откуда ты знаешь?! — Она удивленно расширила глаза, потом вспомнила свои огорчения и помрачнела.— Маму в школу вызвали.

— Поведение?

Она кивнула. Но беда в присутствии отца уже не казалась ей столь ужасной: он к ее шалостям относился снисходительно.

— Ты уже совсем вернулся?— спросила Лида.— Пойдем домой.

Жвахин покачал головой и сказал тихо:

— Я еще не вернулся.

— Как?! — не поняла и не поверила она.— Ты ведь уже здесь!

— Я еще не закончил, еще лечусь.— Жвахин старался не смотреть ей в глаза.

— И ты не пойдешь домой?!

Он снова покачал головой, но она продолжала смотреть на него — смотрела и ждала.

— Я... потом... позже...— Жвахин видел, что для нее это загадка, она никак не могла понять, почему он не может пойти с ней домой, но и объяснить ей он не мог.

— А маму ты видел? — спросила Лида.

— Нет еще,— сказал Жвахин.

— А что ей сказать?

— Ничего. Можешь сказать, что видела меня. Я потом приду, когда поправлюсь. Приду и все объясню.

Оглядываясь, она медленно уходила, он смотрел вслед — она шла, шла, еле передвигала ножки, вид у нее был растерянный и недоумевающий.

На другой день он ездил в порт и на товарную станцию, после обеда поехал на склад, где его ждал груз. Загрузившись, он подождал, пока экспедитор оформил в конторе накладные, и выехал из ворот.

Жвахин увидел ее сразу и сразу узнал — еще лица было не разобрать. Женщина стояла на обочине и всматривалась в каждую машину, проходящую мимо.

Было прохладно, дул ветер, временами принимался кропить мелкий дождь. Зябко ежась, женщина одной рукой стягивала у горла воротник плаща.

Жвахин остановил машину поодаль и вылез; экспедитор проводил его удивленным взглядом. Медленным шагом Жвахин шел по обочине, Вера не отрываясь смотрела ему в лицо, пока он приближался; он остановился, никто из них не проронил ни слова.

Со стороны, должно быть, они странно выглядели рядом — принаряженная женщина и шофер в старой ушанке, замасленной гимнастерке и темных брюках, заправленных в сапоги.

Нельзя было сказать, что Вера постарела, в лице была горечь, притупленная временем, будто после тяжелой болезни.

— Вера...— начал Жвахин и умолк. Не знал, что говорить.

Она продолжала смотреть ему в лицо. За спиной раздался автомобильный гудок, Жвахин обернулся: стоя на подножке, экспедитор постучал пальцем по часам и сел в кабину.

— Хотела глянуть тебе в глаза,— сказала Вера.

Мимо них в ту и другую сторону проходили машины, знакомые шоферы притормаживали и пялились из кабин. Один даже подмигнул и показал большой палец — одобрил выбор.

— Как же так, Коля? — устало, с горечью спросила Вера.

— Думал, будет лучше...

— Для кого?

— Для тебя...

— Обо мне думал,— усмехнулась она. Но какая-то незнакомая строгость была у нее в глазах, точно она повзрослела в короткий срок. Даже поверить было трудно, что это та самая смешливая, разбитная Вера,— он видел печаль и усталость.

— Я слепой был. Какой от меня прок?

— Эх, Коля...— вздохнула она с укоризной.

Экспедитор снова посигналил, теперь уже несколько раз и требовательно,— Жвахин не обернулся.

— Вера, я калека был,— сказал Жвахин.— Обуза! Камень на шее! А у тебя вся жизнь впереди!

Вера печально покивала и снова вздохнула с тяжестью.

— Зачем тогда жениться, Коля?

— А затем, что каждый свою ношу тянет. Я тянул, пока мог. А не могу, нечего тебе жизнь портить.

— Да что ж, я за тебя из корысти пошла? И жила с тобой из-за выгоды? Ах, Коля, Коля... Значит, случись со мной несчастье, и ты б меня бросил? Все равно пользы никакой...

— Ты мучилась со мной.

— Мучилась,— подтвердила она.— Ну и что?

Экспедитор вылез из кабины и подошел к ним:

— Слушай, ухажер, у нас груз. А ты тут...

— А ну, вали отсюда,— зловеще прищурился Жвахин.— Вали, пока я тебе...

— Коля...— остановила его Вера.

Жвахин тяжело смотрел экспедитору в лицо и ждал,

кривя рот и пожевывая губу. Экспедитор вернулся к машине и стал нервно прохаживаться вдоль борта.

— Вера, я не знаю, кто прав,— хмуро сказал Жвахин.— Все время об этом думаю. Этого никто не знает.

— Я знаю,— сказала Вера.

— А я нет. И пока я тебе ничего не скажу.

Она повернулась и пошла прочь. Жвахин постоял, глядя ей вслед, и направился к машине. Экспедитор сидел в кабине.

— У тебя что, другого времени не нашлось? — спросил он примирительно, показывая, что уже остыл.

Жвахин глянул на него, прищурился, кривя рот и пожевывая губу.

— А ну, выйди,— сказал он тихо, даже бережно как-то, словно боялся расплескаться. Глаза его стали белыми от ненависти.

— Да ты что?! — удивился экспедитор.— Ты что?!

— Выйди, я тебе говорю,— медленно, как бы из последних сил, произнес Жвахин.

— Да ты с ума сошел! — визгливо зашелся экспедитор.— Мне груз везти!

Жвахин вылез из кабины, обошел машину и открыл дверцу с другой стороны.

— Не выйду,— строптиво ответил экспедитор и застыл с начальственной, каменной важностью, упрямо глядя перед собой.

— Вылезай,— тихо, сквозь зубы, вздрагивая от ненависти, сказал Жвахин. Вся его покосившаяся жизнь, давние обиды, свежие горести, беспокойные мысли, едкая тревога и надсаживающая душу тоска — как жить дальше? — все одно к одному свелось сейчас в этом человеке, сошлось, скрестилось, и он уже не помнил себя, лишь повторял оцепенело: — Я тебя довезу! Я тебя довезу!..

Экспедитор почувствовал опасность и вылез из кабины. Жвахин сел за руль и включил мотор. Он посидел, приходя в себя, приступ бешенства погас, он затих; лишь мучительно болела голова, просто разламывалась, он даже глаза прикрыл.

Неожиданно он подумал о Маше. Все это время она существовала где-то поодаль, на краю сознания, как бы в темноте, за пределами освещенного круга, и вдруг просту-

пила зримо, шагнула из мрака на свет; вероятно, она думала сейчас о нем, и он вспомнил ее.

Жвахин посидел неподвижно, потом поднял голову и посмотрел по сторонам — экспедитор растерянно стоял на обочине.

— Садись,— сказал Жвахин, морщась от головной боли.

На следующий день он взял отгул. Утром с первым автобусом он поехал на аэродром. Снова он летел тем же рейсом с посадками по дороге, но теперь он мог видеть внизу покрытые лесом сопки: их длинные цепи тянулись до горизонта.

Изредка в распадках показывались маленькие таежные деревни, одинокие заимки,— показывались и тут же пропадали, канув в лесу: тайге конца-края не было.

Чем дальше, сопки становились выше и круче, лес густел, вид внизу постепенно угрюмел, дичал,— на сколько хватало глаз, простирался Сихотэ-Алинь.

По всей трассе держалась хорошая погода. Вся неподвижная, немая горная страна была затоплена солнцем. И неожиданно справа показался океан.

Жвахин не поверил глазам: океан распахнулся весь сразу, целиком, неоглядная светлая равнина, открытый простор, заполненный светом.

Горные цепи Сихотэ-Алиня тянулись из глубины материка и не снижаясь отвесно рушились в океан.

Слева лежала вся земля, Азия и Европа, вся суша на западе до побережья Атлантики.

Справа просторно открывался Тихий океан — вода до берегов Америки.

Самолет невесомо скользил по узкой кромке между материком и океаном. Далеко внизу бесконечной белой полосой, повторяющей очертания побережья, тянулся прибой — океан мерно накатывался на материк и без устали бил, бил в береговые скалы. Самолет, как крохотный комарик, потерявшийся высоко над землей, упрямо стриг необъятное пространство.

Они подлетели к горнорудному городку, самолет кругами привычно стал ввинчиваться в узкую долину среди гор, в которой, словно на дне колодца, были рассыпаны дома.

На дороге Жвахин поймал попутную машину. Был тре-

тий час пополудни, когда он приехал в поселок. Жители узнавали его, здоровались, но он никого не узнавал — впервые видел.

Жвахин сразу отправился к Маше. Еще у ворот он понял, что в доме никого нет. Дом оказался таким, каким он себе его представлял: высокий каменный подклет, толстые бревна... Дом мог выдержать ураганы и землетрясения — любые стихийные бедствия, одного он не мог вынести — пустоты.

Жвахин обошел дом вокруг. Окна были наглухо закрыты ставнями, внутри держалась такая твердая тишина, что было понятно — дом оставлен. Какая-то обреченность бросалась в глаза — запустение уже обозначилось явно.

Жвахин торопливо направился к тетке. Ксения копалась в грядках, она выпрямилась, держа вразлет испачканные землей руки; он увидел испуг на ее лице, напряженное внимание, она пристально всматривалась в его глаза.

— Коля... неужели? — спросила она с тревогой.

— Нормально, уже работаю,— улыбнулся Жвахин и увидел, как ее лицо искривилось и сморщилось в беззвучном плаче.

Она ткнулась лицом ему в грудь, тряслась и вздрагивала маленьким, сухим старческим телом. Позже она успокоилась, улыбнулась сквозь слезы и, глотая их, спросила:

— Вылечили тебя?

Жвахин кивнул. Ксения недоверчиво глянула на его глаза, вздохнула глубоко, осаживая последние всплески плача.

— Ну и слава богу! Не думала, что такое возможно, да ошиблась, к счастью. Надо забыть теперь, как дурной сон.— Она помолчала и спросила как бы с опаской, словно робела, но не могла не спросить: — Ты... вернулся домой?

Жвахин молча покачал головой. Ксения всплеснула руками:

— Как?! Да ты что?! Я тебе и раньше говорила, что ты глупо поступил, а теперь что же? Ты же сам говорил: «Поправлюсь — вернусь!»

— Я не мог пока,— хмуро ответил Жвахин.

— Как это «не мог»?! Как это «не мог»?! — выкрикнула она, повышая голос.— Нет, я решительно не понимаю! Я отказываюсь понимать!

— Тетя, не надо,— тихо и, похоже, устало попросил Жвахин.— Мне нужно Машу увидеть.

— Да при чем здесь... — быстро начала тетка и осеклась, словно на бегу уткнулась в преграду.

Она стояла в каком-то оцепенении, погруженная в мысли, и кивала едва заметно — то ли своим мыслям, то ли его словам.

Ксения долго не двигалась, будто оглушенная открывшейся в подробностях картиной его нынешней жизни, потом направилась в дом. Жвахин пошел следом.

— Она теперь на рыбокомбинате работает,— сказала Ксения.— В разделочном цехе. В общежитие перешла, чтобы не ходить каждый день. Ну, и... не так одиноко все же.

— Я пойду к ней,— сказал Жвахин.

— Сейчас? — спросила Ксения, будто согласилась, что ему невозможно без этой встречи. Она подождала и каким-то странным, неподвижным голосом, глядя с отсутствующим видом в сторону, спросила:— Ты остаться с ней хочешь?

— Не знаю,— ответил Жвахин без особого желания.

— Неужели ты...— начала Ксения, глядя на него с недоверием, но Жвахин перебил жестко:

— Я сказал — не знаю!

Ксения умолкла, отошла в сторону и стала мыть руки. Лишь раз она произнесла в пространство, ни к кому не обращаясь:

— Остаться из благодарности...— она с сомнением покачала головой.— Будет плохо и ей, и тебе.

Лицо ее было грустным, ей казалось, что доля вины за происходящее падает и на нее.

— Ты, наверное, есть хочешь? — спросила Ксения.

— После,— ответил Жвахин, уходя.

Быстрым шагом он добрался до комбината, расположенного в пяти километрах, на берегу закрытой бухты, куда впадала сбегающая с гор река. Жвахин вспомнил, как он работал здесь когда-то, плавал на сейнере и жил в общежитии.

Еще издали он почувствовал приторный запах древес-

ного дыма и коптящейся рыбы; по мере того, как Жвахин приближался, запах усиливался.

У открытых ворот сидела старуха вахтер, сквозь распахнутые створки в глубине двора были видны длинные навесы, под которыми висели большие связки вяленых морских окуней и горбуш.

Жвахин объяснил старухе, что ему нужно, но она его не пустила, а велела позвонить из проходной в цех.

Он позвонил, спросил Машу и услышал, как мужской голос послал кого-то за ней; Жвахин держал трубку, чувствуя, как частит сердце,— никогда с ним подобного не было, а сейчас он ничего не мог с собой поделать и волновался, как мальчик.

Из трубки доносились голоса спорящих людей, потом он услышал приближающиеся по каменному полу быстрые звонкие шаги, и слегка запыхавшийся голос сказал.

— Я слушаю...

— Маша, это я,— медленно, с ощутимым трудом произнес Жвахин.

Она ничего не ответила, должно быть, обмерла от внезапного испуга, и, пока справлялась с собой, они молчали.

— Где вы? — спросила она наконец, хотя было понятно, что он здесь, где-то рядом, если звонит по внутреннему телефону.

— На проходной,— ответил Жвахин.

Они молчали, потому что говорить было не о чем — все ясно, она должна выйти.

— Как ваше здоровье? — спросила она с усилием и в то же время каким-то странным, костяным голосом.

— Нормально. Я хочу тебя видеть.

Маша не ответила, он слышал в трубке отдаленные шаги и голоса и напомнил о себе:

— Маша...

— Я слышу,— отозвалась она и сказала: — Николай Сергеевич, вы подождите, скоро смена кончится. Только знаете что... Я к вам сама подойду. Мне решиться надо. Мы из ворот все вместе пойдем, вы в сторонке постойте... Смогу — подойду, а нет... вы простите меня тогда, не смогла, значит.

— Маша!

— Вы домой вернулись? — спросила она неожиданно.

— Нет. Мне с тобой поговорить надо. Я для этого прилетел.

Она долго молчала, он слышал ее дыхание.

— Николай Сергеевич, я вас об одном прошу... Не разыскивайте меня, если не подойду. Поезжайте спокойно. Вашей вины никакой нет, я одна так решила. И не казните себя, ничем вы мне не обязаны, это я вам должна.

— Маша, я буду тебя ждать,— сказал Жвахин.— Ты подойди.

— Я постараюсь,— ответила она тихо и положила трубку.

Жвахин вышел из проходной. Вдоль забора к берегу тянулся голый пустырь, покрытый высокой, жесткой, похожей на проволоку травой и камнями. Было тепло, солнечно, но океан волновался: с берега доносился гул прибоя, сопровождаемый в паузах рокотом камней, которые спадающая вода тащила в море. От ворот шла мощеная дорога, пересекала пустырь и становилась улицей, вдоль которой стояли каменные и тесовые дома.

Жвахин отошел от ворот и остановился на обочине дороги, где росли сучковатые, истерзанные частыми ветрами, корявые сосны.

Вскоре в воротах появились идущие поодиночке люди, потом их прибавилось, они изнутри подходили к воротам с разных сторон двора — множество женщин разного возраста, от молоденьких девушек, почти подростков, до старух; густая толпа заполнила весь створ ворот.

Они шли по дороге, Жвахин стоял на обочине, к нему были обращены все лица. Его внимательно рассматривали, оглядывали с ног до головы, появление незнакомого мужчины было здесь событием; его изучали с пристальным вниманием, беззастенчивым любопытством и неподдельным острым интересом.

— Эй, молодой, ты откуда такой красивый? — громко спросила одна из женщин.

— Поджидаешь кого аль так стоишь? — поинтересовалась другая.

— Бабоньки, это ж кому из нас так повезло?

— А может, он выбирает только?

— Эй красавец, меня выбери, не пожалеешь!

— Вон нас сколько, у него глаза разбежались!

— Заезжий, бери всех нас замуж, мы согласные!

— Он без дела стоит, а мы тут маемся неухоженные!

— Мужичок, нас в комнате четверо, пойдешь пятым?

— Да вы что, бабы, разве ж он петух или бык племенной?

— А что, мы не против... Красавец, пойдешь?

— Совсем, девки, вы стыд потеряли,— с укоризной заметила пожилая женщина.

— Потеряешь тут, на безрыбье,— ответили ей в толпе.

Мимо него текла шумная, многоликая, пестрая толпа. Над дорогой висел разноголосый гомон, смех, крики, частый стук шагов; все лица были обращены к нему, будто женщины для того и шли, чтобы взглянуть на него.

Он стоял на виду у всех. Женщины без умолку отпускали шутки, задирали его наперебой, громко, вызывающе смеялись, и хотя он не двигался и молчал, голоса и смех становились все громче, а шутки все более едкими.

Жвахин всматривался в толпу, пытаясь угадать Машу, но тщетно — лица сливались в сплошной поток, он успевал выхватить взглядом лишь некоторые из них.

Над дорогой клубилась пыль, поднятая сотнями ног. Толпа шумно и весело двигалась мимо, он ждал — взгляд беспомощно скользил по огромной разноликой массе, скользил и не мог задержаться.

Постепенно поток стал истощаться. Появились просветы, толпа стала редеть, распадаться, и наконец дорога опустела, только пыль медленно оседала на землю.

Жвахин сквозь ворота смотрел во двор — никто не показывался. Старуха вахтер, колченого ковыляя, закрыла створки. Жвахин понял, что ждать больше нечего.

Маша не подошла. Он представил, как она вместе со всеми идет в толпе мимо него, представил и понял, что не увидит ее. Можно было, конечно, кинуться в общежитие, отыскать, но не в этом, в конце концов, суть, не в этом суть: Маша не хотела, чтобы он видел ее.

Жвахин медленно побрел пустырем, дошел до берега и сел на камень. Тугие, скрученные в жгуты, высокие и крутые, сверкающие на солнце океанские валы, увенчанные белыми гребнями, один за другим тяжело и

неудержимо катились к берегу, оглушительно падали на широкий каменистый пляж и разбивались вдребезги; длинная полоса прибоя кипела пеной, тянулась, окаймляя берег, в обе стороны и обрывалась у далеких мысов.

Жвахин услышал за спиной шаги и обернулся — к нему направлялась женщина средних лет. Она приблизилась, он встал.

— Маша? — спросил он неуверенно.

— Нет,— с грустью покачала головой женщина.— Я от нее. Вы простите ее, не смогла она. Страшно ей. Боится, что не приглянется вам, а вы себя понуждать станете. Уж лучше так...— Женщина помолчала и продолжала: — Вы стояли там, она мимо прошла... со всеми. Видела вас...— Она вздохнула.— Тяжко ей... Велела передать: поезжайте с богом, не мучайте себя. Ей так легче. Она вас не забудет.

Жвахин стоял, не зная, что делать. Он не мог собраться с мыслями и потерянно озирался, будто в желании уцепиться за что-то взглядом.

— Еще просила, чтобы вы не искали ее,— сказала женщина и добавила от себя: — Вы уж не терзайте ее, оставьте как есть, а не то ей совсем худо будет.

Жвахин молча потоптался на камнях и через пустырь направился к дороге. Никогда прежде он ни с кем не считался, делал, как сам понимал, но сейчас покорился и скованно брел к дороге, чтобы уехать.

Он думал, что вообще не увидит ее никогда, даже встретив лицом к лицу,— просто не поймет, что это она. Пройди она молча рядом, он так и не узнает, кто это был.

Жвахин поймал попутную машину и поехал назад. Самолет уже улетел, надо было ждать до утра. Не было конца длинному светлому июньскому вечеру, стемнело лишь к ночи.

Пришла короткая ясная ночь, высокое небо было размыто бледным прозрачным светом, в котором слабо мерцали звезды: на востоке в осенне-летнем треугольнике были видны Денеб, Вега и Альтаир, а высоко над горизонтом на юго-востоке отчетливо горел Арктур.

Задрав голову, Жвахин смотрел вверх. Он отыскал Большую Медведицу, нашел в ручке ковша звезду Ми-

цар — коня — и рядом поискал всадника. Но как он ни напрягал глаза, Алькор не был виден.

Жвахин всю ночь бродил у летного поля, часто поднимал голову и подолгу смотрел на небо. Светать стало рано, созвездия Лебедя, Орла и Лиры клонились к горизонту. Звезды постепенно меркли в холодном рассветном небе, таяли медленно и сулили теплый и тихий день.

1980



Такой день бывает однажды в детстве. Память о нем живет всю жизнь,— не раз вспомнишь с радостью и грустью, где б ты ни был и кем бы ни стал. И чем дальше, тем больше прибавляется в ней печали и боли. И хотя многое потом забудешь, этот день останется в памяти светлым и незамутненным: он и есть память детства.

Только иногда кольнет вдруг сомнение и — дай только волю — превратится в ноющий ком, в саднящее беспокойство: неужели тот ребенок был я?!

А был ли вообще тот день, та пора, вчерашняя, еще осязаемая, но уже и неправдоподобная, бесконечно далекая?

А может, то и не день был, а месяц или даже год, который за столько лет, минувших с тех пор, сжался, уплотнился до одного дня и держится в памяти как один долгий день?

Неужели то было со мной?

Летним утром сумрачное лесное пространство между стволами прорезали сверху вниз косые светлые столбы,— свет вспыхивал и гас высоко в листьях, пробивался и бликами играл в траве.

Над низинами и логами висел туман. Было пустынно, тихо, блестела влажно трава, свежесть и покой наполняли лес; тишину нарушали лишь птицы.

Их голоса звучали громко и внятно в высокой, емкой, замкнутой тишине леса, отрезанной и укрытой деревьями от всего окрестного пространства. Нет, они не нарушали тишины, а прочно и неизбывно принадлежали ей и были ее признаком, как прочие звуки, которые рождал лес.

В глубине зарослей появился новый звук. Еще неслышный, он незаметно соединился с переменчивыми шорохами и скрипами, с птичьими голосами, а потом так же незамет-

но возник из их переклички, прорезался и стал внятным. Это был женский голос.

Белый день проходит, ночка наступает.
Ночка наступает, заря потухает.
Ко мне, молоденьке, милый присылает...

По естественной причине голос человека должен был стать в лесу посторонним и нарушить тишину, но по какой-то странности голос этот посторонним в лесу не оказался и тишины не нарушал. Мало того, возникнув, он стал тут же ей принадлежать.

Это был негромкий чистый голос, и, как прочие лесные звуки, он был тишине не помехой, а скорее ее признаком.

Он уже принадлежал лесу, как голоса птиц, скрипы и шорохи, и был здесь своим, как шелест любого из его деревьев.

Милый присылает и сам приезжает.
— Дома ли, милая́, радость дорогая?
Вышла б на крылечко, молвила словечко!

Слова одно за другим неторопливо являлись из зарослей ивняка и можжевельника, каждое на мгновение отчетливо повисало в воздухе, и все напевно катились по лесу.

А я, молоденька, была тороплива,
С постели вставала, башмачки вздевала,
На двор выходила, с другом говорила.

Пела молодая опрятная деревенская женщина. Напевая, она двигалась, озираясь, и то и дело наклонялась, срывая и кладя в корзину чернику.

Спрошу я мило́го про его здоровье,
Скажу я мило́му про свое несчастье:
— Сокол ты мой ясный, молодец прекрасный,
Куда отъезжаешь, меня покидаешь?

Пела она негромко, часто умолкала на полуслове, чтобы сорвать ягоду, но потом продолжала, голос ее плыл по лесу, не нарушая его тишины, и как бы принадлежал ей,— между кустами и от ствола к стволу, над муравейниками, обросшими иван-да-марьей и чистотелом, над ягодниками, над полянами, затянутыми высоким иван-чаем, над глухими бочажками, покрытыми зеленой ряской, над овражками с непроходимыми колючими зарослями ежевики.

Рядом с женщиной чернику собирал белоголовый худой мальчик лет семи, молча и сосредоточенно рвал и укладывал в кузовок, но иногда не выдерживал и особенно крупные ягоды отправлял в рот.

— Слышишь, сынок, это варакушка бормочет. Слышишь? — ласково спросила женщина.— Славная птичка. А это зорянка вступила. Цик-цик... цик-цик... Слышишь? Как молоточек маленький.

Мальчик задрал голову и прислушался. На лице его переливались солнечные блики.

— А это, послушай, это камышовка. Видишь, как торопится? Словно допеть спешит. Наверное, с болота залетела. А вот свиристель. Слышишь, протяжно как? — Она улыбнулась.— Давай собирать... А то заслушаемся, пустыми уйдем.— Она принялась споро рвать и класть ягоды в корзину.— Наберем черники, зимой хворать не будем.

А мой-то дружочек, сплеснувши руками,
Сплеснувши руками, залился слезами...
— Ты прости, милáя, радость дорогая!
Знать, что нам с тобою долго не видаться!
Долго не видаться, нигде не съезжаться!

Мягкий, чистый голос катился по зарослям и полянам, стихал и вновь возникал под высоким тенистым пологом леса, пронизанным лучами света.

Женщина глянула на сына, умолкла и замерла. Мальчик стоял, задрав голову, и смотрел на переливающийся в листьях свет; на лице его играли блики.

Мать молчала, но, казалось, напев все еще ручейком бежит по лесу, оседая в укромных местах,— она выжидающе наблюдала за сыном, потом подошла, осторожно обняла его за плечи и ласково погладила по голове.

— Ты запомни, сынок... День этот, лес, нас с тобой... На всю жизнь запомни.

В полдень они вышли из леса на опушку. Это был редкий липняк с высокой травой, в которой белели прямые метелки тысячелистника. Было знойно, душно, над землей гудели шмели.

Мать посмотрела на сына — его распаренное, розовое лицо покрывали капельки пота.

— Устал? — спросила она.— Давай передохнем.— Она поставила полную корзину и опустилась рядом.

Мальчик тотчас лег на землю. Он лежал под внимательным взглядом матери, несколько ягод выкатилось из его кузовка, но он даже руки не протянул к ним от усталости, и мать аккуратно вернула ягоды на место.

— Алеша, смотри, какой ежик,— сказала женщина, показывая в густой траве маленькое растение.— Видишь?

— Правда, ежик,— согласился мальчик, садясь и трогая его рукой.

— Это прострел. А еще говорят — сон-трава. Весной у нее бывают голубые цветочки и шубка мохнатая.

— А почему сон?

— В старину считали, от нее уснуть можно. Помнишь, бабушка сказки рассказывала?

— А можно уснуть?

— Нет, это только в сказках. А вот это солдатская трава,— она показала на тысячелистник.— Ничего не боится, ни жары, ни холода. Скосят ее, сомнут — тут же снова поднимается. А солдатской называют потому, что кровь останавливает, солдат на войне спасала. А вот это чистотел, ласточкина трава. Зацветает, когда ласточки прилетают. А как улетят, сразу вянет, потому и назвали. Смотри...— Она сломала стебелек, из которого засочился белый сок.— Видишь?

Сок начал темнеть, потом заалел и на глазах стал ярко-красного цвета, к которому постепенно добавился оранжевый.

— Как золото,— сказал мальчик и хотел тронуть, но мать удержала его:

— Не надо. Она бородавки да веснушки сводит. Только запомни, сынок, это опасная трава, ядовитая. Запомнишь?

Он покивал, глядя на кровавый слом стебля.

— А вот это, смотри, по земле стелется, это чебрец. Понюхай. Нравится? На вид неказистый, а по запаху лучше всех. Верно? Любой плохой запах перешибет. И в пищу можно, и как лекарство... Хорошая травка.

— Мама, ты их все знаешь? — спросил мальчик.

Она засмеялась.

— Ну, все не все, на все жизни не хватит, а некоторые знаю. Меня мама учила, твоя бабушка. А ее тоже мама, моя бабушка. А ту ее мама. Так оно и передается.

— А ты меня учишь?

— Тебя, кого ж мне учить... Тебя,— улыбнулась женщина.— А ты потом своих детей научишь.

Мальчик лег и задумался. Лицо его было обращено к небу, где, меняя очертания, медленно двигались облака. Он не видел их. В другой раз он бы неизбежно предался обычному независимо от возраста занятию людей, праздно лежащих на траве в жаркий летний день, угадывал бы в зыб-

ких, меняющихся облаках знакомые черты людей или животных. Но сейчас его глаза смотрели вверх невидяще. Он думал.

Мать знала его мысли. Он неумело и сбивчиво думал об этой живой связи, которую она только что ему показала, невнятно думал о тех, кто был до него и кто будет после.

В рассеянных его размышлениях возник было естественный и неизбежный вопрос о том, кто был первым, но потом он догадался, что первого не узнать. Эта догадка была уже посильной для него, и он неумело думал о своем месте в этой цепи, а потом додумался, что без него цепь порвется и те, кто будет после, не узнают того, что знали прежде. И тут он невразумительно понял, что упусти он что-то из этого знания, это будет ущерб для последующих.

— Пойдем? — голос матери вывел его из неподвижности.

Мальчик очнулся, кивнул и встал. Они вышли на открытый косогор. Знойный, горячий воздух дрожал над землей, колебля все очертания вокруг.

Впереди лежало открытое неограниченное пространство. После тесноты и замкнутости леса они почувствовали смутное облегчение: ничто не теснило и не подступало вплотную, взгляд беспрепятственно уходил вдаль.

Высоко и просторно открылось небо, необозримо лежала земля, раздвинутая высотой холма. Мальчик посмотрел вниз: под горой на солнце горела река, в ее излуках густо росли ракиты. Он оглянулся на мать, она улыбнулась и молча кивнула. Мальчик поставил кузовок и побежал.

Он бежал в высокой траве, не бежал — летел, не чуя ног, рассекал траву, хмелея от скорости, ветер и восторг забивали дух. Он бежал, это был уже не бег, а немного праздник,— не однажды вспомнит он потом в своей жизни, всякий раз, когда вспомнит детство.

Мальчик на бегу сорвал и отбросил рубашку и вонзился в воду. Мать весело смеялась, стоя на месте. Мальчик бежал по мелководью, падал и снова бежал; на бегу он обернулся к матери — его мокрое лицо светилось счастьем.

Спустя много лет высокий человек торопливо шел по лесу. Это был мшистый, болотистый, мрачный лес, в котором росли низкие, сучковатые, корявые сосны и было мно-

го голых, мертвых деревьев, лежащих коряг, непроходимых завалов и бурелома. В низких местах стояла неподвижная, затянутая ряской вода, окруженная куртинами камыша, широколистного сабельного рогоза и сплошного узловатого тростника, увенчанного серыми метлами. Посреди зарослей находились небольшие плесы, покрытые кувшинками. Местами над водой возвышались кочковатые коблы, обросшие по краям тальником, на которых ютились осины и ольхи.

В тот месяц часто шли дожди. Губчатый седой мох, называемый научно сфагнум, был переполнен влагой и не впитывал ее, как обычно, а с легкостью отдавал: каждый шаг оставлял за собой озерцо — след ноги, заполненный водой.

Человек спешил. Вода, коряги и поваленные стволы мешали идти, сучья и ветки рвали одежду. Тяжело дыша, человек торопливо шел, бежал, оступался, продирался сквозь заросли, падал, поднимался, перелезал через завалы, брел, шатаясь, по воде, и, хотя силы оставляли его, он настойчиво стремился вперед.

Был август.

Еще за три месяца перед этим человек находился далеко от сумрачного заболоченного леса, и сама вероятность подобного бега показалась бы невозможной.

Часть первая

МАЙ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1. Весна запоздала, тянулась долго и лениво; тепло прибывало медленно, и хотя было известно точно, что впереди лето, погода его как будто и не сулила.

А потом налетел вдруг остервенелый юго-западный ветер, рожденный в теплых морях, обрушился шквально и устроил погром.

Ветер несся вдоль улиц, врывался на площади, буйно вламывался в подворотни и чердаки, гремел жестью крыш, бился во дворах и бешено трепал деревья. Не было ни одного укромного места, куда б он не проник. И хотя досталось и людям, особенно женщинам, горожане улыбались,

беспомощно сражаясь с ним на улицах, а он насмешничал и задирался, хватая шляпы, подолы и волосы.

Ветер разметал и унес все, что плохо лежало, выдул с улиц мусор и словно прорвал стену, оборонявшую город. И тогда в пролом хлынуло тепло и лето вступило в город.

Люди оглушенно и недоверчиво озирались и не спешили менять одежду. Но ветер исчез, улетел, пропал, и власть перешла к жаре.

В первую же субботу шоссе, ведущие из города, были забиты легковыми автомобилями. Приунывшие за долгую зиму, поскучневшие в весеннюю слякоть горожане встрепенулись и сообща кинулись за город.

Казалось, по команде из города хлынуло все население. Точно внезапно возникла общая угроза и все стремглав понеслись прочь. Но опасности не было, виной бегства были лишь жара, погожий день, весна...

Над пригородными дорогами повисли вертолеты автоинспекции, сверху автострады были похожи на быстрые лаковые потоки, бегущие в одном направлении, эфир забивала толчея беспокойных голосов: милицейские рации работали не смолкая.

Пассажиры ели, спали, разговаривали, слушали музыку, заключенные в металлическую скорлупу, и могло показаться — они и впредь будут жить так, в нескончаемой общей гонке. Отныне и до века.

В одной из машин сидели четверо — двое мужчин и две женщины. Все молчали. По сторонам тянулись пригородные перелески и рощи, покрытые нежной зеленью, но их никто не замечал, все напряженно следили за дорогой и соседними машинами, которые шли впереди, справа, сзади и слева — плотная, с мелкими просветами масса, из которой, казалось, нет выхода. И хотя во всех машинах были видны люди, их лица, плечи, глаза, шевелящиеся рты, было в этом общем движении что-то неживое.

Иногда движение замедлялось, все нетерпеливо тянули шеи, досадуя на задержку, а потом машины дружно срывались с места: разноцветная, пестрая, ревущая волна стремглав катилась вперед, над дорогой таял белый сухой дым.

Четверо продолжали молчать. Впереди загорелись красные стоп-сигналы, передние машины снова замедлили ход и остановились. Дорога была забита. Машины стояли вплотную, почти касаясь друг друга; захоти кто-нибудь выйти, дверцы было просто не открыть.

Они стояли посреди шоссе, вокруг были видны повторенные многократно в разной окраске борта, крылья, капоты, багажники — ни просвета, ни щели.

— Где мы? — спросила одна из женщин.

Сидевший за рулем мужчина молча пожал плечами. Обзор со всех сторон был закрыт, на солнце блестели стекла, сверкал металл, бормотание моторов мешалось со звуками радио. Могло показаться, что, кроме автомобилей, на земле ничего не осталось.

— Кажется, мы в плену,— заметила вторая женщина.

Блондинка сидела на переднем сиденье рядом с водителем, это была его жена; вторая семейная пара размещалась сзади; мужчины скучали, с досадой озирались по сторонам, женщины терпеливо ждали; на них пялились из соседних машин.

Машины стояли, тесно прижавшись друг к другу, подставив солнцу блестящие крыши, и монотонно урчали — многогорбое, плотно сбившееся стадо, брошенное на произвол судьбы. Неизвестно было, сколько так можно простоять. Тянулось время, раздражающе цедилось под сонливый рокот моторов, казалось, все обречены провести в этой неподвижной колонне остаток жизни.

— Главное достоинство автомобиля — это скорость,— заметил владелец машины.

Все улыбнулись, стало немного легче.

— Я сейчас вылезу в окно и по крышам отправлюсь глянуть, что там стряслось,— продолжал хозяин машины.

— Тебе уже невтерпеж,— ответила ему жена.

— Я ехать хочу! — объявил он вдруг громко, словно на площади.— Ехать хочу! Ехать! Машины существуют для езды! Я ехать хочу! Я купил машину, чтобы ездить! Сидеть я могу где угодно. Машины, чтобы ездить! Я хочу ехать!

Все засмеялись, он продолжал капризно выкрикивать:

— Я ехать хочу! В этом нет ничего плохого. Я никого не обижаю, я хочу ехать!

— Остановись,— улыбаясь, сказала жена.

Передние машины тронулись с места, мужчина умолк и выжал сцепление.

— Видишь, помогло заклинание,— сказал он жене.— Главное — это верить.

Они медленно ехали в общем потоке. Дорога стала узкой, с вертолета автоинспекции колонна была похожа на пеструю блестящую гусеницу, ползущую по земле, крыши напоминали глянцевую чешую. Металлическая лакирован-

ная гусеница с дымным назойливым ворчанием волокла тело среди холмов и перелесков. Понятно было, что в машинах находятся люди, но и нечто мертвое было в этом медленном механическом движении, какое-то отсутствие жизни.

— Так и будем тащиться все вместе? — спросила шатенка.

— Ничего не поделаешь,— ответил владелец машины.— Цивилизация автомобилей.

Дорога стала еще у́же, ни вырваться, ни свернуть; только и оставалось, что ползти со всеми, катить еле-еле вплотную к соседям, не отставая и не торопясь, сбитой рокочущей толпой, и казалось, заглохни мотор, машина не остановится, ей просто не дадут остановиться, сообща поволокут дальше.

— Не езда, а кошмарный сон,— сказала шатенка.

Это действительно было похоже на сон. Медленное, оцепенелое движение, яркий холодный блеск, дремотное, сомнамбулическое вращение колес, неподвижные люди, заключенные в металлическую скорлупу... И, как во сне, не было возможности рвануться прочь и освободиться. Они ползли в общем потоке.

— Сдохнуть можно,— сказал хозяин машины.

Они доползли до железнодорожного переезда. Дорога здесь становилась совсем узкой, машины ерзали, тесня друг друга, нервно сигналили, стараясь проскочить вперед; те, кому удавалось прорваться, переваливали, ныряя вверх-вниз, через дощатый помост и скатывались с другой стороны.

Четверо напряженно озирались по сторонам. Хозяин машины в раздражении и досаде быстро выворачивал руль то вправо, то влево, подавал вперед и назад, маневрируя в тесноте. Наконец он в борьбе добыл себе удобное место, но тут резко завопил сигнал, перемигнулись под козырьком красные фонари, и короткий полосатый шлагбаум дрогнул, пошел вниз и, качнувшись, перекрыл дорогу.

— Везет! — только и сказал сидящий за рулем мужчина.

— По крайней мере теперь мы первые,— заметила его жена.

— Не знаю...— покачал он с сомнением головой.

— А что может случиться? — спросил с заднего сиденья второй мужчина.

— Откуда я знаю, Алеша? Вдруг, пока мы стоим, выйдет распоряжение переносить машины через железную дорогу на руках.

— Перенесем,— убежденно сказала шатенка.

Хозяин машины исподлобья глянул на нее в зеркальце, понимающе и подчеркнуто серьезно покивал. Все улыбнулись, снова стало легче. По-прежнему через равные промежутки пронзительно звенел сигнал, и два фонаря под козырьками, похожие на пристальные воспаленные глаза, в ярости перемигивались.

— Хорошая программа. Тут тебе и звук и изображение,— сказал хозяин машины.— А что нам еще покажут?

Они снова улыбнулись. Переезд действительно был похож на сцену: деревянный помост и полосатые квадратные арки спереди и сзади.

— У нас первый ряд,— сказал на заднем сиденье Вербин.

— А как же, старался,— усмехнулся приятель.— Всю зиму билеты доставал.

Уже доносился гул приближающегося поезда. Еще издали они заметили скользящий по проводу пантограф, электровоз быстро и словно невесомо съел пространство, накатился легко, а потом мощно и независимо въехал на сцену. Он сам содрогался от неимоверной своей силы, которая клокотала у него внутри: тысячи лошадей рвались на волю, готовые разнести моторы в куски.

Он проехал быстро и вместе с тем вроде бы не спеша, оглушив своей мощью и силой, а потом без всяких усилий стал выволакивать за собой длинные цельнометаллические вагоны — один за другим они проскакивали сцену, и сразу показалось странным, почему при его неторопливости они так стремительно гонятся вслед.

Они проносились мимо, как большие, тяжелые снаряды, которые выстреливали вдогонку друг другу, все пространство вокруг, все щели заполнили оглушительный гул и лязг; отброшенный воздух, взметая пыль, рвал ветки окрестных кустов и высокие стебли пырея под насыпью.

Машина стояла внизу, за шлагбаумом, у покатого въезда на насыпь. Впереди и сверху на фоне неба несся состав, под которым зияла светлая пустота, и казалось, вагоны проносятся в воздухе, летят над дорогой, не связанные с землей.

Четверо оцепенело смотрели перед собой: у самых глаз, содрогая землю, мчались вагоны. Стоял устрашаю-

щий грохот. Зеленая, покрытая пылью стена мчалась рядом, закрыв впереди все пространство. Взгляд утыкался в нее сразу, у лица, беспомощно и растерянно скользил, не успевая ни за что уцепиться. Мельтешно и одуряюще выли и грохотали над головой вагоны, били размашисто по лицу и неудержимо летели дальше. Было что-то жуткое и завораживающее в этом бешеном движении, неслись чужие лица, мелькали смазанными пятнами,— чья-то жизнь стремглав неслась мимо, пронеслась, исчезла.

Мелькнул последний вагон и с легким всхлипом обрубил что-то: внезапно стало оглушительно тихо и пусто. Мгновение не хватало воздуха. Люди замороченно перевели дух.

Торец поезда бесшумно улетал вдаль, становился все меньше, сжимаясь в черную точку.

Красные фонари на переезде погасли, сигналы смолкли, шлагбаум плавно взмыл вверх и замер, вздрагивая. Но он еще поднимался, когда машины уже нетерпеливо тронулись с места и хлынули на помост.

2. За железной дорогой шоссе расширялось, стало свободнее, все увеличили скорость. Вскоре знак показал развилку.

— Куда поедем? — Сергей посмотрел в зеркало на заднее сиденье.

Вербин молча пожал плечами. Жена повернула к нему голову и смотрела внимательно и ожидающе, потом отвела взгляд от мужа и ответила вроде бы за двоих:

— Все равно. Поезжай куда хочешь.

В тот день с вертолетов автоинспекции пригородные дороги были похожи на речную систему. Широкие автострады-реки, речки-шоссе и множество местных дорог-ручьев — потоки машин текли, делились, бежали, уменьшаясь в размерах, сочились проселками, пока не замирали на опушках лесов и по берегам водоемов, оседая пестрой, разноцветной пеной. Это было настоящее половодье, стихийное бедствие.

В шлемофонах и динамиках с утра держалась озабоченная разноголосица, сутолока позывных, рации и пульты автоинспекции работали без передышки, горячка, охватившая дежурные части и дорожные посты, гнала по всем направлениям моторизованные патрули, эфир захлестывали нервные переговоры.

Сергей неожиданно съехал на обочину и остановился. Он молча вылез и обошел машину, все непонимающе следили за ним. Он стоял, обводя взглядом окрестности: за вспаханными полями поднимались пологие косогоры, на которых уже проклюнулась молодая трава; нежная зелень выстилала склоны и мелкие распадки, до горизонта тянулись поросшие лесом холмы, плавно переходящие на краю взгляда один в другой, и сейчас, здесь, после вязкой дорожной толчеи вдруг повеяло простором и свободой.

Узкая обочина круто обрывалась вниз, под высокой насыпью начиналась пашня: борозды тянулись вдаль длинными изгибами, на сколько хватало глаз было видно вспаханное поле, освещенное солнцем, слабый ветер обдувал лица,— так и тянуло шагнуть в пустоту и отправиться к дальним холмом, покрытым ранней матовой зеленью.

— Едем? — Сергей весело тряхнул головой, и все почувствовали безоглядную легкость.

Впереди лежала дорога. Внезапно сладким толчком проснулось радостное чувство праздничности и освобождения, они могли отправиться в любое место — сейчас, сию минуту, они сами могли решить — куда: вся земля открыто лежала перед ними.

Это было прекрасное ощущение вольного пространства. Все, что держалось грузом в их днях, померкло, и вдруг открылась надежда. У них был выбор, которого они не имели каждый день, а что человеку нужно, кроме возможности выбора? У них был выбор, и этим сказано все: то была свобода. Так им казалось.

Через минуту они весело и раскованно мчались по гладкой дороге, тугой теплый ветер упруго бил в окна. По сторонам тянулись поля, замкнутые на горизонте холмами, широкое открытое пространство, залитое солнцем; на сердце у всех было легко, весело, беззаботно, унеслись назад все тревоги, проблемы, невзгоды, тусклая цепь забот, пустота дней, монотонные недели — канули и забылись. Теперь был праздник.

Они не знали, куда едут. Всеми овладели чудесный, безмятежный хмель, блаженная легкость, веселая, детская беззаботность, радость ожидания и предвкушение счастья. Это было прекрасное состояние независимости, праздника и волшебного сна, которое на городском жаргоне именовалось «кайф»,— они поймали его и погрузились в него.

Итак, они ехали куда глаза глядят. Стоял май, суббота, первая погожая неделя, приветливые дни после долгого

ненастья. А впереди предстояло еще лето, целое лето, сулящее тепло и стойкое расположение природы.

По обеим сторонам дороги тянулись темные, вспаханные, жирные поля и медленно разворачивались освещенные солнцем холмы, покрытые нежной матовой зеленью, похожей издали на короткий ворс. Дорога бешено разматывалась, взлетала на пригорки и падала вниз; дальние холмы неодолимо стягивались к шоссе.

— Надо бросить все и жить в дороге,— неожиданно сказал Бочаров.

— Хочу в пампасы,— насмешливо заметила его жена.

— Надо уходить из городов,— повторил он настойчиво.

— Снимем на лето дачу,— отозвалась она, как эхо.

— К черту дачи! В дорогу! В дорогу!

— Неужели ты бросишь хоккей, пивную и шашлычную?

— Уходить нужно всем вместе. Колония на колесах.

— Итак, мы все увольняемся, бросаем квартиры, продаем мебель... Кстати, туалетную бумагу с собой будем брать? —спросила Лиза.— Если да, нужно запасаться.

— Ты все опошлишь. Я думаю, как освободиться, а ты...— сказал Бочаров обиженно.— Если на то пошло, можно от всего отказаться.

Машина по-прежнему стремительно мчалась вперед, точно они имели цель и спешили к ней.

— А что ни говорите, в этом есть смысл,— сказала вдруг Марьяна.— Иной раз так тошно... Хочется все бросить.

Впереди небо было прочеркнуто белым инверсионным следом. Серебристая игла тянула его за собой, прошивая небо, словно нитью; хвост нити был распушен и медленно таял маленькими легкими облачками.

— Мы здесь, а он там,— сказал Бочаров.— Интересно, для него это работа или полет?

Они представили высоту, скорость и пилота в тесной кабине, одетого в высотный костюм — гофрированный скафандр, округлый шлем с темным солнцезащитным забралом, высокие летные ботинки,— одиноко летящего вдали от земли и словно отринутого ею, одного в ледяном пространстве, в беззвучии, в слепящем сиянии солнца среди темного фиолетового неба.

Вскоре они уже не думали о нем. Давно прошли времена, когда люди восторгались скоростью и высотой, теперь никого нельзя было удивить.

Они продолжали мчаться, спроси у них — куда? — они бы не смогли ответить. Цели у них не было, смысл заключался в самой дороге.

Нет, они отнюдь не были прожигателями жизни, всегда оставались серьезными оседлыми людьми, вполне благопристойными, ходили каждый день на службу, имели квартиры, в одно и то же время принимали пищу, регулярно мылись, смотрели телевизор, чистили зубы, старались получше одеться, читали газеты, любили комфорт, имели упорядоченную семейную половую жизнь, всегда и везде вели себя с тактом, зная во всем толк и меру. Любому и каждому было видно, что люди они благоразумные, основательные, уравновешенные, не склонные к взрывам и метаниям; они любили надежную определенность и твердый смысл и терпеть не могли ничего неопределенного, приблизительного, неуправляемого, какого-то легкомыслия или чего-то излишнего и чрезмерного. Глядя на них, каждому было ясно, что тут и речи быть не может о неприкаянности, забубенной непутевости... А кому это нравится? Серьезному человеку, если он не вздорный, неуравновешенный юнец и не бродяга, свойственно стремление к устойчивому благополучию и стабильности. Так оно и было.

Но почему же иногда, иногда вдруг, редко и необъяснимо, у них возникало смутное недовольство — непонятно чем, какое-то внутреннее неудобство, невнятные беспокойные желания, безотчетная тревога и зыбкое, неопределенное влечение? Они садились в машину и ехали куда глаза глядят.

Итак, вокруг необъятно чернела вспаханная земля, тучная, влажная пашня, сулившая плодородие; ее бездонная чернота подчеркивала чистоту и свежесть воздуха, настоянного на свету, который невесомо густел над полями.

Дорога надвое рассекала всю просторную долину, вокруг поднимались холмы, покрытые ранней зеленью, и казалось, что вдали, над полями, клубятся зеленые облака.

3. Вскоре холмы стали сходиться, и казалось, еще немного — и они перекроют дорогу. Но сомкнуться они не успели: машина пролетела сквозь узкий проем в гряде холмов и вместе с дорогой кинулась вниз. Впереди открылся аэродром.

Сверху отчетливо были видны взлетные полосы, окаймленные длинными многоточиями посадочных фонарей, рулевочные дорожки, стоянки, где вокруг огромных пасса-

жирских самолетов сновали бензовозы, автобусы, электрокары с вереницами багажных тележек, юркие автомобили аэродромной службы, мощные тягачи, самоходные трапы, ремонтные и продуктовые фургоны; цепочки и толпы людей перемещались между самолетами и стеклянным вокзалом.

— Может, и впрямь не стоит возвращаться? — неожиданно спросила Лиза.

— Решено! — обрадовался Бочаров. Он поцеловал руку жены.— Гори оно синим огнем. К черту службу, быт, квартиру!.. Заметано?!

Марьяна повернула голову и посмотрела на мужа.

— Я не против,— улыбнулся Вербин.

Время от времени самолеты ползли по дорожкам, выруливая на полосы или к своим стоянкам, взлетали, садились — неумолчный грохот и безостановочное движение царили на поле; у его края над земляными курганами монотонно вращались и покачивались из стороны в сторону и вверх-вниз антенны радаров.

Иногда низко над горизонтом возникал летящий самолет, робко сближался с землей, крался над ней, проваливаясь понемногу,— просвет между шасси и бетоном таял, пока не исчезал.

По аэродрому то и дело ползли неуклюжие пары: тягач натужно волочил за собой самолет, и самолет на буксире выглядел унизительно — нелепо и беспомощно.

Все бетонное поле было затоплено светом. Ослепительно пылали на солнце стены вокзала, многоэтажные окна вышки управления, вспыхивали ветровые стекла машин, а громадные фюзеляжи и плоскости самолетов горели так, будто сами излучали свет.

— Летим? — спросил Бочаров.— Как, Алеша, летим?

Вербин улыбнулся и ничего не сказал.

— А ему все равно,— ответила за него жена.

— Марьяна, нехорошо! Мужа нельзя продавать,— упрекнул ее Бочаров.

— Это не продажа, ему действительно все равно,— сказала Марьяна. В ее голосе послышалась скрытая злость.— Видишь, он даже не сердится.

На летном поле не прекращалось беспокойное, озабоченное движение, усиливающийся и опадающий гул, приступы спешки, а над всем витала тревога. Ее внушали самолеты, вроде бы вполне привычные и в то же время загадочные; они, как суда в гавани, волновали и были непостижимы и, как суда, манили и будоражили.

— Летим, летим...— повторил Бочаров, как заклинание, и рассерженно погнал машину прочь.

Они продолжали мчаться без цели. Лиза приспустила стекло, ворвался теплый ветер, наполнил машину запахом свежей земли. Бочаров надел темные очки и с непроницаемым видом сидел за рулем.

Неожиданно справа и слева их обогнали два мотоцикла, потом еще два. Первые устремились вперед и заняли место перед машиной, вторые пристроились вровень с капотом. Потом по бокам появились еще два мотоцикла, а два неслись сзади.

— Что им надо? — спросила Марьяна.

— Ничего,— ответил Вербин.— Резвятся.

Мотоциклисты были одеты в плотные куртки, сапоги, красные шлемы с опущенными дымчатыми забралами, сквозь которые неразличимо проглядывали лица; концы длинных цветных шарфов неслись вслед по воздуху, натянутые, как толстые басовые струны, которые дрожали и гудели на ветру.

Мотоциклисты шли с той же скоростью, что и машина, окружив ее со всех сторон, ездоки бесстрашно сидели в седлах, неподвижные истуканы, похожие на марсиан. Казалось, они превратились в одно целое с мотоциклами, двухголовые механические кентавры, бешено таранящие пространство.

Они с ревом пробивали воздух, рвали его в куски, неслись очертя голову, оседлав колеса, вернее, стали кентаврами, у которых ноги превратились в колеса. Машина шла, словно под конвоем.

— Их теперь полным-полно развелось,— сказал Вербин.— Носятся по всем дорогам.

— Ну и что? Жалко, что ли? — спросил Бочаров.— Дети века.

— Они все сумасшедшие,— сказал Вербин.— Голову теряют.

— А мы? — спросил Бочаров.

— Знаете, почему они так носятся? — вмешалась Лиза.— Они наркоманы. Для них езда наркотик. Без этого они уже не могут.

— Лиза, ты философ,— улыбнулся Вербин.

— А ты кто? — вдруг с вызовом спросила Марьяна.

Он давно уже привык к таким внезапным вспышкам неприязни, спокойно взглянул на жену, отвернулся и замер: один из седоков тронул забрало, из-под шлема выбились

длинные светлые волосы, открылось миловидное лицо юной девушки, почти ребенка.

— Черт знает что такое,— неодобрительно сказала Лиза.— Рожай после этого детей. Дома наверняка не знают, где она.

— Неважно,— сказал Бочаров.— Не имеет значения.

— Что? — удивилась Лиза.

— Все! — отрезал он, нажал сигнал и, не отпуская, рванул машину вперед.

Мотоциклы вильнули в сторону и отстали; строй их сломался, они отчаянно неслись следом, обгоняя друг друга, как стая гончих, травящих зверя.

— Быстрей, быстрей! — блестя глазами, сказала Марьяна.

Бешено вращались колеса, летели и бились на ветру цветные шарфы, седоки, пригнувшись, дырявили воздух красными шлемами, похожими издали на большие капли крови.

Попадись сейчас на дороге неровность, это был бы конец, мгновение — и только гаснущий короткий горестный вскрик, похожий на плеск упавшего в воду камня.

Вербин повернул голову и взглянул на жену. Она застыла, вцепившись в спинку переднего сиденья, слабая улыбка держалась на ее губах, лицо побелело, а глаза блестели неестественным, болезненным блеском. «Маньячка»,— с неприязнью подумал Вербин.

Стая мотоциклистов гналась за ними во весь дух. Они забыли обо всем, кроме погони, и неслись, потеряв голову. Это был шалый, одуряющий гон, забивавший дух и обжигающий кожу, безумная скорость кружила голову и помрачала ум.

— Хоть ты не гони, они убьются,— взволнованно сказала Лиза, в тревоге оглядываясь назад.

Бочаров не слышал. Сжав губы и сузив глаза, он сидел, точно во сне, и все увеличивал скорость. Машина шла с тугим ровным гулом и мелкой дрожью; она мгновенно съедала расстояние: далекие деревья и столбы стремительно налетали и исчезали, их как будто отстреливало назад.

Вся земля неслась под колеса. Вся земля была во власти машин, миллионы их мчались в неумолчном гуле моторов. Вся земля была ввергнута в сумасшедшее безостановочное движение и, оглушенная грохотом, неслась в лихорадке.

4. На горизонте замаячил виадук. Бочаров приблизился, сбросил скорость, доехал до перекрестка, медленно сполз на пыльный ухабистый проселок. Машина едва тащилась, волоча за собой густое облако пыли. Сквозь пыль было слышно, как сзади с ревом пролетели по шоссе мотоциклы. И теперь было только тихо и пыльно, сильно качало на ухабах. Вербин зевнул. Марьяна посмотрела на него долгим взглядом и с досадой и сожалением отвернулась. Вербин не подал и вида.

Они почти никогда не спорили открыто. У них редко доходило до объяснений, но изо дня в день тянулась скрытая, вялая неприязнь, которая иногда пропадала ночью, во время близости, но потом возвращалась.

Они не заметили, когда она возникла впервые, вероятно, вскоре после женитьбы, но они не определили ее сразу, а когда поняли, понадеялись, что со временем пройдет и что-то изменится,— надежда держалась довольно долго, год или два, тем временем неприязнь оказалась стойкой и тянулась из года в год. Но уже трудно было все оборвать, обрубить разом, одним ударом, трудно было решиться, довлели годы, прожитые вместе; хотя детей у них не было, к этому времени появилось много общего, даже привычки, как всегда при долгой совместной жизни, а как вспомнишь, сколько хлопот и забот все ломать, поневоле задумаешься.

Но внешне все было сносно, пристойно, ровные, спокойные отношения, посторонний глаз ничего и не определит: нормальная семейная жизнь. Правда, иногда Марьяна сжимала от злости зубы, но Вербин делал вид, что ничего не замечает, тем и кончалось.

Он вообще не любил выяснять отношения, объясняться, казалось, его вообще ничто не может вывести из себя. Он не изменял ей, но не по убеждению, а больше из лени: куда-то спешить, хлопотать, устраиваться — суета... И сам он еще не знал, как повел бы себя, узнай о ее измене: то ли уйдет, то ли махнет рукой.

Постепенно и неприязнь стала угасать, она ведь тоже требовала сил, только иногда, изредка вспыхивали ее приступы, но обычно они не трогали друг друга без нужды, все шло наезженно и неизменно и как бы по привычке: терпеливо и спокойно. Вербина устраивала такая жизнь.

Проселок уткнулся в лес, пыль исчезла, донесся запах влажной земли. Они проехали опушку и по косогору спустились к реке, дальше дорога шла вдоль берега и вновь поднималась по склону.

Бочаров остановил машину и вылез. Он спустился к воде, умыл лицо и руки, вытерся носовым платком и сидел неподвижно, щуря глаза и глядя на бегущую воду.

Припекло солнце, блеск реки слепил глаза. Лиза вылезла из машины, спустилась на берег и молча села рядом с мужем. Вербин медленно и бесцельно побрел вверх по склону, где росли деревья и держалась тень. Только Марьяна осталась на месте, а потом и она пошла в сторону, дошла до обрыва и села на траву.

Было тихо. Плотная жаркая дрема владела землей, тишина казалась заметной на ощупь. Не хотелось ни двигаться, ни говорить, тепло и общее оцепенение клонили в сон.

Вербин прошел немного, остановился и поднял голову: покрытые молодой зеленью деревья легко пропускали солнечные лучи, все пространство над кронами было заполнено чистым, ровным сиянием, которое проникало вниз и становилось веселым переменчивым светом, играющим в ветках с тенью и тянущимся к земле прозрачным воздушным дымом.

Этот дым, и блики, и слепящие вспышки в листьях вдруг шевельнули в нем смутное воспоминание — даже не далекую картинку, а что-то неопределенное, невнятное, какое-то размытое пятно в прошлом, а скорее всего просто ощущение, что все это уже было когда-то.

Были блики, и переливающийся в листьях свет, и прозрачный воздушный дым под деревьями, и он сам, стоящий на лесной поляне с задранной вверх головой. Он не вспомнил, когда и где это было, он даже не думал об этом, просто сама по себе всплыла уверенность, что все повторяется.

Вербин побродил среди деревьев и вернулся назад. Марьяна лежала на цветном надувном матраце, он подошел и сел рядом. Она не спала, хотя глаза были закрыты; он заметил, как дрогнули ее веки, и осторожно коснулся пальцами ее лица.

— Нет,— сказала она, не открывая глаз, и перевернулась на другой бок.

Вербин встал и побрел прочь. Ее ответ не вызвал у него никаких мыслей, он уже привык к приступам неприязни и принимал их спокойно.

Он уходил, не замечая, как напряглась ее спина, точно Марьяна надеялась, что он не посчитается с отказом, но он смирился, и этим все кончилось.

Конечно, она надеялась, что он не послушается и настоит на своем.

«Дурак,— думала она горько,— дурак».

Нет, он не был дураком, никто не сказал бы этого. На работе все одобряли его спокойный, трезвый нрав, за ним никогда не водилось опрометчивых поступков. Он был толковый инженер, хорошо знал технику и ладил с людьми.

Администрировал он рассудительно, те, кто был у него в подчинении, обид на него не имели, он никому не причинял вреда.

Вербин пересек рощу и вышел к дороге. Она мягко кружила среди распадков и увалов и сбегала к деревянному мосту: под склоном текла река. На другом берегу он увидел россыпь темных изб и огражденные редкими жердями огороды; в деревне редко взлаивали собаки.

«Тишина»,— подумал Вербин.

Это был чужой мир. Он словно и не существовал вовсе и лишь возникал изредка на короткий срок.

Вербин постоял, прислушиваясь и глядя на другой берег: деревня непроницаемо лежала среди косогоров. Это была неведомая страна, он был в ней посторонним, как иностранец, и даже не тщился постичь ее. Вся эта жизнь казалась ему далекой и непостижимой — тайна за семью печатями.

Иногда на вокзалах, в магазинах, в транспорте он встречал крестьян с мешками и корзинами; он не замечал их, они находились за пределами его существования, он не думал о них никогда.

Внизу ярко блестела под солнцем вода, в изгибах реки густо росли кусты. В нем вдруг вновь шевельнулось смутное чувство: и это уже было когда-то. Твердой уверенности он не имел, но что-то размыто проступило из темноты, и померещилось: лес, светящаяся под солнцем река, косогор с высоким травостоем...

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. В воскресенье Вербин проснулся поздно. Он уже ощущал себя вне сна, но не отчетливо, пробуждение долго зрело в сумеречной дреме, пока он понял, что не спит.

Он не вставая забросил руку за голову, нащупал в изголовье маленький магнитофон, вслепую пошарил пальца-

ми по клавишам и включил: музыка всегда окрашивала подъем и начало дня.

На кухне было шумно. Сразу после переезда из старой коммунальной квартиры в новую кооперативную Марьяна объявила кухню своим рабочим кабинетом и с тех пор уделяла ей постоянное внимание. Электрический кухонный комбайн, посудомоечная машина, автоматический вытяжной шкаф, кофеварка, тостер, электрошашлычница, герметичные паровые кастрюли с редукционными клапанами,— Вербин никогда не противился новой технике: все машины и механизмы доставляли Марьяне радость. Кухня у нее всегда сверкала чистотой, по стенам висели черпаки, шумовки, дуршлаги, разделочные доски и ножи всех калибров.

Сейчас здесь на разные голоса жужжали и гудели моторы: в прозрачной посудомоечной машине щетки и струи воды драили посуду, электрическая мясорубка цедила фарш, картофелечистка скоблила кожуру, но громче всех вел себя маленький переносной телевизор, купленный на кухню для Марьяны: транслировали утренний концерт, и Марьяна, управляясь с машинами, успевала бросить взгляд и на экран.

В их квартире вообще было много техники: телевизоры, стереопроигрыватели, магнитофоны, радиоприемники, пишущая машинка и машинка для деления яблока на дольки, карманный компьютер, фотоаппараты, кинокамера, проектор, стиральная машина, электрические бритвы, складные зонтики-автоматы, телефоны, электрические утюги, вязальная машина, холодильник, а также незаменимое хитроумное устройство для выталкивания косточек из вишен.

Они молча завтракали на кухне. Вербин читал газету, Марьяна смотрела телевизор, в комнате играл магнитофон, когда зазвонил телефон.

— Алеша, это я.— Вербин узнал голос Бочарова.— Похолостякуем? Жен сведем вместе, а сами в бега, сегодня бокс.

— Да, но...— Вербин помялся, и Бочаров тут же подхватил:

— Не продолжай, я понимаю. Сделаем так: я завезу Лизу к вам, а сами сбежим.

Вербин положил трубку и встретил внимательный взгляд жены: конечно, она все поняла.

— Это Бочаров,— сказал Вербин.— Они заедут к нам.

Она молчала и продолжала внимательно смотреть на него.

— Сегодня бокс,— объяснил Вербин, садясь к столу и беря газету.

Но и сейчас Марьяна не проронила ни слова. Она уже знала, что он собирается уйти, но была спокойна, во всяком случае, она ничем себя не выдала.

— Лиза будет,— сказал Вербин.

— А что это ты подбираешь мне компанию? — спросила Марьяна.— Я сама могу.

— Я думал, вы пойдете куда-нибудь...

— И это я сама могу решить,— ответила Марьяна.— Куда и с кем.

Она торопливо выбрала платье и туфли и принялась одеваться.

— Мы хотели посмотреть бокс, тебе ведь неинтересно,— сказал Вербин с порога. Она не обратила внимания на его слова, ее движения были преувеличенно поспешными.— Если хочешь, пойдем вместе,— добавил он вяло.

На мгновение она застыла, взбешенно посмотрела на него и продолжала спешку; магнитофон в его комнате выл, словно в издевке.

— Марьяна, не надо драматизировать. Хочешь, я могу остаться? — сказал Вербин с досадой.

Марьяна вдруг остановилась, улыбнулась, глянула на него с иронией.

— Можешь? — спросила она едко и быстро направилась к выходу, стуча высокими каблуками. Вербин подумал, что надо бы ее не пустить, но не шевельнулся и только проводил ее взглядом.

Дверь хлопнула, он услышал дробный стук каблуков на лестнице.

Ему неодолимо захотелось накрыться с головой и просто лежать, чтобы его никто не трогал; он готов был пролежать под одеялом всю оставшуюся жизнь, только бы его не трогали.

Но перевести дух так и не удалось, раздались частые дурашливые звонки в дверь, он услышал голоса Лизы и Бочарова. Вербин обреченно встал и открыл дверь.

— Привет! — бодро сказал Бочаров.— Марьяна! — закричал он на всю квартиру.— Марьяна, ку-ку!

— Ку-ку,— хмуро ответил Вербин, закрывая за ними дверь.

— Алеша, а где твоя лучшая половина? — весело спросил Бочаров.

Вербин молча развел руками. Бочаров скорчил рожу.

— Ушла? — спросил он.— Надолго?

— Не знаю,— Вербин пожал плечами.

Лиза посмотрела на него внимательно и ничего не сказала, но он видел, как изменилась она в лице.

— Хорошее дело,— продолжал Бочаров.— Жена ушла, муж не знает куда. Ты, наверное, сегодня ее не бил еще?

— А ты? — спросил Вербин.

— А как же! У меня для этой цели выделен час в день. Ежедневно, независимо от погоды. А иначе на что я нужен? Если жену не бить, это ее глубоко оскорбляет.

— Перестань,— сказала Лиза серьезно, потом озабоченно спросила у Вербина: — Куда она пошла?

Вербин снова молча пожал плечами. Бочаров понимающе покивал и усмехнулся невесело:

— Бунт на корабле. Понятно... Ну что ж, будем дружить втроем.

На улицах было много гуляющих, люди праздно сидели на бульварах, щурились благодушно на солнце, горели окна, отражая свет, дома поднимались один над другим, и солнце многократно повторялось в стеклах, весь город ярко светился под высоким весенним солнцем.

Бочаров ехал по опрятным веселым улицам, по которым неторопливо текла праздная воскресная толпа. Сергей по обычаю балагурил, все делали вид, что ничего не случилось, но своевольное отсутствие Марьяны держалось в памяти, как заноза, которую ни вынуть, ни забыть.

2. Город утопал в солнечном свете, гомон воробьев смешивался в теплом воздухе с голосами людей, с отдаленным шумом машин, со множеством неясных и непонятных городских звуков.

— У нас еще много времени,— сказал Бочаров.— Тут поблизости пивная есть.

— Они у тебя все на учете,— недовольно заметила Лиза.

Они попетляли в узких переулках и выехали к пивной. Это был ветхий деревянный павильон, работавший только в летнее время.

— По запаху нашел,— сказал Бочаров, втягивая носом воздух.

От павильона исходил густой пивной дух, который наполнял окрестные переулки и, должно быть, пропитал все доски и гвозди этого причудливого строения, а также соседние дома и одежду жителей; вероятно, даже от маленьких детей и глубоких старух, живших поблизости, пахло пивом.

Сейчас изнутри доносился разноголосый мужской гомон, несколько человек стояли и слонялись у входа. Бочаров закрыл машину, они втроем прошли внутрь. В первую секунду могло показаться, что они спустились в преисподнюю: сразу у порога они погрузились в дымную, шумную, смрадную тесноту, в которой нечем было дышать; свободного пространства не было вовсе, настоянный на запахе пива дым неподвижно висел над высокими стойками, создавая в ясный полдень сумерки, в которых талдычили и бормотали неразборчивые голоса.

— По-моему, все уже собрались, нас ждали,— обернувшись, сказал Бочаров.

На первый взгляд казалось, здесь и щели нет свободной, все заполняла плотная галдящая масса, но Бочаров по-хозяйски глянул по сторонам, нашел брешь, протиснулся внутрь, и вскоре из глубины, покрывая общий шум, донесся его громкий голос:

— Сюда! Я нашел место!

Это было не место, а клочок стойки, заставленный кружками, Бочаров одним движением сдвинул их в сторону вместе с остатками вяленой рыбы, фольгой от плавленых сырков, яичной скорлупой и прозрачными целлофановыми мешочками из-под жареного картофеля.

— Становись...— Он поставил Лизу на свое место, потолкался, высвобождая пространство для Вербина, схватил пустые кружки и канул в толпе.

Вскоре он появился, неся над головами наполненные пивом кружки, и расторопно, но бережно проник с ними к стойке.

— Профессионал,— с уважением сказал Вербин.

— Просто у меня активное отношение к жизни,— ответил на ходу Бочаров и исчез снова.

Вербин и Лиза стояли вплотную друг к другу, вид у нее был задумчивый и немного отсутствующий, словно ей безразлично было, где находиться.

— Куда ушла Марьяна? — Лиза подняла глаза и посмотрела ему в лицо.

— Не знаю,— ответил Вербин, морщась от дыма, но больше оттого, что нужно отвечать.

— Тебе все равно?

— Ну, не очень, но в общем...— пробормотал он неохотно.

— Непонятно,— Лиза раздраженно передернула плечами.

— А и не надо, не надо понимать,— ответил Вербин с досадой.

В это время появился Бочаров с большим вяленым лещом.

— Откуда? — удивился Вербин.

— Тут один рыбак попался. Приступим... Кружки чистые, сам мыл.— Бочаров стал споровисто чистить рыбу.— Это мое любимое занятие, мыть кружки. Если б мог, я б только этим и занимался.

— В чем же дело? — спросила Лиза.

— Биография испорчена. С высшим образованием не берут, я узнавал. Для нас вообще многое уже потеряно. Как говорится, все пути закрыты. Парикмахер собак, банщик, сторож зоопарка, этот, который кормит, кормилец, что ли...— Он продолжал перечислять упущенные возможности. Потом поозирался и со значением заметил: — Местечко что надо!

Они пили пиво под вяленую рыбу и наслаждались уютом. При желании можно было без церемоний обратиться к любому из соседей, здесь не надо было записываться на прием, чтобы поговорить с человеком, каждый был ровней каждому, вокруг царила демократия.

Бочаров опорожнил кружку и с грустью посмотрел на оставшуюся рыбу.

— Пива не хватило,— заметил он печально.

— Хватит! — категорично заявила Лиза.— Ты за рулем.

— Глазомер меня подводит,— продолжал он удрученно.— Рыбу съешь — пиво останется, пиво выпьешь — рыба останется. Никак не угадаю. Каждый раз приходится добирать — то пиво до рыбы, то рыбу до пива.

Они стали пробираться к выходу.

— Сережа, я тебя об одном прошу...— обратилась к нему Лиза, садясь в машину.

— Я знаю,— опередил ее Бочаров.— Во-первых, всего одна кружка, а во-вторых, я буду осторожен.

Но он, как всегда, лихачил: машина мгновенно набирала скорость, резко тормозила, срезала повороты,— водил он прекрасно и не упускал случая получить удовольствие;

автоинспекция не раз наказывала его за превышение скорости.

На этот раз они без приключений доехали до зала. К кассам тянулись очереди, везде толпились люди. Из динамиков над входом гремела бравурная музыка, на флагштоках висели разноцветные спортивные флаги.

— Подождите, я сейчас,— сказал Бочаров, уходя.

Лиза и Вербин потеряли его из виду.

— Тебе действительно безразлично, где Марьяна и с кем? — спросила Лиза.

— А она с кем-то?

— Я не знаю. Я вообще ничего не знаю. Я тебя спрашиваю! — возмутилась Лиза.

— Лиза, не надо.— Вербин поморщился, словно от зубной боли.— Где она, это ее дело.

— Но ведь ты муж!

— Муж, ну и что? Она вполне самостоятельный человек, может сама решить. Я не муж, а мечта. Я даю жене полную свободу.

— На кой черт ей твоя свобода!

— Ну вот, ты грубишь... Лиза, я прошу тебя, давай не будем...

Бочаров издали помахал им рукой, они с трудом протиснулись в толчее; билетов не было, но Бочаров отыскал знакомого боксера, их пропустили через служебный вход.

Они медленно побрели по длинному коридору, в котором толпились тренеры и секунданты. В коридоре озабоченно сновали судьи, рассматривая на ходу списки и таблицы, и то и дело хлопали двери.

— Боксеры, на ринг! — раздался чей-то громкий голос.

Из раздевалок в сопровождении тренеров и секундантов появились боксеры.

Сквозь разнобой близких голосов доносился глухой рокот зрительного зала, похожий на шум отдаленного прибоя. Боксеры не торопясь шли в затылок друг другу в окружении свиты, лица их были сосредоточенны, было видно, что они взволнованы, но стараются не подать виду.

Рокот зала приближался, рос, ширился впереди, как шум невидимого моря. Створки двери распахнулись, и зал открылся весь сразу, огромное пространство, заполненное людьми,— ударил в лицо гулом, светом, пестротой и многолюдьем.

Боксеры поднялись на ринг, по рядам зрителей прошел электрический ток, оба противника стали в лотки с кани-

фолью и тщательно поерзали, чтобы подошвы не скользили во время боя; рефери терпеливо ждал в своем углу.

Боксеры пролезли под канаты и стали расслабленно приплясывать; зрители притихли, только несколько крикунов никак не могли угомониться. Свет в зале погас, над рингом вспыхнули сильные фонари, сразу стало уютно: светлый квадрат, залитый ярким светом посреди темного зала. Ударил гонг, боксеры сошлись в центре, коснулись перчаток друг друга и приняли боевые стойки.

Когда бой закончился, Бочаров возбужденно блестел глазами. «Я сейчас!» — он торопливо вскочил и убежал. Объявили результат, зал взорвался аплодисментами, радостными воплями, свистом и негодующими криками.

— Хлеба и зрелищ! — объявил, появившись, Бочаров и церемонно вручил им по порции мороженого. На ринг уже вызывали новую пару.— Алеша, я там...— сказал Бочаров тихо, приблизив к Вербину лицо вплотную, потом помялся и добавил еще тише: — Там Марьяна... с одним...— Бочаров кривился, не зная, что говорить. Вербин молчал.— Я не знаю, может, морду ему набить?! — разозлившись, неожиданно спросил Бочаров.

Вербин улыбнулся и покачал головой.

— Он-то при чем?

Бочаров молчал, глядя на ринг, потом спросил:

— Ты подойдешь?

— Это ее личное дело.— Вербин покачал головой.

— Она знала, что ты собираешься сюда?

— Да, я сказал.

— Тогда это назло. Она нарочно пришла с ним сюда.

— Ну конечно,— вмешалась Лиза.— Конечно! Неужели не понятно?! — Она встала и ушла.

На ринге продолжался следующий бой, зал то погружался в озноб, то замирал. Все, кто сидел здесь, забыли свою обычную, повседневную жизнь, каждый жил только тем, что видел сейчас перед собой.

3. Позже Вербин и Бочаров вышли в фойе, где их встретила Лиза. Вербин понимал, что они что-то затеяли, все эти уходы и появления имели какой-то скрытый пока смысл.

Само собой получилось, что они направились в кафетерий, и здесь Вербин увидел Марьяну. Она сидела рядом с молодым щеголеватым мужчиной спортивного вида, волосы его были аккуратно расчесаны на пробор и блестели. Он

что-то говорил, Марьяна слушала, наклонив голову, и даже издали было видно, как он старается понравиться ей.

Когда прошло первое замешательство, их новый знакомый сказал с некоторой застенчивостью:

— Я очень рад, друзья Марьяны — мои друзья.

Бочаров с серьезным видом наклонил голову, показывая, что они признательны и польщены. Конечно, он оценил возвышенное значение момента, был церемонен и обходителен, как дипломат на приеме, лицо его выражало предельное внимание и готовность к высокому общению.

— Я хотел бы, чтобы вы сегодня были моими гостями,— продолжал X.

Марьяна оставалась невозмутимой — молчаливой и неподвижной. Бочаров и Лиза посмотрели на Вербина, ожидая ответа, словно только от него зависело, состоится этот день или нет, так что тому ничего не оставалось, как пробормотать: «Я не против», после чего Бочаров с прежним серьезным видом наклонил голову и внушительно, но скромно сказал: «Мы принимаем ваше приглашение».

Все вместе они вернулись в зал. X. был со всеми приветлив, но особое внимание уделял Марьяне, с которой сидел рядом; он то и дело интересовался, хорошо ли ей видно, предлагал пересадить, и даже в напряженные моменты боя, когда весь зал ходил ходуном, он поворачивал к ней лицо и молча смотрел в упор преданными глазами.

Когда в зале становилось особенно шумно, X. бдительно поднимал голову и озирался, как бы беря на себя всю заботу о ее безопасности. Воздух вокруг сотрясали крики, мелькали вздернутые руки, орали разверзнутые рты, но он сохранял холодную, строгую трезвость и внимательно смотрел по сторонам, преисполненный ответственности за неприкосновенность Марьяны. Похоже было, он готов дать отпор всему залу. При этом лицо его становилось напряженным и приобретало строгое и гордое выражение, как у часового, приставленного к важному объекту.

После бокса они шли коридорами и стеклянными переходами, пока не оказались в здании катка, где вахтеры сдерживали толпу. Но их сразу пропустили, едва они приблизились, и пока они пробирались в тесноте, X. бдительно следил, чтобы никто из толпы и пальцем не коснулся Марьяны.

Они очутились в большом холодном, темном зале, под крышей которого одиноко горел маленький дежурный фонарь, в его свете, слишком слабом для такого огромного и

темного помещения, молочно белел и мерцал лед. Над полем круто поднимались ряды трибун, неразличимые в полумраке,— вся эта емкая сумеречная пустота была плотно наполнена холодом. Трудно было поверить, что за стенами сейчас припекает солнце и густой знойный воздух колеблется над раскаленным асфальтом. Х. тут же решительно снял пиджак и набросил его на плечи Марьяны. Было ясно, что он поступил бы так, чем бы ему это ни грозило, даже с риском для жизни: он обязан был так поступить — он это сделал.

В проходе появились игроки в форме, стуча коньками об пол,— они не спеша выходили на лед и медленно раскатывались, держа в руках клюшки. Внезапно над полем вспыхнули фонари, и лед поразил своей гладкой, чистой, нетронутой белизной и яркой цветной разметкой.

Х. вполголоса называл Марьяне игроков, со стороны казалось, что он поверяет ей что-то свое, сокровенное. Даже тогда, когда он молчал, молчание его было таким значительным, что Марьяну как бы окутывало плотное и заметное на ощупь покрывало внимания.

В дни игр здесь не оставалось свободных мест, горели все фонари, и зал общим дыханием отзывался на каждое движение игроков — зал то утопал в счастье, то погружался в горе.

С некоторых пор календарный год во всем мире делился не астрономически, как тысячи лет прежде, а на два сезона — хоккейный и футбольный. Интересный матч превращался в великое событие, его с нетерпением ждали, потом долго вспоминали, а некоторые помнились годами.

В час решающих встреч пустели улицы городов, скользя взглядом по окнам, можно было без ошибки угадать одну и ту же картину — зрителей, внимающих магическому экрану. Казалось, вся земля пустеет на время, а все население превращается в зрителей. Трубный глас конца света, придись он на время матча, не был бы услышан, всем попросту было бы не до него.

В дни, когда велась трансляция по телевидению, зал немыслимо увеличивался, миллионы экранов повторяли каждое мгновение игры: вся масса незнакомых, разделенных пространством людей в разных концах страны сообща горевала, радовалась и обмирала, задерживая дыхание, ее бросало то в жар, то в холод, как будто сейчас, на глазах, решалось что-то кровное, без чего и жизнь не жизнь, и судьба не судьба.

Позже Марьяне наскучило здесь, она тихо произнесла: «Я бы хотела уйти». X. тотчас встал, готовый исполнить ее желание — да что там желание! — любой каприз, пусть только прикажет. Его готовность служить ей была настолько открыта, что никто и не подумал возразить: все молча признали и оценили этот высокий образец верности.

Правда, Лиза попыталась украдкой взглянуть на Вербина, но Бочаров сразу пресек эту попытку. «Елизавета, соблаговоли не отвлекаться»,— сказал он учтиво, но достаточно строго, и она покорно отвела взгляд.

Щурясь от солнца, они вышли на улицу. На пятерых у них было две машины. Лиза села к мужу, Вербин и глазом не успел моргнуть, как они отъехали. X., должно быть, недоумевал, почему Вербин оказался с ним, а не в другой машине, возможно, он даже почувствовал в нем соперника. К счастью, дорога до ипподрома оказалась короткой, едва они остановились, Вербин вылез и отошел к Бочаровым, всем видом показывая, что у него и в мыслях нет мешать X.

— У вас пальцы стучат,— миролюбиво заметил Вербин, но X. сразу же помрачнел.

— В каком смысле? — спросил он хмуро.

— Поршневые,— объяснил Вербин как можно спокойнее.— Надо проверить. Такой стук может быть и при износе втулки шатуна.

— А-а,— повеселев, кивнул X.— Вы хорошо разбираетесь.— Он понял, что никто и не думал смеяться над ним, и испытывал облегчение.— Вы и чините сами?

— Он разбирается во всех машинах,— сказал Бочаров.— Если хотите, он вам поможет.

— С удовольствием,— оживленно ответил X.— Буду очень благодарен. Я как раз хочу поехать за город.— Он взглянул на Марьяну.

— Нет такой вещи, которую бы Алексей не мог починить,— сказал Бочаров.— Что хотите: автомобиль, телевизор, авторучку...

X. с уважением покачал головой.

Это действительно было так. Все приборы и механизмы, которые имелись в квартире, были отлажены и прекрасно работали, Вербин просто не выносил мертвой аппаратуры. Не раз случалось, он подходил к стоящему на улице автомобилю, у которого обреченно слонялся шофер, и тут же без труда устранял поломку.

— Он вам так отладит машину, что вы с Марьяной куда угодно сможете поехать,— сказал Бочаров, а Лиза отвернулась и спрятала лицо: видимо, она представила, как Вербин чинит машину, чтобы Х. и Марьяна могли беспрепятственно отправиться в поездку.

— Если надо будет, я ему помогу,— добавил Бочаров.— Мы ведь оба технари. А вы?

— Я в футбол играю,— отвечал Х.,— во второй лиге.

— А, гуманитарий,— понимающе кивнул Бочаров.— Прекрасно.

Чувствовалось, он испытывает душевный подъем. Лиза вдруг прибавила шаг, ушла вперед и при этом почему-то полезла в сумочку, достала платок и стала сморкаться и кашлять.

Они услышали звон колокола и отчаянный крик тысяч людей, поспешили купить билеты и войти. Лиза и Марьяна сели, мужчины торопливо отправились в кассу, чтобы сделать ставки.

— Вы знаете, я очень рад за Марьяну,— доверительно сообщил Бочаров по дороге.

— Спасибо. Я считаю, мне тоже повезло,— ответил Х. искренне.— По моему, Марьяна прекрасная женщина. Знаете, это все так внезапно... Утром мне позвонила одна моя знакомая и сказала, что они с подругой хотят пойти на бокс. Мы договорились, но в последнюю минуту знакомая не смогла. И вот мы...— Он улыбнулся.— Даже не верится.

— А как хороша и умна! — с восхищением сказал Бочаров и спросил у Вербина: — Как ты считаешь?

— Согласен,— кивнул серьезно Вербин.

Они поставили по рублю в ординаре и побежали на свои места.

— Знаете, даже если мы проиграем, сегодня все равно чудесный день,— прыгая через ступеньку, сказал на бегу Х.

Бочаров улыбнулся и кивнул, соглашаясь с ним.

Лиза и Марьяна впервые были на бегах, их заворожил вид бегущих лошадей, глухой дробный стук копыт, картина стремительной рыси и последняя перед финишем прямая, которая поднимала зрителей с мест. Сколько человеческой природы, непроницаемой повседневно для глаз, открывалось здесь, как рвались на волю тайные желания, сколько страстей кипело на этих скамьях!

4. После бегов они зашли в ресторан. Весь вечер X. танцевал только с Марьяной. Он не пил: «Я за рулем»,— объяснил он, и было понятно, что ему предстоит везти Марьяну, но хмелел он наравне со всеми, должно быть, от увлеченности. Весь вечер он неотрывно смотрел ей в лицо, весь вечер предупреждал все желания, а когда Марьяну приглашали танцевать, X. отпускал ее с тяжелым сердцем, и было видно, как он страдает.

Ресторан ипподрома располагался в старом, видавшем виды помещении с колоннами, высоким потолком и огромными люстрами, стены его помнили знаменитых конезаводчиков, владельцев конюшен, бешеных кутил, титулованных лошадников, куражливых купцов, растратчиков, цыганские хоры, азартных игроков, роскошных красавиц, налетчиков, крупных негоциантов, финансовых воротил, светил сцены, прославленных литераторов, модных адвокатов, безумствующих прожигателей,— сейчас здесь играл небольшой оркестр, нет, не играл, колдовал среди электрической аппаратуры и микрофонов — несколько музыкантов, похожих на сомнамбул.

В конце вечера, когда все собрались уходить, женщины ненадолго отлучились, чтобы привести себя в порядок. «Я буду ждать вас внизу»,— сказал X. Марьяне на лестнице.

Мужчины спускались втроем, вокруг оживленно разговаривали и смеялись люди, яркие огни отражались в больших зеркалах, оставшихся от прежних времен.

— Прекрасный день,— с воодушевлением сказал X.

— Да, очень,— ответил Бочаров и посмотрел на Вербина: — Да?

— Пожалуй,— согласился Вербин.

— А вы давно знакомы с Марьяной? — спросил у них X.

— Я и Лиза недавно, а вот Алексей...— Бочаров умолк и посмотрел на Вербина.

— Вы давно? — удивленно посмотрел на Вербина X.

— Давно,— ответил Вербин.

X. озадаченно помолчал, не зная, что сказать, но потом спросил:

— И часто вы собираетесь вместе?

— Часто,— подтвердил Вербин.

— По выходным? — В его голосе появилась какая-то робость.

— Нет, чаще.

— Чаще? — непонимающе переспросил Х. — Посреди недели?

— Да каждый день,— ответил Вербин.

— Как?..— растерянно запнулся Х., но тут же засмеялся.— А, понимаю, вы работаете вместе.

— Нет.

— Нет? А что же? — Было очевидно, что мысли Х. совсем спутались.

— Мы живем вместе,— спокойно сказал Вербин.

— В одном доме?

— В одной квартире,— сказал Вербин так, как будто это само собой разумелось.

— Вы соседи? — с какой-то обреченностью посмотрел на него Х.

— Нет.

Х. непонимающе помолчал и тупо спросил:

— А как же?

— Марьяна моя жена.

— Да? — упавшим голосом спросил Х.— Вы в разводе?

— Нет, почему? — удивился Вербин.

— Насколько мне известно, не собираются,— заметил Бочаров с серьезным видом.

Х. отстранился и очумело посмотрел на них, словно не понимая, кто из них сумасшедший, он или они.

— Да, но... А как же...— Он никак не мог собраться с мыслями и не понимал, что происходит.— Вы живете вместе?

— Ну да, раз мы муж и жена.

Х. все еще не мог взять в толк, что произошло.

— Вы разыгрываете меня? — проговорил он с надеждой.

— Вовсе нет.

— Почему же вы мне не сказали?

— Вы не спрашивали, я не говорил. Не стану же я объявлять каждому: «Это моя жена». Если бы вы спросили, я бы сказал.

— Я не знал...— растерянно пробормотал Х.— Честное слово, я не знал. Поверьте, если бы я...

— Не расстраивайтесь,— сказал ему Вербин.

— Нет, я честно не знал. О черт!.. Я же... я вел себя как идиот!

— Ничего страшного,— успокоил его Вербин.— Все в порядке.

— Представляю, что вы обо мне подумали!..

— Ну что вы,— возразил Вербин.

Они вышли на вечернюю улицу, по которой проезжали редкие машины, в темноте красиво выглядели цветные огни светофоров и красные стоп-сигналы. Х. оглушенно застыл, не зная, что делать. На него жалко было смотреть. Несколько раз он открывал рот и хотел что-то сказать, но так ни слова и не произнес; им все еще владела оторопь, и он никак не мог до конца поверить в то, что произошло. С растерянным видом он медленно открыл машину.

— Значит, я был подсадной уткой? — спросил он, как будто обдумывал что-то.— Из меня целый день делали дурака?

— Вы просто были увлечены,— улыбнулся Бочаров.— Марьяна кому угодно вскружит голову.

Свет проходящих машин скользил вдоль домов, фары безжалостно высвечивали на бегу все закоулки, которые сразу, едва машина проходила, пропадали в черноте.

Х. не ответил, он был погружен в свои мысли,— какая-то напряженная работа шла в нем, какое-то решение зрело в его голове, было видно, он что-то задумал. Он постоял, потом сел в машину и завел мотор. Вербин и Бочаров стояли на тротуаре, Х. с отсутствующим видом сидел в машине, его сгорбленная фигура неясно виднелась сквозь стекло в полумраке.

В это время из дверей появились Марьяна и Лиза, и вдруг Х. выехал им навстречу и быстро распахнул дверцу.

— Марьяна, прошу вас,— сказал он решительно и в то же время с волнением и застыл, держа дверцу рукой.

Итак, он решил ее умыкнуть. Увезти, похитить, украсть — перекинуть через седло и ускакать в горы. И сейчас все должно было решиться.

Они стояли под фонарем на освещенном пятачке, словно на подмостках, чуткий зал, весь город, замер в ожидании — все дома и улицы. Ждали непроницаемо зрители — окна, подворотни, чердаки.

Марьяна оцепенело и как-то рассеянно посмотрела на Х., потом перевела взгляд на Вербина. Никто не двигался и не говорил, неизвестно было, чем кончится эта немая, неподвижная сцена. Все ждали. Даже расходившиеся из ресторана люди почувствовали что-то, остановились и молча наблюдали издали.

Марьяна скованно побрела в сторону, обогнула стоявшую перед ней машину Х. и так же скованно и неловко, словно окоченев, села в машину Бочарова. Захлопали двер-

цы, все тотчас сели следом за ней. Бочаров круто вывернул руль и рванул с места.

Он проехал улицу, свернул в темный узкий переулок и неожиданно остановился. Потом откинулся на спинку и, покачав головой, сказал:

— Ну, ребята, с вами не соскучишься.

Хохот душил его, было похоже, Бочаров отыгрывается за весь день, за весь долгий день, в течение которого нельзя улыбнуться. Они вспомнили весь этот день, он снова проходил перед ними, долгий майский день,— с утра до этой минуты.

Бочаров высадил Вербина и Марьяну у дома и сказал на прощанье:

— Детки, не ссорьтесь.

В лифте Марьяна бессильно обвила руками шею Вербина.

— Я едва держусь на ногах,— сказала она устало.

— Еще бы,— ответил он, поддерживая ее.

Они вошли в квартиру, Марьяна сняла в прихожей туфли.

— Неужели я действительно тебе безразлична? — спросила она, подняв голову и глядя на него с усталой печалью.

— Что ты...— Он почему-то посмотрел на часы.— Я готов выполнить свой супружеский долг.

Она продолжала смотреть на него, не меняя позы, потом слегка покачала головой и произнесла сокрушенно:

— О господи, сдохнуть можно!

Потом надела шлепанцы и побрела в ванну. Вербину снова, как утром, захотелось лечь, накрыться с головой и чтобы никто не трогал его.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1. Белые пластиковые жалюзи пропускали рассеянный дневной свет, наполнявший равномерно большую комнату. Это был скорее зал с двумя потолками, из которых нижний, дырчатый держался на вантах; пол был тоже двойной, как и стены, тряска не проникала сюда, а большие окна никто никогда не открывал, мало того — они были специально устроены, чтобы не открываться, в солнечные дни на них опускали жалюзи; за температурой, влажностью и чистотой воздуха бдительно следили чуткие приборы, кондиционеры, постоянно держали нужный режим, а люди перед тем, как войти сюда, должны были надеть белые халаты,

чистую обувь и даже оставить за порогом часы, если они имели фосфоресцирующий циферблат; женщинам, употреблявшим химическую помаду, полагалось тщательно вытереть губы, чтобы и следа не осталось. Все это делалось ради машины.

О ней говорили как о живом существе. Все знали ее капризный, привередливый нрав, в котором, по общему убеждению, преобладала женская суть, хотя в равной степени машину можно было назвать компьютером и приписывать ей мужские свойства. Некоторые специалисты считали, что машины в принципе могли бы вступать в брачные отношения, но большинство выжидало, пока философы между собой определят половую принадлежность ЭВМ. С каждым поколением машины все больше отдалялись от своих создателей и жили все более самостоятельно. Во всяком случае, хотя все, кто имел с ними дело, прекрасно разбирались в электронике и знали устройство каждого блока, все они верили, что в емких шкафах идет своя неведомая жизнь, не укладывающаяся в расчеты и схемы. Некоторые подозревали, что машина может любить, ненавидеть, испытывать радость и горе и быть счастливой или несчастной. И уж ни для кого не было секретом, что эти хитроумные устройства — нет, скорее существа «он — она», содержащие в себе мужское и женское начало, имеют своих любимцев из числа персонала как среди мужчин, так и среди женщин.

Вербин сидел во вращающемся кресле перед экраном дисплея, на котором возникали светящиеся строчки, оставлявшие после себя угасающий след.

Несколько операторов помещались за пультом, а Бочаров стоял возле автоматической пищущей машинки, которая стрекотала, выбивая цифры на широкой бумажной ленте, стекающей с валиков и не имеющей, казалось, ни начала, ни конца.

У всех был сосредоточенный, скучно-усталый, непроницаемый вид: шла обычная монотонная работа. Вербин встал и отошел к окну. Сквозь жалюзи был виден нарезанный на узкие полосы город — переулки, дома, улицы и крыши, крыши на сколько хватает глаз.

— Алеша, с женой помирился? — подойдя, спросил Бочаров, закатывая рукава халата.

Вербин слабо улыбнулся и не ответил.

— Ты вот молчишь,— продолжал Бочаров,— а я тебе скажу... Пресно мы живем. Без огня. Казалось бы, дома все

тихо, мирно... Квартира, машина, жена — вроде бы ну какого рожна? А скука. Голов не теряем, глупостей не делаем, на дуэлях не деремся. Все у нас правильно, нормально...— Бочаров криво, сожалеюще улыбнулся.

Они постояли в немой, рассеянной неподвижности.

— Начальник отдела Вербин, срочно зайдите к управляющему треста,— донесся внезапно из динамика резкий женский голос.

Все обернулись и посмотрели на Вербина.

— Тебя,— сказал Бочаров.

Вербин подошел к пульту, нажал кнопку и наклонился к микрофону:

— Зина, у меня машинное время. Что там стряслось?

— Не знаю,— ответил динамик.— Велел найти.

— Живого или мертвого?

— Живого.— В динамике послышался смешок.

Вербин повернул голову и посмотрел на висящий на стене транспарант: «ПОМНИ! ЧАС МАШИННОГО ВРЕМЕНИ СТОИТ 100 РУБЛЕЙ!»

— Интересно, на сколько рублей меня вызывают? — спросил Вербин вслух и направился к двери.

За большим столом в кабинете сидели люди, управляющий озабоченно ходил по комнате, а у стены в длинном ряду пустых стульев одиноко сидел человек, которого Вербин изредка встречал в тресте,— начальник передвижной механизированной колонны Родионов. Он был в темном дешевом костюме и в светлой рубахе без галстука, из верхнего кармана у него торчала расческа, хотя он был лысоват и светлые редкие волосы едва прикрывали голову. Уже по одному его виду можно было определить, что он приезжий, всякий горожанин сразу признал бы в нем провинциала. Лицо его было обветрено, и держалась в нем какая-то робость, как будто он наперед знал, что ничего хорошего ждать не приходится, и заранее — раз и навсегда — смирился.

— Вы знакомы? — спросил управляющий у него и у Вербина.

Они коротко переглянулись и оба кивнули. Чувствовалось, что воздух здесь наполнен электричеством, достаточно малой искры, чтобы ударил гром. Управляющий, сдерживая злость, молча ходил по кабинету, угрюмо пожевывал губы, и хотя взрыва все ждали, он показался внезапным.

— Нет, вы полюбуйтесь! — Управляющий в ярости выбросил руку в сторону Родионова.— Полюбуйтесь! Начальник колонны — командир! — отказывается от своих обязанностей!

— Я не отказываюсь,— едва слышно произнес Родионов.

— Отказываешься! От работы отказываешься!

— Нет. Просто я подумал о последствиях.

— А это не твое дело! Найдется кому! — клокотал управляющий, и было видно, как искренне он возмущен и как жжет его положение дел.

Родионов покорно умолк и опустил голову. Он чувствовал на себе общие взгляды и сидел, не поднимая глаз. Его и без того застенчивое лицо выражало смирение и вину.

— Много мы наработаем, если будем думать о последствиях,— сказал один из сидящих.

Родионов не ответил, его лицо стало еще более виноватым, и оттого ясно было, насколько справедливы упреки и общее возмущение.

— Вам доверили сотни людей, технику, а вы...— начал еще один, но его перебил управляющий.

— Слушай...— сказал он, сдерживая себя.— Ты начальник колонны. Твое дело дать тресту план, а людям дать заработать. Остальное тебя не касается.

Родионов робко поднял глаза и тихо сказал:

— Через пару лет там беда может быть.

— А может и не быть. Что нам, на кофейной гуще гадать? — спросил кто-то.

— Но это вообще не наша забота. Есть специальные организации, пусть у них голова болит,— вставил еще один, а третий улыбнулся.

—Если мы не правы, нас поправят, а пока надо работать.

— Да правы мы, правы! — с досадой заметил первый.— Нам это дело поручили, с нас и спрос.

— В том болоте две реки начало берут. И ягодники богатые,— сокрушенно сказал Родионов.

— Слушайте, Родионов...— с укоризной заметил заместитель управляющего.— Мы ведь мелиораторы. И мы сами не решаем. Нам дают проект, мы обязаны его выполнить. По проекту мы должны осушить это болото и дать сельскому хозяйству пахотную землю. А об остальном пусть другие думают. Слава богу, есть кому.

— Я тоже мелиоратор,— печально сказал Родионов.— Скоро двадцать лет уже. Разве я против осушения? Смешно даже. Но надо же с головой. У нас проект неверный. Реки обмелеют. Рыба погибнет. Зверя не станет. И экономически невыгодно: там, где на новом поле рубль получат, там на этом болоте ягоды пять дадут. Нельзя там работы начинать.

— И это говорит мелиоратор! Сами рубим сук, на котором сидим,— сокрушился кто-то за столом.

— Да ничего мы не рубим,— ответил Родионов.— И сушить надо, и корчевать... Но там, где нужда. С разбором. Взвесить все, посчитать... А если речь обо мне, так я свое дело люблю.

— Вот что, Родионов,— сказал управляющий строго.— Мы вас достаточно слушали.— Он сел за стол и обратился к Вербину:— Алексей Михайлович, случилось чрезвычайное происшествие. Колонна Родионова должна была начать работы на обширном Марвинском болоте. Это изрядная часть нашего годового плана. Но стряслось непредвиденное: жители окрестных деревень не пустили технику на болото. Они, видите ли, против. Вместо того чтобы обеспечить фронт работ, Родионов пошел на поводу у населения. Техника стоит. Люди не работают. План треста под угрозой.

— План вам я в пойме дам,— вставил Родионов.

— А нам Марвинское болото нужно! Пойма от нас не уйдет!

— Пойменные болота тоже в проекте. Как начальник колонны я имею право начать там, где считаю нужным.

— Он считает!.. Алексей Михайлович, поезжайте в колонну. Работа должна идти под вашим контролем.

Впоследствии Вербин не раз огорчался, что не придумал сразу веского повода для отказа.

2. Когда Бочаров узнал, зачем вызывали Вербина, он состроил рожу и покачал головой. Позже он предложил Вербину рюкзак и фонарь и пообещал достать сапоги.

В коридоре они встретили Родионова, тот медленно двигался вдоль дверей, читал таблички, иногда нерешительно стучал, осторожно всовывал голову, что-то спрашивал, потом аккуратно закрывал дверь и шел дальше. Он явно искал кого-то.

— Извините, вы не знаете...— рассеянно обратился он

к Бочарову, который шел первым, а потом заметил идущего следом Вербина, и его озабоченное лицо оживилось.— Алексей Михайлович, а я вас везде спрашиваю...— Он застенчиво улыбнулся.— Нам договориться надо...

— О чем?— неохотно спросил Вербин. Он знал, что бессмысленно срывать злость на Родионове, но все же выходило, что причина поездки в нем, и досада сама собой обращалась на него. Родионов это понимал, на лице его держалось выражение неловкости и вины.

— Вы ушли, а меня еще оставили.— Он нерешительно помялся и добавил:— Для разговора.

— Высокого? — со значением спросил Бочаров.

— Да уж выше некуда,— покивал Родионов и улыбнулся, как бы извиняясь, что докучает пустяками.— Дали мне прикурить.

— А вы некурящий? — поинтересовался Бочаров, и Родионов мгновение стоял в замешательстве, а потом понял и улыбнулся простодушно, но с горечью:

— Тут кури не кури, от кого хочешь дым пойдет.

— Что вы хотели мне сказать? — спросил Вербин, словно отвергая весь этот необязательный разговор.

— Я... мы, наверное, вместе поедем? — спросил Родионов.— Если да, я билеты возьму. Обычно я в общем еду, пассажирский пятьсот веселый. У каждого столба останавливается.

— Лучше в купейном,— сказал Вербин и достал деньги.— Хватит?

— Хватит. Я еще хотел вам сказать...— Родионов нерешительно глянул на Вербина.— У нас там сыро... Лес, болото... Вы насчет одежды позаботьтесь. Чтоб не зябнуть. Сапоги мы вам подберем.

— Спасибо,— кивнул Вербин. Он подумал, что Родионов искал его всюду, чтобы предупредить об одежде, и в нем на секунду шевельнулась симпатия к этому низкорослому невзрачному человеку с редкими волосами и застенчивым, добрым лицом, но общая досада, что надо ехать, была сильнее, и он тут же забыл это мимолетное чувство. Он только заметил, как внимательно смотрит на Родионова Бочаров.— Встретимся на вокзале,— сказал Вербин.— Во сколько поезд?

— Двадцать два пятнадцать. В ночь.

— Хорошо, в десять у расписания,— сказал Вербин, и они с Бочаровым двинулись дальше.

3. Под вечер Бочаров раздобыл все, в чем, по его мнению, нуждался Вербин, набил рюкзак, бросил его в багажник машины и сел за руль. Вербин сел рядом.

Они ехали по городу. Кончился рабочий день, из присутственных зданий торопливо выходили служащие, многолюдно было на остановках, в магазинах, возле уличных лотков и киосков. За домами садилось солнце, крыши были окрашены медью, и медью горели окна, обращенные на закат. Повсюду царило предвечернее городское возбуждение, живая, пестрая, разноликая толпа текла по улицам.

Бочаров затормозил у перехода, мостовую тотчас запрудили пешеходы, перед машиной то и дело появлялись длинноногие, торопливые, стройные девушки — в одиночку, парами, стайками,— возникали и тут же исчезали в людском водовороте. Одна прошла совсем рядом, глянула весело в ветровое стекло, улыбнулась и канула навсегда. Они оба проводили ее глазами и оба на миг почувствовали горечь утраты.

— Хороша,— с сожалением улыбнулся Бочаров.— Вот поедешь на свое болото, будешь вспоминать.

Вербин покивал, соглашаясь. Они ехали по оживленным, переполненным улицам, на которых вместе с солнцем угасал день и начинался долгий светлый, теплый вечер, наполненный неповторимым сладко-горьким весенним томлением. Они ехали мимо витрин, афиш, вывесок, реклам — кто-то разматывал с двух сторон бесконечное пестрое, яркое полотно.

— Как ты думаешь, Родионов прав? — неожиданно спросил Бочаров. Он свернул на соседнюю улицу и увеличил скорость.

— Не знаю. Честно говоря, мне безразлично,— ответил Вербин и добавил: — Не гони так.

— А если он прав?

— Ну и что? Знаешь, я читал, немцы ориентируют дренажный эскаватор по лазеру. Не надо ни вешек, ни людей — луч ведет,— сказал Вербин и рассердился.— Да не гони так!

— А-а, все равно,— махнул рукой Бочаров, но скорость сбавил.— Уныло мы живем, Алеша.— Он поморщился с огорчением.— Ни соли, ни перца. Диетическая жизнь. Поступков нет. А вот Родионов взял и совершил поступок. Хотя и глупый. Потому что ничего не даст. Приедешь ты, и все пойдет своим чередом. А не ты, другой кто-нибудь.

Они подъехали к дому Вербина и остановились, Бочаров вынул из багажника рюкзак.

— А вообще я б с тобой не прочь,— сказал он.

— Это от меня не зависит,— улыбнулся Вербин.

— Да... А что от нас зависит?

— Но ведь ты программист, твое дело — машина.

— Мне, Алеша, хоть раз охота... ну... на всю катушку. В полный накал. Любить, ненавидеть, драться... Чтоб дух забило.— Он усмехнулся.— А вместо того я поеду с женой на машине в Крым. В море купаться.— Он сел в машину и захлопнул дверцу.— Привет!

Машина рванулась с места и стремглав унеслась.

Впоследствии Вербин пристально всматривался в прошлое, напряженно вспоминал эти секунды, с пристрастием процеживал их сквозь память, перебирал, рассматривал придирчиво в поисках хоть какого-то скрытого знака, невнятной приметы того, что произошло после. Но даже спустя время, когда он уже все знал, при взгляде назад прощание оставалось будничным и обыденным, и даже воспоминания ничем не наполняли эту минуту.

— Привет! — сказал Бочаров, захлопнул дверцу и рванул с места.

4. Надев обе лямки на одно плечо, Вербин внес рюкзак в дом. С поклажей он вошел в прихожую, развязал рюкзак и выложил вещи на пол, потом надел штормовку и поднял капюшон.

Из кухни в прихожую вошла Марьяна, лицо ее стало удивленным.

— Ты что? — спросила она.— Стал туристом?

— Да,— Вербин улыбнулся.— Меня посылают в ПМК.

— Куда?

— ПМК. Передвижная механизированная колонна.

— Надолго?

— Пока не знаю, как получится.

— Мы ведь на юг собрались! — в сердцах она повысила голос.

Вербин не ответил, она помолчала, вздохнула глубоко и постаралась успокоиться.

— Я не знаю, что тебе говорить. Неужели это не понятно? Неужели это нужно объяснять?

Марьяна давно строила планы поездки на юг: семь лет назад они провели у моря медовый месяц; она помнила

прекрасные вечера на палубе, наполненные запахами моря, кавказской кухни, женских духов, отдаленными звуками музыки, смехом, приглушенными голосами, прерывистым шепотом, когда огни иллюминаторов неслышно неслись в темном летнем воздухе, отражаясь и скользя в воде, и внезапно возникали и таяли огни встречных судов, а черноморское побережье неожиданно озарялось на горизонте россыпями огней и так же неожиданно погружалось в черноту.

Тогда они любили друг друга и каждую ночь многократно предавались излишествам, не ведая, что это излишества, а часто и днем, истомленные зноем, они укрывались в каюте и стремглав кидались друг к другу; все дни, весь месяц им никого не было нужно.

Сидя в прихожей, он смотрел на нее снизу вверх и молчал. Она тоже молчала, прислонясь плечом к двери, потом повернулась и ушла в кухню.

Вербин посидел неподвижно, встал и пошел следом. Кухня, как всегда, сверкала, здесь было уютно и чисто. Вербин нелепо выглядел в штормовке, с капюшоном на голове.

— Марьяна, ты можешь поехать на юг с Бочаровыми,— сказал он, стоя на пороге.— Я потом приеду.

— Что я могу, я сама знаю. А вот что можешь ты? Разве ты спросил меня, когда соглашался?

— Я не мог отказаться.

— Не мог?! А я?

— Марьяна... не надо, не драматизируй. Поедешь с Бочаровыми.

Она глянула быстро и задержала взгляд на его лице, смотрела неотрывно, насмешливо и зло. Вербин помедлил и вышел.

Часть вторая

ИЮНЬ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Попутчиков было двое — девушка и старик; несмотря на позднее время, никто не ложился, в купе горел полный свет. К окну подступала майская светлая мгла, в которой,

сколько ни вглядывайся, не было видно ни огонька; у земли мгла сгущалась и становилась неразличимой, сливаясь с лесом, над которым стынно светилось небо. По всей земле длилась ночь,— только и оставалось жизни, что старый скрипучий вагон, катящий сквозь мрак; холодная ночь окутывала землю туманом, поезд с трудом шел сквозь сумеречную мглу, которая сразу за ним смыкалась.

В купе было тепло и уютно, но еще уютнее было оттого, что помнилось промозглое ночное пространство за окном, и это усиливало чувство укромного тепла и приюта. Девушка вязала, старик шуршал газетой, Родионов сосредоточенно работал, разложив бумаги на столике у окна. Он писал, но больше грыз карандаш и думал, его некрасивое, простодушное лицо, на этот раз не имело следов робости или тревоги, и все же он выглядел неказисто, и не верилось, что он начальник колонны, у которого в подчинении множество людей и техники. Трудно было поверить, что этот тихий, провинциального вида человек кому-то приказывает или вообще от него что-то зависит.

Вербин сидел у двери, откинувшись в угол, лицо его оставалось в тени верхней полки. Спать он не хотел. Вагон скрипел, унося его все дальше от дома. Еще три часа назад вокруг был живой, залитый огнями город, а теперь со всех сторон вплотную подступала к вагону светлая ночь, и не хотелось думать, что вскоре надо будет оставить и это прибежище. А Родионов был спокоен — успокоился с тех пор, как сел в поезд.

Это был простой пассажирский поезд, берущий с одышкой подъемы и связывающий в обход больших дорог разъезды и полустанки; он едва плелся, часто останавливался и подолгу стоял без причины посреди леса. Вербин почувствовал, что здесь, сейчас, с этого поезда, начинается незнакомая жизнь, которая, судя по всему, была для Родионова естественной и привычной.

Родионов поднял вдруг голову и посмотрел на Вербина — они встретились взглядами,— потом повернулся к окну.

— Глушь,— сказал он.— Леса.

Он вышел из купе, но вскоре вернулся, и следом за ним толстая добродушная проводница принесла стаканы с чаем.

— Чаек! — встрепенулся Родионов с радостным простодушием и стал оживленно освобождать место на столе. Вербин от чая отказался, и Родионов посмотрел на него с искренним недоумением.— Чаек сейчас первое дело, когда

еще будет...— Он подождал, но Вербин молчал, и он обратился к проводнице: — Вы билетики нам верните...

Проводница кивнула и вышла, унося лишний стакан.

— Это какая станция будет? — спросила девушка, продолжая вязать.

— А никакая,— весело ответил Родионов.— Три дома в лесу. Поезд минуту стоит.

— Вы там живете?

— Нет,— с улыбкой покачал головой Родионов и охотно сообщил: — Нам еще добираться. Марвинское болото, может, слыхали?

— Нет,— ответила девушка.— Разве на болоте можно жить?

— А разве нет? — с какой-то хитростью посмотрел на нее Родионов.

— Болото все-таки... трясина...

— Вот вам общее заблуждение,— улыбаясь, посмотрел Родионов на Вербина, словно призывая его в свидетели, потом ответил девушке:— Не всякое болото трясина.

— Но... ведь их сушат,— неуверенно сказала девушка.

— Сушат, на то и мелиорация. Но только не любое: болото болоту рознь.

— Да какая рознь! Топь — она и есть топь! — вмешался с непонятным раздражением старик.— А в старину говорили — хлябь!

Родионов посмотрел на него и перевел внимательный взгляд на Вербина.

— Алексей Михайлович, а вы как считаете, все болота надо осушать?

Вербин молчал. Родионов не отводил глаз и ждал.

— Мне бы ваши заботы,— усмехнулся Вербин и вышел в коридор. Здесь тускло горело ночное дежурное освещение, стоял полумрак, светлая мгла за окном не казалась сплошной.

У соседнего окна стояла молодая женщина. Вербин украдкой рассматривал ее, из открытой двери купе доносился голос Родионова:

— Есть великое множество всяких болот. И все они разные. А если делить грубо, то их два вида — низинные и верховые.

Вербин с досадой оглянулся назад, словно намеревался выключить докучливый источник звука. Женщина задумчиво и неподвижно смотрела в окно. Он видел нежный профиль, размытый полумраком, были в этой женщине тайна,

печаль, загадка, а может, так только казалось — ночью, в слабом свете вагонного коридора. Она почувствовала взгляд и повернула голову, Вербин отвел глаза.

Сзади навязчиво звучал увлеченный голос Родионова:

— Низинные болота в основном бывают в поймах рек, а верховые на водоразделах. И нет между ними ничего общего. Никакого сходства. Вот низинные-то и надо осушать. А верховые — ни в коем случае, большой вред может получиться. Они и реки питают, и влагу земле дают, людям ягоды всякие, а зверью пропитание... И никакая это не трясина.

— А ваше болото какое? — спросила девушка.

— В том-то и дело, что верховое! — воскликнул Родионов.— И должен вам сказать...— продолжал он, но в это время Вербин протянул руку и закрыл дверь.

Женщина и Вербин стояли у соседних окон; наверное, снаружи они выглядели словно портреты в рамках. Они не были знакомы и не обмолвились и словом, но уже была между ними какая-то тайная немая связь.

Глухой, неподвижный лес тянулся вдоль железнодорожного полотна. Где-то в его глубине текла холодная чистая река, а дальше бескрайне лежали еще более старые и более непроходимые леса с ледяными прозрачными озерами, редкими малолюдными деревнями и хуторами,— это была первозданная лесная страна, по краю которой пробирался ночной поезд. И уже здесь, в самом ее начале, не верилось, что на земле существуют оживленные, залитые светом и как бы всегда праздничные города.

Поезд замедлил ход, поплыли станционные огни, появились отдаленные редкие горящие окна. Дверь купе отъехала в сторону.

— Алексей Михайлович, можно вас на минутку? — позвал Родионов. Вербин неохотно шагнул в купе.— Подтвердите нашим попутчикам, что «мелиорацио» по-латыни означает «улучшение».

Вербин снисходительно посмотрел на него с видом: «Ну и что дальше?» В это время заскрипели тормоза, и поезд остановился. За окном купе виднелись освещенные тусклыми фонарями пакгаузы, склады, какие-то глухие строения и заборы.

— А вот в народе болота во все времена боялись,— продолжал прерванный разговор старик. В голосе его слышались ворчливые нотки.— Сами не ходили и другим заказывали. Было болото страхом господним! Разве не так?

— Так,— покладисто согласился Родионов.

Он хотел что-то сказать, но старик перебил его:

— Спокон веку считалось, что обитает на болоте нечисть всякая — вампиры, упыри, оборотни, вурдалаки... Каждый знал: болото — грешное место, соваться туда не следует. И сейчас знают. Нет?!

— Бывает,— согласился Родионов. Он улыбнулся, но не явно, а как бы своим мыслям, и посмотрел на Вербина. Были в этом взгляде вопрос, и озабоченность, и попытка понять что-то, и какой-то свой скрытый интерес. Родионов помедлил и спросил с очевидным умыслом: — Алексей Михайлович, хотите ответить?

—У вас это лучше получится,— сказал Вербин, вышел, закрыв за собой дверь, и застыл: женщины в коридоре не было.

Она стояла за окном, на пустынной платформе, фонарь освещал небольшой круг, в котором помещались она и маленький чемодан, и выглядела она одиноко и беззащитно. Это был то ли полустанок, то ли маленькая станция, затерянная в лесах.

Женщина озиралась по сторонам, взгляд ее рассеянно скользнул по окнам вагона и задержался мимолетно на том, у которого стоял Вербин,— они встретились глазами.

Они не были знакомы, да и познакомься они, что могло измениться? И все же были в этом взгляде, как показалось Вербину, какой-то укор, сожаление и царапающая грудь горечь.

Поезд тронулся, фонарь и женщина в кругу света поплыли назад, исчезли — канули навсегда. В голову пришла нелепая и неизбежная мысль: рванись он, сойди — жизнь могла бы переломиться. И потом, после, он не раз думал: «Если б я тогда...» — но это уже была игра, которая, впрочем, свойственна всем людям.

Дверь купе отъехала, в проеме возник и остался стоять Родионов.

— Вот так всегда,— улыбнулся он с легкой досадой.— Не знают, но спорят. Я однажды в доме отдыха был. Разные там люди собрались. И как скажешь «болото», все в один голос: «Ах, это ужасно!» Они-то и болота в глаза не видели, но мнение имеют. Слово пугает.

— Николай Петрович,— сказал Вербин твердо,— определимся с самого начала, не хочу, чтобы вы заблуждались. Я инженер. Из деревни меня увезли, когда мне было семь лет. С тех пор я горожанин. Не надейтесь, что я разделю

вашу сентиментальность. И не пытайтесь обратить меня в свою веру, я не стану вашим союзником. И умиляться там вместе с вами не буду. Я буду делать то, зачем меня послали.

Родионов опустил голову и помолчал:

— Я понял, Алексей Михайлович,— сказал он тихо.— Извините. Просто мне показалось, что вы...

— Нет,— перебил его Вербин.

Родионов умолк, покивал понимающе и сказал еще тише:

— Пора собираться. Скоро нам выходить.

2. Среди ночи они высадились у бревенчатого, означавшего станцию дома и по узким, брошенным на землю мосткам направились в сторону леса. Шаги отчетливо стучали по доскам, глухо, но внятно простукивая тишину. После тепла плечи и спину охватил озноб, в горло хлынул и заполнил легкие холодный, свежий воздух.

— Здесь недалеко, с километр всего,— сказал идущий впереди Родионов.

Сзади доносился приглушенный рокот тепловоза. Поезд стоял, разметив сумеречно-белесую туманную мглу тусклым светом окон. Самих вагонов почти не было видно, длинная цепь огней висела сама по себе, последняя зыбкая связь с прошлым.

Рокот усилился. Вербин оглянулся: многоточие огней тронулось с места, плавно поплыло, растворяясь в ночном тумане. Спустя минуту поезд исчез, и стало так тихо и пусто, что казалось — навеки. Они приблизились к лесу и вошли в него; он окружил их сразу со всех сторон, темная глухая стена, непроницаемая и в то же время ощутимо живая, таящая в себе беззвучное пристальное внимание.

Они вышли на узкую просеку, усеянную щепой; наверху в ширину просеки тянулась ровная светлая полоса неба — она уходила вперед, как высокая чистая дорога, проложенная над лесом.

В конце просеки деревья расступились, охватывая открытое мглистое пространство, от которого веяло холодом; из тумана доносился плеск воды.

— Здесь бревна, вы посидите, а я узнаю,— сказал Родионов и пропал; только шаги его какое-то время были еще слышны, потом и они стихли. Ничего не оставалось, как ждать.

Вербин не знал, сколько прошло времени. Туман непроглядно таил воду и берега, слух улавливал всплески, скрипы, звяканье цепей; в стороне Вербин увидел огонь, это был костер, но не понять было, далеко ли он, близко ли, на земле или сам по себе — в воздухе.

Послышались шаги, из тумана возник Родионов.

— Пойдемте,— предложил он.— Придется подождать, пока рассветет. Погреемся.— Голос его был спокоен и ровен, и сразу было понятно — Родионов предлагает самое разумное из всего, что возможно.

Они прошли по берегу, поднялись по шатким мосткам на борт дебаркадера и вошли в помещение. Это был зал ожидания, их обдало плотными, настоянными запахами, духотой, густым, сдавленным теплом, храпом, сонным бормотанием, стонами: при свете ламп на скамьях спали люди.

— Садитесь,— предложил Родионов, указывая свободное место,— постарайтесь уснуть.

Сам он, однако, не сел, а ушел.

Вербин сел и закрыл глаза. Еще помнился минувший день, но казался далеким прошлым, день, город, дом — все привычное существование. Но он недолго думал об этом, его сморила тяжелая, душная дрема.

3. Не прошло и минуты, как его разбудили; он глянул на часы и с удивлением обнаружил, что спал больше часа. Родионов стоял перед ним бодрый и собранный, как будто успел выспаться; лицо его было умыто, а редкие светлые волосы влажно блестели.

Вербин встал, чувствуя, как болит затекшее тело, и пошел к выходу, растирая ладонью мятое, сонное лицо.

Начинался рассвет, воздух посерел, вокруг появились очертания предметов, а наверху, гася звезды, разливался в полнеба бледный холодный свет. Над водой взбухал туман, тянуло сырым утренним холодом.

Родионов привел Вербина в казенное помещение с неуклюжими столами и стульями и оставил ждать, а сам ушел в соседнюю комнату — сквозь стену неразборчиво доносился его голос.

— Плохо,— сказал он, появившись,— катер пойдет в другую сторону.

Но он был спокоен, дорожные превратности, казалось, не влияют на его настроение, да и вообще, судя по всему,

это было для него привычным, как для Вербина городская жизнь.

Снаружи было влажно и свежо, мокро блестели предметы, над водой, густея с расстоянием, томился ледяной пар, в его промоинах показывался и пропадал катер. Внезапно тишину прорезала сирена, похожая на болезненный вскрик, катер бережно прилепился к пристани, высадил женщин с большими молочными флягами, принял несколько пассажиров и заковылял в туман. Пассажиры на палубе молчали и не двигались, белое, холодное, беззвучное курение воды отзывалось в них оцепенением. Через равные промежутки уныво и предостерегающе вскрикивала сирена, мерные звуки не нарушали тишины, а как будто подчеркивали ее; они повисали над сигнальным рожком и вязли в тумане. Странное это было движение, странное и завораживающее. Как будто не вопли сирены, а чье-то медное дыхание взлетало над студеной водой — взлетало и замирало.

— Надо молиться, чтобы разошелся туман,— сказал, подходя, Родионов.— Будет погода, полетим.

Через час туман разомкнулся, стал редеть, рваться, а вода посветлела. К пристани подошла большая моторная лодка, груженная обернутыми в мешковину тюками, навстречу ей вышли сонные грузчики, они дождались, пока лодка причалит, потом один из них спустился в нее и стал лениво подавать остальным тюки; грузчики взваливали их на спину, медленно и расслабленно шли по мосткам на берег, сваливали груз, а потом вяло возвращались. Моторист сопровождал их неодобрительным взглядом и наконец не выдержал:

— Эй, работнички, мне назад надо...

Бригадир грузчиков, немолодой, кряжистый, щурясь, посмотрел на него и как бы оценил, стоит ли отвечать, но так и не ответил, а только негромко сказал своим: «Пошли...» Грузчики как будто проснулись, тронулись с места, задвигались, набирая скорость — быстрей, быстрей,— забегали, разжигая себя движением, тюки, казалось, летали сами, люди лишь провожали их, бегая по узким мосткам; на пристани тюки ложились один на другой ровно и точно, как кирпичи в стену. Вербин и Родионов сидели на бревнах и следили за работой. Слабая улыбка держалась на лице Родионова, он как будто понимал скрытый смысл происходящего, какое-то замаскированное содержание этой работы, непонятное постороннему. И само собой было ясно, что Вербин здесь посторонний, а Родионов свой.

Они все еще добирались до места, это была лишь дорога, но Родионов, несмотря на оставшийся путь, был уже на своей территории.

Разгрузка быстро закончилась, моторист одобрительно покивал: «Ничего, умеете», но грузчики, не ответив, повернулись и пошли прочь, будто не приняли похвалы; они снова были медлительны и сонливы и как бы погружены в себя.

Родионов, улыбаясь, проводил их взглядом. Судя по всему, начальника колонны здесь хорошо знали, во всяком случае, все охотно с ним разговаривали; Вербин заметил, с какой готовностью все стараются им помочь.

Спустя время, когда уже встало солнце и озеро неподвижно и гладко запылало в его лучах, за лесистым мысом раздался рокот моторов, и вскоре оттуда, взрезая застывшую воду и раздувая белые пенные усы, показался гидросамолет. Он приблизился к берегу, заглушил моторы, и с берега стали на лодках возить к нему ящики, пакеты с почтой, обернутые в мешковину тюки и прочие грузы. С одной из лодок к самолету подплыл Родионов; Вербин видел, как он поздоровался с летчиками за руку и поговорил с ними; потом он вернулся и позвал Вербина в лодку. «Опять на перекладных придется»,— сказал он с какой-то долей вины, как будто мог что-то изменить, но не сделал этого.

Вскоре они летели в загруженном тесно самолете. Вербин, сидя на ящике, смотрел в иллюминатор: внизу насколько хватало глаз тянулись леса и большие озера с архипелагами островов. Сверху это выглядело красиво — просторная вода, причудливые перешейки, бухты с изрезанными заросшими берегами, песчаные косы, укромные лагуны; леса и озера тянулись до самого горизонта, неоглядно раздвинутого высотой.

Родионов не отрываясь смотрел в иллюминатор, лицо его было переменчиво — выглядело то взволнованным, то озабоченным, то печальным; иногда он посматривал на Вербина, как будто проверял, испытывает ли тот те же чувства, что и он. «Знаете, о чем я думаю?» — спросил он однажды и умолк, ожидая вопроса, но Вербин молчал, и ему пришлось сказать самому: «Я думаю, будет ли все это после нас»,— он показал вниз. Вербин и на этот раз ничего не ответил. Больше они не разговаривали. Чистое июньское небо бездонно уходило вверх, где густело и наполнялось синью, в которой ослепительно горело солнце. Могло показаться, два человека остались одни в обезлюдевшем мире —

их окружало пустое светлое неограниченное пространство, холодный, слепящий блеск. Далеко внизу проплывала лесная страна, озера с такой высоты были похожи на осколки зеркала, брошенные в траву, они отражали солнце и емкую глубину неба — это была обширная неизведанная территория, таинственная земля, которую предстояло открыть и узнать.

Из кабины вышел второй пилот.

— Сейчас будем садиться,— сказал он, проверяя крепление груза.

— Жаль, что вы дальше не летите,— улыбнулся Родионов.

— Куда уж дальше, и так глухомань,— ответил пилот.

Вскоре они стали быстро снижаться, вода надвинулась, закрыв обзор, самолет коснулся ее и помчался вперед, гася скорость. На берег их доставила моторная лодка, и уже издали Вербин почувствовал сильный запах свежераспиленной древесины, смешанный с запахом рыбы. На берегу находились лесопилка, небольшой поселок, аккуратные штабеля досок, рыбокоптильня, а у самой воды на шестах были развешаны сети и лежали перевернутые лодки.

Покрытая толстым слоем опилок, коры и щепок, земля пружинила под ногами, тишину нарушали лишь отдаленный визгливый шелест дисковых пил да лай неизвестно откуда вывернувшейся маленькой собачонки.

— Не ругайся, не ругайся,— урезонивал ее Родионов.— Нам и так не везет.

В поселке, где размещался участок леспромхоза, Родионова знали, все здоровались с ним, и он тоже всех знал по именам. Странно было Вербину идти по бревенчатой, покрытой опилками улице, на которой сновали беспородные низкорослые собаки, играли дети и устойчиво держался густой скипидарный дух,— странно, в нем жили еще другие улицы, слишком быстро произошла перемена, и он как бы раздвоился: был здесь, но частью своей еще в городе.

Все же им повезло. Родионов по рации связался наконец с колонной, и за ними выслали гусеничный вездеход. Они позавтракали в рабочей столовой, и Вербин побродил вокруг поселка и на берегу, пока Родионов решал какие-то свои дела в конторе участка.

Лес окружал дома — подступал вплотную, живая ограда, стерегущая поселок, и только с одной стороны просторно и вольно открывалось озеро. Было заметно, что дома

поставлены на свежей вырубке, еще недавно на их месте рос густой старый лес, да и теперь высокие, сильные деревья стояли позади новых срубов сплошной стеной; внятно ощущались уединение и отдаленность затерянной в лесу кучки домов, напоминавших отрезанный от мира и прикорнувший у подножья громадных деревьев скит. Лес неодолимо и мощно нависал над маленьким селением, как великан над ребенком, его прохладное, тенистое дыхание не мог побороть даже полуденный зной. Легко было представить, каково здесь зимой, когда все погружалось в глубокий снег и лишь дым из труб выдавал утонувшее в снегу жилье. Но и сейчас так тихо, так неторопливо и покойно существовало у воды селение, что казалось, оно забыто всеми на земле и покорно коротает время вдали от спешки и шума. А ведь был еще не конец пути, дорога лежала в глубь леса.

4. Когда пришел вездеход, выяснилось, что поедут они не одни: к Родионову обратилась молодая женщина с девочкой, и он без раздумий уступил им кабину. «Вы не против?» — спросил он у Вербина, но было видно, что так, формы ради.

Пока они ехали по улице, в лесу не было видно ни щели, в которую можно было бы проникнуть,— казалось, машина уткнется в лес, как в стену. Но дорога попетляла среди первых деревьев, и лес приоткрылся, впустил людей и сомкнулся сразу же у них за спиной. Уже сзади не было просвета, и даже не верилось, что поблизости есть открытое пространство.

Итак, они углубились в лес. По обе стороны плотно стояли высокие деревья, ветки их образовывали сплошную кровлю, стойкая холодная тень наполняла весь лес. Мощные стволы подступали вплотную к дороге, похожей на узкое хмурое ущелье, и, как в ущелье, прорезающем горы, каждый шаг здесь сулил неожиданность.

Сквозь бреши в кронах пробивалось солнце. Свет его расходящимися косыми пучками падал вниз, прорезая высокое сумрачное пространство. Вербин озирался по сторонам. Он внятно ощущал исходящее отовсюду внимание — безмолвное, настороженное внимание, идущее из таинственной глубины леса. Как будто чей-то пристальный взгляд смотрел сразу со всех сторон.

Там, где позволяла дорога, вездеход увеличивал скорость, и тогда лиственная крыша над головой превраща-

лась в пестрое решето, в котором часто вспыхивал и гас яркий свет.

Они ехали молча. Казалось, для волнений нет повода, все тихо, мирно, не надо искать и ждать, жизнь наконец наладилась, и теперь остается лишь спокойно доехать до места. Но какая-то тревога была разлита вокруг, смутное беспокойство исходило из прохладного укромного полумрака, густевшего за деревьями и кустами.

Машину немилосердно трясло, она то вздыбливалась, то проваливалась, приходилось все время держаться. Вербин почувствовал, как растет раздражение. С какой стати он должен не спать, мерзнуть, трястись, тащиться неизвестно куда? Все из-за этого плешивого. Вербин вспомнил угрозу, нависшую над налаженным отпуском, потом вспомнил ссору с женой — злость разгоралась. Черт бы побрал этого блаженного, болото ему понадобилось!..

Он давно уже не испытывал подобной злости. Правда, он давно не испытывал и острой радости или явного горя, он вообще как будто отвык от чувств в их открытом и чистом виде, и даже тогда, когда он радовался или огорчался, в его состоянии не было острой, пронзительной силы.

А сейчас его разбирала злость к сидевшему рядом низкорослому, провинциального вида человеку с застенчивым некрасивым лицом, одетому в дешевый костюм и время от времени приглаживающему ладонью редкие волосы.

Про себя Вербин решил, что отведет на поездку три дня. День, считай, уже прошел, день на месте и день на обратную дорогу. Три дня, на худой конец четыре. Во всяком случае, к концу недели он должен быть дома. Марьяна, конечно, права.

Издали, с расстояния, он увидел свои отношения с женой как бы другими глазами и почувствовал что-то вроде угрызения совести.

Он вспомнил город и свою удобную, хорошо оборудованную квартиру — отсюда она показалась ему особенно привлекательной, и желание обернуться поскорее стало еще сильнее.

Он не загадывал и, естественно, не знал, что ждет его впереди, но много позже, спустя несколько месяцев, он с пристрастием допытывал память, и даже тогда, когда все уже было известно, он не мог сослаться на предчувствие: он был уверен, что уложится в считанные дни.

Мотор вдруг стал кашлять и заглох. Внезапная тишина больно ударила по ушам, прошло какое-то время прежде,

чем стали различимы лесные звуки. Тишина быстро росла, увеличиваясь в размерах, завладевала окрестным пространством и по мере того, как слух освобождался от гула мотора, заполняла весь лес.

Шофер повозился в кабине, донеслось его бормотанье, потом лязгнула и распахнулась дверца.

— Черт, рухлядь! — в сердцах сказал шофер, ни к кому не обращаясь.

— Что стряслось? — спросил Родионов из кузова.

— А черт его знает! — с досадой ответил шофер.

— Ну что ты — «черт», «черт»... Лес все-таки, накличешь на свою голову,— добродушно укорил его Родионов.

— Да он уже здесь,— поднимая капот, ответил шофер буднично, так, что невольно потянуло оглянуться по сторонам.

— Разомнемся пока,— предложил Родионов, перелез через борт и подошел к шоферу.

Вербин вылез следом и походил по дороге. Из кабины появились женщина и девочка, они спустились на землю, но от машины не отошли, как будто боялись, что она внезапно тронется и уйдет без них.

Вербин прогуливался по дороге вперед и назад, до него долетали слова, которыми обменивались Родионов и шофер, но он решил не вмешиваться и продолжал гулять. Из-за деревьев тянуло сырым холодом, гниющей древесиной, мокрой зеленью — запах сырости наполнял лес. И чем дальше от дороги, тем больше сгущалась тень, уплотняясь в сплошной стойкий сумрак.

— Вы впервой у нас? — спросила вдруг женщина.

— Впервые,— подтвердил Вербин, останавливаясь.

— Побережитесь,— сказала она.— Лес у нас такой, знаете...— она опасливо покачала головой.

— Какой?

— Свои и то остерегаются. Лес у нас...— она помолчала, подыскивая слово,— волшебный.

— Волшебный? — улыбнулся Вербин.

— Вы не смейтесь, я вам правду говорю. Мы-то знаем.

— Чем же он волшебный?

— Путает. Заманивает и путает. Вроде только вошел, дорога еще за спиной, а вдруг глядь, и непонятно где ты. Назад пойдешь — дороги-то и нет.

— Куда ж она девается? — снисходительно спросил Вербин.

— А кто ее знает... О том вам и толкую. А иной раз идешь, вроде все правильно, а выйдешь — и не там вовсе. И даже не поймешь, где сбился. Колдовской лес.

— Что ж, никто его здесь не знает?

— Некоторые знают,— уклончиво ответила женщина.— Да мало ли... Бывает, и дорогу знаешь, и светло, и люди поблизости, а такой вдруг тебя страх возьмет, что дышать боязно. Застынешь, а потом ходу, ходу — и назад. Домой прибежишь, а все еще страшно, не отойдешь никак.

— Отчего же?

— Да кто ж его знает... Страшно — и все. Вы человек городской, грамотный, можете посмеяться. А все ж таки остережитесь один по лесу ходить.

— Спасибо, я учту,— поблагодарил ее Вербин и стал снова прогуливаться по дороге.

Впоследствии он не раз вспоминал этот разговор, но сейчас он не придал ему значения со свойственной большинству горожан снисходительностью к жителям деревни. Он был уверен, знакомство его с лесом ограничится этой дорогой: сейчас — туда, вскоре — обратно,— да и в любом случае не мог же он принимать всерьез страхи деревенской женщины.

Вербин вообще принимал всерьез только то, что имело твердый смысл и объяснение, все прочее он не то чтобы отвергал, а просто не замечал. В любой, самой сложной интегральной схеме для него было больше смысла, чем в необъяснимых страхах целой деревни. А если разобраться, страшит ли человека одно дерево? А ведь лес — скопление деревьев, разница лишь в количестве. Да и то сказать, даже смешно, если вспомнить, какой сегодня год и чем живет земля.

Он редко бывал в лесу, а когда бывал, оставался безучастным — лес не трогал его, не вызывал отклика; внутренней связи, какая бывает между живыми существами, между ними не возникало.

Но почему же здесь, сейчас так явственна была одушевленная молчаливая сила, наполнявшая окрестное пространство, и так ощутимо исходило от леса настороженное, пристальное внимание?

Женщина стояла возле машины, держа девочку за руку. Казалось, они и на шаг боятся отойти от машины. Потом они сели в кабину. Вербин походил по дороге, перепрыгнул через канаву на обочине и обошел кусты. Он прошел несколько шагов и обернулся: было похоже, деревья за

спиной сдвинулись, лишь приглушенные голоса и звяканье металла выдавали близкую дорогу. Он пошел дальше, там, где деревья стояли реже, густую тень прорезали сверху косые светлые столбы, они тянулись к земле, напоминая освещение сцены в театре. Вербин остановился и задрал голову — сквозь листья пробивалось солнце.

Два дня назад он так же смотрел вверх на переливающийся в листьях свет, и теперь, как и тогда, ему снова казалось, что все это уже было однажды — давно, в незапамятные времена.

Впереди посветлело, за деревьями и высокими кустами открылась ровная, освещенная солнцем поляна. Вербин остановился: какой-то человек, стоя к нему спиной, собирал и клал в корзину ягоды.

— Здравствуйте,— сказал Вербин.

Человек не ответил и не обернулся, он стоял, не изменив позы, и не шевелился. Вербин подошел ближе. Это был старик в ветхой одежде, редкая светлая щетина покрывала щеки и подбородок, седые волосы свободно падали на лоб, и, хотя лицо его оставалось бесстрастным, в глазах держалась напряженная тревога.

— Что вы испугались? — улыбнулся Вербин.

Старик не ответил. По его лицу не было даже видно, что он слышал вопрос: он смотрел и молчал.

— Это какая ягода? — спросил Вербин.

Старик молчал, словно не понимал, о чем идет речь, и когда Вербин протянул руку к корзине, чтобы взять несколько ягод, он прикрыл глаза, будто перед ударом.

— Я вам ничего не сделаю,— удивился Вербин.— Я только хотел посмотреть.

Он оглянулся: лес окружал их сплошной стеной, маленькая поляна была похожа на опрокинутый вверх колодец, у которого вместо дна голубела вверху проталина ясного неба.

— Вы боитесь меня? — спросил Вербин, глядя старику в лицо.

— Он не говорит, немой,— сказал, появившись из-за деревьев, Родионов.— Он боится чужих.

— Я его только спросил,— ответил Вербин.

— Он не понимает, лучше его не трогать. Иди, старик, не бойся, никто тебе ничего не сделает.

Человек оцепенело стоял, не понимая слов. Родионов поднял и протянул ему корзину с ягодами, но тот не шевельнулся, и Родионов надел корзину ему на руку.

— Пойдемте,— предложил он Вербину, они направились к дороге.— Напрасно вы один в лес пошли, так недолго и заблудиться. А я смотрю — вас нет, искать пошел.

Прежде чем уйти, Вербин на краю поляны оглянулся: старик стоял в прежней позе с надетой на руку корзиной и не двигался.

5. Женщина и девочка сидели в кабине, расстроенный шофер вяло копался в моторе.

— Черт его знает,— безнадежно махнул он рукой, заметив подходившего Родионова.

— Не знает он, не знает,— беззлобно проворчал Родионов.— Что у нашего народа за страсть к сквернословию... Двух слов путно не скажет.

— Какая ж это брань? Это так, ладушки,— ответил шофер.— Чертыхнулся со зла. Бранное слово на вороту не виснет. Не будь вас, я б такой перекат пустил, деревья увяли бы.

— Думаешь, помогло бы? — поинтересовался Родионов.

— А как же! Она б у меня, как птица, полетела, будь она неладна,— мотнул головой на машину шофер.

— Чем зря крыть, лучше разберись,— посоветовал Родионов.— Шофер ты или кто?

— Искра есть? — спросил Вербин.

— Нет,— сокрушенно покачал головой шофер.— Ума не приложу.

— У вас контрольная лампа найдется?

Шофер полез в кабину, достал лампу с торчащими проводами, концы которых были оголены.

— Я уже пробовал,— сказал он без всякой надежды.

— Зажигание включите,— попросил Вербин, не слушая его, потом снял крышку прерывателя, развел контакты и стал проверять цепь низкого напряжения.

Заведя один провод на массу, он последовательно проверил включатель стартера, входную и выходную клеммы замка зажигания, пока не добрался до низковольтной клеммы прерывателя — здесь контрольная лампа накала не дала. Вербин быстро проверил цепь, но обрывов не было, и он понял, что пробита изоляция подвижного контакта. «Здесь коротит на массу»,— сказал он шоферу. «Да? В век не нашел бы»,— признался шофер. «Рычажок с изоляцией есть?» — спросил Вербин. «Что вы, откуда...» — про-

тянул шофер. «Ладно, я поставлю временную, доехать хватит, а там замените»,— сказал Вербин.

Шофер и Родионов неподвижно смотрели, как он работает.

— Видал? — Родионов посмотрел на шофера.

— Нам бы одного такого механика на колонну,— сказал шофер.

Вербин поставил крышку прерывателя, щелкнул зажимами и потер концы пальцев, словно очищая их от грязи.

— Даже рук не испачкал! — восхищенно заметил шофер.

— Учись,— посоветовал ему Родионов.

— Попробуйте,— сказал Вербин шоферу, не обращая внимания на их разговор.

Шофер проворно сел в кабину, завел мотор, послушал его ровный гул и показал сквозь ветровое стекло большой палец, потом вылез и опустил капот.

— У вас зажигание раннее,— сквозь шум сказал ему Вербин.— Слышите?

Шофер прислушался и кивнул:

— А я думаю, почему мотор греется... И тянет хуже, чем раньше.

Все время, пока они стояли у машины, Вербин чувствовал на себе внимательный взгляд Родионова.

— Я бы охотно взял вас в колонну,— сказал он перед тем, как залезть в кузов.— Кем хотите. Хоть главным инженером. Дом построим...

— Спасибо,— снисходительно и чуть насмешливо ответил Вербин, стал на гусеницу и перелез через борт.

Родионов понимающе покивал и полез следом.

Они снова ехали по стиснутой лесом дороге, вернее, по просеке, потому что дороги не было — была разбитая, взбухшая колея, заполненная грязью полоса раскисшей, свободной от деревьев земли, прорезающая заросли, как тоннель; ветки беспрестанно скребли и хлестали по бортам, появись кто-нибудь навстречу, пришлось бы долго пятиться, прежде чем они смогли бы разминуться.

Но никто не появлялся, никто за все время. Они были одни на дороге, приговоренной к постоянному ожиданию.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1. Дорога, как ножевой разрез, проходила сквозь леса. Они постепенно расступались, и дорога вступала в открытую холмистую долину, по которой извилисто текла узкая

река. Частые излуки были покрыты кустарником, высокой травой и густыми зарослями тростника, в которых местами поблескивала темная стоячая вода, а берега чистых плесов покрывал желтый песок, от него покато уходили вверх луговые косогоры — они так и перемежались по всей долине,— прибрежные лужки и пойменные болотца, а на широком холме живописно лежала деревня. Темные, старые срубы образовали несколько улиц, но строгого плана и равнения не было: издали казалось, что дома произвольно раскиданы между лугом и лесом.

Итак, дорога, прорезав леса, входила в деревню. На околице рядами стояли полевые вагончики, возле которых сохло белье, дымились летние печи и сновали люди; в некоторых местах были сооружены навесы, под которыми люди ели, спали, играли в домино, а в стороне на плацу шеренгами стояла техника — ковшовые и роторные экскаваторы, бульдозеры, дреноукладчики, тракторы с навесными орудиями...

Под одним из навесов громко играл транзисторный приемник, стоял разноголосый гомон, четверо игроков, окруженные зрителями, с силой били в стол костями домино. Внезапно все разговоры умолкли, игроки и зрители обернулись и застыли: огибая последние одинокие деревья, из-за леса выехал вездеход.

Люди в лагере прервали занятия, обитатели вагончиков вышли наружу, все внимательно смотрели, как, качаясь и вздыбливаясь, машина с гулом и лязгом приближается к лагерю.

Гул и лязг, покрыв все звуки, плотно заполнили пространство, и когда мотор стих, особенно явственной оказалась музыка забытого всеми приемника; повсюду стояли неподвижные кучки людей.

Родионов и Вербин вылезли из кузова и остановились, разминая затекшие ноги; со спящей девочкой на руках из кабины неловко спустилась женщина, «спасибо вам»,— сказала она им обоим и, держа девочку и корзину, направилась в деревню.

— Если бы не вы, ночевать нам в лесу,— сказал Вербину шофер, а Родионов покивал, подтверждая: «Да уж...»

Все вокруг, мужчины, женщины, дети, молча и неподвижно смотрели на них внимательными глазами, в общем молчании и неподвижности навязчиво и неуместно играл приемник.

Конечно, сразу и без оговорок было ясно, что Вербин чужак. То, что он чужак, было видно по одежде, по тому, как он двигается и говорит, по выражению лица и еще бог знает почему,— одним словом, по всему. Он был в кожаной куртке и джинсах, заправленных в сапоги, вид имел немного ковбойский, молодцеватый, но будь он даже, как большинство местных жителей, в обычной одежде, какая продается в деревенских магазинах или на рыночных развалах, в нем все равно признали бы чужака.

Он никогда не придавал слишком большого значения внешнему виду, любил удобную одежду, но несмотря на то, что курткам, свитерам и джинсам он отдавал предпочтение перед пиджаками, сорочками, галстуками, все же любая одежда сидела на нем ловко и слегка небрежно, как и положено современному горожанину.

Многое зависело от умения двигаться, в юности он играл в баскетбол и с тех пор двигался раскованно и легко, но главное, что выдавало в нем чужака, было лицо: на нем держалось выражение снисходительности, иронии, легкой досады и недовольства, он как бы все вокруг подвергал про себя сомнению и насмешке и ничего не принимал всерьез.

— Если хотите, жить можете со мной, я тут у одной старушки квартирую,— предложил Родионов.

— Честно говоря, мне все равно, я не хочу растягивать удовольствие,— ответил Вербин.— Начнутся работы, я поеду. Так что жилье большого значения не имеет.

Родионов внимательно посмотрел на него и ничего не сказал. Поодаль кучками стояли люди, и, когда Родионов и Вербин направились в деревню, они плотным кольцом окружили шофера.

В большом срубе было просторно и чисто, опрятно пахло свежевымытым полом, на стенах вперемежку висели фотографии, давние и новые,— люди в застывших, принужденных позах, причесанные дети, напряженно ждущие птичку из объектива, нарядные, завитые девушки, окаменевшие семейные пары и среди всех несколько молодых мужчин в пилотках и довоенных гимнастерках с петлицами. Из угла строго и внимательно смотрели с иконы глаза маленького Спаса и его матери.

На шум из огорода пришла хозяйка, руки ее были испачканы землей, она приветливо кланялась и повторяла:

— Заходи, батюшка, заходи... Я уж и не чаяла, что приедете нонче... Щас я вас покормлю, посидите маленько...

После еды Вербин посмотрел на Родионова:

— Начнем?
— Что? — не понял начальник колонны.
— Работать.
— Я думал, вы отдохнете с дороги.
— Я не устал.

Родионов помолчал, помялся, глядя в пол, и сказал тихо:

— Алексей Михайлович, поначалу и я был настроен решительно. Не меньше вас. Кажется, что тут мудрить: есть проект — выполняй. Можно было бы, конечно, закрыть глаза, да только...— Он вздохнул и продолжал:— Ко мне без конца приходили местные жители. Я думал, походят, поговорят и перестанут, знаете, как бывает... А потом смотрю — нет. Идут и идут. Тогда я задумался: не может быть, чтобы простая блажь. И стал я разбираться.— Он умолк, долго молчал, потом сказал:— Алексей Михайлович, я не хочу оказывать на вас никакого давления. Вы человек неглупый и инженер толковый, я хочу... я надеюсь, вы тоже сами во всем разберетесь. Вот вам проект.— Он придвинул лежащие на столе толстые папки и направился к двери. У порога он остановился и обернулся: — Алексей Михайлович, от того, насколько вы разберетесь, зависит очень многое.

— Да вы просто придавили меня ответственностью,— улыбнулся Вербин,— прямо-таки распластали.

Все это время хозяйка робко смотрела то на одного, то на другого, как будто силилась понять чужой язык, и когда стало тихо, она перекрестилась и ушла за перегородку, что-то неразборчиво бормоча. Родионов постоял и молча вышел.

2. Что-что, а работать он умел. Он любил это состояние погружения в работу с головой, когда исчезает все вокруг и шаг за шагом продвигаешься ощупью вперед, пока не начинают проступать очертания замысла и ты уже испытываешь нетерпение, предвкушая полную ясность; он кропотливо вникал в каждый чертеж и в каждую запись, ставя на отдельном листке ему одному понятные знаки, по которым потом он мог сразу вспомнить свои мысли и вернуться к ним, чтобы собрать воедино.

Час проходил за часом, Вербин забыл, что почти не спал минувшую ночь; он не замечал, как входила и выходила хозяйка, не слышал ее мышиного шуршания за перегородкой, не обращал внимания, когда в доме появлялись

и исчезали старухи, должно быть соседки, он не заметил, как стемнело, и когда он разогнул спину и поднял голову, была ночь.

Сейчас ему была понятна суть дела: проект охватывал большую территорию с многими низинными пойменными болотами и огромным верховым Марвинским болотом, осушению которого местные жители противились; вопреки желанию треста Родионов хотел начать работы в пойме реки.

Хозяйка и Родионов спали, в полумраке поблескивали оклады икон, в свете лампады едва заметно проступали темные лики. Стараясь не шуметь, Вербин осторожно вышел во двор. Ясная, светлая ночь владела немой деревней. Ни огня не проступало нигде, ни звука. Темные дома спали, замурованные в сон, как в камень. Вербин поозирался, как будто не верил себе: еще недавно вокруг существовал город, наполненный голосами, гулом, движением, бессонно жили вокзалы, гремели в ознобе дороги, и казалось, вся земля в лихорадке несется куда-то, а теперь безмолвие и неподвижность заполняли пространство, и только в памяти неуверенно держалось, какой сейчас век.

Вербин прошел вперед и приблизился к ограде, за которой стоял соседний дом. Прибитые к земле клочья тумана скрывали его основание, оттого казалось, он не имеет связи с землей и держится весь в воздухе, просто так, сам по себе. Конечно, Вербин ни секунды не сомневался в том, что так только кажется, но в то же время он не мог отделаться от мысли, что дом висит над землей, уж очень было похоже.

Он собрался вернуться, как вдруг на одном из окон медленно разъехались занавески и между ними возникло бледное застывшее лицо.

К нему было обращено безжизненное, похожее на маску старческое лицо, тусклые немигающие глаза вперились в него, они казались незрячими и в то же время смотрели сквозь него неизвестно куда. «Чертовщина какая-то»,— подумал он и хотел уйти, но что-то удерживало его, он продолжал стоять; непонятное оцепенение нашло на него, он не шевелясь смотрел на окно.

Внезапно он почувствовал прикосновение и вздрогнул: рядом стоял Родионов.

— Я не заметил, как вы подошли,— сказал Вербин.

— А я удивился: смотрю, вы стоите, не двигаетесь... Не спится?

— Дышу,— ответил Вербин и посмотрел на окно соседнего дома: занавески глухо закрывали окно, оно казалось слепым и безжизненным, и неизвестно было, то ли все померещилось, то ли было на самом деле.

— Ну вы и работаете,— с одобрением покачал головой Родионов.— Прямо запоем.— Он помолчал и спросил деликатно, но с тревогой: — Ну как?

— Я подозреваю, что проект не везде привязан к местности, но в целом, нормально. Детали можно подработать.

Родионов помолчал и тяжело вздохнул.

— Я не детали имел в виду,— сказал он глухо.— И не инженерную сторону. Я о другом говорил. Порочна сама идея. Марвинское болото нельзя трогать. Это не техническая проблема, а...— он помолчал, подбирая слово,— нравственная, что ли... Суть не в способе решения, а в самой задаче.

— Вы говорили о проекте. Проект неверный,— насмешливо заметил Вербин.

— Это по привычке. Каким бы он ни был, он не нужен. Мы ведь работаем не для того, чтобы доказать, хороший проект или нет. Он в любом случае принесет вред.

Все, о чем говорил начальник колонны, не занимало Вербина, ему казалось, что это общие, беспредметные разговоры, а беседовать впустую Вербин не любил.

— Мы с вами инженеры, занимаемся вещами конкретными,— сказал он снисходительно.— А то, что вы говорите, категории отвлеченные.— Он посмотрел на Родионова: тот кутался в наброшенную на плечи телогрейку, под которой виднелась белая нижняя рубаха, и выглядел он невзрачно — низкорослый, всклокоченный, мятый, в калошах на босу ногу.

— Никто не отменял для инженеров нравственности,— сказал Родионов тихо.— И нет вообще нравственности отдельно для каждой профессии.

Вербин с иронией молча развел руками: мол, я здесь ни при чем. Потом он посмотрел по сторонам: темные срубы, как крадущийся без огней флот, плыли сквозь светлую ночь и удалялись в туман.

— Вы смотрите,— улыбнулся он Родионову,— ночь, все спят, а мы с вами на холоде ведем дискуссию на моральные темы.

— Да...— Родионов грустно покивал, умолк и направился в дом.

3. Стояло сумеречное утро, когда Родионов разбудил Вербина. Он потряс его за плечо, уже одетый и умытый, и сказал негромко:

— Алексей Михайлович, пора...

Вербин открыл глаза, медленно и замороченно поворочался.

— А мне кажется, я лег только...

Хозяйка накормила их горячей картошкой и молоком и, когда они поднялись уходить, сказала просяще, обращаясь к Вербину:

— Ты уж, батюшка, по справедливости решай, не обижай нас.

Вербин покивал неопределенно, не зная, что ответить. Он вообще не умел разговаривать с этими людьми, жизнь их была для него загадкой; любой компьютер был ближе и понятнее ему, чем эта старуха.

По деревенской улице они направились в сторону колонны. Было похоже, все жители поджидали их у домов — здоровались и провожали взглядами, а некоторые шли следом, не сводя с них глаз; казалось, вся деревня смотрит на них, все жители, и все сообща ждут решения своей участи.

На плацу, где находилась техника, было людно. Едва они приблизились, стало тихо, все повернулись в их сторону. Вербин поозирался и задержал взгляд на стоящих в стороне машинах.

— Я думаю, не будем откладывать,— сказал он Родионову и добавил громко:— Приступаем к работе.

— Правильно, давно б так,— одобрительно сказал один из рабочих.

— Вот это разговор,— поддержал его другой.— Сразу видно делового человека. А то торчим здесь, как...— Рабочий повернулся и направился к машинам.

За ним двинулись и другие. Часть людей осталась стоять, а некоторые, пройдя немного, обернулись и в нерешительности замедлили шаги; те, кто остался на месте, выжидающе смотрели на Родионова — он не двигался и хмуро смотрел в землю.

Еще минуту назад люди мирно и благодушно переговаривались, зевали, посмеивались, лениво и сонно потягивались и вдруг в мгновение переменились, пришли в движение и разделились на враждующие партии.

Итак, ранним погожим утром, когда покрытые росой предметы ярко светились на солнце, поодаль над лугом пло-

ско и тяжисто стлался туман, а свежий воздух был тих и неподвижен, на ровной площадке, окруженной огромными тяжелыми машинами, вспыхнули и разгорелись страсти: толпа, как в любой народной драме, была готова к речам и кровопролитию.

Самые решительные уже заводили моторы, один за другим они с ревом набирали обороты, сотрясая землю и заволакивая плац темным удушливым дымом. Родионов стоял по-прежнему неподвижно, его простоватое лицо было хмуро озабочено, все, кто остался на месте, смотрели на него и ждали.

— Николай Петрович...— тихо позвал его белобрысый худой парнишка, призывая к действию, в голосе его слышалась тревога.

Родионов не шевельнулся и стоял, словно все, что происходило вокруг, его не касалось. Некоторые машины уже тронулись с места и медленно ползли через плац к дороге.

— Николай Петрович...— с беспокойством сказал еще кто-то, но Родионов не двинулся и не ответил, и все стоящие вокруг стали с недоумением и тревогой переглядываться, как свита генерала, который не внимает тревожным донесениям с поля боя.

— Николай Петрович, распорядитесь, пожалуйста,— попросил его Вербин с легкой досадой.— Дайте бригадам задания.

— Я думал, вы хоть местность осмотрите,— сказал Родионов с мрачным, насмешливым укором.

Вербин понял, что допустил оплошность. Этот низкорослый, невзрачный и на вид простоватый человек терпеливо выждал и поймал его на первом же шаге: болото следовало хотя бы осмотреть до начала работы. Надо было все взвесить и рассчитать, чтобы начать без осечки, начало должно быть безупречным. А теперь все вынуждены остановиться, самые рьяные почувствуют узду и будут ждать, но самое главное — был потерян темп. Вербин сразу оценил, как расчетливо его провели: дали начать, а потом незаметно и вроде бы невзначай осекли и стреножили.

Теперь надо было отступить, выждать и осмотрительно начать снова. Он поймал на себе любопытные взгляды — все смотрели с интересом, ожидая ответа,— и согласился, словно ничего не произошло.

Родионов без промедления направился к лесу. Вербину ничего не оставалось, как пойти за ним. Начальник колон-

ны на ходу обернулся и мотнул головой белобрысому пареньку в сторону ревущих машин.

Вдвоем они шли по лугу, за спиной один за другим стихали моторы, наконец умолк последний,— мгновение шум еще держался в ушах, а потом угас, растаял, и просторная, необъятная тишина установилась в мире.

4. По лесу шли двое. Прекрасен был лес, пронизанный солнцем, наполненный переменчивой игрой света и тени. Первым шел Родионов — не глядя по сторонам, озабоченный и хмурый, за ним в нескольких шагах шел Вербин. Тропинка петляла, спускалась и поднималась,— если бы кто-то смотрел издали, могло бы показаться, что люди исчезают и появляются.

Они шли друг за другом по лесной тропинке, Родионов — впереди, Вербин — сзади, связанные невидимо, но и разделенные в то же время, и оба знали, что каждый из них думает о другом.

Всю жизнь Родионов боялся больших городов. Всякий раз, когда он оказывался в городе, его охватывало смятение. Он ощущал внутреннее неустройство, напряженную тревогу, робость, и даже тогда, когда поездка была необходима, он всячески медлил и откладывал в надежде, что тем временем что-то переменится и надобность отпадет. В городе он казался себе косноязычным и неловким, он был убежден, что выглядит жалким и неуклюжим провинциалом, спешил и рвался назад, но, уже сев в обратный поезд, испытывал облегчение; по мере того, как поезд удалялся от города, к Родионову возвращалось привычное состояние размеренности и покоя. Это состояние никогда, даже в острые и напряженные минуты, не оставляло его в колонне, он чувствовал себя здесь всегда просто и спокойно — ощущение укромного убежища и защищенности никогда не покидало его в лесу или на болоте.

На работе Родионову всегда хватало времени, он не спешил, никого не подстегивал, и все, что нужно, делалось как бы само собой, естественным ходом событий. Родионов считал, что достаточно всем лишь делать свое дело, его работа сводилась к тому, чтобы люди без лишних слов выполняли свои обязанности, он не видел в этом никакой своей заслуги и не понимал, за что его хвалят и отмечают. Но те семь лет, в течение которых он был начальником колонны, она считалась лучшей в тресте. Родионов не прилагал для

этого больших усилий и испытывал неловкость, когда его отмечали перед другими, которые, судя по всему, на работе горели и рвались на куски.

Он застенчиво помалкивал, когда кто-то пылко произносил речи или брал обязательства и проявлял энтузиазм; если ему приходилось говорить, его тихий, сбивчивый голос и смущенный вид как бы нарушали общепринятый ритуал. Он вообще терялся в официальной обстановке, и хотя ему все же приходилось присутствовать на многолюдных собраниях, он так и не привык к обилию слов и торжественному стилю и старался забиться в укромный угол.

Зато вечер напролет он мог слушать постороннего человека. Чужая жизнь вызывала у него неподдельный интерес, и он мог часами слушать незнакомца — на вокзале, в поезде, в гостинице, в доме или на сеновале,— лицо его светилось любопытством, как будто рассказы эти представляли для него ценность. У начальников других колонн его стойкое нежелание оказаться на виду, выдвинуться, сделать карьеру вызывало недоумение, про себя некоторые называли его «тюфяк», «пентюх», «лопух», а когда слышали о работе его колонны, они только разводили руками: «Непостижимо!»

Как разительно отличалась его жизнь от жизни Вербина; этот высокий молчаливый горожанин был непонятен ему, как пришелец из другого мира. Родионов чувствовал, что Вербину безразличны и неинтересны обычные разговоры о погоде, о скотине, о покосах, о свадьбах, о свиданиях, о размолвках и разлуках, о чьих-то горестях, о делах в колонне, о трудностях со снабжением — весь круг обыденной, повседневной жизни, а как говорить с ним и о чем — Родионов не знал.

Был в этом человеке какой-то холод, заведомое отрицание внутренней связи между людьми, хотя Родионов сразу оценил его как инженера и отдал должное умению его рук и тому, как он сразу определял суть машины или технической идеи, но ведь техническая идея не суть людей, а что-то живое, человеческое, кроющееся в технике Вербин отвергал, вернее, это его как бы не касалось. Было видно, он никого не подпускает к себе близко, всех держит на расстоянии, а с какой стороны и каким способом подступиться к нему, Родионов не знал.

Они подошли к ручью, Вербин наклонился к воде, напился и смочил лицо; тишину нарушали лишь голоса птиц и слабый плеск воды, в листьях вспыхивало и гасло солн-

це. И снова ему показалось, что все это было когда-то,— не понять только, где и когда.

Толстые пласты времени уходили назад, где-то в их глубине мерцали в траве такие же блики, переменчиво играло в листьях солнце, и так же слышны были в той давней тишине птицы. Он не знал, было ли это когда-то на самом деле, но ощущение, что было, держалось стойко.

Они продолжали идти, под ногами стало топко, они вышли к болоту. Повсюду лежали коряги, вокруг рос сучковатый кустарник. Неожиданно Вербин остановился и внимательно посмотрел по сторонам: лес непроницаемо темнел по краю болота, как будто застыл в чутком, настороженном ожидании.

— Знаете, у меня такое чувство, точно за нами кто-то следит,— сказал Вербин.

— Болото, — улыбнулся Родионов. Он огляделся, скользнул взглядом по густым зарослям тальника.— Здесь всегда кажется, что кто-то на тебя смотрит. Старик в поезде был прав, болото — мрачное место. Говорят, здесь оборотни водятся. Появляются после захода солнца.

— Еще рано,— Вербин с улыбкой посмотрел на часы.

— Вам-то что... Вы инженер, современный человек. А это так... выдумки темных людей.— Родионов прошел несколько шагов и обернулся: — Вы бы пошли сюда ночью?

— Зачем?

— Ну, скажем, надо...

— Отчего ж, если надо...— в голосе Вербина по-прежнему сохранялась ирония.

Родионов понимающе покивал, еще раз скользнул взглядом по зарослям и неожиданно сказал: «А вообще, может, кто и следит», и спокойно двинулся дальше.

Вербин с удивлением посмотрел ему вслед.

5. Спустя время они все еще шли по толстому упругому мшистому покрову, на котором росли редкие, низкие, корявые сосны. Насколько хватало глаз мох был густо покрыт мелким ветвистым кустарничком со стелющимися стеблями и приподнятыми веточками, на которых росли темно-зеленые листья и маленькие бело-розовые цветы.

— Клюква цветет,— сказал Родионов.— В этом году урожай, тоннами можно будет брать. Тут и морошка, и черника... Видите, болото верховое, сфагновое. По инструкции министерства такие болота трогать нельзя.

— Наверное, проектировщики знают инструкцию,— насмешливо ответил Вербин.— И в тресте знают.

— При желании можно любую инструкцию обойти,— хмуро сказал Родионов.

— Вы что же полагаете, люди сидят на работе и только и думают, как бы обойти инструкцию?

— Нет. Пока интереса не видят. А когда увидят...

— А вы как начальник колонны никогда не нарушаете инструкцию? — Вербин посмотрел на него с улыбкой.

— Нарушаю. Если она работать мешает. Здесь другой случай, здесь она на пользу.

— Смотря как понимать пользу. Для кого-то польза, для кого-то нет. И вообще, по-моему, мы с вами казуистикой занимаемся. Есть общий замысел. Каждый со своей колокольни видит только его часть. А по части не всегда можно судить о целом. Вы видите одно, а если посмотреть с большой высоты, все обстоит иначе. В общей взаимосвязи. Результат складывается из многих факторов,— терпеливо и снисходительно, как ребенку, объяснил Вербин.

— Не верю. Не думаю, что надо навредить в одном месте, чтобы где-то была польза,— сказал Родионов. Лицо его было нахмурено, и было видно, как он волнуется.— А здесь вред будет. И такой, какой потом не исправить. Если процесс...

— Я читаю прессу,— уже с досадой перебил его Вербин.

Родионов осекся, умолк и посмотрел на него растерянно.

— Вам... безразлично? — спросил сбивчиво после некоторого молчания.

— Я не могу брать на себя ответственность за судьбу мира,— холодно ответил Вербин.— Дай бог с собой разобраться.

— Одно другого не исключает,— с горькой усмешкой заметил Родионов.

— Николай Петрович, я просил вас и прошу снова — не втравляйте меня в ненужные споры. Это словоблудие и сотрясание воздуха. Сочувствия во мне вы не найдете. Мы с вами все равно ничего не можем изменить. Было время псовой охоты, сейчас время технологии. Надо трезво смотреть на вещи, вы просто опоздали родиться.

— Какой смысл в технике, если мы...— начал Родионов, но Вербин перебил его:

— Долго нам так идти?

— Устали?

— Я не устал, но не вижу смысла.

— Смысл очень простой: вы должны полностью осмотреть объект и определить свое мнение. Письменно.

Вербин посмотрел на него с иронией:

— Письменно?

— Обязательно. С некоторых пор я стал образцовым бюрократом. Завел специальную папку и вношу в нее все суждения.

— Хорошо, я напишу. Но работу придется начать, есть производственный план.

Родионов посмотрел на него, но ничего не сказал, и некоторое время они шли молча. Густо пахло сыростью. Мягкий мох пружинил под ногами, в низких местах сквозь мох проступала вода. Это был унылый пейзаж: островки тростника, высокой травы, тальника, одинокие низкие сучковатые сосны, некоторые из которых уже отмерли, но продолжали стоять, словно окаменев; в непогоду они скрипуче и жалобно постонут и рухнут, не выдержав ветра, чтобы превратиться в скользкие черные коряги.

— Здесь короче, но если хотите, можно идти верхом, по дороге,— Родионов показал на холмистую, поросшую лесом гряду, огибающую поодаль болото.— Местные жители в одиночку сюда не ходят. По здешнему поверью на болоте обитают души грешников.

— Неужели до сих пор верят?

— Верят,— буднично сказал Родионов. Он глянул на Вербина и улыбнулся.— Это от уровня техники не зависит.

Вербин пожал плечами: «В наше время...» — но Родионов заметил добродушно: — Поживете — сами увидите...

— Вряд ли у меня будет возможность,— сказал на ходу Вербин.

— Вы по-прежнему надеетесь уложиться в три дня?

— В три — нет, в четыре.

Они вышли на твердое место и по узкому заросшему оврагу стали подниматься вверх. Вербин услышал в зарослях отчетливый треск, как будто кто-то наступил на сухую ветку; он посмотрел в ту сторону, но ничего не увидел и вопросительно глянул на Родионова — тот шел, не обращая внимания.

— По-моему, там кто-то есть,— сказал Вербин.

— Почудилось,— спокойно ответил Родионов.

— Я слышал...

— Оборотни ходят бесшумно,— улыбнулся Родионов.— А людей, я думаю, вы не боитесь.

Вербин раздвинул ветки: склон оврага круто уходил вверх, поросший высокой травой, осиной и можжевельником; никого не было видно.

Они продолжали подниматься, овраг скоро кончился, и открылся высокий, просторный солнечный лес, наполненный светом, легкой подвижной тенью, прозрачным воздушным дымом и кажущийся после болота праздничным и веселым. Они вышли на пятнистую от бликов дорогу, которая живо петляла среди невысоких холмов и как будто играла с ними в прятки: то выбегала на открытое место, то снова пряталась в лес.

Дорога уткнулась в новый овраг, по дну его бежал ручей, над которым висел мостик — три бревна без перил, переброшенные с одного склона на другой. Они перешли мостик, и вскоре за деревьями показался рубленый дом с постройками.

— Что здесь? — спросил Вербин.

— Лесник живет. Передохнем немного.

Вербин увидел гуляющих кур, поленницы дров, сложенное аккуратно под навесом сено — дом и двор были ухожены и выглядели опрятно. Навстречу с лаем выбежала собака, но, узнав Родионова, умолкла и завиляла хвостом. Из сарая на лай вышел хозяин, коренастый бородач, возраст которого было трудно определить, ему можно было дать и сорок, и шестьдесят.

— А, Петрович!..— Он пожал руку Родионову, потом протянул ладонь Вербину и вежливо произнес:— Здравствуйте.

— Передохнуть зашли, болото обходим,— объяснил Родионов.

— В дом проходите,— предложил хозяин.

— Спасибо, Кирилл, мы здесь посидим.— Родионов сел на бревно.

— Ну, здесь так здесь,— согласился хозяин и, обернувшись, позвал:— Даша!

На пороге дома появилась девушка; нельзя было сказать, что она красавица, но она была миловидна и хороша просто своей молодостью, от нее исходило ощущение свежести и прохлады. У нее были светлые, лежащие свободно волосы, серые глаза, короткое домашнее платье открывало руки и шею, взгляд был спокоен и ясен, и как-то сразу, само собой, было понятно, что от нее не приходится ждать подвоха, обмана или насмешки, но так же очевидно было, что невозможно обманывать и ее. Ни тени кокетства, ни наме-

ка, ни смутного отголоска скрытой игры или тайного хлопотанья не было в ней, она держалась просто, ровно, свободно, с незамутненным спокойствием и в то же время доверчиво и в каждом движении, в каждом взгляде была естественна и чистосердечна.

Быстро, но без спешки она ловко разожгла самовар и накрыла на стол. Налив всем чай, она повернулась и направилась в дом. В это время в кустах что-то треснуло, собака зарычала, ощерилась и кинулась в заросли, но вскоре вернулась и легла. Даша ушла в дом, а хозяин и гости принялись пить чай.

— Давно я не ел брусничного варенья,— сказал Родионов.

— Дочка варила,— ответил лесник.— Как какая ягода поспевает, она тут и варит.

— Смотри ты... А я думал, молодые теперь не умеют...

— Мать-покойница научила.

Они продолжали говорить о разных ягодах и вареньях, Вербин не слушал, рассеянно пил чай.

— Петрович, как съездил? — спросил наконец лесник.— Отстоял?

Родионов потускнел и молча покачал головой.

— Жаль...— сокрушенно сказал лесник.— Ежели это болото свести, все прахом пойдет. И лес, и реки...— Он посмотрел на Вербина.— Это же дураку ясно. Ягод не станет, птицы отлетят, зверь оголодает, уйдет...

— Я все это сказал,— хмуро заметил Родионов.

— Так что ж они, не понимают?

— Проект есть,— ни на кого не глядя, мрачно ответил Родионов.

— Так ведь проект в городе составляют! — горячо сказал лесник.— Что им наша жизнь! Приедут на день-два, посмотрят и пишут: это — туда, то — сюда. И пустят все под бульдозер. А через год-два руками разводят, ошибка, мол, вышла, извините. Для них ошибка, а для нас...— Он умолк, помолчал тяжело и сказал угрюмо: — Из рук все валится. Вроде ни к чему теперь. Знаешь, Петрович, что я тебе скажу? Если тебя уберут, пиши пропало.

— Ну, почему...— вяло возразил Родионов.

— Болото нам без тебя не отстоять. Я тогда подамся отсюда. Нечего тут делать.

— А дом... хозяйство? — с какой-то виной спросил Родионов.

— Снявши голову, по волосам не плачут,— жестко усмехнулся Кирилл.— Брошу! Как узнаю, что тебя убрали, так и снимусь.

Они молча пили чай. Из дома вышла Даша и принялась развешивать для просушки пучки какой-то травы. Когда она поднимала руки, ее и без того короткое, почти детское платье задиралось, высоко открывая ноги. Лесник перехватил взгляд Вербина и сказал твердо:

— Дарья, иди в дом.

Она покорно прервала работу и ушла. Все посидели в тишине, потом Родионов встал:

— Спасибо за угощение, Кирилл, нам пора.

Вербин посмотрел на окна дома: створка одного из них была приоткрыта, он увидел в темной глубине комнаты Дашу, она неподвижно смотрела из полумрака во двор,— на мгновение они встретились взглядами, ее светлые глаза смотрели спокойно и серьезно. Вербин почувствовал смутное, глухое беспокойство, она не отвела глаз, он неловко отвернулся, пробормотал хозяину: «До свидания» — и, чувствуя на себе ее неотрывный, внимательный взгляд, пошел прочь.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1. На другой день Вербин проснулся от петушиного крика. Крик катился по деревне, приближался, пока не раздался совсем рядом, почти над ухом. За окном брезжил бледный, размытый свет. В третий раз за три дня Вербин вспомнил, где он; по ночам он продолжал существовать в привычной городской жизни, звонкий голос хозяйского петуха вернул его в деревенский дом.

Стараясь не шуметь, Вербин встал, но, оказалось, старался он напрасно, хозяйка и Родионов уже встали. Вербин умывался под рукомойником, когда с потрепанным детским портфелем из дома вышел Родионов.

— Николай Петрович,— Вербин стряхнул с рук капли и снял висевшее на гвозде полотенце,— надо начинать.

— Я приказ не отдам,— ответил Родионов спокойно, как будто всю ночь обдумывал эти слова.

— Почему? — спросил Вербин.

— Не хочу делать то, с чем я не согласен.

— Но ведь все уже решено.

— Без меня. А я не согласен.

— Вы понимаете, что это наивно? — Вербин вытер лицо и повесил полотенце на шею.

— Понимаю. Значит, я наивный человек.

— При чем здесь то, какой вы человек? У нас работа стоит!

Родионов опустил лицо и помолчал, обдумывая ответ. Потом посмотрел на Вербина.

— Знаете, Алексей Михайлович,— сказал он с какой-то горечью,— мы все люди. Можем ошибаться, можем совершать глупости, слабость проявить, всяко бывает... Но рано или поздно случается, что надо сказать «да» или «нет». Понимаете? Только «да» или «нет».

— Опять разговор на отвлеченные темы. Вы отказываетесь?

— Отказываюсь.

— Вы считаете, это что-то изменит? — с иронией спросил Вербин, заправляя рубаху в брюки.

— Не знаю. Но я не хочу быть соучастником.

— Ну что ж, мне придется,— сказал Вербин.

— А это уже ваше дело,— ответил Родионов и прошел мимо с потрепанным детским портфелем.

2. Спустя час Вербин стоял посреди плаца и по карте объяснял бригадам задания. Он видел в некоторых лицах хмурость и неодобрение, но не обращал внимания, это его не касалось. Правда, другие были довольны, но он не обращал внимания и на них: все, что от него требовалось,— это начать работу, за этим он и приехал. Если бы он приехал останавливать колонну, он вел бы себя точно так же, пусть даже вся колонна и сам Родионов хотели бы работать.

«Сегодня начинаем, завтра день для разгона, послезавтра я поеду»,—думал он, раздавая задания. Окружавшая его толпа стала редеть, все направились к машинам, и вскоре один за другим взревели моторы, заволакивая дымом плац, на котором во всех направлениях происходило суетное движение: бегали с рейками нивелировщики, подсобные рабочие готовили дрены, носились с беспокойным лаем собаки и медленно, с лязгом и грохотом ползли, сотрясая землю, машины.

В стороне, у крайнего вагончика, держа потрепанный детский портфель, стоял Родионов. Рядом никого не было, он одиноко стоял на месте, и вид у него был горестный. Машины, переваливаясь, с ревом выбирались на проселоч-

ную дорогу, вытягивались в колонну и медленно тащились в сторону леса. Родионов обреченно смотрел на это неумолимое движение: колонна, грохоча, постепенно набирала скорость, как будто готовилась к атаке; в лице и фигуре Родионова читалась безысходность, несколько человек из числа его сторонников стояли поодаль и украдкой поглядывали на него, белобрысый парнишка сидел на крыше вагончика, свесив ноги, и смотрел вниз.

Родионов сник окончательно, опустил голову, как-то по-старчески потоптался на месте и направился в вагончик. Он открыл дверь, когда его остановил крик: сидевший на крыше белобрысый парень показывал в сторону деревни. Родионов посмотрел туда и застыл: от деревни к дороге наперерез машинам бежала толпа. Первыми неслись мальчишки, за ними густо валила плотная масса людей.

Вербин стоял спиной к дороге, в грохоте моторов он не слышал крика, кто-то тронул его за рукав, он поднял голову и непонимающе уставился на дорогу — людской вал уже накатывался на колонну. Вербин смотрел с недоумением и не понимал, что происходит. Мальчишки вылетели на дорогу и безрассудно запрыгали, заплясали, завертелись среди машин — головные машины вынуждены были сбавить ход и остановиться. За мальчишками на насыпь выхлестнула толпа, залила все пространство, обволакивая машины. Через минуту стояла уже вся колонна, крик людей слился с гулом моторов.

На плацу прекратилось всякое движение, все неподвижно смотрели в сторону дороги, где вокруг машин кипело человеческое половодье,— толпа вдруг схлынула с дороги и понеслась дальше.

Вербин все еще не понимал, что происходит; он заметил, как люди вокруг него стали напряженно озираться по сторонам, а некоторые попятились и начали торопливо расходиться.

— Алексей Михайлович, уходите,— услышал он обращенные к нему голоса,— уходите скорей!

Он продолжал стоять и вдруг заметил вокруг себя открытое пространство, которое быстро расширялось: плац на глазах пустел. Вербин увидел, как окружавшие его только что люди поспешно забираются в вагончики, теснятся на ступеньках, смотрят испуганно с высоких порогов, готовые в любое мгновение захлопнуть дверь.

Он стоял один посреди плаца. Он стоял на плацу, как на сцене,— один, брошенный на произвол судьбы перед

лицом стихии. Все смотрели и ждали. Затаив дыхание смотрели и ждали зрители и персонажи: люди, луга, пологие холмы, река и отдаленный молчаливый лес. Все пребывали в тревоге, смешанной с любопытством и пристальным, болезненным интересом.

Страха он не испытывал, но не по причине смелости, а просто потому, что не представлял, что его ждет: никогда прежде он не участвовал в народных драмах.

Белобрысый парнишка, сидевший на крыше вагончика, расширенными от ужаса глазами смотрел сверху, как сокращается расстояние между толпой и одинокой фигурой, стоящей посреди плаца.

Толпа нахлынула, затопила плац, окружив Вербина. Здесь было почти все население деревни, больше женщины, все были до предела распалены и кричали неистово, потрясая руками, лица их были искажены яростью, волосы растрепаны, а рты разверзнуты в крике.

Вокруг клокотала толчея, он был замурован в кипящий бетон. Задние теснили передних, толпа сжималась, сдавливала сама себя — всем телом Вербин почувствовал страшную тяжесть,— толпа давила сразу со всех сторон, сплющивала его и выжимала последние силы, он уже не мог дышать.

Стоявший за пределами толпы Родионов бросил портфель на землю и врезался в толпу. Он рвался вперед, расталкивал всех, работая кулаками, локтями, плечами,— словно проходческая машина, он пробивался сквозь толпу, которая на мгновение раздвигалась под его неистовым напором и тут же смыкалась у него за спиной.

Он прорвался к Вербину, стал перед ним, как бы прикрыв собой, и крикнул что есть силы, тряся поднятыми кулаками:

— Сто-о-й!!!

Передние умолкли и застыли. Родионов перевел дух и сердито одернул на себе одежду.

— Спятили?! — спросил он в тишине гневно.

Толпа выпустила пар и обмякла. Люди постепенно приходили в себя.

— Ополоумели...— ворчливо сказал Родионов, понизив голос.— Вот что... Разговаривать будем только с председателем.— Он осмотрелся, проверяя, дошли ли его слова до всех, и снова строго повысил голос: — А ну, пропусти!

Толпа безмолвно расступилась, образовав живой коридор. Вербин вступил в него и в полной тишине прошел к вагончику.

— Воин! — Родионов в сердцах натянул на глаза кепку стоявшему рядом деревенскому подростку, потом быстро прошел вслед за Вербиным, поднял по дороге свой портфель и ушел в вагончик.

3. Они находились в маленькой, похожей на купе комнате. Вербин на столе пытался соединить обрывки карты, Родионов смущенно смотрел на него, как ребенок, заслуживший наказание; он открыл портфель и виновато положил на стол свою карту.

— Помяли вас немного? — улыбнулся он смущенно, словно был к этому причастен. Вербин не ответил, Родионов обескураженно помялся и сказал добродушно: — Алексей Михайлович, вы рубаху снимите, женщины зашьют.

Вербин глянул, обнаружил, что рукав едва держится, но снова промолчал.

— Да, народ здесь...— покачал головой Родионов. Он сконфуженно посмотрел на Вербина и засмеялся.— Как они бежали...

Вербин посмотрел на него зло, но сдержался и снова уткнулся в карту: всем раздражал его этот низкорослый лысоватый человек — видом, разговором, несуразностью, даже своим нелепым детским портфелем.

— Под машины... прямо, как на войне,— улыбаясь, продолжал Родионов.

Вербин не выдержал:

— Вам-то что улыбаться?! Вы начальник колонны, а вы...— Он осекся, помолчал и добавил: — Я вам не нянька.

Родионов подождал, опустив лицо, потом сказал тихо:

— Алексей Михайлович, я семь лет начальник этой колонны. И ничего, никто не жаловался. И няньки не нужны были...

Вербин не ответил. Снаружи доносились голоса, сквозь окно окрестная земля напоминала лужайку в час народного гуляния: на всем пространстве кучками сидели и стояли люди. Все было тихо, мирно, безмятежно... Журчали неторопливые беседы, кое-кто дремал, и казалось, жители деревни просто вышли за околицу, чтобы передохнуть на приволье и спокойно потолковать друг с другом.

Свесив ноги, на крышах вагончиков стайками сидели мальчишки, по плацу медленно трусили друг за другом собаки, по-прежнему колонной стояли на дороге машины, но моторы молчали. А впереди, перед первой машиной, там, где никого не было, на траве сидела молодая женщина и в тишине кормила грудью ребенка.

Вербин и Родионов молчали и не двигались. Родионов пальцами постукивал по лавке, навязчивый стук действовал Вербину на нервы, он глянул выразительно, Родионов перестал стучать.

— Ненавидите меня? — спросил он, повернув голову и глядя в окно. И сам же ответил: — Ненавидите. Вам ехать надо, а я упрямлюсь.

Вербин смотрел на него, ожидая продолжения, но Родионов молчал и сонливо смотрел в окно, как будто уже все сказал и больше не произнесет ни слова. И вдруг он неожиданно улыбнулся.

— Честно говоря, я даже не верил, что вас можно из себя вывести. Вам ведь все равно.

— Что все равно? — спросил Вербин.

— А все. Как говорится, сплошная электрификация — все до лампочки. Будет болото, не будет... Вам вообще все безразлично.

Вербин удивился: этот невзрачный и простоватый с виду человек определил его довольно точно.

Снаружи послышались шаги, дверь открылась, вошел председатель колхоза, тучный невысокий человек в пыльном пиджаке и сапогах, за ним шли четыре старика.

— Заходите,— сказал всем Родионов.— Садитесь.

Они медленно расселись и помолчали, пока не начал говорить председатель.

— Николай Петрович, что же это получается? — расстроенно спросил он.

— Вот Алексей Михайлович... у него вся полнота власти,— Родионов с усмешкой показал на Вербина и пересел в дальний угол, как бы устраняясь от всего, что будет происходить.

— Алексей Михайлович...— председатель повернулся к Вербину,— нельзя это болото сушить.

— Вы должны понять: мы тоже не можем стоять,— ответил Вербин.

— Господи, да зачем же стоять! — воскликнул председатель.— Вы ж посмотрите, сколько кругом болот! В пойме реки сколько! Мы давно мечтаем их осушить, в ноги кла-

няемся, просим Христа ради... Их-то и надо сушить. Мы б там луга кормовые завели. Разве ж мы против мелиорации?! Да никогда! Она для нас спасение! Мы за нее всей душой. Но надо ж с разбором... Чтоб польза была.

— У нас проект,— возразил Вербин.— Институт проектировал.

— То-то и оно. Вы ведь специалист, Алексей Михайлович, вы понимаете... Институту что надо? Масштаб! Площадь! Что для них пойменные болотца? Мелочь. Вот они и взялись за наше.

— Это не мне надо доказывать, я не решаю.

— И доказываем,— оживился председатель.— Доказываем, Алексей Михайлович! И в область написали, и в Москву. Разберутся. Но пока-то... Если вы на верховом болоте начнете, потом поздно будет. Подождать надо. Так что, Алексей Михайлович, начните в пойме. И вам план, и нам польза. Мы уж вас просим.

— Просим,— повторил один из стариков, а остальные согласно кивнули.

— Обществом просим,— добавил другой старик.

— Да уж, общество...— Вербин хмуро тронул висящий на нитках рукав.

Родионов, прищурившись, смотрел на Вербина и ждал. Было тихо. Председатель молчал, глядя Вербину в лицо, ждали и старики.

В это время дверь широко распахнулась, стуча сапогами, вошли двое в комбинезонах.

— Мы к вам,— обратился первый к Вербину,— поскольку с начальником колонны общего языка не находим.

— Семь лет находили, а теперь вот...— криво усмехнулся второй.

— В чем дело? — спросил Вербин.

— Я машинист траншейного экскаватора Колыванов,— представился первый.— Мы поняли, разговор будет,— он посмотрел на председателя,— хотим тоже сказать.

— Слушаю,— сказал Вербин.

— Как мы понимаем, вас просят отступиться от этого болота и перейти на пойменные. Ну, так вот, мы с этим не согласны. Колонне это во вред. В пойме болота небольшие, чтоб там план взять, с места на место прыгать придется, машины перегонять. И подбираться к ним трудно, вода...

— А тут все на одном месте,— добавил второй.— Завел — и гони до конца. Показатели будут высокие, план перевыполним. Ну и заработки...

— Плана самого по себе не бывает,— сказал председатель.— За ним смысл должен быть. И ради этого смысла работаете и вы, и Родионов.

— Да уж, он работает,— отворачиваясь, сказал второй рабочий.— Палки в колеса сует. Начальник!

— А что ж это Родионов семь лет насчет плана хлопотал? — спросил Колыванов у председателя.

— Хлопотал. Но тогда план на пользу шел. А теперь вы хотите его во вред повернуть,— ответил председатель.

— Видите? — спросил Колыванов у Вербина.— Ну, так как, Алексей Михайлович? Вы ж для этого приехали. А эти...— он глянул на председателя и на стариков,— что с них взять... деревня.

И вдруг председатель с силой ударил рукой по столу.

— Не сметь! — крикнул он оглушительно. Наступила тишина. Никто не шевелился. Председатель расстегнул на рубахе верхние пуговицы.— Не сметь...— повторил он, но уже тише.— Да, мы деревня! Крестьяне! И только крестьянин знает, что такое, когда дают землю под хлеб. Мелиорация дала нам половину пахотной земли. И мы надеемся на вас. И знаем, как это важно и нужно. Но с головой. А так можно любое дело в бессмыслицу превратить. А то и в беду. Думать надо!

Он умолк. Никто не двигался.

— Алексей Михайлович, вам решать,— напомнил Колыванов.

Все смотрели на Вербина. Смотрели и ждали. В тишине доносились отдаленные голоса снаружи.

И вдруг заговорил человек, о котором все забыли.

— Ну, вот что,— спокойно произнес Родионов.— Пока я начальник колонны. Вот когда снимут...— он с усмешкой глянул на Вербина.— А пока я. Так вот... Ты, Колыванов, хороший работник, дело знаешь. И человек ничего. Пока кармана не коснется. А из-за длинного рубля готов всю природу под нож пустить.— Он помолчал, собираясь с мыслями, и продолжал:— Да, колонне, тресту и нам всем удобнее, проще и выгоднее работать здесь, в лесу. Только мелиорация не для нашего удобства существует и не ради нашего треста. А ради них,— он мотнул головой на председателя и стариков.— Так что ж нам теперь — сделать свое дело, выполнить и перевыполнить план, получить свои награды, премии, благодарности, убраться отсюда, а им потом расхлебывать?! После нас хоть потоп, так, Колыванов?

Машинист ничего не ответил. Все молчали. Родионов

неожиданно открыл дверь, помахал рукой, приглашая людей приблизиться, и продолжал, повысив голос:

— Так вот... Как начальник колонны я приказываю: работы начать на низинных болотах в пойме реки. Технику перегнать немедленно. Все!

Несколько секунд все молчали и не двигались, потом, теснясь, направились к двери и вышли; в вагончике остались Вербин и Родионов. Начальник колонны, повернув голову к окну, рассеянно и задумчиво смотрел в него и негромко мычливо напевал протяжную мелодию без слов, словно остался наедине с собой. Он был тих, спокоен, немного печален, в его тягучем мычании кто-то одиноко брел вдаль по бесконечной дороге, покачивался под слабым ветром чертополох, никто никого не ждал и пасмурным было небо.

— Я хочу сегодня уехать,— сказал Вербин.

Родионов умолк, обернулся и понимающе кивнул.

— Доложите? — спросил он спокойно.

— Скажу, если спросят.

— Сам тогда пожалует...

— Вероятно,— согласился Вербин.— Поскольку я ничего не сделал.

— Почему ничего? — возразил Родионов.— Вы нас мобилизовали, организовали, помогли... Все как полагается. Показатели нормальные, работа идет бесперебойно.

— Только не там, где положено.

— А откуда это известно? План выполняется, а остальное...

— Я блефовать не стану,— перебил его Вербин.

— Когда разберутся с проектом, нас же с вами похвалят,— словно не расслышав, продолжал Родионов.— Мол, не слепые исполнители, а думающие, инициативные работники.

— Обойдусь без похвал. Я хочу уехать.

— Так вы понимаете, какое дело, Алексей Михайлович... Не на чем мне вас отправить, вездеход сломался, понимаете, какая досада...

— Не надо со мной плутовать. Я починю машину.

— Не сомневаюсь, это я знаю. Но гусеницу даже вы не почините. Выбило траки, запасных нет, а кузнец наш заболел. Так что сами видите...

— Вижу,— ответил Вербин.— Кроме того, кузница сгорела, уголь намок, а наковальню украли воры.

— Почти что,— улыбнулся Родионов.

— Почему бы вам заодно не посадить меня под замок?

— Ну что вы! — искренне засмеялся Родионов.— До этого пока не дошло. Хотя кто знает... Прижмут нас, может, и придется взять вас заложником — болото или жизнь. Знаете, как за границей, я в газетах читал. А пока... отдыхайте, гуляйте... Можете порыбачить, я вам снасть дам.

— Не увлекаюсь,— сказал Вербин.

— Просто переведите дух после города. Не знаю, как вы там живете. Потерпите пару-тройку дней, работу наладим, поедете. Об одном прошу вас: не ходите один в лес.

— Тут уж я без вас разберусь,— ответил Вербин.— Ладно, день я подожду. Завтра отправлюсь назад.

Дверь за ним хлопнула, Родионов остался один. С рассеянным и задумчивым видом он снова уставился в окно, за которым были видны плац, просторный луг, река и отдаленный лес.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1. Стоял погожий день, ясное тепло, причудливая, но благодушная игра света и тени. По лесу скользил живой, легкий, переливающийся солнечный блеск — солнце изменчиво вспыхивало и пропадало в листьях, при взгляде вверх рябило в глазах. Вербин шел, глядя по сторонам: вокруг был веселый, просторный, наполненный светом лес, и как-то само собой досада оказалась неуместной, на душе установился покой. Конечно, захоти он непременно уехать, никакой Родионов не удержал бы его, но один день ничего не решал, можно было подождать. Тем более теперь он был предоставлен самому себе.

Вербин остановился и прислушался: сквозь голоса птиц прорезался непонятный посторонний звук, то ли шорох, то ли чье-то дыхание. Он осмотрелся, но ничего не заметил и пошел дальше. Все было в лесу по-прежнему, и в то же время что-то переменилось: Вербин почувствовал чужое присутствие. Был ли это человек, таящийся в зарослях, или зверь, или сам лес насторожился и напрягся в непонятной тревоге, сказать было нельзя. Все оставалось вокруг неизменным, и все же он внятно ощутил чье-то пристальное внимание. Он снова замедлил шаги и осмотрелся, потом снова двинулся дальше. И вдруг резко остановился и, круто повернувшись, направился к густому орешнику. Не сводя глаз с кустов, он медленно приблизился к зарослям, готовый к любой неожиданности, в орешнике было пусто. И

только одна ветка, усыпанная мелкими зелеными орехами, покачивалась слегка, то ли тронутая чем-то, то ли сама по себе.

Он продолжал идти. Повсюду на земле, на кустах и деревьях переливались зыбкие блики, в кронах часто вспыхивало слепяще и гасло солнце, пестрая непрочная тень невесомо держалась между стволами, продырявленная во многих местах светом.

Вербин перешел мостик над оврагом, три бревна без перил, внизу с плеском бежал ручей. Мостик был узким, и появись кто-нибудь навстречу, разминуться удалось бы с трудом. Вербин пересек его и поднялся по склону.

За деревьями показалась усадьба, дом и постройки. Вербин приблизился и остановился: во дворе дочь лесника перебирала ягоды. Он вдруг поймал себя на том, что не решается выйти.

С ним никогда не было ничего подобного. Поступки обычно определялись твердым смыслом и целесообразностью, он всегда делал то, что считал нужным; конечно, было бы естественным поздороваться с этой девушкой, но он по непонятной причине не решился. Он всегда знал, как вести себя с разными людьми, о чем говорить — что спрашивать и что отвечать, но сейчас он был в полном неведенье, и заговори она с ним, для него это было бы как в первый раз — не с ней, а вообще как впервые в жизни. Так далека была от него эта девушка, так незнакомы были ему ее жизнь и существование, что понять им друг друга, он чувствовал, возможности не было.

Она сидела к нему боком, напевала тихо, он видел ее профиль, легкие светлые волосы, открытую шею; ее голос не нарушал тишины, отчетливо он звучал лишь здесь, на поляне, где стоял дом, а дальше голос сливался с щебетом птиц, с шелестом листьев, с шорохами — терялся среди деревьев.

Вербин мог поручиться, что никогда прежде не слышал ее голоса, и в то же время ему казалось, что он знает его. Неопределенное чувство повторения того, что уже было когда-то, скреблось внутри. Он смотрел и слушал. Даша высыпала на расстеленное полотно остатки ягод, подхватила корзины и скрылась в сарае. И тут к Вербину снова вернулось ощущение, что он не один. Он резко обернулся, как бы стараясь поймать кого-то взглядом, но никого не увидел. Было пусто, а если кто-то и присутствовал, то обладал таким даром скрываться и красться, что не город-

скому жителю это было заметить; а может, этот соглядатай умел становиться невидимым или превращаться в деревья, кусты или траву.

Вербин обвел взглядом густые заросли покрытой желто-белыми метелками бузины, цветущей белыми зонтиками калины и колючего боярышника, повернулся и пошел прочь.

2. Полдня он бродил по лесу. Заблудиться он не боялся, у него была карта. Послеполуденный зной стал спадать, когда Вербин спустился с холма и вышел на болото. Впереди лежала покрытая толстым слоем моха равнина с редкими приземистыми соснами и низким сучковатым кустарником. Он услышал голоса и увидел деревенских женщин, которые, переговариваясь, собирали в корзины ягоды. Рассказывала одна из женщин:

— А я ему говорю: «Да что ж ты за мужик такой, вроде дурачка. Мне нужен человек самостоятельный, а ты скачешь туда-сюда и руками машешь...» — Краем глаза женщина заметила высокую неподвижную фигуру, стоящую перед зарослями, и испуганно дернулась: — Ах!..

Все остальные тут же выпрямились и застыли в страхе.

— Фу-ты, черт, напугал! — Рассказчица перевела дух.— Рази ж можно так? Застыл, как пень, и молчит.

Она была лет тридцати, с высокой грудью и крепкими ногами и сразу бросалась в глаза своей статью и осанкой, было заметно, какое у нее сильное тело, и даже издали в ней ощущались живая плоть и неукротимая веселость характера.

— Что молчал-то? — спросила она.

— А надо было кричать? — улыбнулся Вербин.

— Не кричать, голос подать. Мог бы и поздороваться, аль не обучен? — спросила она насмешливо.— А, городской?

— Так ведь незнакомы,— ответил Вербин.

— А у нас все здороваются. Привыкай, раз уж приехал. Ты, говорят, начальник?

— Нет,— сказал Вербин.

— А что это ты по болоту шалаешься? — спросила старуха.

— Что значит шалаться? — переспросил он.

— Экий ты...— засмеялась первая.— Шалаться — значит без дела бродить.

— А вы здесь по делу? — усмехнулся он.

— А как же! — вмешалась третья.— Чего б ради мы сюда пошли? Вот,— она показала на большие корзины с красновато-желтыми ягодами.

— Что за ягода? — спросил Вербин.

— Э, да ты совсем неграмотный,— засмеялась первая.— Это ж морошка.— Она протянула горсть.— Попробуй...

Вербин попробовал одну ягоду и скривился, женщины засмеялись.

— Неспелая она,— объявила четвертая.— Поспеет, желтая станет и прозрачная. Тогда в ней и сладость появится.

— А зачем же рвете?

— Мы не себе, сдавать будем. Спелую ее везти нельзя, расквасится, а так ничего, в дороге дойдет.

— Да что ты ему толкуешь, ему это и ни к чему вовсе,— насмешливо заметила первая, самая молодая.

— Почему? Интересно,— возразил Вербин.

— А интересно, так и ходи с нами. Мы тебя живо наведем, что к чему.

Вербин улыбнулся и не ответил.

— Ну и мужики пошли,— засмеялась четвертая женщина.— Мышей не ловят. Никакого от них навара. Он тут один ходит, а мы для охраны таких берем,— она показала на босоногого мальчика лет десяти, который продолжал собирать морошку.

— Чем же не охранник? — улыбнулся Вербин.

— И то правда, в поле и жук мясо.

— Такой молодец попусту пропадает,— старуха рукой показала рост Вербина.— Верста. А у нас, почитай, вся женская населения неухожена. Совсем мужики свою обязанность позабыли.

— Ну, так как, пойдешь с нами? — со значением прищурилась первая.

— Дела...— Вербин развел руками.

— Какие дела? — спросила она насмешливо.— Рази ж это дела? Вот пойдем в стожок на лужок, будет дело.

— В другой раз,— ответил Вербин.

— Ну, смотри, обещал...

— Когда ветра не будет,— заметила четвертая женщина, и все дружно засмеялись.

— До свидания.— Вербин прошел мимо них, держа в руке карту.

— Ты смотри, бедовая голова, солнце-то книзу идет,— сказала старуха.

Вербин посмотрел на нее непонимающе.

— Нечистый тут водится,— таинственно сообщила ему вторая женщина.

Вербин снисходительно покивал и пошел дальше. Самая молодая глянула на него быстро и с интересом, остальные с острасткой покачали головами и принялись собирать ягоды. Первая все еще смотрела ему вслед, потом окликнула негромко:

— Эй, городской...— и когда он остановился и обернулся, добавила с усмешкой: — Меня Варварой зовут.

Мгновение он не двигался, потом кивнул и пошел дальше.

3. Солнце уже опустилось, когда Вербин вышел на опушку. До него донеслись отдаленные голоса, мычание коров, собачий лай, тянуло запахом дыма. Тихо и неторопливо жила перед ним деревня, коротала время в неспешных заботах,— в послезакатный час была особенно явной ее уединенность и затерянность; она была затеряна и забыта в бескрайних лесах, и отчетливо веяло от нее сладкой горечью заброшенности и глуши. Дым летних печей курился над дворами, поднимался и таял в неподвижном воздухе, приближая наступление сумерек.

Вербин не хотел показываться никому на глаза, он направился к дому задворками. На покатом склоне, изрезанном мелкими лощинами, тянулись огороды, стояли ветхие, просвечивающие насквозь амбары, маленькие, пахнущие свежим сеном копны, низкие подслеповатые бани. Двор хозяйки был уже совсем близко, оставалось пройти по травянистой меже, разделяющей огороды, и перелезть полуразрушенную ограду из сгнивших, покосившихся столбиков и сломанных, висящих на последних гвоздях жердей. Вербин вдруг снова почувствовал, что он не один. Кто-то еще ощущался здесь внятно — то ли взглядом, то ли скрытым присутствием. Перелезая через ограду, Вербин осмотрелся: вокруг никого не было. Окна соседнего дома были глухо затянуты белыми занавесками. Правда, он не мог сказать, не имелось ли в них щели, к которой изнутри можно было бы приникнуть глазом. Во всяком случае, он ничего не заметил.

Вербин вошел в дом, вытер сапоги, сел в кухне на лавку и откинулся к стене. Хозяйка, стоя у дощатого стола, чистила и резала картошку.

— Притомился? — спросила старуха, глянув на него мельком через плечо.— Ужин готовлю, потерпи маленько. Где ходил-то?

— Так, по лесу... На болоте был.

— Один?

— Один.

Хозяйка покачала головой:

— Не плутал?

— У меня карта.

Она вздохнула, но промолчала; было видно, как она огорчилась.

— А что? — спросил Вербин.— Нельзя?

Она снова вздохнула и, помолчав, как будто раздумывая, стоит ли говорить, сказала:

— Ты, батюшка, человек городской, ученый, а я баба темная, какой с меня спрос. Мы на то болото в одиночку не ходим. А к вечеру так и вовсе ни ногой. Нечистое место.

— Почему? — спросил Вербин.

Она долго не отвечала, молча чистила и резала овощи, и он уже подумал, что она не ответит, как вдруг она сказала:

— На болоте у нас заложные есть.

— Кто? — не понял Вербин.

— Заложные. Это те, кто до срока преставились. Кто сам себя жизни лишил или водкой опился. Есть такие, которые от родителей проклятие получили, лембоями кличут. Знаешь, осерчают иной раз мать или отец, ну и кинут не к добру: «Лембой тя дери!» Или: «Ну тя к лешему!» А лембой тут как тут, тащит к себе. А еще бывает шишимора, дитя малое, которое некрещеным померло.

Старуха умолкла. На дворе было светло, но маленьким окнам света уже не хватало, и они освещали кухню вполсилы, хотя до сумерек было еще далеко. Ровным гудением нарушала тишину печь, потрескивали сухие поленья, сквозь щели в плите был виден белый тугой огонь.

— Заложным по ночам неймется,— продолжала старуха.— Они свой срок, который им при рождении для жизни отпущен и который они не дожили, добродить за гробом должны. Как добродят, угомонятся и покой получают. А до тех пор по округе шастают. Солнце зайдет — они встают. Петух утром прокричит — они хоронятся.

— А почему на болоте? — спросил Вербин.

— Земля их не принимает, она только чистое держит. Ежели их зарыть, она их в себе не оставит. И гневается то холодом, то ненастьем... Оттого они воды держатся, вода им приют дает. Болото для них в самый раз. Из воды им и выбраться труднее. Потому, где сухо, их могилы водой поливают, слыхал?

— Не слыхал,— ответил Вербин.

— Ну да, откуда...— согласилась хозяйка.— На могилу заложного нужно камней набросать, хворосту, сена, соломы... Всякий прохожий или проезжий должен бросить хоть малость какую — полено, сук, ветку, травы клок, камень... А не то заложный за ним гнаться будет.

— Как же узнать, чья могила? Вдруг не на ту бросишь? — сдерживая улыбку, спросил Вербин.

— Хоронить их положено на месте смерти. А если перенести, семь лет на то место ходить будет. В старое время их на перепутье хоронили, где дороги расходятся. Он тогда, если встанет, куда идти, не поймет, собьется. Ну и кружит вокруг. В народе говорят, перепутье — бесовское место. Я б тебе многое могла рассказать. Как кого из нечистых зовут, кто из них где встречается, как узнать да как избавиться... И про домовых, и про лешего.. У нас «щекотун» говорят. И как вызвать, как поговорить без вреда... Только это грех.

Он слушал ее снисходительно, как взрослый ребенка, не мог же он, в самом деле, принимать всерьез ее рассказ, но он старался остаться серьезным, чтобы не показать ей своей иронии или насмешки.

Вероятно, все же она почувствовала его отношение, догадалась или поняла, и когда он попросил продолжать, она ответила:

— Да что говорить, батюшка, ты ведь не веришь,— и добавила еще раз огорченно: — Не веришь. А про себя смеешься.

— Я не смеюсь,— сказал он, пораженный ее чутьем.

— Смеешься. Ладно, бог с тобой, я не сержусь. Я ведь тебя остеречь хочу. Болото — грешное место, побережись. Хоть и не веришь, а все ж...

— А вы верите? — спросил он.

— Я знаю,— ответила она просто.— У нас все знают.

Было тихо, света они не зажигали. Сквозь решетку из печи падали маленькие раскаленные древесные угольки, в полумраке они подолгу светились красными огоньками.

На мгновение Вербину показалось, что сместилось время. Весь мир был погружен в полумрак и тишину. Не было ни радио, ни электричества, ни моторов, не было дорог, на месте городов росли глухие леса, и только красноватый колеблющийся свет очагов освещал редкие жилища. Он протянул руку и зажег свет. В кухне стало светло, на потолке и стенах исчезли слабые отблески печного огня. Вербин прошел в комнату и включил телевизор, гул и дыхание далекого стадиона наполнили старый дом.

4. Ужин был готов. Вербин и хозяйка сели за стол. Родионов не приходил, видимо, был занят в колонне; Вербин подумал, что вернется домой и все пойдет своим чередом, давно заведенным порядком, наезженным и привычным,— комфорт, удобная оседлая жизнь, а потом они поедут на юг, к морю, где тоже все было знакомо. Все было определено, известно наперед — не жизнь, а цепь сезонов: весенне-летний, осенне-зимний... И никогда больше не увидит он эту старуху, не будет сидеть в сумерках под ровное гудение печи, в прошлое канут лес, и деревня, и дом лесника, и миловидная девушка, от которой даже на расстоянии исходит ощущение свежести и прохлады.

Спать Вербин лег рано. Родионов еще не приходил. Вербин проснулся среди ночи — то ли от чужого присутствия, то ли сам по себе. Он встал и вышел напиться. При свете керосиновой лампы Родионов ел в кухне холодный ужин. Он посмотрел на Вербина, ничего не сказал и продолжал есть. Вербин деревянным ковшиком зачерпнул в ведре воды, напился и вернулся назад. Но сон ушел и не приходил.

Вербин лежал, глядя вверх, за перегородкой тихо дышала хозяйка; он слышал, как, бережно ступая, вошел Родионов, как разделся и лег.

Немая светлая ночь окутывала дом. Было тихо. Вербин лежал, и постепенно, незаметно для него самого, в полной тишине, которая царила вокруг, он стал различать неприметные звуки: скрипы, шорохи, слабый стук, шуршание, легкое потрескивание; звуки шли из бревен, от половиц, досок, балок, как будто кто-то осторожно бродил по дому, шарил по стенам и потолку или стоя переминался на месте.

По ночам темный дом жаловался на свою старость. Это был древний, рассохшийся дом, страдающий от холода и ночной сырости, и если не спать, кажется, кто-то неопреде-

ленный, похожий на серое облако, на клок тумана или на бесформенную тень, крадучись обходит дом.

Вербин встал, вышел в сени, сунул ноги в большие, обрезанные по щиколотку валенки, набросил на плечи висевшую на гвозде старую длинную шинель и вышел во двор.

Густой туман непроницаемо скрывал деревню, лишь очертания ближних домов смутно проступали сквозь белую пелену. Холодный воздух сразу же остудил тело, плечи и спину охватил озноб. Вербин приблизился к ограде и остановился. Окна соседнего дома были затянуты занавесками. Ни один звук не проникал изнутри. Ни шевеление, ни взгляд не выдавали чьей-то бессонницы, ночного бдения, да и вообще присутствия людей. И все же в доме не спали: из трубы поднимался дым. Едва колеблясь, он в полной тишине тек вверх, поднимался и таял в тумане.

Вербин прислушался. Все было тихо и неподвижно. Странное оцепенение владело землей. Единственным движением было сонливое, бесшумное, гипнотизирующее курение над трубой соседнего дома. Вербин внимательно осмотрел окна, снова прислушался и огляделся. Все было на самом деле — ночь, туман, спящая деревня, мертвая необъятная тишина, загадочный дом с дымящей трубой,— все было, и в то же время все выглядело призрачным и мнимым. Он недоверчиво озирался. Неожиданно даже для него самого в нем вдруг открылось ощущение необычности и причудливости существования. Он стоял не шевелясь. То, что было сейчас, разительно отличалось от того, что он знал всегда; в эту минуту он обрел внезапный дар и смог взглянуть издали и без привычки: была светлая бессонная ночь, в которой затаилась деревня, и была немыслимая, беспредельная, оглушительная всеобъемлющая тишина, наполненная туманом. И одинокая фигура необъяснимо стояла без движения на холоде в длинной старой шинели — он сам!

Он стоял, пригвожденный к месту, удивляясь себе и одновременно напряженно озираясь по сторонам. Сам себе был он непонятен в эту ночь — сам себе странен и непостижим, не подвластен своему холодному, едкому уму.

Он не смог по обыкновению отнестись к тому, что происходит, с умудренной, ироничной снисходительностью. Всех его технических знаний, инженерного опыта, способностей, всего, что он знал, умел, видел, читал, помнил и понимал, всех формул, схем, расчетов, графиков, таблиц, мо-

делей, решений, которые держались у него в голове и которые он мог предъявить, всей насмешливости его характера и деловой практичности, всего его умения ничему не удивляться и ничего не принимать всерьез — всего этого не хватило ему в эту минуту: он почувствовал тревогу.

Спроси у него сейчас причину, он не ответил бы. Он не знал причины, хотя сам всегда напрочь отвергал возможность подобного состояния. Да и в чем могла быть причина? В тишине и неподвижности ночи? В доме, своенравно дымящем среди всеобщего сна? Или... Впрочем, причину у него никто не спрашивал.

И он, веривший только в то, что имело устойчивую строгую определенность, точный признак и твердый смысл, нелепо, прихотливо и странно стоял, как завороженный, среди ночи в длинной старой шинели на голом теле и в несуразных обрезанных валенках, похожих на огромные войлочные боты, озирался и вслушивался в тишину.

Он удивлялся самому себе. Его как будто ранили внезапно, рана была открыта и пока только саднила, но в любую минуту могла появиться боль.

За спиной протяжно и скрипуче пропела дверь, из дома, кутаясь в наброшенную на плечи телогрейку, вышел в калошах на босу ногу Родионов. Он остановился рядом и постоял молча, задрав немного голову, как будто нюхал воздух.

— Тишина,— сказал он, выдохнув облачко; звук его голоса увяз в тумане и не распространился в пространстве, а остался у губ.— Не можете уснуть?

— Могу,— ответил Вербин.

Родионов посмотрел на него озабоченно:

— А почему не спите? Что-то случилось?

— Ничего,— сказал Вербин.— Имею право.

Родионов кротко кивнул, потом улыбнулся.

— Вы для меня как сфинкс.

— Почему?

— Непонятны.— Он застенчиво посмотрел на Вербина снизу вверх.— Не знаю, чего от вас ждать.— Он потупился, точно решая, стоит ли продолжать.— Сейчас вообще много людей, которых я не могу постичь. Образованны, умны, дело свое так знают — ну просто насквозь! А вот... как бы вам объяснить...— Он развел руками.— Нет, просто не скажешь. Лучше я вам историю расскажу. Потерпите,— попросил он и умолк, как будто собираясь с мыслями.— Я, знаете, учился заочно, да и то институт в провинции был,

большие города я почти не посещал. И вот однажды пришлось мне поехать в Москву. Остановился у дальних родственников в Покровском-Стрешневе, может, знаете, там еще парки кругом. И вот вышел я как-то вечером погулять. Часов десять было. Мороз, снег поскрипывает. Пусто, тихо, вроде и не Москва. Добрел я до площади, там институт этот знаменитый атомный и памятник на площади, голова огромная. Глыба. Замысел понятен, но уж очень страшно. Ну вот... Обошел я памятник, иду дальше. Мирно, тихо, спокойно, я никого не трогаю, меня никто., Да там и людей почти не было, пара одна только, что-то на саночки грузят, узел какой-то. И собака с ними, не знаю, какой породы, но крупная довольно. Ее женщина на поводке держит. На меня они внимания не обращают, я на них тоже не смотрю, шагах в пяти мимо иду. Вдруг эта собака на меня кидается. Я прямо остолбенел — неожиданно очень. Поводок на всю длину вытянула, чуть-чуть до меня зубами не достает. А я и отступить не могу, там вал снежный вдоль бровки тянется. Словом, прижала она меня. А женщина спокойно так стоит, смотрит. Я ей говорю: «Успокойте собаку» — она вроде и не слышит. Пес по-прежнему на меня кидается, я ей снова: «Заберите собаку» — она и ухом не ведет. А мужчина и вовсе внимания не обращает, узел свой на саночки устраивает. Тут я крикнул в полный голос: «А ну, возьмите собаку!» Тогда она оттянула немного, а у самой вид удивленный: мол, в чем, собственно, дело? И отвернулась. Вроде бы ничего не произошло, а я ей неинтересен. Слова не сказали. Не было у них ни замешательства, ни огорчения, не смутились ничуть, вообще ничего. Их и не интересовало вовсе, каково мне, как будто их собака на столб кинулась. Меня просто поразило: неужели им безразлично?! А вдруг я больной, мне волноваться нельзя, или, скажем, после инфаркта, не дай бог, или еще что-то? А может, я старик немощный? После такого испуга с человеком что угодно произойти может. А был бы на моем месте ребенок или женщина беременная? Всю жизнь испортить можно. А эти... Хоть бы спросили, все ли в порядке. Да и вообще нехорошо, когда собака просто так на людей кидается, хозяева следить должны.

Родионов умолк. Они оба стояли не двигаясь, как будто вслушивались в тишину. Вначале Вербин испытывал досаду оттого, что голос нарушает тишину, но потом он почувствовал, что не Родионов, а он, он сам чужд и посторонен всему вокруг, тогда как Родионов остается своим и его ти-

хий, сбивчивый голос сродни признакам этой ночи — туману, холоду, сырости, тишине...

— Ладно, постоял я, подождал, может, хоть «извините» скажут. Нет, на меня даже не смотрят. Знаете, досада меня взяла. Досада и удивление. Что за люди? Спрашиваю у них: «Что ж вы собаку на прохожих спускаете?» Вы бы видели, как они удивились. «Почему, спрашивают, спускаем? Ей команды «фас» не было». Еще чего не хватало, чтобы они людей травили. А женщина мне объясняет: «Ей команду «стеречь» дали, видите вещи на санках, она все правильно делала». Понимаете? Собака все правильно делала! «Правильно? — спрашиваю.— А вы?» Они еще больше удивились: «А что мы? Мы вас не трогали». Знаете, я, честно говоря, опешил. Пялюсь на них и слов найти не могу. Думаю: кто из нас ненормальный, я или они? Наверное, я. Не могу я постичь их логику. Не доходит до них ничего, а увещеваниями таких не проймешь. И захоти я им объяснить — не смогу, ввек не поймут. Они бы на меня как на идиота, посмотрели. А ведь действительно, можно спросить: из-за чего сыр-бор? Что произошло? Верно? О чем речь? Потом они эти саночки в гараж свой повезли, я номер записал, потом справки навел. Карташов Константин Борисович, научный работник, работает в институте атомной энергии...— Родионов умолк. Он хмурился, озабоченно озирался, потом заметил с печалью:— Может, он в атомной энергии семи пядей во лбу, звезды с неба хватает, впереди всех идет, а все-таки в люди он не выбился — душой не вышел. Человеком не стал, так, физиком только и остался.— Он снова помолчал и продолжал:— Я ведь их не наказать хотел, да и за что? Не могу понять, откуда это пошло. Люди учатся, институты сложные кончают, университеты... Образование получают, дипломы, знают много мудреного, диссертации защищают. А по-человечески, здесь...— Родионов пальцами тронул грудь,— они ведь совсем неграмотные, жестяные какие-то.— Он улыбнулся грустно.— Вот и выходит, что все напрасно, вся учеба, дипломы, степени...

— Вы считаете, я такой же? — спросил Вербин.

— Я не знаю,— тихо ответил Родионов.

Они молчали. Какое-то время на лице Родионова сохранилась горечь, потом она постепенно сошла, лицо разгладилось. Погруженный в мысли, он рассеянно и неподвижно смотрел в туман, из которого размыто проступали темные деревья и постройки. Сейчас он особенно явно принадлежал этой ночи, ее туману, спящей деревне, тишине, он

был часть всего, что существовало вокруг, тогда как Вербин был посторонним и лишь наблюдал со стороны.

— У вас есть жена? — неожиданно спросил Родионов.

Вербин кивнул.

— А у вас? — спросил он.

— Трудно сказать,— с усмешкой ответил Родионов.— Вроде есть, а вроде... Ее в столицы тянуло. Четыре года как уехала. А развестись до сих пор не удосужились.— Он снова усмехнулся.— Выходит, я соломенный вдовец.

— Переписываетесь?

— Нет. Да я и не знаю, где она.— Он вздохнул.— Бессмыслица какая-то.

Больше они не говорили. Казалось, оба отдались немому оцепенению ночи, оба молчали и не двигались. Родионов был тих и задумчив, его некрасивое застенчивое лицо было обращено в сторону скрытой в тумане деревни. Он стоял с отсутствующим видом, взгляд его блуждал, было заметно, мыслями он не здесь — то ли в прошлом, то ли вдали отсюда.

Вербин глянул на себя и на Родионова и улыбнулся: несуразно и смешно выглядели они сейчас — один в длинной кавалерийской шинели на голом теле и в огромных обрезанных, похожих на боты валенках, а другой в наброшенной на плечи телогрейке и в калошах на босу ногу; Родионов посмотрел на него с удивлением, не понимая причины внезапной веселости, потом перехватил взгляд, в свою очередь оглядел себя и Вербина и тоже улыбнулся.

Они улыбались, глядя друг на друга, понимая, что каждый думает об одном и том же — вид у обоих был нелеп и потешен. И вдруг оба они одновременно почувствовали подспудное облегчение, как будто освободились от непонятной тяжести. Они оба испытали облегчение, хотя никто из них ничего не сказал — ни словом, ни взглядом, оба просто улыбнулись своему виду, но и этого было довольно.

Они молча направились в дом — Родионов впереди, Вербин сзади. Об отъезде ничего не было сказано, Родионов не спросил, а Вербин не напомнил. Как-то сам собой между ними возник неназванный, молчаливый уговор: некоторое время Вербин пробудет здесь.

Они уже подошли к порогу, когда Вербин вдруг обернулся, точно сзади его кто-то позвал. Первое, что он заметил, было отсутствие над трубой дыма. Потом он увидел, что занавески на одном из окон слегка раздвинуты, вероятно, сквозь щель кто-то изнутри смотрел им вслед. Вербин

остановился, и в это время занавески сомкнулись и наглухо закрыли окно. Теперь ничто не выдавало наличия в доме жизни. Дом был глух и слеп, белыми бельмами смотрели в туман занавешенные окна, и непроницаемая, мертвая тишина царила внутри и снаружи. Протяжно и скрипуче пропела за Вербиным дверь, и уже ничто не нарушало беззвучия и неподвижности ночи: белая необъятная ночь полновластно завладела землей.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1. Никогда прежде Вербин так не жил: нынешняя его жизнь напоминала жизнь человека свободной профессии. Вставал он когда хотел и, если было желание, отправлялся в колонну. Постоянного занятия у него не было, но, когда он приходил, дело находилось: церемонно, с почтением и даже с робостью к нему обращались механики, шоферы, электрики, — видно, водитель вездехода и начальник колонны представили его как волшебника, а после того, как Вербин вернул к жизни сварочный аппарат и компрессор, стоявшие несколько лет мертвым грузом, за ним окончательно утвердилась репутация человека, который все может.

В прочие дела он не вмешивался. Колонна работала на пойменных болотах в излуках реки, но это его как бы не касалось.

В пойме реки весь световой день, а иногда и ночью, если было светло, шла работа: Родионов спешил. Геодезисты разбивали трассы под каналы, а начальник колонны уже распорядился строить на топких местах деревянные слани, которые могли бы выдержать тяжелую технику: колонна готовилась к пионерному осушению низинных болот.

Вербин понимал двусмысленность своего положения. Он представлял трест и должен был защищать его интересы, но, с другой стороны, действия Родионова были вполне законны: осушение низинных болот в пойме реки входило в проектное задание, а порядок проведения работ мог решить сам начальник колонны. Родионов надеялся, что, пока колонна будет работать в пойме, проект пересмотрят и Марвинское болото оставят в покое.

Когда идти в колонну не хотелось, Вербин коротал время дома или отправлялся гулять. Он бродил в окрестностях деревни, с каждым разом расстояние и время увеличивались, постепенно он приучил хозяйку не ждать его к обе-

ду; иногда он брал с собой маленький сверток с едой и возвращался лишь к вечеру.

Не раз случалось, он выходил к дому лесника, правда, чаще на кордоне никого не было; иногда, стоя за кустами, он видел одного лесника, иногда его вместе с дочерью, но даже тогда, когда она была дома одна, Вербин из укрытия не выходил.

У него было свое постоянное место, из которого открывался хороший обзор: можно было видеть весь хутор, оставаясь незамеченным.

Ощущение, что он не один и кто-то смотрит на него со стороны, посещало его реже, — бывало, проходило несколько дней, прежде чем он ловил себя на этом.

В один из вечеров середины июня он возвращался домой засветло, в конце деревни отчетливо стучал движок, дающий электрический ток, окна блекло светились, где-то за домами наигрывала гармонь. За густыми кустами он услышал шепот и приглушенный женский смех, улица жила близкими и отдаленными голосами, во дворах шла неторопливая вечерняя жизнь. Вербин увидел, как неярко светятся окна дома, в комнате лицом к окну сидел за столом Родионов. Он писал, считал на счетах, лицо его было сосредоточенным. В дом идти не хотелось, Вербин сел на скамью во дворе. Он посидел, слушая звуки вечерней деревни, потом на улице запели девушки, их протяжное пение стало удаляться, остановилось вдали и долетало едва слышно. Вербин обогнул дом, миновал двор и огород и приблизился к ограде. С пригорка открывались деревенские задворки, огороды, луг, изрезанный мелкими лощинами. Тихая печаль и томление были разлиты в теплом неподвижном воздухе. Отчетливо долетали чьи-то разговоры, лай собак, игра гармони, уличная перебранка, как будто сюда отовсюду слетались отголоски деревенской жизни, слетались и смешивались между собой. Вербин стоял и слушал.

А потом в общей массе звуков незаметно прорезались и стали явными глухие голоса, неразборчивое бормотанье, тихий заунывный речитатив. Вербин прислушался: голоса доносились из старой приземистой бани, стоящей в конце огорода, дверь которой была закрыта, а маленькое оконце завешено изнутри. Он осторожно приблизился и застыл. Край материи прилегал к раме неплотно, сквозь щель была видна часть выщербленного дощатого стола, на котором горела свеча. Он увидел лицо хозяйки, губы ее шевелились,

глаза отражали пламя свечи. Второй женщины он не видел, лишь рука неподвижно лежала на столе, и старуха, приблизив к ней губы, старательно что-то шептала, будто доверительно уговаривала ее в чем-то. Начала он не слышал.

— ...змея змеею, гад гадом, вампир вампиром, а я буду жить с миром! Руда красная, остановись! Рана, заживай! Аминь, аминь! Бог дал жизнь. Он покорил смерть своим воскрешением. Он всем дал благо и наслаждение. Он создал мир для тварей, а смерть умертвил! Аминь, аминь! Боже, благослови, кровь, остановилась, рана, заживай. Аминь! Аминь!— Голос старухи умолк, потом возник, но уже обычный:— Видишь, Варя, кровь-то и остановилась. Напугалась?

— Еще бы! Нож такой острый. Спасибо, баба Стеша,— отвечал молодой голос.

— Какая нужда еще есть?

— Мальчишка у меня зубами мается.

Вербин прислушался, голос показался знакомым, но вспомнить, откуда он его знает, Вербин не мог.

— Приведи,— ответила старуха,— заговорю.

— А еще...— продолжала невидимая женщина,— баба Стеша, хочу я одного присушить...

— Этим не занимаюсь. Я людям помогаю только, ты же знаешь.

— Вот и помоги мне...

— Какая ж это помощь? Ты-то хочешь, а он, может, нет? Да и в таком деле, знаешь... я присушу, а ты же потом меня сама клясть будешь. Нет, не возьмусь.

— А что же мне делать? Он на меня и не смотрит даже.

— Любовь, девка, силком не берут. Ежели суждено, то и так будет. А неволей возьмешь, потом горше станет.

Вербин услышал скрип и быстро шагнул за баню. Визгливо пропела дверь, старуха и вторая женщина направились к дому. Рядом с хозяйкой Вербин увидел Варвару, молодую женщину, встреченную им дней десять назад на болоте.

— А что, Варя, он наш, деревенский? — услышал он удаляющийся голос старухи.

— Что спрашивать, если отказала,— ответила женщина.

Голоса долетали уже неразборчиво, обе женщины скрылись за домом. Вербин подождал немного и вышел. По привычке он сопоставил то, что увидел и услышал, с тем, что знал, и попытался скептически определить все с помощью иронии. Разумеется, было забавным оказаться свидетелем

наговора,— что, кроме улыбки, могли у него вызвать наивные слова, в которые, как дети, верили эти женщины? Он отчетливо помнил за спиной миллионные города, бешеные дороги, множество различных машин — всю сущую на земле жизнь, и в то же время то, что он только что видел и слышал,— было — было на самом деле и несмотря ни на что. Он почувствовал себя так, будто попал в чужую страну, жизнь которой была ему неведома, и хотя язык этой страны он знал, он не понимал ни слова: эта земля оставалась для него непостижимой.

Хозяйка и Варвара давно скрылись из виду, а он все еще стоял возле бани и медлил уходить.

2. В последующие дни Вербин был занят в колонне, но иногда оставался дома либо бродил в окрестностях деревни и в лесу. Он уже привык к тому, что время от времени к хозяйке приходил кто-то из деревенских жителей, обычно женщины, и она вместе с ними отправлялась в баню.

Иногда Вербин осторожно приближался и слышал доносящееся изнутри неразборчивое бормотанье. В один из дней, когда Вербин, лежа на кровати, читал взятые в библиотеке старые журналы, Варвара привела сына. Это был десятилетний мальчик, которого Вербин видел вместе с матерью на болоте. Вербин услышал за окном голоса, приподнялся и выглянул: хозяйка за руку подвела мальчика к забору, где росла высокая крапива, и забормотала вполголоса:

— Матушка, крапивушка, святое деревце, есть у меня раб божий Петруня, есть у него в зубах черви, а ты их выведи, а ежели не выведешь, то я тебя высушу, а ежели выведешь, то я тебя в третий день отпущу.— Она нагнула верхушку крапивы к земле и привязала к основанию стебля.— Щас я тебе варево дам,— сказала она мальчику и обернулась к Варваре:— Пусть полощет три дня.

Чаще всего прием велся в бане за огородом, но иногда хозяйка принимала на кухне, и Вербин, понимая, что не узнал и малой доли того, что мог, все же урывками и от случая к случаю получил полезные для себя сведения: как привадить кур к новому месту, как сделать, чтобы не квакали лягушки, как унять звон в ушах, как остановить рост щенка и приучить голубей...

Помимо этих и других ценных сведений Вербин узнал толкование снов и при желании мог и сам объяснить

своим городским знакомым, что означает тот или иной сон.

Он узнал, что сон от четырех часов утра сбывается в течение десяти дней или года, а сон от полуночи до трех часов исполняется в третий, четвертый или пятый год; сон же с полудня от девятого часа до полуночи сбывается не раньше девятого, десятого или пятнадцатого года, а сны дневные или пустые, или сбываются через семь часов.

Конечно, он забавлялся. Он развлекал себя, придумывая, как можно использовать приобретенные знания в городе и кому из знакомых он может дать дельный совет.

Вербин спросил у Родионова, знает ли тот, что хозяйка знахарка, на что начальник колонны кивнул и ответил просто: «Знаю», и когда Вербин спросил, как он к этому относится, Родионов пожал плечами и спокойно ответил, что некоторым она помогает.

В чулане у хозяйки хранилось множество корней, трав, листьев и ягод, из которых она готовила отвары и настои. Видимо, кому-то снадобья действительно шли на пользу, во всяком случае, зубы у сына Варвары болеть перестали; Вербин случайно услышал об этом из разговора хозяйки с одной из деревенских старух. Правда, старухи склонны были считать, что помогла крапива, которую хозяйка наклонила к земле, подвязала на три дня и пообещала иссушить, если не поможет,— крапива помогла, убоявшись угрозы, и хозяйка на третий день ее отвязала, как обещала. Но Вербин все же отнес успех за счет отвара, которым мальчик полоскал рот.

После этого случая ирония его и снисходительность ослабли, и он подумал, что некоторые травы и коренья бабы Стеши неизвестны фармацевтам.

Запах трав сочился сквозь щели, наполняя дом, пропитывал старое его дерево, одежду, утварь и, казалось, самих обитателей; стены дома, пол, потолок, все предметы, бревна, доски источали сладко-горький запах сухих трав, и однажды Вербину пришло в голову, что запах держится с тех пор, когда не было ни его, ни Родионова, ни даже хозяйки. Когда-то в доме жили другие люди, дом уже и при них был старым, а запах существовал и прежде — исходил из темной глубины времени; само время было настояно на этом запахе: какие-то люди, о которых никто теперь ничего не знал, собирали и сушили когда-то травы, и запах тех трав дошел до нас, это была внятная связь с прошлым. У

Вербина открылся интерес к старому, ветхому срубу, на который в первый день он смотрел как на временное пристанище.

Какие-то смутные тени наполнили старый дом, из глубины сумрака донеслись невнятные голоса.

3. За прожитые в деревне дни Вербин успел перебрать в колонне распределительный силовой щит, отрегулировать мощный насос и наладить диспетчерский пульт. Раз в неделю диспетчер колонны передавал по рации в трест сводки, показатели были хорошими, и в тресте, вероятно, успокоились: присутствие в колонне Вербина было гарантией. О том, что работы ведутся в пойме, в сводках не было ни слова. Правда, по форме отчетов этого и не требовалось, указывались лишь цифры, которые поступали в диспетчерскую треста, входившую в отдел АСУ (автоматической системы управления).

Вербин понимал, что в своем споре с трестом Родионов прав, в то же время Вербин помнил, что его послали отстаивать интересы треста. Он знал, что рано или поздно уткнется в стену, которую ни обойти, ни миновать: рано или поздно предстоял выбор — то ли поддержать Родионова, то ли гнуть линию треста. В этом случае следовало вернуться и доложить в тресте положение дел или связаться по радио и попросить указаний, как поступить со своевольным начальником колонны.

Меньше всего ему хотелось брать чью-то сторону. Он давно усвоил, что самое лучшее — это избегать решительного ответа. Как правило, события сами собой приходили к естественному исходу и нередко по дороге подминали под себя правых и виноватых,— выигрывал тот, кто оставался поодаль.

Он пришел к выводу, что рассудит время, и решил ждать. В конце концов, так или иначе кто-то возьмет верх — он в любом случае должен остаться непричастным.

Вербин довольно часто бывал в лесу, а когда бывал, обязательно наведывался к дому лесника. Правда, он попрежнему не выходил из укрытия, но ему казалось, что на кордоне для него секретов уже нет.

Обычно он приближался к хутору со стороны глубокого оврага, через который был перекинут узкий мостик — три бревна без перил; Вербин переходил его, глядя вниз, где шумел бойкий, берущий начало в болоте ручей.

В лесу его иногда посещало чувство, что он не один и кто-то скрытно наблюдает за ним со стороны; случалось это нечасто, и он не обращал внимания, только изредка озирался по сторонам.

Однажды он почувствовал это на мосту через овраг по дороге к хутору. Вербин спустился к мосту, ступил на бревна и успел дойти до середины, как вдруг понял, что он не один. Он остановился и осмотрелся — никого не было видно. Неожиданно он понял, что стоит на открытом месте, высоко в пустоте, доступный со всех сторон обзору,— мостик сразу стал необычайно узким и отчетливо хрупким. В эту секунду Вербин особенно явно заметил пустое пространство вокруг, высоту, отсутствие перил; далеко внизу шумела вода. Впоследствии ему помнилось отвратительное чувство незащищенности и уязвимости.

Он перешел мост и осмотрелся — никого не было видно. Не двигаясь, Вербин медленно обводил взглядом деревья, кусты, просветы между ними, внимательно ощупал глазами каждый ствол, высокую траву на склонах и густые заросли на дне оврага, в которых шумел невидимый ручей. Вербин спустился вниз, продрался сквозь крапиву и ветки таволги к ручью. Здесь было прохладно и сумрачно, пахло сыростью; солнце сюда никогда не проникало, над ручьем плотно нависали кусты таволги, выше пышно рос можжевельник, а у самой воды стеной стояла высокая и густая осока. Во многих местах рядом с ручьем были видны обросшие стрелолистом и козьей травой бочажки, затянутые зеленой ряской. Они образовались на месте ям, наполненных весной водой из ручья, который сам потом обмелел, вода в бочажках застоялась, сгустилась и зацвела,— в некоторых она держалась по многу лет и превратилась в густую зеленую жижу.

Любая глубина могла таиться под ряской, никто никогда не мерял ее, да и вообще это были неизведанные места, что угодно можно было здесь скрыть, и кто знает, может что-то и было скрыто. Но никто никогда не совался сюда, стоило оступиться или поставить не туда ногу, чтобы остаться здесь навсегда. Прочная кровля из тальника и ракит окутывала сверху лощину, которая напоминала сырой, холодный и мрачный подвал. Вербин выбрался наверх, еще раз осмотрелся и пошел дальше.

Он приблизился к хутору, встал на свое место в зарослях и осторожно раздвинул ветки. Даша перебирала ягоды. Лицо ее было спокойно, она негромко подпевала рукам,

это была длинная песня без слов, чистый голос не нарушал покоя леса. Вербин смотрел и слушал. Снова, как прежде, ему показалось, что все это знакомо и то ли было когда-то, то ли являлось во сне.

Он вдруг услышал легкий шум за спиной, в орешнике на другом конце поляны ему почудилось какое-то движение. Что-то мелькнуло там или просто шевельнулись тяжелые ветки — он не мог определить издали. Вербин хотел пересечь поляну, но сообразил, что тут же обнаружит себя. Пришлось за кустами обойти поляну; в орешнике ему показалось, что трава примята. Стоял ли здесь кто минуту назад или так только казалось, сказать было нельзя.

Это было странное состояние. С одной стороны, он ощущал пристальное внимание к себе в этом лесу, чье-то невидимое присутствие, с другой — трезво и рассудительно, даже с некоторой иронией он задавался вопросом с привычной позиции здравого смысла: «Кому я здесь нужен?»

Поскольку определенного ответа не имелось, можно было удариться в домыслы, в причудливую игру ума, но Вербин к этому не был склонен, он решил, что ощущение постороннего взгляда, чужого скрытого присутствия и тайного внимания есть свойство данного леса. Он понимал, что это зыбкое объяснение, но другого не было, и он решил держаться его.

4. На обратном пути Вербин пошел через луг. После замкнутости и тесноты леса он почувствовал на открытом пространстве облегчение, как будто его держали взаперти, а потом выпустили на волю. Луг был залит солнцем, здесь было просторно и легко дышалось. По всей равнине крестьяне копнили сено, двое конных грабель подбирали валки и свозили сено к высокому стогу. Вокруг шнырял легкий трактор с навесным захватом, забрасывал наверх охапки сена. Вербин шел по краю луга, в стороне от работающих.

— Эй, городской! — услыхал он чей-то голос и повернулся на крик.

Он узнал женщин, собиравших на болоте ягоды. Женщины улыбались, глядя из-под рук против солнца.

— Ну как, живой с болота вернулся? — спросила старуха, которая предостерегала его больше всех.

— Живой,— снисходительно улыбнулся Вербин.

— Ох, грешник! — покачала она головой.

— Небось Варвару высматриваешь? — спросила другая женщина. Он пожал плечами и покачал отрицательно головой, но женщина как бы не приняла ответа.— Вон она, на стогу, верх ладит. Поздоровайся, а то обидишь. Иди, иди...

Он приблизился и задрал голову. Варвара бесстрашно стояла на стогу, принимая и раскладывая сено.

— А, городской,— посмотрела она вниз.— Здравствуй.

Он смотрел снизу, как легко и сноровисто она принимала сено и быстрыми точными движениями раскладывала вокруг себя. Трактор забросил ей очередную порцию, отъехал в сторону и застыл с поднятым захватом, похожим на большую разинутую зубастую пасть; тракторист из кабины внимательно наблюдал за Вербиным.

Сначала Вербин не обращал внимания, потом заметил, но не придал значения, а потом понял, что смотрят на него, именно на него,— не случайно и не из праздного любопытства. Какой-то определенный смысл был в этом настойчивом, неотрывном взгляде — вопрос, и сомнение, и непонятная решимость.

Варвара ловко разметала охапку сена, поплотнее прибила его и посмотрела вниз.

— Поставь-ка мне лестницу,— попросила она.

Вербин отыскал на земле запорошенную сеном длинную лестницу, поднял и поставил к стогу — Варвара стала спускаться. Тракторист по-прежнему внимательно смотрел из кабины. Держа лестницу, Вербин глянул на него с удивлением, тот задержал на его лице плотный взгляд, потом медленно отвел глаза в сторону и взялся за рычаги — трактор юрко развернулся и поехал прочь.

— Ты держишь или нет? — с досадой спросила Варвара, остановившись на середине лестницы.

— Эй, Варька! — зло крикнул один из возчиков, подъехав с сеном.— Смотри!— Он погрозил ей зажатыми в кулаке вожжами.

— Я те погрожу! — ответила Варвара.— Руки коротки.

— Ну, я тя предупредил! — Возчик резко дернул рычаг, сбросил сено и со злостью погнал лошадь вскачь.

Вербин посмотрел ему вслед и снова поднял голову: Варвара насмешливо смотрела вниз. Она бесстыдно стояла над ним в легкой короткой юбке, открывавшей высоко бедра, и насмешливо смотрела ему в лицо.

— Ну как, насмотрелся? — спросила она насмешливо.— Все на месте?

— На месте.— Он отвел глаза.

— Не ослеп? — Она спрыгнула на землю, толкнув его плечом в грудь.

— Кто это? — спросил Вербин.

— Да Прохор,— ответила она с легкой досадой.

— Муж?

— А ты уже испугался? — насмешливо сказала она.— Не, не муж, так...— Она оправила на себе юбку и пожаловалась: — Ревнивый он больно.— Потом глянула Вербину в лицо.— А ты что квелый какой-то? Я люблю открытых... чтобы огня побольше. А ты совсем на меня внимания не обращаешь.

— Я обращаю,— улыбнулся Вербин.

— Кто ж так обращает? Разве так обращают? Вот присушу тебя, будешь знать.

— Как присушишь?

— Узнаешь. Враз следом бегать начнешь. А то ни мычишь, ни телишься. Ну ладно, иди, в другой раз поговорим.

Вербин зашагал к деревне. Позже он вспоминал, что не придал значения этой угрозе, сила которой, как оказалось, была понятна всем местным жителям.

Люди на лугу были заняты работой, только один тракторист проводил его издали долгим, внимательным взглядом.

5. Деревенский магазин располагался в одноэтажном доме, который снаружи казался большим, но внутри выглядел тесным, потому что был плотно набит множеством разнообразных вещей. В общем помещении торговали продуктами и промышленными товарами; рядом с прилавком громоздились цинковые корыта, ведра, матрацы, телевизоры, посуда, игрушки, книги, огородный и садовый инвентарь, одежда, обувь, мыло, рыболовные снасти, музыкальные инструменты, пирамиды консервных банок, ящики слипшихся конфет и окаменелых вафель, бочки с пересоленной ржавой килькой, множество мешков, коробок, тюков... Посреди полок с продуктами необъяснимо и загадочно блестели аккуратные ряды новых черных глянцевых калош.

Вербин любил бывать в магазине. Он развлекался, обнаружив здесь вещи, которые были позарез необходимы здешним жителям,— атласный стеганый мужской халат с шалевым воротником или французский прозрачный дамский ночной пеньюар.

Здесь же, в магазине, принимали у населения по кооперации продукты, перья, ягоды, орехи — бойкая полная продавщица поругивала крестьян, когда они несли много и когда несли мало.

У крыльца магазина стоял с корзиной ягод старик, Вербин узнал человека, которого встретил на лесной поляне, когда впервые ехал с Родионовым в деревню.

— Продаете? — спросил Вербин.

Старик молчал и не двигался, его светлые, выцветшие глаза были безучастны, лицо оставалось непроницаемым.

Из магазина вышла с покупками деревенская старуха.

— Ты, милый, не трогай его,— сказала она.— Вишь, убогий, не понимает ничего. Да и ответить не может.

Вербин вошел в магазин и стал медленно бродить в узких проходах между товарами, рассеянно озирая эту свалку, магазин привлекал его именно тем, что напоминал богатую свалку.

Он вдруг увидел, как продавщица положила в пустую корзину несколько буханок хлеба, пачки соли и сахара, куски мыла и спичечные коробки и отнесла на крыльцо. Сквозь окно Вербин видел, как она поставила свою корзину возле старика и забрала корзину с ягодами. Никто из них не произнес ни слова, она внесла ягоды внутрь, а он взял корзину с припасами и быстро пошел прочь; он шел слишком быстро для своего возраста, спину он держал прямо, а ноги почти не сгибал — плавно и бережно проносил ступню над землей; немой свернул в проход между домами и сразу исчез.

— Он мне, почитай, треть плана дает,— сказала продавщица.— Без него я бы мыкалась, как сирота. Жаль только, не говорит. Да я и так знаю, что ему нужно, стараюсь не обижать.

6. Вербину казалось, что он живет в деревне уже очень давно. Дни были длинные, как в детстве, тянулись долго, и утром мерещилось, что до вечера целая жизнь. Мерно и медленно дни переходили один в другой, неделя растягивалась в иной городской месяц, июнь был нескончаем. Вербин не забыл суету города, озноб и лихорадку дорог, толчею полуденных перекрестков, и хотя детали и подробности держались в памяти отчетливо, та жизнь померкла и отдалилась — она была далеко, за тридевять земель, так далеко, что ее вроде и не было. Он вспоминал о ней лишь

в колонне. На топях в пойме реки с утра до позднего вечера не смолкали моторы, на сланях работали болотные экскаваторы.

Вначале трассы под будущие каналы готовили легкие тракторы с навесными кусторезами, потом шли корчеватели. Массивными клыками они поддевали пни, выворачивали из почвы и сгребали в стороны. Там, где позволял грунт, вместо раздельного способа уборки Родионов применял глубокое фрезерование: специальная машина перемалывала почву вместе со всей растительностью, измельчала в крошку и распыляла вокруг ровным слоем. Медленно двигаясь на широких гусеницах, болотные экскаваторы копали магистральный канал, вокруг которого другие машины готовили место под валовые каналы, от тех в свою очередь должна была отходить сеть мелких картовых каналов.

Вербин отдавал Родионову должное: к технологии и организации работы нельзя было придраться, начальник колонны знал свое дело. Вербин в который раз удивился: глядя на Родионова, трудно было поверить, что этот невзрачный, низкорослый, лысоватый человек, который к тому же никогда не повышал голоса, может так умело организовать работу многих машин и людей. Вербин подумал, что, возьмись Родионов при таком умении за Марвинское болото, где и подходы были удобнее и имелся простор для маневра, оно было бы обречено.

Вербин понимал, какой разразится скандал, когда в тресте узнают, что колонна работает в пойме. Впрочем, официально вменить это в вину Родионову никто не мог: работали по проекту, план выполнялся, а какую часть проекта когда выполнять, начальник колонны мог решить сам. Заставить Родионова перевести колонну на верховое болото было не во власти Вербина, он мог лишь сообщить в трест. Но Вербин молчал. Он понимал, что Родионов прав, рано или поздно это станет очевидным, и начни колонна на Марвинском болоте, впоследствии станут искать виноватых. В тресте непременно скажут, что они послали человека разобраться на месте. Этим человеком был он, Вербин.

В нынешнем его существовании имелась некая странность: когда в пойме он наблюдал за работой машин, когда в ремонтных мастерских разбирал мотор или схему прибора, занятие как бы связывало его с привычной жизнью и, главное, со временем, в котором он находился до приезда сюда; возвращаясь же в старый, скрипучий, с темными за-

кутками дом, он снова отстранялся от всего, что знал и что существовало вдали отсюда. В этом причудливом сочетании и состояла странная особенность его нынешней жизни.

Почти каждый день, когда наступали сумерки и по углам между бревнами располагалась чернота, огарок свечи слабо освещал в бане дощатый стол: старуха принимала кого-то из односельчан. Сквозь щель было видно, как баба Стеша истово шептала и бормотала над посудой с травяным настоем или отваром. Чаще всего к ней приходили с зубной болью. «Четыре сестрицы, Захарий да Макарий, Дарья да Марья, да сестра Ульяна сами говорили, чтобы у раба божия (она называла имя больного) щеки не пухли, зубы не болели век по веку, отныне и до веку,— глухо и настойчиво обращалась она к кому-то.— Тем моим словам ключ и замок; ключ в воду, а замок в гору». Она поила больного жидкостью и давала ее с собой.

Иногда она по три раза повторяла заговор на осиновый сучок, иногда на кусок воска, трижды макая его в солонину, иногда же ограничивалась плевком через левое плечо. Подростка, у которого тело было покрыто нарывами, баба Стеша неделю поила густым отваром, приговаривая: «Не от угля, не от каменя не отрастает отростель и не расцветает цвет; так же бы и у меня, раба божия Павлуши, не отрастали бы на сем теле ни чирьи, ни вереды, ни лишаи и ни какие пупыши».

Конечно, Вербин не изменил своего отношения, не мог же он принимать это всерьез, но его разбирало любопытство, и он продолжал скрытно наблюдать. Когда приходили с ячменем, баба Стеша, лизнув указательный палец, смазывала слюной больной глаз и повторяла трижды: «Господи благослови! Солнце на запад, день на исход, сучок на глазу на извод: сам пропадет, как чело почернеет. Ключ и замок словам моим». После этого она мазала веко мазью. Вербин удивился слову «чело», но оказалось, в деревне так называли устье печи, откуда пламя и дым шли в трубу.

В маленькой подслеповатой баньке в сумерках, при свете свечи, лечили от икоты, от порчи, от укоров, от осуда, от пьянства, от сглазу, от оговоров, от течения крови, от многих болезней — подлинных и мнимых. Баба Стеша знала, как помочь женщине легко родить, умела приручить собаку и петуха, знала, как сделать так, чтобы человек не заблудился в лесу. Эта маленькая, сухая, морщинистая

старуха была переполнена желанием всем помочь, всякий больной или скорбящий, всякий бедолага и горемыка — любой, кому было плохо,— вызывал у нее сострадание; она была искренне убеждена, что без нее не обойдутся, и всегда спешила на помощь. Всякий человек, даже пьяница, никчемный драчун и куражливый сквернослов Прохор, мог рассчитывать на ее участие.

Вербин впервые встречал такую всеобъемлющую и безоговорочную доброту. Он недоверчиво присматривался, уверенный, что вот-вот проглянет притворство или какая-то корысть, но чем больше он всматривался, тем больше убеждался: эту старуху вела любовь.

Баба Стеша любила всех. Она любила всех, на всех распространялась ее жалость, ко всем относилась ее доброта, и всем она хотела помочь. Этого Вербин понять не мог. Он не понимал, как можно всерьез верить в то, что любой человек — любой! — сам по себе хорош, а если он плох, то ему надо помочь.

Постепенно Вербин с удивлением и даже с недоумением обнаружил, что они оба, старый, скрипучий дом и его хозяйка, живут какой-то своей причудливой, но осмысленной жизнью, о которой он прежде и не подозревал. Бесконечно далек был он от них, чужие, иностранные города были ему ближе, чем эта деревня, и люди, населявшие их и говорившие на других языках, были ему понятнее, чем эта старуха, с которой он говорил на одном языке.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1. Итак, июнь тянулся медленно и как будто дремотно, теплые, ясные дни мало отличались один от другого. По утрам туман каплями оседал на траву и становился росой, обещавшей, как говорила баба Стеша, вёдро. Однажды встававшая раньше всех хозяйка объявила, что видела во время восхода солнца радугу на западе, это, по ее словам, сулило тепло и ясность. О том же говорили звезды, ночью вокруг них были заметны красные и белые круги, а Млечный Путь, хотя в белую ночь не был отчетливо виден, был полон блеска.

— К вёдру,— убежденно сказала баба Стеша.

Тихо и спокойно шествовало лето, погожие длинные дни, просторные и солнечные, неторопливо сменяли друг друга,— в каждом небо оставалось высоким и чистым, воздух — свежим, и неоглядно были открыты на все стороны

дали. Казалось, лето и впредь сохранит неизменную ясность, минует свою вершину и так же неспешно направится к осени. Но случилось иначе.

За день до солнцестояния баба Стеша долго смотрела на небо — на закате, поздним вечером и ранним утром — и каждый раз озабоченно качала головой.

— На Стратилата гроза будет,— наконец объявила она, входя в дом.

— Откуда вы знаете? — спросил Вербин.

— Вижу. Радуга в той стороне, где солнышко встает,— к грому. Зелени в ней много — к дождю. Роса давеча на ровное место не упала, вишь, на буграх только,— тоже к непогоде. Молния мигнула... Ежели молния в ясную погоду, назавтра дождя жди. Месяц вон потемнел, пятна на нем красноваты, а сам с синью, и рожки затупели — все к дождю. Солнце вставало, кругом него ободок красный с зеленью — опять же к ненастью. Да много еще чего...

— А когда Стратилат? — спросил Вербин.

— Завтра. А сегодня Федот, Клавдия и Антонина. После Стратилата Кирилл, Марфа да Фекла. А потом Тимофей и Феофан, самые большие дни в году. У нас говорят: солнце на перевале — свет во всю ночь. А еще говорят: Стратилат грозами богат. Вишь, так и выходит.

Утром на другой день ничто, казалось, не предвещало перемены погоды. Ясное тепло было разлито кругом, неощутимая воздушная дымка смазывала очертания отдаленных предметов, слегка увеличивая их в размерах. К обеду солнце поблекло, вокруг него появился размытый темный круг. Воздух стал заметно густеть, на небе возникли легкие облачка. Тишина и неподвижность стали еще отчетливее, природа как бы замерла, ожидая чего-то. Тем временем облака копились и сближались, слабый туман заволок солнце. Спустя час облака уже собрались в большую темную тучу, которая все больше темнела и снижалась к земле.

Все оцепенело вокруг: трава и деревья замерли без движения, ни малейшего шевеления не было в густом, тяжелом воздухе. Позже стало темно и страшно, вся земля была объята зловещим ожиданием. А потом, когда туча низко и неотразимо нависла над деревней, внезапно сквозь разрыв в ней ярко, неожиданно и быстро сверкнуло солнце.

Это было устрашающе жутко. Резкий, ослепительный свет прорезал воздух и упал на обмершую землю. Особенно явной стала мрачная чернота низкого неба, вдали оно

было сизым, над горизонтом неустойчиво переливалось бледное холодное свечение. Спустя минуту туча сомкнулась и закрыла солнце, похоже было — намертво и навсегда. Стало совсем темно, воздух сгустился еще больше, достиг ощутимой плотности, сдавленный между небом и землей. Нечем было дышать. И уже невыносимо было ждать.

И вдруг небо раскололось. Страшной силы удар потряс землю, непонятно было, почему она не раскололась на части, после такого удара на ней не могло остаться ничего живого. За первым последовал новый удар той же силы. Это был страшный суд, конец света. Упали первые сонливые капли, отчетливо впечатались темными кружочками в пыль. Число кружочков стремительно росло, вскоре они изрешетили всю землю, а потом вдруг вмиг исчезли все сразу: небо разверзлось, сверху хлынула вода.

То был не дождь — потоп. Вода заливала землю и быстро поднималась, чтобы поглотить все живущее на ней.

— Свят-свят...— шептала баба Стеша и быстро крестилась, стоя у окна. Одна за другой молнии зигзагами вспарывали небо, яркие острые вспышки рассекали густую сумеречную мглу, выхватывали из нее видения гибели мира: низкое черное небо и кипящую насколько хватало глаз свинцовую воду.

Непрерывно, с сухим оглушительным треском катились из края в край раскаты грома. Гроза бушевала, это было уже не явление природы, а божья кара, посланная за грехи. Баба Стеша испуганно смотрела на улицу, потом подавленно пошла к себе, легла и накрылась с головой.

Вербин впервые видел такую грозу. Она подавляла неукротимой, неумолимой мощью.

В самый разгар грозы он увидел неясную, далекую фигуру. Сначала он подумал, что ему померещилось, потом очертания стали определенными, хотя и оставались смазанными в потоках воды. Похоже было, шла женщина. Даже подумать страшно было оказаться сейчас во власти грозы,— какая нужда заставила ее выйти из дома и брести куда-то по вымершей деревне? На женщине был грубый брезентовый дождевик, которым она накрылась с головой, ноги ее были босы — скользили и разъезжались по скользкой, размокшей земле.

Она прошла улицу и свернула к соседнему дому. На мгновение в сплошных потоках воды мелькнуло лицо: Вербину показалось — он узнал Варвару. Была ли это на самом деле она, или он ошибся, сказать было нельзя.

Позже гроза поутихла, зашелестел мелкий скучный дождик, и только отдаленные глухие раскаты да беззвучные вспышки за горизонтом напоминали о том, что здесь творилось.

— Знатная была гроза,— сказала баба Стеша, выйдя в горницу.— Как бы не запалило где...

Она сказала, что молния чаще всего бьет в дубы, часто ударяет в ель и сосну, реже в березу и почти никогда не трогает вяз и орешник.

На этот раз он слушал ее без снисходительной иронии. Он подумал, что эта деревенская старуха в практическом жизненном смысле знала и умела значительно больше, чем все его знакомые, которые читали и видели то, о чем она понятия не имела.

2. Прошедшая гроза как будто разорвала монотонное движение времени, смешала и взвихрила события. Вечером, когда Родионов уже был дома, из колонны прибежал Федька, белобрысый парнишка, служивший при начальнике колонны офицером связи, послом по особым поручениям, фельдъегерем, адъютантом и курьером. Он доставил телеграмму: в тресте интересовались ходом работ.

Родионов показал телеграмму Вербину.

— Я отвечу, что все нормально, вы не против?

— А у нас все нормально? — насмешливо спросил Вербин.

— Я считаю, что да. Работа идет полным ходом, план выполняется, показатели хорошие.

— С маленькой лишь разницей,— криво усмехнулся Вербин.— Работа идет в другом месте... Николай Петрович, хочу вас спросить... почему вы так боретесь за это болото?

Родионов посмотрел на него внимательно, помолчал и спросил:

— Потолкуем?

Вербин неопределенно пожал плечами, Родионов решительно сдвинул бумаги и счеты, потом вышел в сени, вернулся и со стуком поставил на стол бутылку водки.

— На «ты»? — спросил он и умолк, ожидая ответа. Потом добавил неловко: — Вы скажите, если не по душе... Я ведь так... Подумал, вроде мы одного возраста...— Он смущенно замолчал.

— Как хотите, не имеет значения,— ответил Вербин, досадуя, что затеял этот разговор.

Он не любил доверительных бесед, разговоров по душам, горячечных признаний, приступов откровения, дружеских сокровенных излияний,— даже с хорошими знакомыми он не переступал какой-то черты и всегда сохранял дистанцию.

Родионов так и не открыл бутылку. Убрать ее он тоже не решился, в продолжение разговора она навязчиво маячила на столе, они старались ее не замечать.

— Знаете, я часто детство вспоминаю. Река у нас была — прозрачная, как слеза. Широкая, чистая... Рыбы невпроворот. Пароход ходил, колесами шлепал. На озерах дичи — кишело. А ягод, грибов — бери, не хочу. Пудами собирали. А все оттого, что имелось у нас такое же верховое болото. Уехал я, все годы наши места вспоминал. Никак выбраться туда не мог. Хотел, да не мог. А в прошлом году в отпуск поехал. Родни там уже никого не осталось, просто так поехал. Потянуло.

Вербин слушал терпеливо. Он старался не показать скуки, хотя скучал, и, найдись повод, охотно прервал бы рассказ.

— Приехал — не узнал. Глазам не поверил,— продолжал Родионов.— Пустошь! Река — курица перейдет. Рыбы нет. О ягодах забыли. Такие, как мы, работали.

— Ошибка? — спросил Вербин вяло.

— Ошибок хватало,— кивнул Родионов.— Элементарная технология не соблюдалась. Но главное не в этом. Осушали ради осушения. Как же... вроде нужным делом заняты, план, показатели... А ведь вокруг было полно болот, которые нужно было сушить. Но работали не там, где надо, а где удобнее. Где хлопот меньше. Как в том анекдоте: кошелек ищут не в том месте, где потеряли, а где светло. Вот я и решил: все, баста! Больше не хочу.

Он умолк, взял бутылку и поставил на пол. Вербин молчал. Было ясно, откровенного разговора не получилось. Родионов чувствовал, что слова его — в который раз! — натолкнулись на холодность этого горожанина, а как преодолеть ее, Родионов не знал.

Назавтра, в Кириллов день, как назвала его баба Стеша, то есть двадцать второго июня, Вербин сам отправился на пойменные болотца, где шла работа. Он еще издали заметил, насколько точно разбита трасса геодезистами: работа велась на сланях, на каждом участке работали по

сетевому графику. Вербин знал, как трудно организовать такую работу на болоте. Машины шли друг за другом: кусторезы, корчеватели, болотные экскаваторы, следом за которыми бульдозеры разравнивали отвалы, оставляя готовые кавальеры. В излуках реки экскаваторы вели отсыпку дамб, отделявших русло от поймы. За основу была взята польдерная система, дающая возможность на месте низинного болота получить плодородную землю. При польдерной системе не спрямляли русло, чтобы осушить пойму, река сохранялась полноводной и живой.

Вербин обошел все участки и везде заметил четкую, продуманную организацию дела. Работа шла по часам: едва машина выполняла свою часть работы, ее тут же перебрасывали на соседний участок, где для нее уже было подготовлено место, и она без промедления начинала работать. Питались экипажи возле дымящей весь день походной кухни — все в разное время, а один сменный экипаж подменял их на время еды. Здесь же дежурила техничка с бригадой ремонтников и стоял бензозаправщик, так что машины почти не простаивали.

Родионов находился на дальнем болотце. Болото было покрыто тростником, который издали напоминал сплошную стену; когда Вербин приблизился, стена превратилась в частокол толстых узловатых стеблей, увенчанных серыми метелками. Здесь же росли широколистный рогоз, осока, болотный мирт, камыш — с маленького пригорка открылось море травы, по которому гуляли волны. Каких только трав не было здесь: пахучий, пряный аир, ароматный дягиль с зонтиками зелено-белых цветов, горьковатая череда с крупными желтыми цветами, трехлистная вахта-трава, называемая волчьей капустой, высокий девятисил,— над травой во многих местах поднимались заросли ольхи и крушины, а посреди зеленых чащ виднелись маленькие открытые плесы, на которых росли круглые кувшинки.

Родионов рассматривал карту и время от времени отстранял геодезиста и сам наклонялся к теодолиту. Белобрысый Федька, адъютант, связной, курьер и фельдъегерь, на этот раз бегал по болоту, взметая огромными рыбацкими ботфортами фонтаны брызг, и то и дело замирал в разных местах с размеченной рейкой.

— Я смотрю, у вас здесь все как в учебнике,— сказал Вербин.

— Стараемся,— ответил Родионов.

— Так я, пожалуй, поеду...

Лицо Родионова стало серьезным и сосредоточенным, он помолчал и ответил:

— Я, конечно, не могу вас задерживать. Не имею права. Но если у вас есть возможность, я прошу вас остаться.

— Вам спокойнее? — насмешливо спросил Вербин.

— Да,— бесхитростно признался Родионов.— Пока вы здесь, нас особенно тормошить не будут. Представитель треста в колонне есть, сводки идут, показатели нормальные — что еще тресту нужно? А тем временем, бог даст, и с проектом разберутся.

— У меня отпуск горит,— с легкой усмешкой заметил Вербин.

— Я понимаю,— покорно кивнул Родионов и робко добавил: — Сейчас только июнь...

— Уже июнь...

— Я понимаю,— покивал Родионов, жалобно улыбнулся и бессильно развел руками.— Не могу настаивать.

Больше он ничего не добавил, отошел к теодолиту и принялся с геодезистом обсуждать трассу.

3. День был тихий и теплый, к полудню полной прозрачности не наступило, пригревало солнце, смягченное неподвижным, дремотным воздухом. После вчерашнего ливня земля еще не просохла и отдавала влагу: над буграми поднимался пар. Берегом реки Вербин вышел к лугу. Трава выглядела умытой и свежей, сочно блестела, радуя глаз. На лугу, как и в прежние дни, сновал легкий трактор, вперед и назад мерно ходили конные упряжки с граблями, в разных местах женщины ворошили для просушки скошенную траву. Вербин стороной направился к лесу. Конечно, его заметили, он понимал, нельзя было не обратить внимания на одинокую фигуру, бредущую праздно в то время, как все работали.

В лесу было мокро. Пахло сыростью, ноги скользили по раскисшей дороге, то и дело приходилось обходить лужи. Земля уже не принимала влаги, в низких местах стойко держалась вода.

На полпути ему снова показалось, что он не один. Он механически оглянулся и посмотрел по сторонам, хотя знал, что никого не увидит. Он действительно не заметил ничего подозрительного, двинулся дальше, хотя ощущение посторонних глаз сохранилось. Раздражения и беспокойства, как прежде, он не испытывал, но испытывал досаду;

его уже не подмывало рвануться в заросли, но все же мало радости чувствовать в лесу чужой взгляд.

На мостике Вербин заметил, насколько усилился внизу шум воды; видно, после ливня ручей переполнился и теперь волновался, стесненный узким оврагом; сквозь просветы в зарослях было заметно, как поднялся его уровень, многие росшие на склонах кусты и деревья стояли в воде.

Все было в лесу пропитано сыростью — теплый воздух, земля, темные, набухшие стволы, даже бревна мостика, отсыревшие до того, что покрылись темной скользкой слизью. На кордоне было пусто и тихо. Вербин постоял в своем укрытии, но никто так и не появился, и все время, пока он стоял, его и на минуту не покидало ощущение, что он не один. Он испытывал это чувство, пока стоял, и когда обходил за кустами лесную усадьбу, и на обратном пути в деревню. И забыл он о нем только тогда, когда, скользя каблуками по раскисшей земле, съехал по склону к мостику и шагнул на скользкие бревна: на середине моста стоял человек.

Это был высокий мужчина, почти одного роста с Вербиным, и может быть даже немного выше, одетый в клетчатую рубаху и темные брюки, заправленные в сапоги. Вербин узнал тракториста, которого видел на лугу.

Они стояли друг против друга, под мостом с шумом бежал ручей. Тракторист вперед не шел, но и не отступал, чтобы дать дорогу; он стоял не двигаясь, и похоже было, и не думал идти — ни вперед, ни назад.

— Разминемся? — спросил Вербин.

— Может, и разминемся,— с непонятным значением усмехнулся тракторист, глянул вниз и посмотрел на Вербина.

Вербин удивился, но ничего не сказал. Ждал.

— Что-то вы в наш лес зачастили,— с прежним непонятным значением заметил тракторист.

— Нельзя? — снисходительно поинтересовался Вербин.

— Почему нельзя?.. Можно. По лесу гулять никому не возбраняется.

— Спасибо,— кивнул Вербин.

— Только домик тот советую обходить...

— Какой домик?

— Знаете, какой,— тракторист мотнул головой в сторону кордона, откуда шел Вербин.

— А разве я просил совета? — насмешливо спросил Вербин.

— Ваша жизнь далеко отсюда. А в нашу вы не встревайте. Вам-то что здесь? Приехали и уедете.

— Что еще? — вяло спросил Вербин.

— Все.

— Ну вот что,— со скукой произнес Вербин,— я вас не знаю, знакомиться не хочу. Как мне себя вести и где ходить, это мое дело, обойдусь без советов.

Тракторист выслушал, покивал с каким-то сожалением, но с места не тронулся.

— Дайте пройти.— Вербин двинулся вперед.

Тракторист усмехнулся и стал боком. Вербин прошел мимо, пересек мост и вышел на противоположный склон.

— Эй, начальник! — окликнул его с моста тракторист.— Здесь все ж таки болота. И бучила в оврагах. Пропал человек, и нет его. Сгинул. И никто не найдет.— Он усмехнулся еще раз и медленно пошел по мосту на другую сторону.

«Вот и все, вот и понятно,— думал Вербин по дороге назад,— это он следил за мной. Непонятно только, как ему удавалось».

Он вышел к реке. Было безлюдно, тихо, на другом берегу тянулись покатые луга, далеко в стороне виднелась на косогоре деревня, и едва слышно долетал шум машин. Он побрел вдоль воды, следы четко отпечатались на сыром песке,— дошел до старой, брошенной кем-то лодки, лежащей на берегу вверх дном, и присел на нее, глядя на воду. Он вспомнил, как смотрел на него несколько дней назад на лугу тракторист, теперь был понятен тот взгляд. «Вот и сошлось»,— подумал Вербин.

Он услышал в кустах шорох и резко обернулся: в кустах кто-то был. Сквозь ветки ракиты виднелось светлое пятно. Вербин встал, глядя в ту сторону: какое-то время пятно не двигалось, потом кусты затрещали, раздвинулись и на берег вышла улыбающаяся Варвара.

— Не ждал? — спросила она. На ней была короткая летняя юбка и легкая открытая блузка без рукавов, в руке она держала тяжелый брезентовый дождевик.

Она улыбалась и молчала, явно ожидая от него чего-то, но Вербин тоже молчал и не двигался.

— Что, так и будем в молчанку играть? — спросила Варвара.— Ну, ты и ухажер!

— Да, плохой,— согласился Вербин.— Никуда не гожусь.

— Годишься или нет, это мы еще проверим,— засмеялась она.— Как ни вилять, а быть бычку на веревочке. Но ты хоть слово ласковое скажи, мне, что ли, тебя понукать?

Вербин улыбнулся и снова промолчал.

— Развел огонь — не жалей дров подкладывать,— приблизилась к нему Варвара.— Я вроде не уродина.

Она действительно была хороша — веселая, крепкая молодая женщина, даже на расстоянии он ощущал идущее от нее тепло.

— Это твой плащ? — неожиданно спросил Вербин.

Она посмотрела на него расширенными от удивления глазами.

— С тобой не заскучаешь! Дался тебе мой плащ!

— Ты ходила куда-нибудь в грозу?

— Вот оно что! А тебе какая забота? — прищурилась Варвара.

— Я не понял вчера, ты или нет. Дождь сильный был.

— Экий ты, не о том думаешь. Что тебе, кто куда ходит? Вот она я, перед тобой... Живая! Аль не хороша?!

— Хороша,— улыбнулся Вербин.

— То-то. Не товар плох, покупатель таков. Чтой-то ты меня все в сторону уводишь. Иди-ка сюда, что покажу,— поманила она его.

— Что?

— Не бойся, иди.— Варвара отступила к раките, приглашая его за собой.

— Что там? — спросил Вербин.

Она засмеялась.

— Не постарел, а уже сробел. Иди, иди...— Она раздвинула ветки.— Глупого крести, а он кричит: «Пусти!»

На маленькой полянке, окруженной со всех сторон кустами таволги и ракитами, под естественным навесом из веток укромно стоял небольшой шалаш, покрытый еловыми лапами. Вокруг росла высокая трава.

— Видишь, кругом мокрень, а здесь сухо,— сказала Варвара, показывая внутрь шалаша, где на земле толстым слоем лежало сено.— Никакой дождь не страшен.

— Так ведь нет дождя,— возразил Вербин.

— Ну и что? А вдруг пойдет,— лукаво сказала Варвара и проворно расстелила на сене плащ. Потом ловко забралась внутрь, села, поджав под себя ноги, и улыбалась, глядя на Вербина.— Иди сюда.

Он стоял, не трогаясь с места. В глубине шалаша блестели ее глаза, белые зубы и круглые, гладкие колени.

— Мне что тебя, силком втащить? — спросила Варвара.— На строптивый нрав крепкая палка.

Он нерешительно стоял, не зная, что делать. Все было до сих пор не всерьез, как бы шутка или забава, и вдруг повернулось неожиданной стороной.

— Да ты здоров ли? — с участием, но и с издевкой спросила Варвара, глядя на него снизу вверх из полумрака шалаша.— А то смотри, проверю.— Она вдруг быстро вынырнула наружу, схватила его под локти и, смеясь, с силой потянула в шалаш.— Чем баклуши бить, лучше к делу подступить!

Улыбаясь, он сопротивлялся слегка, но она, хохоча, ломала его, они упали на плащ, продолжая бороться,— внезапно она с силой обняла его одной рукой за шею, схватила губами его рот, застыла, дрожа, а свободной рукой шарила по его телу, нетерпеливо дергая одежду и пуговицы.

Потом они бессильно лежали на плаще, молчали и не двигались. Пахло сухим сеном, увядшими листьями, хвоей, сквозь треугольный лаз неярко падал свет. В шалаше было уютно, тихо и сухо, какой-то жучок едва слышно скребся под сеном в изголовье.

— Чей это шалаш? — спросил Вербин.

— Рыбаки сложили. Да ты не бойся, никто сюда не придет. Они редко ходят, да и то в ночь.

— Я не боюсь,— ответил Вербин.

Лежа на спине, Варвара нашарила на плаще его руку и сплела свои и его пальцы.

— Видишь, а ты говорил — не гожусь. Не зря я тебя присушила, такое добро пропадало.— Она привалилась к нему, забросила на него ногу, легла на бок и, приподнявшись на локте, заглянула Вербину в лицо.— Сладко-то как... А ты упирался, дурачок...

— Варя, а как присушила? — спросил Вербин.

— Обычно,— улыбнулась она.— Грех на душу взяла. Да тебе об этом знать не следует.

— Ты думаешь, помогло?

— Помогло не помогло, а ты мой.

— Из-за этого?

Она засмеялась.

— Сам плох — не даст и бог; сам хорош — даст и бог. Не знаю, из-за этого или нет, а так-то оно вернее. Вот ты все один ходил стороной, а нынче мы в шалаше лежим. То я случаем тебя издали угляжу, ненароком, а то оказия какая... Думаешь, сладко глаза проглядеть да все украдкой?

«Вот оно что,— подумал Вербин,— а я ломал голову».

— Как же ты умеешь так в лесу скрываться? — спросил он.

— Ой, что ты! Я в лес одна не хожу. Боюсь. Это ты у нас смелый, один по лесу да по болоту шастаешь. Нет, я тебя в деревне высматривала да вокруг.

«Как же так? — подумал он с недоумением.— Неужели еще кто-то?»

— Может, так бы оно и тянулось, не возьми я греха на душу,— сказала Варвара.— Я и не таюсь, сама призналась: присушила.

— Неужели ты в это веришь?

— Лешенька, не нам судить. Сбылось, ну и славно. Есть у нас три брата: авось, небось да как-нибудь. Помогут — исполнится. Ты не думай об том, не заботься, дел у нас с тобой много.— Она засмеялась, поцеловала его, обняла и сжала так, что стало трудно дышать.— Ты люби меня, а другое все — трын-трава.

Она снова его позвала, сама заторопилась навстречу, он пошел на зов, и они встретились, но не очертя голову и впопыхах, как в первый раз, а спокойнее и как бы отдавая себе отчет в том, что делают,— она звала, он шел, дыхание у них стало общим, одно на двоих, да у Варвары иногда прорывался несдержанный стон.

Густые заросли ольхи, таволги и ракиты окружали маленькую поляну и укромный шалаш, над которым низко нависали ветки,— за подлеском стеной поднимался старый глухой лес; шалаш стоял у подножья высоких деревьев — стройных осин, покрытых зеленоватой, испускающей горький запах корой, веселых гладкоствольных кленов с тугими пружинистыми ветками, огромных берез, мощных елей и сосен. Великан лес, полный внятной, одушевленной силы, стоял над маленьким шалашом и молча наблюдал за тем, что происходит у его ног.

4. Домой Вербин вернулся поздним вечером. Было светло, и казалось странным, что деревня спит. Но движок в сарае на околице не стучал, свет был отключен. И все же, несмотря на поздний час, Вербин в доме нашел застолье: при свете керосиновой лампы Родионов и баба Стеша сидели друг против друга за столом, на котором стояли водка и еда.

— Полуношничаем,— сказала хозяйка.— Однако ты поздно, батюшка, я уже в беспокойстве была.

— Присаживайтесь,— Родионов показал на место возле стола.— Сегодня у нас поминальная. Двадцать второе июня.

— Мужа мово убили,— объяснила хозяйка.

— В первый день? — спросил Вербин.

Хозяйка кивнула.

— Его перед этим на учебу послали. На месяц, сказали.

Родионов налил Вербину водки:

— На помин души.

Они не чокались, выпили и долго молчали.

— Ты ешь, батюшка, ешь, небось оголодал за день,— сказала баба Стеша.— Хозяин мой любил поесть, работал тяжело.

— Здесь? — спросил Вербин.

— Здесь, где ж еще. Живицу собирал, лес рубил, всяку работу делал. Мы перед войной поженились, неделю прожили. Я-то сама немолодая была, и он вдовый был, ребятишек троих имел. Его убили, они на мне и остались. Все говорили: «Отдай в приют, чужие»,— да жалко было в сиротство отпускать. Вместе и бедовали. Иной раз так худо было, не подниму, думаю. А в конце войны сестра померла, у нее дочка была. Я тоже взяла, где трое, там и четверо. Крапиву ели, жмых... У нас места не больно родючие, хлеб — лебеда одна. Травами спасались. Корень иван-чая высушу, истолку, лепешек напеку, ребятишки кислицу ели, заячью капусту. Да что мы, все так жили. Ничего, переможились.

Это была та жизнь, которой Вербин не знал. Она существовала где-то далеко, в стороне, он никогда не думал о ней, как не думал, скажем, об островах в океане, которые, он знал, существуют, но в таком отдалении, что их как бы и нет.

— А ты сам-то, батюшка, откуда? — спросила хозяйка.

Он почувствовал, что сейчас нельзя промолчать или отшутиться, все будет ложь.

— Я до семи лет в деревне жил. Помню, правда, плохо, в школу уже в городе пошел, отец переехал, когда мать умерла. Он механиком был,— ответил Вербин.

— Много на земле горя,— печально сказала баба Стеша.

В тишине с другого конца деревни доносился лай собак.

— Светло как,— посмотрел на окно Родионов.

— Нынче зори незакатные. Вечерняя заря с утренней сходятся, ночь короткая самая,— сказала баба Стеша.— Лето настало, да теперь на убыль пойдет с Петрова дня. После Петра-поворота солнце на зиму, лето на жару. А сегодня Кирила, конец весне, почин лету.

— Я сегодня Кирилла поздравил, лесника здешнего,— сказал Родионов.

— Славно, что не забыл,— обрадовалась хозяйка.— Человеку радость, когда о нем помнят.

— Вы его знаете,— напомнил Родионов Вербину,— мы на кордон заходили.

— Когда-то говорили: на Кирилу отдает земля солнышку всю свою силу. Вы-то не знаете, молодые, а я помню, какие в этот месяц праздники веселые были.

— А вы расскажите,— попросил Родионов.

— Так ведь поздно, спать пора,— улыбнулась хозяйка.

— Успеется. Одну ночь можно и не поспать, все равно коротка,— возразил Родионов.

Он налил всем водки, они с Вербиным выпили, а баба Стеша пригубила только и зажмурилась:

— Ох и злая! — улыбчиво пожаловалась она, пожевала кусок хлеба и стала рассказывать: — Поначалу крещение кукушки праздновали, на вознесение приходилось, сороковой день после пасхи, в четверг на шестой неделе.

Перед праздником девки да молодые бабы тайком от парней да от мужиков в одну избу сходились. Убранство шили, какое женскому полу полагается,— рубаху, сарафан, платок... Хозяйствовала позыватка — вдовая старуха. В праздник девки сами наряжались, у кого что получше есть, в лес по травку отправлялись, есть такая травка—кукушкины слезки. Нарвут поболе, как сноп, лентами обвяжут, вроде то кукушка, а потом ее в ту одежонку, которую перед вознесением сшили, и обрядят. Рубашечка белая, а сарафан да платок темные, кукушка-то вдовой числилась. Как нарядят, так березу заламывают, ветки к земле пригибают. На другой день или в субботу шли ту березу завивать. Ветки между собой сплетали так, что колыбелька получалась, накрывали ее, а сверху кукушку ту ряженую клали, крестиками со всех сторон обвешивали. Ну и кумились между собой. Все кругом поют, а которые кумятся, становились одна против другой над колыбелькой кукушкиной, целуются по три раза и местами меняются, подарки друг другу дарят — колечко, платок или крестик нательный. А песня была такая,— хозяйка подняла лицо и запела тонко:

Кукушка, голубушка,
Серая кукушечка,
Давай с тобой, девица,
Давай покумимся!
Ты мне кумушка —
Я тебе кумушка.

Она допела, перевела дыхание и продолжала:

— Отгуляют, а вечером кукушку хоронят. Место укромное найдут, ямку выкопают, лентами да тряпицами украсят, кукушку кладут, могилку под пение засыпают.

Она снова запела:

Прощай, прощай, кукушечка,
Прощай, прощай, рябушечка,
До новых до берез,
До красной до зари,
До новой до травы!

— Через десять дней снова в лес шли, кукушку воскрешали. Из земли вынут, на ветки посадят и поют:

Кукушечка-рябушечка,
Пташечка плакучая,
К нам весна пришла,
Весна красна,
Нам зерна принесла.

А после гульбу устраивали, ели, пили, на этот раз уже парней да мужиков приглашали. До ночи хороводились, а потом по кореньям от той кукушки гадали: ежели корень длинный, мальчик родится, а короткий — девочка. Траву ту потом в доме держали, на счастье, она разлад от семьи отводила.

Старуха говорила медленно, слабым старческим голосом, во время пения голос ее тускло дребезжал и, стихая, растворялся в полумраке избы, освещенной молочным светом ночи и дрожащим, тусклым и слабым, как голос, пламенем лампы.

Вербин еще помнил, кто он, и помнил грохочущие в ознобе дороги, бешеный бег машин, рев и огни, но все это отдалялось, глохло, и какая-то смутная древняя сила поднималась вместе с голосом старухи из темной глубины и забирала власть над людьми, которые принадлежали другому времени и другой жизни.

— На вознесение еще колоски водили,— продолжала баба Стеша.— За околицу шли, песни пели. Придут на луг, за руки возьмутся, две цепи, как мост живой. Шумно, весело... По рукам «колосок» пускали, девочку махонькую, ве-

ночек ей на голову наденут, саму всю в ленты уберут. Так к полю озимому шли, девочку на землю ставили, она сорвет рожь зеленую, сколько рука ухватит, и давай к околице бежать да рожь разбрасывать. А взрослые следом идут, песню поют:

Пошел колос на ниву,
Пошел на зеленую!
Пошел колос на ниву,
На рожь, на пшеницу!

У деревни с «колоска» ленты обрывали, на память брали. Парни ту рожь подбирали, кому с колоском достанется, тому осенью женатому быть. После, в июне, семик справляли, в четверг на зеленой неделе, девок праздник. Ветки березовые с лентами по деревне носили. А потом в лес к березе шли, ветки ей заплетали да себе венки плели. Каждая угощение с собой несла. Как завьют березы, песни возле них поют и между пением угощаются. Наиграются, напоются, в деревню идут. Поедят — да на луг. Тут смотрины были. Девки идут, песни поют, а все кругом стоят, на них смотрят. Ну и парни тут же, женихи. Присматривают... Ежели какая приглянется, осенью сватов посылают.

А еще на семик забава в деревне была русалок гонять. Они в эту пору проказливы больно, хохочут да на ветках в лесу качаются. Кто им попадется, несдобровать — защекочут, к себе уведут. До Петрова дня проказничают. Вот парни и девки их и гоняют. Бегают друг за другом, в горелки играют, а в руках полынь или лютик — от русалок оберег.

А в последний день семика — троица. Березу кругом деревни носили, хороводы водили. Напоследок девки на реку шли, венки по воде пускали. Чей венок свободно поплывет, той вскоре замуж идти.— Баба Стеша вздохнула и едва слышно с грустью пропела:

Рассыплю монисто по закрому.
С кем монисто собирать будем?
Собирать монисто с милым дружком.
Кому вынется,
Тому сбудется,
Не минуется...

Она устало смолкла, не допев, и неподвижно сидела, прикрыв глаза.

Было тихо, никто не двигался. Она сидела, застыв, даже дыхания ее не было заметно, как будто, пережив вновь

молодость, она заплатила за это жизнью: не хватило сил, и жизнь ушла из нее.

Но она была жива. Просто она оставалась пока там, в своей молодости, в тех прекрасных летних днях, когда зеленела земля и вся жизнь была еще впереди. Она не всматривалась назад — она была сейчас там, жила в том времени: светило то солнце, росла та трава, и были живы и молоды родители и подруги, и тот, кого она любила; и она сама была молодой, легкой, веселой, часто смеялась и не считала короткие светлые ночи и длинные, просторные дни.

Вербин и Родионов не издали ни одного звука и не пошевелились. Они оба почувствовали пронзительную печаль этого мгновения, словно внезапно увидели чужую открытую рану и сами почувствовали ту же боль.

Баба Стеша открыла глаза, непонимающе посмотрела на них, в глазах ее мелькнуло удивление, потом она тут же пришла в себя и улыбнулась грустно.

— Вот, вспомнила...— пробормотала она смущенно.— Да многое, видно, забыла...

Они посидели молча. Самая короткая ночь года шла на убыль.

— А еще кто-нибудь в деревне это помнит? — спросил Вербин в тишине.

— Жива одна еще, одногодка моя,— сказала баба Стеша.— Мы с ей самые старые в деревне. Да не знаю, помнит ли.

— Не спрашивали?

Хозяйка помолчала, словно взвешивая, стоит ли говорить, потом решилась:

— Мы с ей враги. Она соседка моя.

— А-а...— Вербин вспомнил странный дом за оградой.— Вот оно что.

— В девичестве подругами были.

— Поссорились?

— Нет,— баба Стеша нахмурилась и сказала с тяжестью: — Она ведьмой стала.

— Как? — удивился Вербин.— Характер испортился?

— Нет, она настоящая ведьма.

Вербин снисходительно улыбнулся и посмотрел на Родионова. Но тот не поддержал иронии.

— Что ж тут непонятного? — усмехнулся он.— Обычная советская ведьма.

— Так себе и живет? — насмешливо спросил Вербин.

— Да, вполне нормально. Ест, пьет, спит. На выборах ходит на агитпункт. Голосует.

— Откуда известно, что она ведьма?

— Известно,— сказала хозяйка.— У нас в деревне бабка жила, настоящая ведьма была. Перед смертью умение свое соседке моей передала. Ведьма, ежели дело свое не передаст, после смерти из могилы вставать будет, покоя ей не станет. Вот они, когда смерть чуют, ищут из людей кого-нибудь. А этой бы помолиться да крестом себя осенить, так нет, она перенимать стала.

— Зачем? — спросил Вербин.

— Власти над людьми захотелось. Ведьма с нечистой силой уговор кладет: при жизни черти ей служат, а после смерти она им. Ежели не передаст кому.

— Что она умеет делать?

— Все, что людям во вред. Порчу напускает, сглаз, болезни... В семью разлад наводит, чужого мужа к чужой жене уведет или нелюбимого любить заставит. Сна лишает, у коров молоко отнимает, мало ли... Гадает по-черному. Любую беду накликать может.

— Летает,— улыбнулся Вербин.

— Летает, не смейся.

— Кто-нибудь видел?

— Видели... Она по ночам в горшке травы варит, зелья готовит. Как закипит, с паром и дымом в трубу улетает. К утру возвращается.

— Баба Стеша, а ведь вы тоже варите,— улыбнулся Вербин.

— Я для пользы варю, с крестом да с молитвою. А она людям пакости творит, ей нечистая сила помогает.— Хозяйка от волнения сбивалась.— Мы с ей враги. Она присушит, я отсушу, она болезнь наведет, я отведу.

— Поразительно,— сказал Вербин Родионову.— В наше время...

— Да,— покивал начальник колонны,— спутники, компьютеры, реакторы — и нá тебе.— Родионов улыбнулся, глядя на Вербина.— Ваша схема жизни трещит по швам. Тут цифра да формула не помогут, Алексей Михайлович.

Но Вербин не слушал его, он вдруг вспомнил что-то и с любопытством спросил:

— Баба Стеша, а незнакомых мужчину и женщину она свести может?

— Это ей пустяки. Присушит, да и прилепятся друг к дружке.— Она вдруг осеклась и посмотрела на него с ис-

пугом.— А что...— начала она, потом спохватилась и неожиданно в спешке и беспокойстве обратилась к Родионову: — Петрович, ты иди спать, иди, милый, поздно уже, нам поговорить надо. Не серчай, батюшка, дело спешное...

— Я не сержусь,— понимающе улыбнулся Родионов, встал и вышел.

— Вот добрая душа,— сказала баба Стеша.— Понятливый человек и совесть имеет.— В нетерпении и тревоге она посмотрела Вербину в лицо.— Уже?

Вербин улыбнулся и не ответил.

— Ах, Варька, бедовая девка! — сокрушенно всем телом покачалась из стороны в сторону баба Стеша.— Как обхаживала меня да как просила: присуши да присуши! — Старуха от волнения была сама не своя.

— Да вы не расстраивайтесь,— снисходительно успокоил ее Вербин.— Не может этого быть.

— Как не может?! Как не может, когда есть?!

— Случайность, совпадение... Вероятно, и без этого могло бы...

— То другое дело! — перебила его хозяйка.— То ты сам решаешь. А тут...

— Баба Стеша, никто меня не заставлял.— Вербин чувствовал себя глупо, и в то же время он понимал горе этой старухи и хотел ее успокоить.— Я не монах и на здоровье не жалуюсь...

— Варька кого угодно распалит, я знаю, только сейчас не согласием было, не по доброй воле. Ходила она туда, ходила!

— Ну и что? Даже если ходила?

— Присушили они тебя,— горестно сказала хозяйка и вдруг умолкла, настороженно посмотрела по сторонам и сказала серьезно: — Я сейчас тебя отсушу. Отсушу да от нечистой силы заговорю. А там как сам знаешь. Нравится она тебе — сам решай, твое дело, я хоть знать буду, что не силком, не заставил тебя никто. Ты посиди, я сейчас.

Она взяла лампу и торопливо, насколько могла, вышла. Он услышал, как она возится в кладовой, что-то бормочет и чем-то шуршит.

5. Свет за окном набирал силу. Нельзя было сказать, что уже светает,— за ночь так и не смерклось. Вербин удивился тому, что не хочет спать. Непонятное будоражащее беспокойство содержалось в этой короткой светлой ночи.

Он почувствовал волнение, начиналась какая-то причудливая, сложная, необъяснимая игра, в которой он был не зрителем — участником.

Старый, скрипучий дом, сумрачный даже в ясные дни, выглядел сейчас незнакомым и загадочным, в углах была скрыта емкая, непроглядная глубина.

На первый взгляд все выглядело неправдоподобно; Вербин удивлялся себе, своему участию в происходящем. В белой неподвижной тишине хозяйка внесла горящую свечу и блюдо с водой. Она поставила все на стол, полезла в печь, разворошила погасшие угли и, найдя один тлеющий, положила его на ложке рядом с блюдом; потом она достала медный поклонный крест.

Вербин молча и неподвижно наблюдал за тем, что происходит. Старуха повернулась к иконе, перекрестилась и тихо забормотала:

— Солнце на закате, ангел на отлете... Господи, господи, посылать тебе нечего: ни поста, ни молитвы, ни денныя, ни нощныя. Запиши меня, господи, в животную книгу свою.

Она сыпанула в воду щепотку соли и бросила тлеющий уголек — вода зашипела, выбросив облачко пара. Баба Стеша положила в воду крест, на него поставила горящую свечу, трижды наклонилась и зашептала над водой:

— На солнушном усходе, солнце светлое, земля праведная, вырос столб от земли до неба. Когда сине море повыхлебают, желты пески повыталкают, тридевять ключей отомкнут, златы пелены посымают, тада усе недоги подвинутца, усе отрыгнутца, усе усходютца. Чур мене, господи! — Она дунула на воду и поплевала во все стороны.— Сохрани мене, господи.

Хозяйка набрала в рот воды и неожиданно прыснула ею Вербину на голову, грудь и спину, а потом зачерпнула чашкой из блюда и дала Вербину сделать глоток.

Он чувствовал нелепость своего положения,— скажи ему кто-нибудь, что такое возможно, он бы только снисходительно пожал плечами или посмеялся бы, но сейчас он хоть и с иронией, но все же покорился, чтобы не обидеть старуху. Конечно, он не мог принимать это всерьез, не мог поверить, что происходящее имеет хоть какой-то смысл, и все же он испытывал интерес.

— Это я сглаз да злой наговор от тебя отвела,— сказала баба Стеша.— А щас нечистую силу прогоню.— Она принесла кусок воска, подержала его над пламенем свечи и, когда он размяк, прилепила к кресту.— Знаменуется

раб божий Алексей крестом животворящим — одесную, спереди и сзади; крест на мне, крест предо мною, крест за мною. Да бежать бесове, вся сила вражия, от мене, раба божия Алексея. Господь Иисусе Христе, сыне божий, помилуй мя — всегда, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.— Баба Стеша перевела дыхание и сказала устало: — Теперь неволей не поведут. А сам как знаешь. Да не обижай Варю, девка все ж таки не виновата. Горяча, а пары себе не найдет.

Вербин продолжал неподвижно сидеть. Ничего не изменилось — ни в нем самом, ни вокруг, только новый день уже начал свою жизнь, раздвинул даль и наполнил все щели светом.

Часть третья

ИЮЛЬ

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1. Вспоминая позже это лето, Вербин последние дни июня относил к июлю. В отличие от медленного, сонливого июня июль помнился лихорадочным бегом дней и внезапными событиями, поэтому последняя неделя июня, полная неожиданных перемен, была связана в памяти с июлем, или, как его называла баба Стеша, Ильинским месяцем, макушкой лета.

После солнцестояния события как будто нарушили свой мерный, спокойный ход и, сталкиваясь, торопя друг друга, устремились к какой-то обозначенной впереди черте.

Вскоре после солнцестояния Вербин собрался уезжать.

— Я не буду вас удерживать, хотя считаю, что едете вы напрасно,— сказал ему Родионов.

— Пора. Я у вас и так засиделся,— возразил Вербин.— Мне в отпуск нужно.

— Вас не пустят.

— Почему же?

— Война будет в разгаре. Вы им в тресте под рукой нужны. Вам бы здесь отсидеться.

Вербин подумал, что Родионов прав, но желание уехать было сильнее. Он сообщил в трест и назначил отъезд на следующее утро; тот же шофер, что привез его сюда, должен был отвезти его в леспромхоз.

— Честно говоря, я бы предпочел, чтобы вы задержались,— снова попытался его отговорить Родионов накануне отъезда, когда Вербин отмечал командировку.— Там за вас сразу примутся.

— Что вы имеете в виду?

— В работу возьмут. Грехи наши заставят выискивать. Им криминал нужен.

Вербин это и сам понимал, но надеялся как-нибудь избежать.

Шофер разбудил его в три часа, они договорились выехать пораньше, чтобы иметь в запасе больше времени. Родионов тоже поднялся и вышел, поеживаясь, во двор. Было свежо, холодно, деревня еще непробудно спала, затянутая в туман.

— Не поминайте лихом,— сказал Родионов, кутаясь в наброшенную на плечи телогрейку.— Вас там против меня понукать станут, я понимаю, в обиде не буду.

— Постараюсь против вас не идти,— пообещал Вербин.

— Вряд ли удастся,— Родионов с сомнением покачал головой.— Хотя и на том спасибо.— Он подождал, пока Вербин поставит в кабину дорожную сумку, и пожал ему руку.

Шофер завел машину, звук мотора покатился по спящей улице, как пальба. Они проехали деревню, выехали за околицу, миновали лагерь колонны и свернули на лесную дорогу. Деревья по сторонам были окутаны туманом, лишь стволы чернели у самой земли. Вербин подумал, что вряд ли окажется здесь вновь, канут в прошлое и лес, и тропинки, и люди, сотрутся день за днем из памяти, будто и не было. Какое-то невнятное сожаление шевельнулось в груди, тронуло робко, едва-едва, словно кто-то лишь коснулся мимоходом, даже не коснулся — обдал ветром, проходя рядом.

Машина натужно шла по глубокой колее. Неожиданно на дороге в тумане показалась неподвижная фигура. Шофер посигналил, Вербину показалось, что звук не пробился в туман: человек остался стоять. Он стоял посреди колеи спиной к машине, не двигался и даже не обернулся. Машина медленно приблизилась к нему и остановилась.

— Он что, спятил? — спросил шофер и нажал сигнал.

Гудок оторвался от машины, ударил в спину стоящему и пропал в тумане; человек и на этот раз не тронулся с места.

Вербин открыл дверцу, вылез и подошел к стоящему: это был глухонемой старик. Было непонятно, как и зачем он оказался ранним утром здесь, на этой дороге.

— Отойди, старик, нам проехать надо,— сказал Вербин, трогая его за рукав, но старик продолжал стоять, глядя перед собой. Вербин знаками показал, чтобы тот сошел с дороги, но старик не двигался, будто ничего не понял, его лицо с редкой седой щетиной было безучастно. Вербин взял его за руку и свел с дороги, старик не упирался.

Он остался стоять на обочине и, когда Вербин вернулся в кабину, неразличимо темнел в тумане, словно дерево или куст.

Они собрались двинуться дальше, шофер выжал сцепление и включил первую передачу, как вдруг неожиданно заглох мотор.

Долгое время они не могли найти причину, копались в моторе, потом Вербин обломил тонкую ветку, сорвал листья и сунул прут в горловину бака — бак был пуст. Шофер развел руками и выругался.

— Не может быть! С вечера заправился,— сказал он.

— Может, только хотел? — спросил Вербин.

— Да что я, не помню?! Полный бак залил! Спустил кто-то.

— Вряд ли...

Но шофер стоял на своем, хотя Вербин и сомневался; так или иначе, нужно было пешком возвращаться в деревню.

Родионов, увидев Вербина, удивился:

— Вас к нам снова прислали?

— Да. Говорят, без меня Родионов работать не может,— ответил Вербин.

Начальник колонны кротко кивнул:

— Святая правда.— Он выслушал Вербина, и лицо его стало озабоченным.— Непонятно...— Он поразмыслил и добавил:— Странная история...— Потом он посмотрел на Вербина и спросил:— Вы часом на меня не грешите?

— Нет,— Вербин пожал плечами.— Я просто не знаю.

— У меня много грехов, но таким делом я не занимаюсь,— сказал Родионов.— Кстати, сегодня я вам не советую ехать.

— Почему?

— Примета плохая. Я человек суеверный.

Но Вербин и сам считал, что ехать сегодня уже не стоит, поздно, и решил ехать завтра. Но уехать ему не при-

шлось: днем из треста передали радиограмму, в которой его просили задержаться в колонне.

— Вот видите,— сказал Родионов,— какое стечение... Кто-то словно в воду глядел.

Вербин удивился его словам, он по-прежнему считал, что шофер забыл наполнить бак; тем не менее эта история выглядела странно, он не раз возвращался к ней в мыслях — размышлял и не находил объяснения, и даже потом, позже, когда многое уже было понятно, он мог лишь гадать.

В один из дней Вербин забрел на болото. Прошедший ливень переполнил лес влагой, мох чмокал под ногами при каждом шаге. В своих скитаниях Вербин еще ни разу не забирался так далеко. Насколько хватало глаз тянулась открытая зеленая равнина, покрытая толстым слоем мха, на котором росли редкие низкие сосны, кусты калины и жимолости, мохнатая плакун-трава, и то и дело встречались обширные ягодники клюквы и голубики.

Вербин шел, удивляясь количеству дичи; по пути он поднимал бекасов и один раз увидел, как вдали, за кустами, медленно, как во сне, прошагала пара лосей.

Он шел довольно долго, местность постепенно понизилась, появились небольшие озера с темной неподвижной водой, затянутой у берегов зеленой ряской. Посреди озер на маленьких островках росли черные ольхи, берега были сплошь затянуты тальником, а широкая приподнятая гряда, пересекавшая болото, была густо покрыта глухим старым лесом.

Слой мха под ногами незаметно уменьшился, стало топко, но трава стала выше и гуще. Раздвигая высокую траву, он прошел вперед, но идти было трудно, и он уже хотел повернуть назад, как вдруг увидел на заросшем деревьями и кустами островке какую-то постройку. Она была вся скрыта за стеной тальника, ольх и ракит, сверху ее прикрывали высокие сосны; подступы к острову стерегли вода и густые заросли осоки, рогоза, тростника и озерного камыша. Только конек крыши и чердак проглядывали сквозь ветки, и если не всматриваться, можно было дом не заметить вовсе.

Медленным шагом Вербин вдоль берега дошел до заросшего мыса, вытянутого в сторону острова; добраться до острова без лодки было невозможно. К своему удивлению, в конце мыса Вербин увидел плетеную гать, покрывавшую топкое место. Едва он ступил на нее, фашины, сплетенные из ивовых прутьев, ушли под воду, но все же выдержали

его, и он по голень в воде благополучно перебрался на остров.

Уже попав на твердую землю, он заметил в густой прибрежной траве плоскодонку, в которой лежал длинный шест. Наличие лодки с шестом вызвало у Вербина удивление: значит, на острове кто-то был.

Он оказался на поляне, окруженной густыми зарослями, посреди поляны стоял ветхий, покосившийся сруб. Вербин внимательно осмотрел его и даже обошел вокруг. Он вдруг почувствовал себя на виду, как будто в доме скрывался кто-то и тайно наблюдал за ним изнутри.

Спереди и сзади дом имел над высоким подклетом две двери: передняя была с крыльцом и навесом, к задней вела покосившаяся лестница, прилепившаяся наискось к стене.

Было ясно, что в доме живут: во дворе сушились пучки трав и кореньев, связки грибов, стоял закопченный котел, а на кольях ограды были надеты стеклянные банки.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил Вербин громко.

Никто не ответил. Чердачное окно было распахнуто, за ним таилась темная емкая глубина. Вокруг было тихо, в то же время Вербин чувствовал, что он не один. Было тихо, но не безмятежно, не спокойно,— какое-то напряженное ожидание хранили этот дом, поляна, островок и лес.

Ручаться Вербин не мог, но ощущение постороннего взгляда было сильным; он внимательно осмотрел окна, ощупал глазами заросли и медленно обошел дом еще раз. Потом осторожно поднялся по ступенькам на крыльцо — каждый шаг прозвучал в тишине внятным скрипом. Казалось, даже деревья сдерживали шевеление листьев — застыли и затаились.

Вербин постучал в дверь и подождал. По-прежнему было тихо. Он нажал ручку, она медленно и туго подалась, и дверь так же медленно и туго поехала внутрь. За высоким порогом находились большие пустые сени. Две двери вели из них в глубь дома, Вербин постоял, потом переступил порог и постучал снова. Но и на этот раз никто не ответил; одна из дверей была заперта, вторая открылась.

Он увидел большую комнату, голые бревенчатые стены, некрашеный пол, грубый дощатый стол и две лавки. Подождав, он шагнул внутрь; обе двери, наружную и внутреннюю, он оставил открытыми настежь.

— Хозяева! — позвал он на всякий случай — голос его одиноко повис в воздухе.

Он вышел на середину комнаты и внимательно осмотрелся. Сквозь грязные, мутные стекла была видна поляна перед домом. Крутая лестница вела из комнаты к открытому чердачному люку. За тонкой перегородкой находилась кухня, из которой был выход на задний двор.

Вербин подождал и стал медленно и осторожно подниматься. На чердаке было сумрачно и душно, во всех направлениях полумрак был пронизан яркими тонкими нитями, тянущимися сквозь ветхую крышу, в этих солнечных нитях роилась пыль. Весь чердак был увешан пучками трав и листьев, большие веники висели на балках и стропилах, густой запах кружил голову. При желании здесь можно было спрятаться, это была настоящая чаща, от которой исходил одуряющий запах трав и листьев; отдельно от общего духа тонко, пронзительно и сильно пахнул чебрец, выделяясь из разнотравья, как сильный одинокий высокий голос из хора.

Вербин постоял возле люка, ничего не заметил и стал спускаться. Ступеньки, кряхтением и скрипом отмечавшие каждый его шаг, вдруг умолкли. Вербин застыл на середине лестницы. Дверь комнаты была закрыта.

Он ясно помнил, что оставил ее открытой настежь, а сейчас она была плотно закрыта.

— Кто здесь?! — спросил он быстро и, не дожидаясь ответа, рванулся к двери.

В сенях было темно, наружная дверь была тоже закрыта, хотя он отчетливо помнил, что и ее оставил открытой.

Мало того, она была не просто закрыта — она была заперта. Вербин быстро толкнул другую дверь, которая вела в глубь дома и которая в первый раз, когда он только вошел, не открылась. Сейчас она неожиданно распахнулась, и он увидел помещение с печью и лежанкой, застланной выцветшим лоскутным одеялом. Вербин торопливо пробежал эту комнату и следующую за ней кухню, сбросил с двери массивный железный крюк и распахнул заднюю дверь. Он не стал спускаться по лестнице, идущей косо вниз вдоль стены, а перемахнул через хрупкие перила и спрыгнул на землю. Потом торопливо обогнул дом и выбежал на поляну.

Все было здесь тихо и неизменно — на поляне и в зарослях. Озираясь, он медленно обошел остров, но, как прежде, ничего не заметил.

2. Заходило солнце, когда Вербин возвращался в деревню. Всю обратную дорогу он думал о доме на болоте. Теперь он был уверен, что кто-то скрытно следил за ним в этом лесу, но кто, кому и зачем понадобилось это тайное соглядатайство, понять он не мог. Однажды, когда он заговорил об этом с бабой Стешей, она взволнованно воскликнула: «Чур!» — перекрестив себя и его и сказав: «Спаси господи!», поплевала назад через левое плечо. Она объяснила, что нечистая сила располагается у человека за спиной слева.

— Ты не ходи туда, грешно,— просяще обратилась баба Стеша к Вербину.— А коли надобно по службе, поешь перед тем чесноку и с собой возьми. Да иголку возьми или булавку, нечистые чесноку не любят и железа боятся, а пуще всего острого. Первый оберег — крест, только ты ведь не веришь. Можно еще кругом себя ножом по земле очертить, они в тот круг попасть не могут. Как встретишь, очерти сразу и чеснок укуси.

Он узнал, что межа в поле для нечистой силы запретное место, потому что проведена железом, что кочерга страшна для нечистых тем, что дружит с огнем, которого они боятся,— недаром на Купалу прыгают через костер; баба Стеша сказала, что в старые времена те, кто хотел увидеть домового, лешего или ведьм на шабаше, прятались за борону: видно, но безопасно.

Итак, заходило солнце, когда Вербин с болота возвращался в деревню. Он пересек луг, задворками направился к дому и уже вышел к огороду, когда услышал поблизости неуверенный стук топора. В соседнем дворе тучная, задыхающаяся старуха рубила дрова. Руки слушались ее плохо, немощные, соскальзывающие удары только щепили полено. Вербин остановился, не зная, как поступить — то ли предложить помощь, то ли идти дальше. В это время она подняла голову, он увидел ее лицо.

Он мог поклясться, что видел его ночью в окне соседнего дома вскоре после приезда, но сейчас оно не было похоже на маску, как тогда. Обычное лицо, бескровные губы, бледная кожа, пятна старческой пигментации... И только глаза выделялись на нем темным цветом и ясностью, в них было столько пристального внимания, что взгляд как бы имел вес и телесную плотность и был ощутим, как прикосновение руки.

— Помочь? — спросил Вербин.

— Помоги, коли не шутишь,— со скрытой насмешкой ответила старуха.

Он взял топор и быстро разрубил толстые поленья. Пока он работал, она стояла в стороне и смотрела на него не отрываясь.

— Силой не обижен,— одобрительно, но все же с какой-то усмешкой сказала она, когда он закончил.— Спасибо. Я б тут до вечера мыкалась.— Она нагнулась, чтобы собрать дрова.

— Я отнесу.— Он взял охапку поленьев и понес к дому.

Вспоминая позже эту минуту, Вербин решил, что нарубить дров он вызвался без задней мысли, но вот отнести дрова взялся с умыслом: как иначе попадешь в дом?

— Входи,— сказала старуха, открыв перед ним дверь.

Вербин шагнул через порог. Он увидел обычный деревенский дом, немного запущенный, но все же опрятный, и так же, как в доме, в котором он жил, пахло травами.

— Передохни,— сказала старуха, когда он свалил дрова.— Щас я квасу налью. Заодно и осмотришься.— Она глянула на него насмешливо и добавила:— Тебе ж интересно...

— Почему вы решили?

— А как же... Интересно, как ведьма живет. Небось полные уши наплели?— Она налила ему в чашку квасу.

— Вы действительно ведьма? — вежливо спросил он, садясь у стола.

— Быстрый, на ходу ловишь.— Она сдержанно помолчала и усмехнулась — с достоинством, чуть презрительно.— Глупые люди несут невесть что. Знаю больше, чем они, вот и чешут языки. Я их всех вижу. Сами в пакости, да в мерзости, да во лжи живут, а причину на стороне ищут: мол, вредит им кто-то. А кто вредит? Их черви изнутри точат, а они вокруг пялятся. В себя смотреть надо.

— Однако слог у вас книжный,— заметил Вербин.

— Читаю потому что. Грамотна и книги имею.

— Какие книги?

— Эко навострился! Разные книги.

— Можно посмотреть?

— Нельзя. Это книги особые, их смотреть не каждому можно. Заслужить надобно. Да что книги, своим умом жить надо, на то голова дана.

— Кем дана? — словно невзначай поинтересовался Вербин.

Но и тут она разгадала его, усмехнулась и осуждающе покачала головой.

— Все ловишь... Ты прямо спроси, если узнать хочешь,— сказала она раздраженно.— В бога я не верю. Ты ведь это хотел узнать?

— Да нет, я так,— смешался Вербин.

— Ты со мной не хитри, говори как есть. Меня и в деревне оттого не любят, что ни с кем не хитрю да ни под кого не подлаживаюсь. Слыхал, как меня кличут? Нет? Ну, так услышишь еще: старая Аглая — баба злая.

— Вы на самом деле злая?

— Доброта — она вроде глупости.

— А умным быть и добрым нельзя?

— Не видала. Бывает, почудится, а присмотришься — притворство. Ежели умный, то злой. А коли добрым кажется, значит, выгоду в том имеет.

Ему определенно было интересно с ней разговаривать. Неподдельный интерес у него вызывали ее суждения и откровенность; трудно было поверить, что в этой немощной, тучной деревенской старухе хранится такой острый и живой ум.

— Вас не смущает, что все вас злой считают? — спросил он.

— У кого во мне нужда есть, те ко мне сами идут. А так... пусть себе, что мне в том.

— Вы говорили, знаете больше других...

— Знаю и умею.

— А что?

Вопрос его повис в воздухе, старуха не ответила, слова отрезанно и как бы сами по себе остались в пустоте пространства. Она сосредоточенно думала.

Она сидела, наклонив голову, и не двигалась, опущенное лицо было хмуро, глаза невидяще смотрели в одну точку.

— Хочешь знать? — спросила она настороженно после долгого молчания.

— Хочу,— ответил Вербин, испытывая жгучее любопытство.

— Смотри, ты сам выбрал, потом не жалей и назад не просись.

— Не буду,— улыбнулся Вербин.

— Ты не смейся. Ты хоть и грамотен, а я знаю то, что ваша грамота не знает. Как бы не пожалел потом. Всяк мое знание не осилит.

— Ничего, я справлюсь,— сказал он с иронией, но она не обратила на нее внимания.

Про себя он решил, что с отъездом лучше повременить, интерес стоит того; но и ко всему прочему не следовало торопиться назад, потому что Родионов был прав, Вербин это знал: вернись он сейчас, в тресте примутся за него. Самым разумным было подождать, пока страсти утихнут. Загадочная остановка на лесной дороге оказалась как нельзя кстати.

— Смотри, сам напросился,— попыталась Аглая еще раз предостеречь его, потом молчала в сомнении и раздумье, наконец кивнула, решившись.— Приходи вечерами, как солнце зайдет. Будешь идти, людям на глаза не попадайся. Чтоб лишних толков не было.

Он кивнул понимающе, словно принимая условия игры. Это и была для него игра, интересная игра, которую он не принимал всерьез. Это была увлекательная забава, редкое развлечение, он ушел, довольный своей удачей, и долго еще улыбался, вспоминая весь разговор.

3. На другой день, едва зашло солнце, Вербин задворками пробрался в соседний дом.

— Пришел? — спокойно спросила баба Аглая.— Садись.— Она задернула занавески на окнах.— Имя тебе Алексей, так?

— Так,— он улыбнулся.— Это легко узнать.

— Хочешь, сведу вас? — не обращая внимания на его слова, неожиданно спросила она.

— С кем? — удивился Вербин.

— У нас уговор: без хитростей. Свести?

— Хорошо,— неуверенно согласился Вербин, не понимая, что она имеет в виду.

— Сперва на разлад.— Баба Аглая принесла сучок-рогатинку, разломила надвое и один обломок сожгла, а другой закопала в горшок с землей.— Как этим двум часточкам не срастись и не сойтись, так же девице Дарье с человеком живым Трофимом не сходиться, не встречаться навечно,— пробормотала она; Вербин с трудом разобрал слова и поразился.— Теперь гляди,— продолжала старуха.— Я щас люжбу приворотную скажу. Надобно на еду или на питье, а потом ей дать, да, видно, так не получится. Можно и на след ноги на земле, да где ж усмотришь. Коли хочешь, я на новую иглу, которой не шили, с ниткой су-

ровой скажу, а ты после одежку ее спереди и сзади против сердца проденешь.

— Вряд ли случай будет,— усмехнулся Вербин.

— Можно еще на кислое яблоко нашептать. На двенадцатом слове ударишь то яблоко ножом. Только это в самую полночь нужно. Я для первого знакомства вашего на слюну скажу.— Баба Аглая велела ему плюнуть на руку и забормотала над ней: — В печи огонь горит, палит и пышет и тлит дрова; так бы тлело, горело сердце у девицы Дарьи по мне, человеку живому Алексею, во весь день, по всяк час.— Она вытерла ему руку.— Как сведете знакомство, я вас дальше поведу.

— Далеко?— поинтересовался Вербин.

— Сколько надобно. Могу до конца, как захочешь.

— К вам Варвара приходила? — неожиданно спросил Вербин.

— Проведал?

— Я видел, она в дождь шла. Да она и сама не скрывала. Моя хозяйка узнала, разволновалась.— Он улыбнулся.— Отсушила меня.

— Вечно не в свое дело лезет. Жаль Варвару, бедовая больно, да, видно, не судьба.

— Она говорила — присушила...

— Не следует тебе об том знать, да я сама обещала без утайки. Ну, так слушай... Берется пряник или сладость какая, и на нее говорится. Те, кто в бога верит, его зовут, благословения просят да крестятся. Я без этого обхожусь, у меня своя сила. А говорю вот что: «Стану не благословясь, пойду не перекрестясь, из избы не дверьми, из ворот не в ворота; выйду подпольным бревном и дымным окном в чистое поле, змолюсь ветрам-братьям: «Ветр Мойсей, ветр Лука, ветры буйны, вихори! Дуйте и винтите по всему свету; распалите и присушите медным припоем,— тут я имя твое сказала,— сведите его со мною — душа с душою, тело с телом, плоть с плотью, и не уроните, по всему свету гуляючи, той присухи крепкой ни в воду, ни в лес, ни на землю, ни на скотину и ни на могилу. В воду сроните — вода высохнет; на лес сроните — лес повянет; на землю сроните — земля сгорит; на скотину сроните — скотина посохнет; на могилу сроните — костье в могиле запрядает. Снесите и донесите, вложите в человека живого Алексея, в белое тело, в ретивое сердце, в хоть и в плоть. Чтоб не мог без меня он ни жить, ни быть, ни дни дневать, ни часа часовать, о мне тужил и тосковал.— Старуха перевела дух.—

Так присушила, а так закрепила. В чистом поле сидит баба-сводница, у тое бабы-сводницы стоит печь кирпична, в той печи кирпичной стоит кунжал литр; в том кунжале литре всякая вещь кипит перекипает, горит перегорает, сохнет, обсыхает: и так бы о мне, рабице Варваре, человек живой Алексей сердцем кипел, кровью горел, телом сох и не мог бы без меня ни жить, ни быть, ни дни дневать, ни часа часовать; ни едой отвестись не мог бы от меня, ни питьем отпиться, ни дутьем отдуться, ни гулянкой загулять, ни в бане отпариться. Тем моим словам ключ и замок.— Старуха снова перевела дух.— Уставать стала, хворь меня разбирает.

— А что ж не поможете себе? — спросил Вербин.— Другим помогаете...

— Другим могу, себе нет,— ответила она строго.

— Лечиться надо.

— Лечись не лечись, срок выходит,— горько усмехнулась старуха.

— Какой срок?

— Отпущенный.— Она помолчала хмуро.— Конец чую.

— Есть лекарства, вы еще можете...

— Не мельтешись, я все знаю,— остановила его старуха, и он понял: что бы он ни сказал, словам его не будет веры.

4. Каждый вечер теперь, когда заходило солнце, он отправлялся в соседний дом. Баба Аглая спокойно встречала его и сразу приступала к делу: последовательно и серьезно она рассказывала, что знала. Когда он пытался отвлечься, она строго останавливала его:

— Делу время. Я слабею день ото дня, не поспеть.

Он не вникал в смысл этих слов, только однажды баба Стеша заметила горько:

— Эх, Михалыч, она учит тебя, дело свое передает, видно, помирать собралась. Ты думаешь, свой интерес имеешь, а это она тебя выбрала. Тебе кажется, грамотой своей, да умом, да ученостью оборонишься, стороной пройдешь, да смотри, встрянешь — увязнешь, сам не заметишь. Лучше бы тебе остеречься.

Он выслушал ее, подавив улыбку, не мог же он принимать или даже думать об этом серьезно. Он забавлялся, слушая снисходительно обеих старух, но и ту, и другую он слушал с серьезным видом, чтобы не потерять их доверия.

Баба Аглая показала ему, как гадают по воде и по воску,— лила жидкий воск в холодную воду, рассматривая образующиеся сгустки и толкуя их как изображения; этот способ был схож с другим, по ниткам, когда их сучили, а потом опускали в тарелку с водой, или напоминал гадание по яйцу: свежее яйцо осторожно выпускали в стакан с водой и, дав отстояться, по белку определяли изображение.

Он узнал и другие способы гадания: по топору, на решете, ключом, петухом, луковицами, башмаком, на поленьях, по зеркалу, полотенцем, на питье, в бане, в овине, по лошадям, по курице, по лаю собак, на гребенке, по следу, по тени, по лучине, на бобах, по чаю, на кофейной гуще, по кольцу — и даже по снегу: вечером девушка должна была лечь навзничь в тулупе на снег, а утром разглядеть отпечаток. Если место оставалось гладким, то муж будет смирный и ласковый, а если иссечено, то муж попадется вздорный и драчливый.

Когда к бабе Аглае приходили посетители, она сажала Вербина в чулан, откуда он мог слышать и даже видеть украдкой, сквозь щель. Чаще всего являлись девушки с любовными огорчениями, баба Аглая выслушивала внимательно и предлагала средство. Самое сильное действие имела кожица со лба жеребенка, ее надо было высушить в глазурованном горшке в печи и носить при себе, а если в пятницу подмешать ее в истолченном виде в пищу избранной особе, то действие должно было стать наиболее сильным.

Верным средством считалось также пустить в пятницу себе кровь, смешать ее с заячьим мясом или печенью голубя, смесь высушить, истолочь, а порошок подмешать предмету чувств в пищу.

Он слушал, смотрел и невольно улыбался, когда баба Аглая не могла его видеть. При ней он остерегался выказывать свое отношение, лицо его оставалось серьезным.

Первые дни баба Стеша молчала и чего-то ждала. Ее глаза, губы, лицо, даже спина выражали неодобрение, но по какой-то причине она удерживалась от слов. Может быть, она надеялась, что постояльцу надоест или он сам почувствует опасность. Но он каждый день, едва заходило солнце, отправлялся в соседний дом. В конце первой недели она сама обратилась к нему:

— Перенимаешь? Учит она тебя?

— Беседуем, интересно...— ответил он, улыбаясь.

— Учит,— кивнула она утвердительно и посмотрела на него с горечью.— А ты... как дитя малое, идешь, куда ведут. Она тебя от людей уводит. Грамотен, а неразумен. Это ведь незаметно, мало-помалу. Вроде интерес и беды пока большой нет, а ты сам не заметишь, как людям чужим станешь. Коготок увяз — всей птичке пропасть. Враг-то — он так и стережет, кого увести.— Она помолчала, потом сказала скорбно, но твердо:— Не могу я сложа руки сидеть, ты уж не обессудь, батюшка. Даром, что учен, а пути не видишь. Как в лесу глухом. А потом обернешься, ан поздно, назад дороги-то и нет. Душа у человека одна, беречь надобно. Враг хитрый, сам не поймешь, как себя потеряешь.

Для нее то, что он ходит в соседний дом, было настоящим горем. Он слушал ее снисходительно, как взрослый ребенка, хоть и скрывал улыбку, чтобы не обижать зря.

— Ничего, баба Стеша, не волнуйтесь, все будет в порядке,— попытался он ее успокоить, но, видно, без успеха: она ему больше не доверяла.

Однажды он обнаружил в одежде маленькую свернутую тряпицу, зашитую укромно в швы, от которой пахло травами.

— Баба Стеша, что это? — спросил Вербин.

Она посмотрела на него с явным сомнением — стоит ли говорить? — потом ответила все же:

— Крапива, чернобыльник, плакун...

Он стал ее расспрашивать, она нехотя отвечала, что травы эти охраняют человека от ведьм, особенно чернобыльник.

Важно было иметь их при себе всякий день, но пуще всего восемнадцатого января по старому стилю, тридцать первого по новому, в праздник всех ведьм. Хозяйка сказала, что на шабаше ведьмы поют четыре песни, знающие их могли приобрести богатство. Перед шабашем, сказала она, ведьмы варят в горшке известные травы, обыкновенно шалфей, руту, терлич — последний для превращения в животных.

— Баба Стеша, неужели вы верите? — спросил он с улыбкой.

— Я знаю,— ответила она,— потому и тревожусь.

Она снова повторила ему, что ведьмы, не передавшие своего умения кому-нибудь из людей, после смерти встают по ночам и бродят в поисках спящих живых людей, у которых они пьют кровь.

Итак, она вшила в швы его одежды крапиву, чернобыльник и плакун. Она объяснила, что трава прикрыт охраняет молодых на свадьбах, плакун и папоротник смиряют нечистую силу, одолень-трава развеивает зло и чары, а трава дрема наводит вещие сны.

С этого дня она подробно и с пристрастием расспрашивала его обо всем, что он слышал и видел в доме Аглаи. Он уходил туда на закате, возвращался поздним вечером и рассказывал обо всем.

Стоило ей узнать, что Аглая строит кому-то козни, баба Стеша тут же бралась за дело. Оттого она и расспрашивала подробно, чтобы знать, чем перебить. Против заговоров у нее были свои заговоры, против чужих трав — свои, собранные, как и должно, на Ивана Купала между заутреней и обедней с молитвой; рвать их следовало человеку без одежды, как родился, да одному, чтобы поблизости никого не было; прежде чем рвать, надобно было лечь ничком и попросить у земли благословения на сбор трав.

Она отменяла приворотные средства Аглаи, называемые в деревне люжбами или присушками, лишала силы отсушки на разлад мужа и жены, отводила болезни, следила, чтобы черный сглаз не коснулся скотины, чтобы коровы хорошо доились, земля родила, а собаки не бесились. Эта немощная и как будто бесплотная старуха была защитницей всей деревни, охраняла ее всю, каждый дом и людей, даже тех, кто ее не просил.

5. В последний день июня Вербин, как обычно, после заката отправился в соседний дом. На улице еще длился день, но окна были завешаны и в доме стоял полумрак. Вербин поздоровался, баба Аглая в ответ лишь кивнула сдержанно и, когда он сел, спросила в упор:

— Ты Старика знаешь?

— Какого? — удивился он.

— Надобно знать,— строго сказала она с неодобрением, как будто он не знал кого-то из близких родственников.

Она говорила о Старике как о хорошем знакомом. Он мог принимать разные виды, но обыкновенно это был коренастый, низкорослый мужик, в будни носивший короткий смурый зипун, а в праздники менявший его на синий кафтан с красным поясом, но всегда, даже в мороз, он ходил босой и без шапки.

Старик был бородат и космат, в меру сед и весь, даже на ладонях и подошвах, был покрыт мягким пухом; только лицо кругом глаз и носа оставалось голым. Следы волосатых подошв иногда находили зимой на снегу, а ночью со сна деревенские жители не раз чувствовали на лице или шее оглаживающую едва чью-то мохнатую теплую руку — так он гладил к прибыли и к добру, к беде же рука становилась шершава и холодна. Говорил Старик редко и был незлобив, но проказлив, полюбившемуся дому и человеку служил исправно, словно нанялся в кабалу. Хозяйничал он по ночам, иногда мог мелькнуть неразборчиво в сумерках, показаться пятном или мглистым сгустком, но чаще его слышали, чем видели: он шарил в темноте, шуршал, скрипел, иногда и стучал, но обычно возился тихо в подполье или на чердаке, в сенях, в чулане и, когда хозяева выходили на звук, стремглав прятался. Иногда он любил подвыть в трубу или в печь, изредка забавлялся тем, что среди ночи садился на спящего и сжимал ему грудь, отчего человеку снились кошмары. Случалось ему и выбраниться матерно — грубо и бесстыдно: выкрикнет глухим, сиплым, надтреснутым голосом—неразборчиво и как бы с разных сторон сразу.

— А теперь я тебе его покажу,— сказала Аглая.

— Как?! — не поверил Вербин.

Она достала горшок с густой темной жидкостью, от которой по всей избе разнесся сильный непонятный запах, и повела Вербина в хлев, где пахло сеном, навозом, а за дощатой перегородкой мерно жевала корова.

Сгорая от любопытства, Вербин стоял в полумраке, глаза его постепенно привыкли, сквозь щели проникал ясный свет раннего летнего вечера. Отчетливо помнился окрестный простор, открытые дали, а здесь было темно, тепло, душно, и густой сенной дух наполнял тесное помещение.

— Садись,— предложила Аглая.

Он сел на лежащую у стены колоду.

Его разбирал смех, хотя нельзя было подать виду. Он понимал нелепость происходящего: ироничный горожанин, инженер сидел в душном навозном хлеву и вместе с деревенской ведьмой вызывал неведомого Старика. Вербин представил лица своих знакомых, застань они его за этим занятием, и едва удержался, чтобы не засмеяться вслух.

— Хлебни,— баба Аглая протянула ему чашку.

Он взял ее в руки и поднес к носу — тяжелый запах кружил голову.

— Не отравлюсь? — спросил он с усмешкой.

— Живо! — повысила голос Аглая.

Вербин глотнул и почувствовал терпкую, вяжущую горечь.

— Что это? — спросил он, морщась.

— Узнаешь,— ответила Аглая, становясь у него за спиной.

Он почувствовал головокружение, его тело, колода, на которой он сидел, стены, крыша, полумрак, хлев и весь мир потеряли устойчивость, стали шаткими и зыбкими и утратили очертания и границы. В ушах держался легкий ровный звон.

— Запомни,— услышал Вербин над головой голос Аглаи. Голос был гулким, словно она говорила в трубу, и отдавал металлом.— Запомни. Должно взять травы плакуна, но не с черным корнем, как вся трава, а найти особую, с белым. Должно опоясаться шелковым пясом, и привесить ту траву на тот шелк. Должно смешать озими, взятые с трех полей, увязать узлом, а узел связать с головой змеи, которая должна висеть на гайтане вместо креста. Должно сорочку на ночь перенадеть на левую сторону, взять горшевик и ночью в хлеву завязать глаза им, сложенным вчетверо. Должно плотно затворить дверь и сказать: «Суседушко, домоседушко, раб к тебе идет, низко голову несет; не томи его напрасно, а заведи с ним приятство, покажись ему в своем облике, заведи с ним дружбу, сослужи легку службу». Запомнил?

— Запомнил,— ответил Вербин, испытывая слабость и головокружение. Ему показалась, что голос его прозвучал громогласно, на всю деревню.

— Запомни,— продолжала Аглая,— должно слова эти повторять до тех пор, пока не запоют петухи. Не покажется Старик, надобно повторить все в другую ночь, он упрямый. Услышав шорох, должно схватить одной рукой корень плакуна, а другой змеиную голову и держать крепко, что бы Старик ни делал. Тогда он покажется. Кто сделает все как надо, может просить Старика о чем хочет, запомни.

Все предметы вокруг меняли очертания. В глазах плыли пятна и полосы, свивались в размытые фигуры и снова расходились. Голова раскалывалась. Иногда безжалостный, ослепительный свет возникал в темном хлеву, и хотя Вербин понимал, что этого не может быть, он прикрывал глаза при вспышках. Временами ему казалось, что в углу кто-то стоит. Через несколько минут стало легче.

— Видел? — спросила Аглая, голос ее потерял гулкость и металл и был таким, как всегда.

— После такой отравы не то увидишь,— раздраженно ответил Вербин.

— Сам взялся, никто не неволил,— ответила Аглая спокойно.— Коли кто попросит свести со Стариком, сделаешь, как я говорила.

— Нет уж, сами! — возмутился Вербин. Он представил себя в этой роли и засмеялся.— Баба Аглая, вы ведь сами не верите...

— Другие верят,— с тем же спокойствием ответила она.

— А без этого пойла нельзя?

— Нельзя,— сказала Аглая кратко.

В этот вечер баба Стеша выслушала его внимательно и осуждающе покачала головой.

— Ишь как... Старик — это домовой. Круто она за тебя взялась да хватко, всю науку передает. Видно, на свое место тебя метит. У самой страсть людей в страхе держать, и тебя к тому понукает. Кто в страхе, над тем она власть имеет. Аль тоже желаешь?

— Нет,— засмеялся Вербин,— мне только б меня не трогали.

— Смотри, власть — она человеку в сладость, на нее многие падки. Сам не заметишь, как в охоту войдешь.

— Не войду,— улыбнулся Вербин.

— Хочется Аглае верх иметь, а как? Не будут ее бояться — власти и нет. Оттого она и продала душу в молодости, чтобы все боялись ее. На власть многие зарятся. Тщатся, да не по всяк ум она. И то сказать — не умом держится.

— Чем же? — спросил Вербин. Он давно не слушал с таким интересом.

— У кого душа на добре не замешена да на добре не взошла, тому власть над людьми нипочем давать нельзя. Не оберешься горя-беды.

— Вы и меня к таким причисляете? — усмехнулся он снисходительно, с привычной иронией и как бы не всерьез, не придавая значения, но это была ложь — его ирония и снисходительность, он сам почувствовал, что это ложь, ложь и притворство, один вид, а на самом деле все было всерьез.— И меня?

— Меня, меня...— попеняла она с легкой досадой.— Все о себе...— Она вздохнула и посмотрела ему в лицо.— Ты человек не злой, да против зла рукѝ не поднимешь. А

такие еще страшней, они пособляют. Злой, он на виду, где ты смолчишь, вот он свое и возьмет.

Вербин не шевельнулся. Смотрел на нее и не двигался. Он понимал, что все, что бы он ни сказал, будет суесловие и никчемность. Внутри червоточила тревога, скреблась едва слышно, без боли,— на боль не было сил.

Он испытывал тошнотворную пустоту и усталость, но вместе с тем и какое-то болезненное облегчение, как сознавшийся преступник,— сейчас, здесь ему объявили приговор, и можно было наконец уйти, убраться и зализывать рану.

— Грех,— сказала баба Стеша в печали и как бы подводя всему итог. Она помолчала, вздохнула и заговорила вдруг другим, будничным голосом: — Ты знай, домовой зеркала не любит. Ты возьми себе махонькое или сколок какой, при себе держи, все ж защита. Сорок он тоже не любит, ни живых, ни мертвых, не в ладах они. В давние времена на конюшне сороку убитую вешали, чтоб он лошадей не портил. Так ты возьми себе перышко, я тебе дам.

И в третий раз поразился он в этот день: по-прежнему и несмотря ни на что ее заботила его безопасность. И хотя она предостерегала, а он не внял, баба Стеша старалась помочь ему и спасти.

Два дня ее не было видно, на третий она сама подошла к нему и протянула мятую, оплывшую свечу.

— Я ее под образами скатала. Стояла с ней в страстную пятницу, а в субботу и в воскресенье ходила с ней к заутренней. Сделала как положено. Возьми, ежели ее зажечь, домовик с места не тронется.

Вербин взял свечу. Он не посмел ни улыбнуться, ни отказаться — взял и кивнул в знак согласия.

Вечером он смотрел по телевизору хоккей, трансляция шла из Канады. Хозяйка неслышно ступала за его спиной, иногда останавливалась и смотрела на экран, где носились по полю игроки, сшибались, и дрались, и сломя голову, не жалея себя, кидались вперед.

Старуха безмолвно смотрела на экран. Чужие, далекие ей люди следили там за игрой, точно решалась их жизнь, обмирали и то и дело воздевали вверх руки и кричали, забыв обо всем. Баба Стеша как будто силилась понять все их заботы, горе и радость, лицо ее выражало усилие и немой вопрос.

— Баба Стеша, вы знаете, как передача идет? — спросил Вербин.

— Как?
— По спутнику, через космос... На весь мир.
— А-а...— покивала она.
— А вы говорите — ведьма, домовой... Время другое.
Она глянула на него и улыбнулась.
— Свет большой, все умещается. В одном человеке и то просторно как. Он тебе и умный, и глупый, и хитрость свою имеет, и рубашку отдаст... В человеке разное уживается, а уж на свете... Там тебе спутники, а тут...— Она вдруг умолкла и пристально посмотрела в окно.
— Что? — спросил Вербин.
— Почудилось, смотрит кто-то,— ответила она.
Он быстро приник к стеклу, отгородившись ладонями от света, но ничего не увидел. Тогда он вышел во двор и остановился, прислушиваясь. Беззвучно темнели немые дома. Деревня хранила тишину, лишь слабый шелест листьев доносился с деревьев. Вербин постоял и вернулся.
— Показалось,— сказал он.
Баба Стеша перекрестилась, потом задернула занавески и перекрестила их и окно.
— Может, и не показалось,— сказала она, думая о чем-то.
Вербин глянул на нее — она явно была озабочена — и стал смотреть на экран. В Канаде при ярком свете всех фонарей без устали носились по льду игроки в промокших от пота рубашках, на трибунах кричали зрители. Трансляция велась сразу на многие страны, мир действительно был большим.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1. Утром на другой день Вербина позвали в контору колонны — трест вызывал на связь. Возле конторы слонялись стайки деревенских собак, сквозь открытое окно доносились сменяющиеся голоса, треск, обрывки музыки: радист шарил стрелкой по шкале.
Родионов уже был на месте, оставалось несколько минут, но все молчали, и было видно — каждый готовится к худшему. Потом радист надел наушники, нашел нужную частоту, и вдруг сонливость его пропала, он встрепенулся, назвал позывные и повысил голос:
— Как слышите? Прием...— Он протянул Вербину телефонную трубку.— Управляющий...

— Алексей Михайлович, вы меня слышите? — донесся сквозь шум и треск далекий голос.

— Слышу, Максим Иванович,— Вербин напряг голос.

Федька, стоя в углу, напряженно смотрел Вербину в лицо; Родионов вдруг встал, прикрыл дверь и снова сел на место, он заметно волновался.

— Алексей Михайлович, как дела? — спросил управляющий.

— Нормально, работа идет.

Родионов внимательно слушал, на лице его, как и месяц назад, когда Вербин увидел его в кабинете управляющего, держалось выражение робости и тревоги, он всегда испытывал беспокойство, если о нем вспоминали в тресте; сейчас он смотрел Вербину в лицо, стараясь угадать, о чем идет речь.

— Алексей Михайлович, я получил письмо от бригадира Колыванова. Он пишет, что колонна не выполняет задание.

— Колонна работает. План выполняется, показатели хорошие.

— Да, но не там. Колыванов пишет, что работа идет на пойменных болотах и технику постоянно перегоняют с места на место.

— Максим Иванович, по проекту колонна должна сушить и низинные болота в пойме, и Марвинское болото. Очередность работ определяют сами строители, это их право.

— Какое там право! В пойме мы успеем, там много не возьмешь. А на Марвинском болоте и технику легче подогнать, и работать удобнее, а главное — выгоднее. Мы заинтересованы в Марвинском болоте.

— Местный колхоз просил осушить пойменные болота у реки, им там нужна земля под поливные огороды. Верховое болото они просили сохранить. Я изучил его: осушение может нарушить водный и биологический баланс.

Радист неожиданно щелкнул тублером, голос управляющего донесся из динамика:

— Алексей Михайлович, вы меня удивляете! Производственные интересы треста требуют...

— Максим Иванович, колхоз направил обоснованные просьбы о пересмотре проекта.

— Тем более надо спешить! Мы заинтересованы именно в этом проекте. Вы меня слышите?

Родионов перевел взгляд с динамика на Вербина и ждал.

— Я спрашиваю: слышите?! — напористо повторил управляющий.

— Слышу,— ответил Вербин.

— Вам все понятно? Алло... Понятно?!

— Понятно,— сказал Вербин, испытывая досаду и в то же время скуку, злость и желание поскорее покончить со всем.

— Вот и прекрасно. Наверное, это Родионов воду мутит?

Начальник колонны, прищурившись, смотрел на Вербина и ждал, на лице его появилась усмешка.

— Алексей Михайлович, Родионов? — повторил вопрос управляющий.

Вербин повернул голову и, не отвечая, взглянул на Родионова. Тот снова усмехнулся, покивал понимающе и решительно взял трубку.

— Алло! Это я, Родионов! Я приказал начать с низинных болот в пойме реки. Приказ свой не отменю. И пока я начальник колонны, я никому не позволю вмешиваться. Хотите — увольняйте. Все! — С резким стуком он положил трубку.

— Конец связи,— сказал в микрофон радист и выключил рацию.

Было тихо. Федька понуро стоял в углу и жалобно смотрел на Родионова. Тот все еще стоял возле стола с рацией и выглядел усталым, словно после тяжелой работы. Постояв, он тяжело, как старик, побрел к двери, на пороге обернулся, и на лице его снова появилась кривая сожалеющая усмешка.

— Напрасно, Алексей Михайлович, вы думаете отмолчаться. Тут либо «за», либо «против». А середины нет.— Он вышел, прикрыв за собой дверь.

На улице возле конторы озабоченно сновали собаки, в траве рылись куры. На скамье под окном, застыв, сидел старик глухонемой; непонятно было, как он здесь оказался и что делал,— впрочем, он ничего не делал, просто неподвижно сидел с обычным отсутствующим видом.

«Пора»,— подумал Вербин, имея в виду отъезд.

Он медленно брел по улице, вокруг было тихо и пусто, лишь в редком дворе можно было увидеть старика или старуху. Он подумал, что вся эта чужая и далекая от него

жизнь, к которой он приблизился ненароком, с его отъездом снова канет в небытие, вернее, она будет продолжаться ровно столько, сколько нужно, чтобы стереться из памяти.

Он медленно шел, озираясь. Решив ехать, он вдруг все вокруг увидел другими глазами — издали, без привычки и неожиданно, как бы в последний раз.

Медленным шагом он дошел до леса, пересек край болота и вышел к оврагу, над которым висел узкий мостик. Снова, как прежде, он почувствовал чужое внимание, чей-то посторонний взгляд, но теперь это не имело значения: он уезжал, и все становилось прошлым. Он подумал, что не часто будет вспоминать этот лес, его странное свойство, неусыпное, пристальное внимание, ощущение чужих глаз — реже, реже, пока не забудет вовсе. И лес, стоящий сейчас вокруг, наполненный неумолчным живым шумом, простирающийся бескрайне, исполненный одушевленной, волнующей силы, исчезнет бесследно, как будто его и не было. Он перестанет существовать, потому что того, чего мы не помним,— нет.

Вербин приблизился к дому лесника, еще издали он заметил, что во дворе никого нет, постоял в зарослях, а потом стал за кустами обходить усадьбу. Он обошел все подворье, нигде никого не было, и он стал на свое обычное место позади густого ольхового куста, за которым скрывался всегда, когда приходил сюда: отсюда были хорошо видны дом, амбар и сарай. И вдруг каким-то боковым зрением он увидел — не увидел, а скорее чутьем, проснувшимся в нем за время скитаний по лесу, угадал внезапно кого-то рядом. Он резко повернул голову и замер: здесь же, за кустом, лицом к Вербину стояла Даша.

Она стояла так, словно давно поджидала его, как будто они заранее сговорились встретиться здесь.

— Здравствуйте,— сказала она просто, точно они не раз встречались.

— Здравствуйте,— ответил он неловко.— Я мимо шел...

Она посмотрела на него ясным взглядом и неожиданно сказала:

— Будет вам хорониться.

Вербин остолбенел. Он понял, что она знает о его тайных приходах сюда, смутился и не знал, что сказать.

Они молча постояли на месте и так же молча, не сговариваясь, побрели в лес.

2. Даша и Вербин медленно шли по лесу. Густая высокая тень окружала их, прорезанная во всех направлениях солнечными лучами, в которых слегка дымился воздух, солнце вспыхивало слепяще и гасло в кронах деревьев. Лес напоминал огромное, с высокой крышей, тенистое помещение, в которое сквозь щели и отверстия с разных сторон проникал свет, открытые поляны были просто затоплены светом.

Голоса невидимых птиц звучали громко и внятно в ёмкой тенистой глубине, легкий, парящий шум бежал по деревьям из края в край леса.

Вербин все еще испытывал неловкость. Он озирался, щурился, глядя вверх, и был смущен и рассеян. Даша остановилась и прислушалась: сильный и звонкий птичий голос, возникший из общего гомона и звучащий отдельно от него, отрезанно или как бы над ним, катился по лесу.

— Дрозд,— сказала Даша.— Чай пить зовет. Слышите? «Кто скорей... кто ско-рей... чай-пить, чай-пить... Выпьем, выпьем, выпьем... Ну-ка, кто ско-рей...» — Она улыбнулась.— Певун. И насмешник, других птиц дразнит.

— Похоже, будто стихи читает,— Вербин прислушался к медлительному речитативу.

— Стихи? — переспросила Даша и призналась бесхитростно: — Я и не думала никогда.

Они постояли и двинулись дальше.

— Слышите, застрекотал? Это он волнуется,— объяснила Даша.— Наверное, нас услышал. А вот зяблик... Сначала позвал — «пинь-пинь», а теперь запел, на весь лес старается. Тоже любит петь, целый день слышно. Бойкая птичка, смышленая, только драчлив, никого к гнезду даже близко не подпустит. А и то хорошо, о семье думает.— Даша улыбнулась.— А это свиристель...

Из зарослей донеслись негромкие, но высокие и протяжные трели, будто кто-то сыпал на каменные плиты легкие серебряные монетки. Он стоял задрав голову, от игры солнца в листьях рябило в глазах. Ему снова показалось, что все это уже было когда-то — голоса птиц, солнечная рябь, лес, он сам, стоящий с задранной головой, и молодая ясноглазая, светловолосая женщина, стоящая рядом. Он не мог вспомнить, когда и где это было, да и было ли,— что-то смутно проступило из времени, показалось на миг и тут же растаяло.

— Даша, вы всех птиц знаете? — спросил Вербин.

— В нашем лесу всех,— ответила она.

— А растения?
— Только наши, чужих не знаю.
Они вышли на поляну, заросшую высоким кипреем.
— Это иван-чай,— сказала она.— Из него полотно ткать можно, веревки вить, муку для лепешек толочь, мне мама говорила, в голодные годы все им спасались. Он и лес от пожаров лечит, пепелища затягивает.
— А почему чай?
— Из него чай хороший. Вкусный, душистый... А вот эта травка чистотел. У нас говорят — ласточкина трава, от веснушек помогает.
— А от комаров? Меня здесь комары замучили...
— От комаров другие травы. Мы пижму рвем — ни комаров, ни мошек, ни мух. А можно еще бузину, тоже помогает.
— Откуда вы все это знаете?
— В лесу живу,— улыбнулась она.
— Не скучаете?
Она молча и серьезно подумала и покачала головой.
— Осенью грустно,— сказала она тихо,— когда дождь долго идет. В этом году тоже затянет.
— Почему вы думаете?
— Знаю... Если на Мефодия дождь, потом сорок дней будет. Хоть раз в день да капнет. А Мефодий завтра.
— А вдруг завтра не будет дождя?
— Будет. Теплый,— сказала Даша.— Ворон в лужу макнулся, галки стаей высоко кружат, гуси в воде полощутся. Ночью облако светлое около месяца было да круг в нем, это к частым дождям.
Она, как и баба Стеша, знала погоду заранее.
— Интересно,— сказал Вербин.— А на лето вы погоду знали?
— На Григория, в январе, иней большой был, к теплому лету. Потом Евдокия в марте, ее еще Плющихой зовут. Какая Евдокия, такое и лето. Если в этот день тепло, то и летом тепло, а если мокро, то и летом так. А в мае Мокей указывает, его мокрым зовут. На Мокея мокро — все лето мокро. В мае и Пахом. На Пахома тепло — все лето теплое будет.
— Вы все дни так знаете?
— Что ж тут знать,— улыбнулась Даша.— За Евдокией Федот. На Федота если снег занесет, долго травы не будет.
— А ваш день когда?

— Дарья апрель начинает, первое число. На Дарью прорубь темнеет. Алексей март заканчивает, тридцатое: В этот день вода с гор бежит и рыба после зимы просыпается.

— Неужели?! — поразился Вербин.— А перед Алексеем?

— Трофим,— ответила она спокойно, но нехотя.

— Трофим? — удивился Вербин.— Где-то я на днях уже слышал это имя. Ах, да!..— Он осекся: это имя называла Аглая в заговоре-отсушке. И вдруг ему пришла в голову одна мысль.— Даша, у вас ведь есть знакомый с таким именем?

Она ответила не глядя на него и немного замкнуто:

— Есть.

— Значит, Трофим перед Алексеем? — улыбнулся Вербин. Даша не ответила, он почувствовал неуместность своей фразы и веселости тона.— Мы с вами рядом стоим, один день разделяет,— попытался он исправить ошибку,— тридцать первое только.

— Кирилл,— сказала Даша.

Это было непостижимо: Кириллом звали ее отца.

Они прошли несколько шагов, и вдруг Вербин остановился:

— А откуда вы знаете мое имя? Я вам не говорил.

— Знаю,— ответила она спокойно и замолчала, как будто прекратила разговор.

Они продолжали идти молча и медленно, лес окружал их со всех сторон и, казалось, чутко смотрит и ждет.

— Вы поедете скоро? — неожиданно спросила Даша.

— Да, хотел...— неопределенно ответил Вербин.— Пора.

— Завтра? — Она шла, не поворачивая головы, и как будто старалась не смотреть в его сторону.

— Не знаю. Наверное... Мне здесь уже делать нечего.

Она промолчала. Он сказал это не задумываясь, вне связи с ней, но, сказав, сразу понял, что говорить так не следовало: хоть не было никакой определенности, ничего явного, даже скрытого, но уже таилась для нее в этих словах неведомая обида.

Больше она ничего не спросила, они вообще не говорили на эту тему. Вербин стал расспрашивать ее о растениях и приметах погоды, они продолжали идти, беседуя о другом, но отголосок прежнего разговора всю дорогу витал

где-то рядом. Вербину продолжало казаться, что все это уже было прежде, неизвестно когда,— размытая, едва различимая картинка из непонятной дали: просторный лес, пестрая, в пятнах света, тень, извилистая тропинка, солнечные блики, гомон птиц и голос, принадлежащий женщине с легкими светлыми волосами; картинка держалась невесомо на краю сознания, не прорезалась внятно, но и не исчезала.

3. На другой день, третьего июля, Вербин и Родионов с утра отправились на слани. Они прошли по гребню отвала свежего дренажного канала, наблюдая за работой. Рев моторов наполнял низкую местность, по всей пойме были видны работающие в излуках реки машины.

— Николай Петрович, может, стоит перебросить, пока не поздно? — спросил Вербин.

— Поздно. Да и потом я уже решился. Знаете, я человек... как бы это сказать... одним словом, не герой, железа во мне мало. Да и риска боюсь, дров страшусь наломать. Решаюсь я долго, мнусь, сомнения меня одолевают... Семь раз отмерю, а так и не отрежу. С духом собираюсь трудно, но если уж собрался, стараюсь не пятиться. Хуже нет — вперед дернуться, а потом назад. Если, конечно, ошибку не увидел. А здесь чем дальше, тем больше себя правым чувствую.

— Не боитесь? — спросил Вербин, посматривая вверх: небо вдали потемнело, край далекой тучи медленно полз в сторону реки.

— Как сказать... Боись не боись — назвался груздем... Я в общем не из тех, кто пан или пропал, да и грудь в крестах мне не нужна. Иной раз задумаешься: понятное дело, на рожон лезу, а что делать? Тут не о себе речь, да на всякий спотык соломы не напасешься. Приходится до конца свое гнуть. По собственному желанию я не уйду, а по статье, приказом вряд ли решатся, я в суд подам. На это они не пойдут — скандал... Опять же к проекту тогда повышенное внимание, а этого они не хотят. Так что шуму, я думаю, они не поднимут, но жать, понятно, будут. Нам бы только ответа дождаться, пересмотра...

Они вышли к краю пойменного болота, пионерное осушение здесь уже провели, вода спала, и дренажные экскаваторы рыли траншеи, укладывая на дно керамические дрены. Туча форсировала реку и неумолимо затягивала не-

бо над прибрежными лугами, где работали крестьяне — издали были отчетливо заметны цветные платья и косынки.

— Надо уходить, сейчас дождь будет,— сказал Вербин.

— Вы идите, у меня еще дела здесь,— ответил Родионов и направился к рабочим, готовившим дрены к укладке.

Вербин пошел к лугу. Гул моторов за спиной удалялся и стихал. Болото кончилось, даже сквозь сапоги Вербин почувствовал проволочную жесткость свежей стерни. Послышались раскаты грома, упали первые капли.

«Теперь сорок дней будет лить»,— подумал Вербин, ловя себя на мысли, что невольно уже верит в это. Как и баба Стеша, Даша оказалась права. Он ускорил шаги, капли посыпались чаще, дождь набирал силу. Возчики, сгребавшие конными граблями разметанные по лугу остатки сена, подняли зубья грабель и погнали лошадей вскачь. С визгом и смехом разбегались по копнам женщины. Вербин быстро шел под дождем, втянув голову в плечи.

— Эй, городской! — окликнул его из копны женский голос.

Варвара сидела, зарывшись глубоко в сено.

Вербин приблизился.

— Что мокнешь? — спросила она.— На лугу уже все попрятались, только за дальними копнами мелькали последние разбегающиеся фигуры.— Дай-ка руку.— Варвара протянула ему ладонь, схватила его и с силой втянула в копну.

Они сидели рядом, молчали, дождь шарил вокруг, сбиваясь поодаль в сплошную водную мглу.

Варвара вдруг обняла его и, прижавшись, поцеловала в губы долгим сильным поцелуем, у него даже дыхания не хватило. Потом она успокоилась и сидела, держа его руку; они не шевелились.

Вербин наклонился вперед, исподлобья глянул вверх.

— Не переждать,— сказал он, оглядывая небо.

— А ты спешишь? — насмешливо спросила Варвара, выпустив его руку.— Или худо тебе?

На лугу под дождем бродил среди копен возчик Прохор.

— Где Варька? Бабы, Варьку не видели? — спрашивал он, всматриваясь в фигуры под копнами.

В ответ раздавался смех и неразборчивые в шуме дождя громкие веселые голоса.

— Варьку не видели? — нагнулся Прохор к следующей копне.

— Не уследил? — засмеялись женщины.— Плохой из тебя, Прохор, сторож! Зазнобу не устерег!

— Ну, это мыслимо ли дело! — подал голос из-под соседней копны другой возчик.— Ее устеречь — сторожей не хватит. Всем колхозом не устережем!

Прохор шел от копны к копне, одежда его насквозь промокла, волосы слиплись, струи воды текли по лицу, как будто он заливался слезами; он морщился, то и дело утирался ладонью, но, чуя неладное, поисков не прекращал.

— Что ты молчишь все? — спросила Варвара у Вербина.— Только я одна и говорю. Вроде как за двоих. Ты свое скажи... или сделал бы что... Учи тебя! — произнесла она с досадой.— А спрашивать, так и вовсе без пользы — не ответишь.— Она помолчала.— Не пойму я тебя, мужик ты видный, здоровый, а вот... — Она вздохнула огорченно.— Ласки хочется. Как-то у нас с тобой ни два, ни полтора. Ежели по душе я тебе, так люби меня. А нет, так и скажи. Мне тебя вроде понукать приходится. Ты как девочка нецелованная: и хочется, и колется, и мама не велит.

Прохор подобрал с земли вилы и двигаться стал проворнее, на лице его появились злость и отчаяние. Ругаясь, он обегал ряды копен, тянувшиеся через луг.

Вербин и Варвара сидели не шевелясь и смотрели на потоки воды, молотившие землю.

— Алеша...— ласково и жалобно позвала Варвара, глядя на него сбоку.— Алешенька...

— Где она, стерва?! Покажите мне ее! И его покажите! Я им дам ласки-забавы! — метался между копнами с вилами в руках Прохор. Голос его то доносился издали сквозь шум дождя, то пропадал.

Они сидели не двигаясь и молчали. И вдруг в пелене дождя неведомо откуда и как возникло лицо Даши — Вербин сначала даже подумал, что ему почудилось,— она застыла и не отрываясь смотрела на них расширенными, немигающими глазами.

— Ну что уставилась?! — зло спросила Варвара.— Что надо?! Не видела?!

Даша отступила на шаг, потом еще, ее лицо потеряло отчетливость, стало нерезким, размытым в струях воды и больше угадывалось, чем было видно; только широко открытые глаза какое-то время выделялись зрачками из гущи ливня, потом и они исчезли.

Вербин встал и сделал вперед несколько шагов. По всему лугу гулял дождь. Вербин увидел ряды копен, лес, бегающего с вилами Прохора, но Даши не было нигде, словно она растворилась в дожде.

— А, вот они! — заметив его, закричал Прохор и побежал к нему, тряся вилами на бегу.

Продолжая бежать, он взял вилы наперевес, точно шел в штыковую атаку. Он уже был близко, когда из-за копны неожиданно появилась Варвара. Прохор остановился, не добежав.

— Ты что это вздумал?! — спросила она грозно. Он опешил и молчал, тяжело дыша.— Я тебя спрашиваю: очумел?!

Она шагнула вперед, вырвала у него вилы и, размахнувшись, с силой ударила его черенком пониже спины. Прохор дернулся, косо изогнулся и отступил, она пошла за ним, гоня ударами впереди себя; при каждом взмахе он вздрагивал и пятился, стараясь увернуться. Не обращая внимания на дождь, из копен вылезли зрители, все смеялись и что-то кричали, но Вербин уже не слышал — он быстро шел в сторону леса.

4. Дождь вскоре кончился, показалось солнце, в лесу влажно заблестели листья и трава, на ветках повисли светлые, прозрачные капли, и каплями украсились тонкие паутины. Вербин вышел на поляну, окруженную густыми зарослями.

— Даша! — позвал он.— Даша!..

Но ее нигде не было, он пересек открытое пространство и, озираясь, стал прочесывать чащу — ее нигде не было. Уже потеряв надежду, он повернул назад и вздрогнул: с отсутствующим видом она стояла, прислонясь к стволу большого дерева.

— Даша...— сказал он с какой-то виной.

Она молча покачала головой, то ли не приняла оправданий, то ли просила не говорить.

Во всем этом была некая странность. Странность состояла в том, что по внешней причине вины за ним не бы-

ло, они оставались чужими, едва знакомыми людьми, не обязанными друг другу ничем, и он был волен в поступках, как и она, ни права на упрек, ни тем более на осуждение никто из них не имел; но вот по неизвестной, необъяснимой, не называемой вслух и в мыслях причине угадывались и вина, и упрек.

— Вы были правы,— сказал он и умолк.— Сегодня пошел дождь.

Она ничего не сказала. Молчание подчеркивало странность положения, и он спросил, чтобы не молчать:

— Теперь на сорок дней?

— Вы идите,— попросила она неожиданно.

— Даша, но я...

— Я вас сама позову,— остановила она его.

Он посмотрел на нее и покорился, медленно пошел из леса.

— Не простыньте,— сказала она вслед, и это тоже было для него неожиданностью.— Заварите мать-мачеху и пейте.

Он обернулся, кивнул и, почувствовав облегчение, улыбнулся и пошел дальше.

После захода солнца Вербин, как обычно, отправился к Аглае. На кухне у нее сидел глухонемой старик и ел щи. Заметив Вербина, он застыл, держа ложку, и сидел не двигаясь, опустив голову и глядя в стол; пар из тарелки окутывал его лицо.

— Кормлю,— объяснила Аглая.— Зайдет иной раз, трав принесет, я и покормлю горячим.

— Ешь, старик, я тебе ничего не сделаю,— сказал Вербин, поворачиваясь к нему спиной.

Но старик не шевельнулся и продолжал сидеть, не меняя позы.

— Что это с ним? — спросила Аглая.— Ты пройди в горницу, пусть ест.

Вербин послушно вошел в комнату и сел, сквозь окно он увидел, как глухонемой быстро идет огородом к лугу.

— Не доел,— входя, сказала Аглая.—Бросил, ушел...— Она посмотрела на Вербина.— Свел знакомство?

— С кем? — не понял Вербин.

Она не объяснила, лишь смотрела на него ожидающе, он вспомнил и улыбнулся.

— Вы-то здесь при чем?

— Как знаешь, твое дело. А я помню, что обещала, мое слово крепкое. Познакомились — теперь можно и дальше.

— Это мы уж сами решим.

Она не стала с ним спорить. В этот вечер она учила его травам. Начала она вяло, как бы больше по обязанности, чем по желанию, но потом, он почувствовал, она стала разгораться, голос ее окреп, и она, раскачиваясь немного и прикрыв глаза, повела рассказ о травах.

Она показала ему корень адамовой головы, возвышающий того, кто владел им, над прочими людьми, показала одолень-траву, побеждающую сердце женщины, показала девятисил, заключающий в себе девять сил земли.

Он видел, как, ведя рассказ, она постепенно забывает себя и как бы воспаряется духом, лицо ее становилось все более отрешенным, и спустя время оно уже напоминало маску, похожую на ту, какую он видел однажды в ночном окне.

Разрыв-трава, взятая в левую ладонь, побеждала любые запоры. Истолченная в порошок трава железняк, будучи брошенной между говорящими, вызывала ссору. Ятрышник, называемый также кукушкиными слезками, порезанный мелко и добавленный к овсу, ускорял бег лошади.

Раскачиваясь с закрытыми глазами, эта тучная, задыхающаяся старуха час за часом без устали вела свой рассказ. Казалось, она забыла о своей болезни и немощи. Из неразличимой глубины времени являлись слова о силе земных трав.

Домой Вербин вернулся поздно, хозяйка поджидала его, не ложась спать.

— Много она тебе рассказала,— заметила она, выслушав его рассказ.— Да много и утаила. Вишь, что во вред людям, показала, а что на пользу, про то молчок. А может, и сама не знает или забыла. Добра-то не делает, вот и забыла.

Теперь уже другая старуха повела рассказ. Оказалось, та же трава одолень побеждает не только сердце женщины, но и болезнь или оговор; девятисил, сорванный накануне Иванова дня, до восхода солнца, высушенный, истолченный, а после зашитый в одежду любимой, помогал ей сохранить верность, чернобыльник, добытый в конце августа или в начале сентября и зашитый в шкурку молодого зайца, придавал человеку легкость и быстроту бега, чистотел, носимый при себе, помогал жить со всеми в ладу и всегда быть правым в суждениях, трава блекота, пока человек держал ее в руке, прогоняла страх...

Они легли в середине ночи, но хозяйка долго не могла уснуть, ворочалась и тяжело вздыхала, одолеваемая мыслями. Должно быть, ее обуревали заботы о постояльце и о других людях, которых она знала, заботы томили ей душу и не давали спать.

Вербин тоже уснул не сразу. Две старухи боролись у него на глазах. Привыкшая ложиться рано баба Стеша с тех пор, как он стал ходить в соседний дом, ни разу не легла, не дождавшись его. Она не могла лечь, не выспросив всего и не защитив его от злой силы. Вербин даже заметил в ней какое-то нетерпение: когда он приходил и приступал к рассказу, она оживлялась, старческие, выцветшие ее глаза на время приобретали темный блеск и живость. Она и говорить начинала громче, и двигалась быстрее, а потом долго не могла уснуть, разгоряченная борьбой, ее до утра жгли бессонные мысли.

Проснувшись, она чувствовала себя разбитой и обессиленной, вставала с трудом и целый день была вялой; целый день она как бы копила силы, разжигая и взбадривая себя к вечеру, когда ее ждал ратный труд.

Аглая тоже отлеживалась целый день, насилу поднималась, расходясь к закату. Ничего не проходило даром: вдохновение и страсть борьбы сжигали обеих старух. Эта война требовала от них напряжения всех слабых, а может быть и последних жизненных сил.

5. На другой день Вербин снова отправился в лес. Даша была дома одна, Кирилл объезжал кордон. Она вышла к Вербину в легком домашнем платье, плечи и шея ее были открыты, чистая кожа светилась на солнце, пушистые легкие волосы, казалось, сами испускают свет, и, как всегда, от нее исходило ощущение свежести и прохлады. Ни малейшей хитрости и лукавства, никакой задней мысли не было в ее взгляде, она держалась естественно и просто. Даша улыбнулась, не скрывая своей радости оттого, что видит его, и призналась бесхитростно:

— Я ждала вас.

— Вы — меня? — Он даже почувствовал волнение при виде такой откровенности.

— Да, я знала, что вы сегодня придете.

— Откуда?

— Просто я очень захотела.

Он смешался и не знал, что сказать. Ее бесхитростность не оставляла другой возможности, кроме искренности, обманывать ее было нельзя.

— Вы пили мать-мачеху? — спросила вдруг Даша.

— Нет. Даша, а почему такое название?

— Из-за листьев. Снизу мягкие и теплые, а сверху твердые и холодные. Одна сторона греет, а другая холодит.

Они медленно шли рядом, он ловил себя на том, что испытывает волнение, с ним давно уже, много лет, не было ничего подобного.

— В деревне все боятся болота, даже меня предупреждали,— сказал он.

— Я не боюсь,— улыбнулась Даша.

Они вышли к болоту. Даша приложила палец к губам и бесшумно раздвинула заросли: в густой траве он увидел гнездо, рядом сидела маленькая птичка, перья ее были сверху оливково-бурыми, снизу беловатыми, голова тянулась вперед, а острый хвостик имел вид клинышка: «чер-чер, чер-чер...» — повторяла она быстро и отрывисто.

Даша коснулась губами его уха и прошептала:

— Это камышовка...

Из травы донеслось торопливое мелодичное посвистывание, легкие щелчки, и вдруг прекрасная песня разнеслась над болотом. Казалось, поет не одна камышовка, а десяток певчих птиц слетелись в одно место на спевку. «Тюли-тюли...» — выводил чиж. «Вэд-вэд-вэд...» — пела славка. «Кру-цикру-цикру...» — вступала большая синица, а еще были здесь зяблик, щегол, зеленушка, черноголовка, и только отчетливое «чек-чек» после каждого голоса говорило о том, что это все та же маленькая камышовка.

Даша повела его за собой. Вскоре они вышли к пологому холму, с вершины которого открылась травяная равнина. В траве были видны маленькие открытые плесы, заросшие кувшинками и кубышками и окруженные тростником и рогозом. Даша подвела его к ближайшему плесу: Вербин увидел сплетенные из старой травы и веток хатки ондатр, время от времени появлялись бурые зверьки, плыли, оставляя за собой в стоячей воде след, и часто ныряли, чтобы вынырнуть с пучком рдестов во рту. По соседству он увидел кормящихся уток, они втыкались головой в воду и, стоя вверх гузком, быстро перебирали лапками. На следующем плесе Вербин увидел бобров, которые грызли ствол ольхи.

— Я ничего раньше не видел,— сказал он.

— Потому что вы здесь чужой.
— А вы?
— Я своя.
— А как стать своим?
— Вы не станете,— она покачала головой.

Он подумал, что она права, ему не стать здесь своим, он вдруг почувствовал сожаление — почувствовал и удивился: до сих пор он не думал об этом и испытывал безразличие, как если бы он не мог стать своим в далекой стране, куда он к тому же и не стремился.

— Я хотел вас спросить... Мне тут один человек как-то повстречался...

— Трофим,— кивнув, подтвердила Даша. Она оставалась спокойной, но в лице ее появилась печаль.

— Это тот Трофим, который в марте перед Алексеем?— улыбнулся Вербин.

— Грозился? — спросила Даша, не приняв его веселости.

— Пытался.

Она долго молчала. Вербин шел рядом, посматривая на нее сбоку.

— Он жениться на мне хотел,— неожиданно сказала она.

Вербин удивленно посмотрел на нее и не знал, как быть с такой откровенностью.

— А вы? — спросил он.
— Я сначала согласилась, а потом отказала.
— Почему?

Она помолчала, как бы раздумывая, можно ли говорить, но, видно, утаивать она не могла, вздохнула и призналась:

— Вы приехали.

Он вдруг почувствовал тяжкий груз, даже дышать стало трудно, вмиг ощущение забавы и шутливой игры сменилось гнетущей тяжестью: это было слишком всерьез, чрезмерная ноша, тяжесть сдавила грудь и спину.

— Даша, но ведь я...— начал он, понимая, что все слова бессмысленны, но и молчать было невмоготу.

— А мне ничего не надо! — перебила она его.— Мне ничего не надо. Не казните себя, вы не виноваты. Просто я раньше не знала, а теперь знаю.

Он шел молча, опустив лицо. Кожа его воспалилась, он прикладывал к лицу ладонь, чтобы унять жжение. Она призналась ему, а он молчал — молчал, как всегда, когда следовало ответить, но на этот раз молчание его было все же

другим, потому что обычно от него ждали ответа, и он не испытывал вины оттого, что молчит, а сейчас можно было не отвечать, но он испытывал стыд и вину за свое молчание.

Они продолжали идти, занятые своими мыслями, и не заметили, как над лесом появилась плотная грозовая туча. Только первые капли заставили их поднять головы и подумать об укрытии.

— Тут близко шалаш есть,— предложила Даша.

— На берегу? — спросил Вербин.

— Да, его рыбаки сложили.

— Не надо туда идти,— сказал он без объяснений.

Он почувствовал, что не может оказаться с ней в этом шалаше: это было ему не под силу.

Даша не удивилась и ничего не сказала. Они стали под дерево, сухие оглушительные удары били и перекатывались над головой.

— Даша, сколько вам лет? — спросил Вербин.

— Скоро двадцать будет,— ответила она.

Снова, в который раз, он поразился ее серьезности: в ней как бы от рождения существовала заведомая невозможность безудержной веселости, нельзя было представить ее бурно радующейся.

Вербин выглянул из-под дерева и подставил ладонь небу: дождь моросил, но не стихал.

— Придется нам с вами сорок дней под этим деревом провести,— сказал Вербин, вспомнив ее приметы.

Она улыбнулась, а он вдруг настороженно посмотрел вокруг, обводя взглядом заросли.

— Мне иногда кажется, в этом лесу на меня кто-то смотрит,— сказал он.

— Почудилось,— успокоила она его.

Он снова осмотрел кусты и, не обращая внимания на дождь, направился к ним.

— Не надо,— остановил его встревоженный голос Даши. Вербин остановился и обернулся к ней в удивлении.— Дождь уже кончился, пойдемте.— Она приблизилась, мягко, но настойчиво взяла его за руку и повела за собой в другую сторону.

Он покорился и послушно пошел за ней. Она вела его за собой под накрапывающим мелким дождем, и Вербин вдруг почувствовал, что нет никакой возможности ему ехать, вот так взять и отправиться с легкой душой, хотя

никто его уже здесь не удерживал, никто не препятствовал отъезду,— он сам не мог уехать.

Был июль, день четвертый, Иона, Григорий и Федот, как сказала Даша.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1. Он проснулся и стал обдумывать положение. Между Родионовым и трестом началась настоящая война, меньше всего Вербину хотелось брать чью-то сторону. Он знал, что, вернись он сейчас, его тут же призовут под ружье и отправят на позиции — уклониться вряд ли удастся. Против строптивого начальника колонны сейчас, разумеется, собирали и копили улики и обвинения, и Родионов в конце концов окажется перед выбором — уйти или нажить неприятности. Это был старый, испытанный способ, Вербин не раз наблюдал его в действии. На этот раз, пожалуй, остаться в стороне будет труднее всего,— как ни странно, лучше быть здесь, вдали от глаз. Тем временем, думал он, все решится само собой, без его участия; он надеялся, что события придут к своему естественному исходу.

Вербин позавтракал и вышел из дома.

На дворе держался пасмурный, теплый, сонливый день, низкое серое небо сулило близкий дождь. Вербин прошел огороды и луг, на опушке среди мелкого подлеска и кустарника росли кипрей и донник, в краевой некоси луга отчетливо выделялись белые венчики поповника и красный короставник. Вербину пришло в голову нарвать Даше цветов, он подумал, что, может быть, это будут первые цветы, полученные ею в подарок. Он быстро составил букет и направился в лес.

Много лет уже он не испытывал ничего подобного. Это было забытое напрочь, почти юношеское нетерпение, беспокойный зуд, возбуждение, в котором смешались непонятная тревога, надежда, ожидание, даже азарт.

В нем вдруг проснулась забытая давно песенка, бесхитростный мотив, незамысловатые слова... Ему снова было двадцать лет, в голове гулял ветер, волновалась кровь, и можно было убежать в ночь, спорить до хрипоты, не думать о крыше, без стеснения нести чушь и хохотать до упаду.

Он живо дошел до глубокого оврага, над которым висел узкий бревенчатый мостик, торопливо спустился к нему и остановился: на другой стороне стоял Трофим.

Не двигаясь, Вербин быстро ощупал глазами противоположный склон: кроме тракториста, никого не было. Трофим молча ждал и не двигался. Было ясно, он здесь не случайно, намеренно поджидает, и так же ясно было, что сейчас он испытывает противника. На нем были прежние заправленные в сапоги брюки, клетчатая рубаха, вся его высокая фигура выдавала взведенную до упора решимость: будь что будет.

Вербин сразу понял, что у него нет другой возможности, как идти через мост. Не пойди он сейчас, больше не сможет он ходить в лес и видеть Дашу. Останется лишь уйти и уехать.

Это будет поражение без боя, оставленная без сражения территория, брошенные позиции, отступление без битвы, война, проигранная до начала.

Он медленно спустился к бревнам и внешне спокойно, независимо даже двинулся вперед. Внутри у него все застыло от напряжения, он шел, не спуская глаз с противника, стараясь не упустить ни одного его движения. Со стороны все, должно быть, выглядело обычно: один человек переходит мост, а другой его ждет.

Вербин шел, шел, мост никак не кончался, неизвестно было, есть ли у него вообще конец.

Он перешел мост и остановился: Трофим стоял перед ним. Они смотрели друг на друга и молчали.

— Повадился кувшин по воду ходить,— мрачно сказал Трофим.

Вербин не ответил. Внимание его было направлено на то, чтобы не пропустить внезапного нападения.

— А ведь я предупреждал,— с каким-то усталым сожалением заметил тракторист.— По-хорошему хотел.

— Дорогу,— как можно спокойнее сказал Вербин.

— Спешишь? Вон даже цветочки припас,— понимающе покивал Трофим.— А вот я ни разу не догадался. Красиво подступаешь, с умением.

— А вы следите,— с неодобрением отметил Вербин, и вдруг его осенила догадка:— Слушайте... вы следите?

— Много чести! — тракторист угрюмо усмехнулся.— Я по углам не хоронюсь. Я при всех могу посчитаться, открыто.

— Не дури,— примирительно сказал Вербин.— Я-то здесь при чем?

— Ты?!— закипая, с яростью спросил тракторист.— Ты?!— он продолжал сбивчиво.— А при том, что ты встрял

между нами! Я жениться на ней хотел... Для меня судьба, а тебе игра. Что тебе наша жизнь?! Что ты в ней понимаешь?! Знаю я таких... Напустит туману: ах, я не такой, я другой, меня понять нужно... Понимаем! Головы морочите. А чуть что — в кусты! Что, приключений захотел?! Скучно стало?! Приехал, наследил и поехал себе?!— Он умолк, помолчал, потом вздохнул и сказал глухо: — Всё. Последний раз. Больше говорить не будем.— Трофим повернулся и тяжело, устало, горбясь как-то, пошел вдоль оврага, в лес.

Вербин постоял и побрел в другую сторону. От радостного нетерпения не осталось и следа, возбуждение его погасло. Он медленно брел по лесу, обнаружил в руке цветы — букет показался нелепым, он бросил его.

Он вяло брел, настроение было под стать дню. Он медленно дошел до кордона, еще издали сквозь кусты увидел Трофима и Дашу: тракторист что-то с жаром и в то же время просяще говорил, она молчала, опустив голову. Вербин пошел прочь.

Страха не было, он прислушался к себе и страха не обнаружил; угроза не испугала его, но неизбежно, сам собой, возник вопрос: зачем? До сих пор он не задавался этим вопросом, не задумывался, следовал за желанием, и все шло само собой, свободным ходом событий, а теперь он взглянул правде в глаза, и трезвый вопрос «зачем?» встал перед ним неодолимым препятствием — не перешагнуть, не обойти,— рос и увеличивался в размерах.

Он вспомнил Бочарова, их последний разговор, которому Вербин тогда не придал значения, но сейчас он вспомнил его отчетливо, каждое слово. «Неужели я уже не способен на страсть?» — подумал он с глухой горечью и сожалением, как будто огонь догорел и теперь предстояло доживать в холоде и мраке. Он сделал попытку разжечь в себе прежнее состояние возбуждения и азарта, но костер едва тлел и не хотел разгораться.

Под ногами зачмокал и пружинисто заходил мох, последние дожди наполнили его влагой, он, как губка, отдавал ее при каждом шаге и тут же всасывал обратно. Вербин не заметил, как оказался на болоте. Это оно распорядилось его временем, заставило приехать сюда, потом держало при себе — непонятная тайная сила исходила отсюда. Болото держало в своей власти многих людей — здесь и вдали, и даже он сам оказался зависимым от него.

2. После полудня распогодилось, пробилось солнце, июль взял свое. Вербин вернулся в деревню. По дороге его перехватил белобрысый Федька и от имени молодежи попросил починить клубный телевизор: «А то все мировые события мимо идут»,— объяснил он серьезно, и Вербин пошел за ним.

— Я вижу, вы над ним изрядно потрудились,— сказал Вербин, открыв крышку.— Похоже, блины в нем жарили.

— Да каждый лезет, кому не лень,— смущенно объяснил Федька; было видно, он сам не раз выяснял с телевизором отношения.

Солнце успело подойти к закату, когда Вербин закончил ремонт.

— Можете смотреть все мировые события,— сказал он.

— Спасибо,— поблагодарил Федька. Неожиданно лицо его оживилось, а глаза заблестели.— А интересно, вот телевизор, весь мир можно увидеть, ракеты пускают, а у нас в деревне ведьма живет! — Он торжествующе посмотрел на Вербина, и его конопатое лицо светилось, точно наличие в деревне ведьмы было его заслугой.

— Чего ж ты радуешься? — спросил Вербин.

— А интересно! — весело засмеялся Федька.— Во жизнь! Интересно, да? — Его жег изнутри неукротимый интерес ко всему вокруг.

Вербин попытался и себя вспомнить таким — да было ли? — от того огня не осталось и пепла.

На земле действительно было много всего, этот конопатый доморощенный философ прав: на земле всему было место.

Покончив с ремонтом, Вербин отправился домой. На крыльце соседнего дома он увидел Аглаю, она сидела на ступеньках; несмотря на тепло, на ней была ватная душегрейка.

— Мимо ходить стал,— сказала она.

— Занят был,— ответил Вербин.

— Торопись, время подходит, неможется мне.

Она поджидала посетителей: по уговору к ней должны были привести горького пропойцу.

— От вина отваживать буду,— объяснила Аглая.— Зайди, они будут вскорости, поглядишь.— Она с трудом поднялась и тяжело прошла в дом. Вербин вошел следом.— Как живешь?— с одышкой спросила старуха.

— По-разному,— улыбнулся Вербин.— Ехать пора.

— Рано тебе ехать. С Дашкой-то как?

Вербин поморщился и не ответил.

— Видно, зазнобой стала, раз молчишь да нос воротишь,— усмехнулась Аглая.— Не ты первый. Иной упрашивает — сведи да сведи, а как дело сладишь, сам же меня сторонится.

— Я не просил, если помните,— насмешливо сказал Вербин.

— Не просил, да хотел, что лукавить... Речь не о том. То человек сам идет, а потом зверем смотрит. А ведь я как свела, так и разлучить могу,— глянула она с усмешкой.— Мне Трофим прошлый год подарки носил.

— Да? — удивился Вербин.— И что?

— Насчет Дарьи просил. Помогла я ему тогда. Может, и сладилось бы у них, коли б не ты.— Аглая посмотрела пытливо и спросила:— Видел его?

— Видел,— ответил Вербин.

— Чай, сердит? Больно уж по сердцу она ему. А ты дорогу перешел. Не боишься?

— Баба Аглая, вам-то какой интерес? Вы что думаете, без вас ничего не обойдется?

— Про то не знаю, что гадать. А руку я приложила, это я знаю. Аль не так?

Во дворе послышались шаги, сквозь окно Вербин увидел, как женщина ведет вялого, пошатывающегося мужчину.

— К вам идут,— сказал Вербин, уходя в чулан.

Курс лечения состоял в том, что Аглая продержала принесенную ей живую щуку двенадцать дней в вине, дождалась, пока рыба пустит слизь, и теперь поила настоем пропойцу, нашептывая: «Как щука не терпит вина, так не терпел бы его и ты, человек Василий».

Человек Василий вертел головой, отдувался, вздыхал, плевался, потом его вырвало, и он, утирая рот рукавом, повторял в великой досаде: «Пропади оно пропадом...»

Когда они ушли, Вербин вышел из чулана.

— Поможет? — спросил он.

— Ежели сам захочет, то поможет.

— Это он и без вас может. Вы тогда зачем?

— Поверит, что я отвела, сам удержится. Ты мне вот что скажи: видятся они?

— Кто? — удивился Вербин.

— Трофим с Дашкой.

— Не знаю, вам виднее. А вообще лучше бы вам не вмешиваться...

— Эх, ты! Не вмешиваться! — протянула она с обидой.— Я тебя как своего, а ты... Мне до них дела нет, из-за тебя взялась...— Она достала кусок солонины и кусок воска и забормотала:— Стану не благословясь, пойду не перекрестясь, из избы не дверьми, из ворот не в ворота; выйду подпольным бревном и дымным окном. В чистом поле река черна, на той реке черной ездят черт с чертовкой, да водяной с водяновкой, на одном челне не сидят и в одно весло не гребут, одной думы не думают и совет не советуют. Так бы и Дарья с Трофимом на одной лавке не сидели, в одно окно бы не глядели, одной бы думы не думали, одного бы совета не советовали. Собака бела, кошка сера — один змеиный дух,— Аглая трижды макнула воск в солонину.— Ключ и замок моим словам.

— Я пойду,— сказал Вербин, вставая.

— Иди,— согласилась она.— Скоро главное покажу.

— Неужели летать научите? — улыбнулся Вербин.

— Иди,— сказала Аглая строго, и он ушел.

3. С огорода в сумерках он видел какое-то движение на лугу, доносились отдаленные голоса, лай собак, смех. Задворками он приблизился к лугу: деревенские мальчишки и девчонки, подростки, парни и девушки, молодые женщины и мужчины, даже маленькие дети то и дело появлялись из темнеющего за лугом леса с охапками валежника. Все стаскивали его в большие кучи, которые разбросанно темнели на лугу, и бежали назад в лес. Иногда кто-то с треском выволакивал из кустов усохшее дерево или большую ветку сухостоя и радостно тащил за собой, пропахивая в стерне темный след. Все работали так азартно и весело, что безотчетно тянуло побежать к ним и заняться тем же. Он давно уже не умел так легко и безоглядно отдаться чему бы то ни было.

В светлых сумерках он стоял у кромки луга и смотрел издали. Казалось, вся деревня по неизвестной причине взялась неожиданно заготавливать хворост. Впрочем, какое значение имела причина, когда царило такое веселье и у всех разом было легко на душе,— ради одного этого стоило прибежать. Даже собаки, чувствуя общее оживление, скакали вокруг со звонким лаем. Весь луг, все свободное, открытое пространство над ним были наполнены громким гомоном голосов, смягченных расстоянием. Вербин стоял и смотрел издали: другая жизнь, которой он не знал, прохо-

дила сейчас на глазах,— он не мог принять в ней участия. Не то чтобы его не приняли, он сам не мог, не умел без оглядки и раздумий погрузиться в общее действие, раствориться до того, чтобы стать одним из всех,— к счастью или к сожалению. Не мог он, как все, легко и свободно погрузиться в эту жизнь и забыть в ней себя: он был посторонним.

Ему показалось, что в общей мельтешной беготне он заметил и Родионова, его низкорослую фигуру. Вместе со всеми начальник колонны тащил хворост, что-то кричал, спешил и смеялся, и было видно, как все прочие, распален многолюдной суетой. Он был здесь своим, одним из всех, в то время как Вербин стоял поодаль и смотрел со стороны.

Постояв, Вербин пошел домой. На кухне за столом сидел немой старик и ел. И, как раньше у Аглаи, он застыл, когда вошел Вербин, и сидел неподвижно, глядя перед собой.

— Ешь, что бросил, ешь,— сказала ему баба Стеша.— Чтой-то он тебя боится,— объяснила она Вербину.— Я иной раз думаю, он слышит, а говорить не говорит. Да поди разбери... Убогий. Бают, с ума тронут, а кто знает. Может, он себе на уме да поумнее многих. Может, понимает все, говорить не хочет. А может... Да мало ли, чужая жизнь потемки.

— Я смотрю, его здесь подкармливают,— заметил Вербин.

— Так ведь божья душа! — воскликнула хозяйка.— Жалко. А и он сам не ко всем ходит, к кому доверие имеет. Его фельдшер однажды хотел в больницу свезти, так он долго прятался неводомо где. Значит, разбирает. Он людей, как собака, чует, кто какой.

— И напрасно, что не отвезли,— сказал Вербин.— Одет, обут, кормят их там, уход, медицина...

— Так-то оно так, да все ж неволя,— ответила баба Стеша.

Вербин вышел во двор, умылся под рукомойником, а когда вернулся, немого в доме уже не было.

— Не поел,— огорченно развела руками баба Стеша.— Подхватился и пошел.

Вербин сел у дверей и нога об ногу стянул сапоги.

— Небось на болоте был? — спросила хозяйка, глядя на заляпанные грязью сапоги.

— Был...

— Ох, грех,— вздохнула и покачала головой старуха.— Грех...— Вся ее маленькая, невесомая фигура выражала горесть.

— Баба Стеша, зачем на луг хворост тащат? — Вербин в носках прошел к ведру, зачерпнул ковшиком воду и напился.

— Костры жечь,— ответила хозяйка.— Завтра Аграфена-купальщица, послезавтра Ивана Купала. Раньше в Аграфену травы целебные рвали, они к ней силу полную набирают. А в ночь на Купалу гульбище устраивают. Девки с вечера в баню пойдут, веники свежие березовые возьмут, трав чистых да пахучих, которые пользу для здоровья имеют, парятся с ними. Нарядятся все, парни складчину устраивают, до зари там гуляют... Костры от огня живого зажгут, ты небось не слыхал про живой огонь?

— Нет,— сказал Вербин.

— А вот сходи, посмотри... Его без спичек добывают, руками, положено так. Спичка что, дело нехитрое, а ты так попробуй, сам, как в давние времена.

— Высекают? Огнивом о кремень?— спросил Вербин.

— Ты не гадай, увидишь, коли захочешь. Это у нас от старины, мало где сберегли, а у нас живет. Батюшка в церкви серчает, язычество, говорит, до христианства, мол, завелось. Лес, видно, прикрыл, мы от дорог в стороне. Ну вот... Девки на суженых гадают, венки по воде пускают, у которой застрянет или к берегу прибьет, той осенью замуж идти. А еще на Купалу девки кумятся. Споют песню положенную, пройдут с ней под блюдом, вот они и кумы, до следующего праздника подруги. Год ссор не должны иметь да не обижать друг дружку, а коли вышло ненароком, прощать надобно. На Купалу еще все водой обливаются. А кто ночью в лесу цвет папоротника отыщет, тому богатство откроется.— Хозяйка накрыла на стол и собрала ужин.— Да ты сам сходи, тебе интересно будет.

— Схожу.— Вербин сел к столу и стал ужинать.

— А что, там был? — спросила баба Стеша с тревогой.

— Был,— усмехнулся Вербин.— Пьяницу мы лечили.

Она расспросила, что делала Аглая, и всплеснула руками.

— Да кто ж так лечит! Бесовское лечение! Надобно петунью истолочь да по две ложки давать утром, как проснется. Маслом жидким запивать. А слова такие: «Господине есть хмель, буйная голова, не вейся вниз головою, вейся посолонь по корню мужскому, а яз тебя не знаю, где ты

живешь».— Она осеклась и спросила: — То Васька был?

— Да, его Василием звали,— ответил Вербин.

— «Аще изопьешь чашу сию,— продолжала она,— доколе мои словеса из меня изошли, из его, раба божия Василия, изойдет похмелье!»

— Баба Стеша, а что ж они к ней пошли, а не к вам?— спросил Вербин.

— Человек так устроен,— огорченно выдохнула хозяйка.— Ежели к нему с добром да по-белому, он и не верит, сомневается. А ежели к нему со злом да по-черному, он пужается и думает — поможет скорее. Мой отец смолоду болезни лечил. Он говорил, когда лечишь запой да похмелье, то сам весь ильинский месяц, июль по-нынешнему, должен во всей чистоте души и тела жить. Надобно каждый день молиться и блудного греха не иметь, а не то не поможешь.

— Какие болезни он лечил?

— Все. Я против него ветка сухая. Бывало, пойдет к хворому, возьмет с собой кремень да огниво. А в доме, куда придет, испросит вина, уксуса, редьки и воды чистой, наговорит на все это. После ударит над тем сколько надобно кремнем об огниво, искры высечет, а хворого в баню ведет, на пар, трет его там редькой, уксусом да вином, а после водой холодной. Сам весь умается.

— Аглая кому-нибудь помогала?

— Помогала, врать не буду,— кивнула хозяйка.— Кого испужает сильно. Да только кто ж страх в подсобье берет? Коли взялся помочь, любовь имей, душой расположись. А она всем власть свою показать хочет, возвыситься желает. Не любит никого, гордыня в ней непомерная. А кто ей по нраву, тому еще хуже. Себе одной присвоить охота. Кто ей люб, тому она как вериги тяжкие. Дышать не даст. Чтоб только по ее было, как она велит. Небось и тебя стережет? Куда идти да на кого глядеть...

— Баба Стеша, так ведь и вы смотрите,— засмеялся Вербин.— Туда не ходи, того не делай...

— Я тебе добра хочу,— с укором посмотрела на него хозяйка.— Мне какая в том забота? От беды уберечь хочу. А ей до человека дела нет, она о себе думает. Ты ей надобен, вот она и взялась за тебя. А другое все для нее пустое.

Вербин прошел в горницу и включил телевизор. Трансляция заканчивалась, передавали новости. Он сел и подумал, как странно соседствует все — телевизор, и старый

языческий праздник, и эти старухи, и он сам,— все укладывалось и умещалось в жизни.

За окном тихо светился вечер — лишь посерел воздух, остыли краски неба, но пожаром горела заря на западе; вечер пришел в деревню и овладел землей. Баба Стеша ушла спать, а Вербин сидел и продолжал неподвижно смотреть в окно, за которым был разлит ровный немеркнущий свет.

4. Вечером следующего дня на лугу собралась вся деревня. Вербин пришел поздно, когда уже началось застолье. Было светло, люди сидели у расстеленных на земле скатертей, наполняя воздух гомоном голосов, смехом и криками. Легкий туман невесомо всходил по краям луга, окутывал лес и реку, от которых тянуло холодом. В центре луга было тесно, пестро, шумно, весело,— среди крика, хохота, звона стаканов и хмельной болтовни одни мальчишки продолжали без устали трудиться: с серьезными лицами, исполненные ответственности, они тащили и складывали дрова.

За пределами круга, в котором жил праздник, было пусто и тихо, и вся пестрота, сутолока, шум и веселье лишь подчеркивали окрестную пустынность и тишину.

В разных местах луга низко висели прибитые к земле рваные белые облачка, похожие издали на истонченные клочья ваты, и казалось, можно взять палку, пройти по лугу и нанизать их без труда.

Все были нарядно одеты, на девушках цветочные венки и пояса, а некоторые сплели себе еще ожерелья и браслеты. Вскоре застолье смешалось, заиграла гармонь, парни и девушки резво повскакали, многие принялись тут же отплясывать, но потом гармонь смолкла и все сгрудились в одно место густой нетерпеливой толпой. Гомон поутих, в толпе что-то происходило, Вербин приблизился, чтобы взглянуть.

В середине толпы на колоде сидел Федька и быстро крутил в ладонях оструганную деревянную палочку, вставленную острым концом в отверстие колоды и обложенную сеном.

— Давай, давай, быстрей!— подбадривали его в толпе, и он, стараясь, ловко крутил палочку в вытянутых ладонях, тер их одна о другую, как будто грел на морозе.

— Веселей, веселей!— кричали в толпе.

Все нетерпеливо смотрели, выкрикивали советы, а Федь-

ка старательно работал ладонями, не давая себе передышки, и лицо его кривилось от усердия.

Вербин впервые в жизни видел первобытный способ добывания огня. Вчера Федька сетовал, что мировые новости проходят мимо, а сегодня он сидел на колоде и руками, как встарь, добывал огонь.

Должно быть, он устал, лицо его взмокло, шея и спина окаменели от напряжения, только руки без устали двигались, как шатуны машины.

Трудность заключалась в том, что никто не мог его подменить, он сам не мог остановиться для передышки, следовало выдержать темп и разогреть дерево, а достаточно было хоть на миг замешкаться или перевести дух, все пошло бы насмарку.

Все притихли, следя за добытчиком огня. Лицо его искривилось еще больше, это была уже гримаса боли, но он не остановился. Спустя время запахло горелым, из отверстия в колоде показался дымок — все замерли,— потом появился крошечный огонек и сухое сено вспыхнуло с легким треском. Зрители шумно и радостно закричали, Федька в изнеможении откинулся назад и улыбнулся, бессильно уронив руки.

Стоявшие наготове мальчишки зажгли лучины, дали им разгореться, потом запалили от них факелы и побежали в разные стороны, где темнели большие кучи хвороста.

На лугу в разных местах вспыхнули костры, придав лугу праздничный и нарядный вид, заиграла гармонь, вспыхнула и разгорелась, как костер, пляска, со всех сторон понеслись песни, и сами собой повсюду возникли игры.

Вербин медленно побрел по лугу, не приближаясь близко, чтобы его не втянули в какой-нибудь круг.

— А мы просо сеяли, сеяли!
Ой, дид ладо, сеяли, сеяли! —

пела одна партия, выходя вперед ровной шеренгой и возвращаясь назад.

— А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем, —

шла навстречу и возвращалась на место другая партия.

— Да чем же вам вытоптать, вытоптать,
Ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать? —

спрашивали первые, идя вперед и отступая.

— А мы коней выпустим, выпустим,
Ой, дид-ладо, выпустим, выпустим, —

грозили вторые, подступая вплотную и возвращаясь.

Вербин брел стороной. Среди костров парни беззастенчиво целовали девушек, а тех, кто убегал, догоняли, повсюду был слышен визг и хохот. У одного из костров играли в ручеек, а по другую сторону под нестройную песню вели хоровод:

Заинька, по сеничкам
Гуляй-таки, гуляй,
Серенький, по новеньким
Разгуливай, гуляй...

Внутри хоровода находилась девушка и то в одном, то в другом месте пыталась разорвать круг.

Некуда зайчику
Выскочить,
Некуда серому
Выпрыгнуть,—

пел хоровод, не пуская девушку.

От костров несло жаром, мальчишки, которым было поручено следить за огнем, беспрестанно подтаскивали и бросали в ревущее пламя дрова.

Огонь с гулом рвался в небо, и была уже некая опасность, стихия, что-то угрожающее в его бешеной силе.

Стоило на несколько шагов отойти в сторону, как стылый холод касался кожи, спину охватывал озноб, вплотную подступали пустынность, безмолвие, ночь, и тянуло поскорее вернуться к огню и людям. Это был веселый, шумный остров среди холодного молчаливого пространства ночной земли.

Пляшущее пламя костров неровно освещало праздник. Сумеречный луг был полон огней, смеха, шума, песен, движения, неразборчивой толчеи, плясок, многолицей сутолоки, объятий, игр, погони; красные отсветы играли на лицах, пламя диким ночным пожаром блестело в глазах, между кострами летела копоть, рои искр уносились вверх — в дыму, в переменчивом свете огня мелькали быстрые тени. Вокруг то и дело возникали и пропадали смеющиеся, перепачканные сажей лица, скачущие козлами мальчишки, носящиеся с лаем собаки. Кто-то кого-то ловил, с визгом убегали девушки, на каждом шагу вспыхивал хохот, в ближних копнах повсюду поднималась бешеная возня, а некоторые пары без стеснения у всех на виду стремглав бежали к дальним копнам. Вербин на каждом шагу встречал целующихся, мелькали растрепанные, смеющиеся девушки, кто-то и его обнимал в толчее, он терпеливо сносил и брел дальше. Это был настоящий языческий праздник.

Во лузях, во лузях,
Еще во лузях зеленых
Выросла, выросла
Вырастала трава шелковая,
Расцвели, расцвели,
Расцвели цветы лазоревые,—

степенно пели среди рваных клочьев дыма нарядные пожилые женщины.

Один из костров был окружен живым кругом, который сходился к огню и отходил назад:

Скажи, скажи, воробышек,
Скажи, скажи, молоденький,
Как старые ходят,
Как они гуляют?
Они эдак и вот эдак,
А все они эдак! —

пел хор из подростков, мальчишек и девчонок, которые еще боялись объятий и поцелуев, а белобрысый Федька, осмелевший после добывания огня, дразнясь и кривляясь, показывал у костра, как ходят старики.

Скажи, скажи, воробышек,
Скажи, скажи, молоденький,
Как девицы ходят,
Как они гуляют?
Они эдак и вот эдак,
А все они эдак! —

пел круг из девчонок в венках и мальчишек, Федька под хохот показывал, как ходят девушки. Вербин пошел дальше. «Скажи, скажи, воробышек...» — неслось вдогонку. В одном месте он увидел взлетающие вверх качели, в другом парни кружились на гигантских шагах, в третьем мальчишки, дурачась, прыгали, стоя на досках, положенных на бревна, каждую секунду любой из них мог свалиться на землю.

Позже по лугу разнесся дикий, пронзительный свист, у всех в руках оказалась посуда — кружки, ковши, чашки, ведра; люди черпали из бочек воду и обливали друг друга. Через несколько минут одежда у всех была уже насквозь мокрой, не трогали лишь стариков и пожилых женщин, но даже некоторым из них брызгали руками в лицо или кропили голову; Федьку парни сгребли и бросили в бочку с водой.

Вербину тоже досталось, на него несколько раз плеснули из кружек и ковшей, и однажды кто-то сзади опрокинул на него ведро. Ему показалось, это Варвара, но отчет-

ливо рассмотреть в сумасшедшей сутолоке он не успел. Одежда была совсем мокрой, пришлось подойти к костру. У огня от мокрых людей валил пар, но никто не думал угомониться, появилась новая игра: холостые стали прыгать через костер.

Парни и девушки хватали друг друга за руки и отбегали в сторону для разбега; теснясь и толкаясь, они ожидали очереди. Дождавшись, пары разбегались, прыгали, держась за руки, над огнем. Все люди, сколько их было на лугу, столпились вокруг, в воздухе висел гомон толпы; каждый прыжок сопровождался общим криком.

После прыжка некоторые пары повторяли прыжок снова, но большинство пар распадалось, все спешили найти новых партнеров. Из обрывков разговоров в толпе Вербин понял, что по прыжку судят, насколько партнеры подходят друг другу в супружестве, и чем удачнее прыжок, тем удачнее должна быть их совместная семейная жизнь.

Все поспешно прыгали, отпускали руку и тут же торопливо искали и ловили новую,— на бегу, в спешке, в азарте, с кривляниями и всерьез, под хохот и выкрики зрителей женихи и невесты стремглав перебирали друг друга. К некоторым из них выстраивались целые очереди, другие находили партнеров с трудом, а иные и вовсе не находили, но всех, всех без исключения зрители осыпали градом оценок, советов, похвал и насмешек.

Вербин постоял, наблюдая, потом пошел по кругу за спинами, позади толпы; в стороне чадно догорали забытые костры, между которыми в дыму и красном переменчивом свете огня бродили неясные одинокие фигуры. Теперь там, где недавно клокотали веселье и буйный разгул, было пусто и тихо, а здесь, в стороне, на пустынном и безлюдном прежде месте, праздник разгорелся с новой силой.

Из дыма, из причудливого мельтешения теней выскочила вдруг Варвара. Она была босая, в короткой юбке, с голыми руками, открытой шеей и прикрытой едва грудью, с растерзанным венком на голове, лицо ее было испачкано сажей — язычница, да и только! — налетела, схватила жарко за руку.

— Алеша, давай прыгнем! Скорей!— Она с силой тянула его в круг, где горел костер.— Давай скорей!.. Как прыгнем, так и любиться будем! Постарайся уж... Ну, скорей! Не упирайся... Сегодня все можно!— В глазах ее, как в темной глубокой воде, жутковатыми всполохами отражался огонь.

— Подожди, Варя, не надо... Погоди, не тяни меня,— неловко придерживал ее Вербин.

— Экий ты!.. Хоть раз сделай от души да вволю! Стыдишься? Ну, так бежим, в стогу схоронимся... На Купалу все дозволено, все можно... Сладко да вдосталь! Ну? Скорей!..

Он вдруг застыл. В общей неразберихе, в безостановочном движении, среди снующих фигур, в мельтешении взбудораженных лиц, среди разверзнутых в крике и хохоте ртов, среди шума и беготни он увидел Дашу.

Она стояла неподвижно за костром в толпе зрителей и не отрываясь смотрела на них с Варварой. Горячий воздух костра колебал ее черты. Варвара перехватила взгляд Вербина.

— А-а! — засмеялась она понятливо.— Дашка! Неужто из одной тарелки едим?! Вот уж с кем не думала! Ты смотри, тихоня лесная! Ну, иди, покумуемся... Иди, подругами станем... Мы ж с тобой теперь вроде сестер молочных! — Она захохотала безудержно, сверкая зубами и запрокидывая вверх лицо.

Даша повернулась и пропала. Пронеслись скачущие, чумазые, задыхающиеся от бега и хохота пары, он не заметил, как исчезла в толчее Варвара, вокруг клокотал шалый, неистовый кураж. Вербин с трудом пробрался сквозь толпу и направился в светлый ночной полумрак.

На краю луга было туманно и пусто. Сюда доносились всплески смеха, крики, переборы гармони, но здесь было тихо, от леса тянуло холодом и сыростью. Всматриваясь в темнеющие впереди кусты и деревья, Вербин медленно шел к опушке. Легкие, прозрачные рваные сгустки тумана невесомо висели над землей.

— Даша,— позвал он негромко.— Даша...

Но ее нигде не было, точно она превратилась в клок тумана, в куст, в дерево или в один из цветов некошеной луговой межи.

5. Вербин вошел в лес. Звуки праздника сразу стали заметно глуше, лес как будто отгородился от всего, что нарушало его покой: без малейшего шевеления стояли в беззвучии кусты и деревья. Вербин осторожно шел, озираясь и всматриваясь в неразличимые в полумраке заросли. Лес, казалось, застыл в сторожком ожидании, литая тишина царила вокруг.

Вербин остановился.

— Даша,— позвал он снова. Голос не проник за пределы окрестных кустов и деревьев: лес не пустил его дальше того места, где стоял Вербин.— Даша! — сказал он громче, но звук и теперь остался на месте и повис в воздухе над головой.

Было тихо. Уныло и жутко простонала на болоте выпь. Вербин прислушивался и всматривался в темную, молчаливую и в то же время кажущуюся обитаемой чащу. Какие-то тени, шорохи и непонятные скрипы окружали его, фосфоресцирующие огоньки появлялись и исчезали в уплотнениях темноты — заросли казались живыми: ощутимое пристальное внимание исходило из их глубины. На болоте вновь душераздирающе прокричала выпь. Вербин почувствовал беспокойство: заметная враждебность была разлита вокруг, присутствовала рядом и повсюду. Он не думал об опасности и не верил, что ему что-то угрожает, и в то же время плотная, холодная безотчетная тревога сродни той, какая бывает на кладбище, сковала мысли и заполнила грудь. Он и сейчас не принимал всерьез рассказы деревенских жителей и предостережения бабы Стеши, но тугая тревога не поддавалась рассудку и стойко держалась внутри.

«Спокойно,— приказал себе Вербин,— спокойно». И тут же вздрогнул и замер: поблизости охнула и пронзительно хохотнула сова. Вербин напряженно озирался по сторонам. Зыбкие огоньки колобродили по лесу.

— Даша! — позвал Вербин, продираясь сквозь ветки.

Он оказался на покатой поляне, по краям которой густо росли деревья. Здесь было светло, в тишине отчетливо журчал близкий ручей. Белесый, холодный, мглистый свет заполнял поляну, светлым было ледяное небо, ночной лес был погружен в немое оцепенение, размытыми темными пятнами проступали пни и стволы.

— Даша! — позвал Вербин и окаменел: в жуткой тишине от сплошной черноты зарослей беззвучно отделилась высокая темная фигура.

Вербину на мгновение показалось, что он оглох: без единого звука, бесплотно, в ужасающей тишине фигура медленно двигалась к нему. То ли он оглох, то ли в мире исчезли все звуки.

Он не размышлял, не задавался вопросом, человек ли это, дух ли, галлюцинация или игра воображения: фигура существовала и приближалась.

Вербин посмотрел по сторонам: он был один. Это было не просто одиночество, он был один на земле.

Никогда прежде он не испытывал такой пронзительной незащищенности: по земле прошел мор, он один из всех выжил.

Фигура приблизилась, Вербин узнал Трофима. Сжав губы, бледный, тот шел как будто во сне. Вся его жизнь была уже позади, он подвел черту, все решил, поставил на себе крест и теперь шел, чтобы выполнить последнее из оставшихся дел.

— Что надо? — спросил Вербин.

Трофим не ответил. Вероятно, он даже не слышал вопроса, шел как сомнамбула, вперед по прямой, не разбирая дороги.

— Что надо? — повторил Вербин тише и как можно спокойнее, в надежде, что обычный человеческий голос разбудит Трофима и заставит очнуться.

Трофим и на этот раз не ответил, подошел вплотную и взмахнул рукой.

6. Первый взмах, когда в занесенной руке взлетел нож, Вербин судорожно отбил вскинутым поперек предплечьем. Он отразил и второй удар, но в тоскливом смятении понял, что в конце концов нож достанет его. Вербин рванулся к ближним кустам, Трофим побежал следом, один за другим они с треском вломились в заросли ракитника. Отставленной согнутой рукой Вербин на бегу прихватил на локоть пучок длинных тугих веток, натянул до упора и отпустил. Ветки с силой хлестнули набегающего Трофима, от неожиданности он споткнулся, потерял равновесие и с размаху врезался головой и телом в тесное сплетение кустарника. Не мешкая Вербин тут же оказался позади него, толкнул в спину и, когда тот упал, с силой наступил сапогом на руку, державшую нож. Трофим глухо охнул. Должно быть, боль действительно была ужасной, потому что он выпустил нож и с гримасой затряс кистью. Морщась от боли, Трофим сгибал и разгибал кисть. Потом он увидел нож в руке Вербина и шагнул навстречу.

— Бей! — сказал он с ненавистью, распрямляя плечи и подставляя грудь.— Бей, падло!

Держа руку с ножом на отлете, Вербин стоял на месте.

— Бей, гад! — Трофим двинулся вперед.— Или ты, или я! Двоим нам не жить! На, бей!..— Он подался грудью вперед.— Кончай!

Он уже был рядом, лицо его было искажено, голос стал рыдающим.

— Бей! — повторял он с разными оттенками, то странно, просяще, со слезой в голосе, то настойчиво требовал, то молил...

Вербин взмахнул ножом, но в движении повернул руку и ударил Трофима рукояткой. Потом резким взмахом отбросил нож в кусты.

Трофим упал и не мог встать. Он лежал у кромки воды и время от времени замедленно и плавно греб руками и ногами, как будто хотел уплыть.

От удара Вербин и сам сел в воду рядом с ним. И теперь было совсем тихо.

В лесу царили безмятежность, покой, сон. Вербин испытывал странное удовлетворение, на душе было легко, как будто он решил все в своей жизни проблемы.

Собрав силы, Вербин поднялся и выволок Трофима на сухое место. Он бросил его, отошел и сел под деревом. Над головой шелестели листья. Вербин с наслаждением откинулся спиной к стволу и закрыл глаза. Век бы сидеть так, не двигаясь. Он не видел, как на открытом месте появилась тонкая женская фигура; она быстро и бесшумно приблизилась и наклонилась над ним, он почувствовал на лице осторожное прикосновение пальцев и открыл глаза.

— А, Даша...— улыбнулся он слабо.

— Я сейчас,— сказала она, гибко метнулась в сторону и принесла в ладонях воду.

— Я искал вас,— сказал Вербин, садясь прямо.

— Я знаю.— Она смочила ему лоб и голову.

Трофим зашевелился и с трудом сел. Он посидел, приходя в себя, потом повернул голову и взглянул на Дашу и Вербина. Лицо его было спокойным, взгляд безучастным. Он отвернулся, тяжело поднялся и, не глядя на них, шатаясь, медленно побрел прочь. Шум его шагов долго стихал в лесу.

Вербин неуверенно посмотрел на Дашу.

— Нет,— сказала она определенно, как о чем-то, что знала твердо.— Он сам. Не тревожьтесь, все честно.

Он продолжал молчать. Впервые так явственно предстал перед ним древний закон, жестокая правда, не зависящая от людей.

В лесу со стороны реки на открытом косогоре появились огни. Их становилось больше, они блуждающе перемещались в пространстве, плутали, сходились и расходились — издали казалось, роем кружат светлячки.

— Цвет папоротника ищут,— сказала Даша.— Пойдемте,— она взяла его за руку.

Он поднялся, разминая затекшее тело,— одежда на нем была насквозь мокрой,— и пошел за Дашей в глубину леса; огни позади затапливали открытый косогор и поляны: в лес направлялись люди с факелами.

Даша вела его заросшими оврагами, потом болотом и наконец гатью, которая вывела их на сухое место; перейдя гать, Даша отыскала в траве конец веревки и вытащила за собой на сухое место последнюю плетеную фашину: никто теперь не мог пересечь за ними топкое место. Они были на острове, окруженном со всех сторон топью.

Оглядевшись, Вербин увидел за деревьями поляну и дом и понял, что был здесь недавно. Тусклый свет держался изнутри на стеклах и был как бы ограничен ими, не проникая наружу. Среди ночи дом казался еще более таинственным. Неизбежно возникала мысль, что это не просто дом, жилье, как-то само собой разумелось, что кроется здесь некая загадка.

— Подождите,— шепнула Даша, смело поднялась на крыльцо и скрылась внутри.

Вербин остался один. Он сразу ощутил глухой ночной лес вокруг, болото, холод, одиночество. Мокрая одежда липла к телу и казалась ледяной. Пока они шли, движение, близость Даши и нервное возбуждение согревали его, вернее, он просто не чувствовал холода. Сейчас он понял, как продрог.

Он осторожно поднялся по ступенькам и заглянул в окно. При свете свечи у дощатого стола сидел немой старик, сосредоточенно разбирал пучки трав, обламывал их и раскладывал по всему столу. Знаками Даша пыталась ему объяснить что-то, но старик оставался непроницаемым и неподвижным, лишь руки его продолжали быстро и механически ломать сухую траву.

Вербина бил холодный озноб, просто зуб на зуб не попадал, Даша вышла и увидела, как он замерз.

— Озябли? — спросила она с участием.— Сейчас отогреетесь.

Она повела его вокруг дома к задней стене, по которой косо шла лестница на чердак. Они поднялись по скрипучим

ступенькам. Густой травяной дух заполнял кромешную темноту, в запах можно было войти, как в воду, и погрузиться в него с головой. Даша поднялась первой, пошарила в темноте, потом в руках у нее чиркнула и загорелась спичка, высветив нежный овал лица, светлые пряди волос и огарок свечи, который она держала в другой руке.

Неверный огонек слабо осветил помещение на шаг-два вокруг: связки трав, образующие густые заросли. Узким проходом Даша повела Вербина в глубь чердака, свет огарка с трудом раздвигал темноту.

В углу на сене он увидел ватное одеяло и подушку. Даша укрепила свечу в консервной банке, расправила одеяло и взбила подушку.

— Вам обсохнуть надо. Разденьтесь и ложитесь.— Она отвернулась.

Он снял влажную одежду, лег и укрылся. Даша развесила рубаху и брюки, ладонью тронула его лоб: «Да вы весь дрожите, бедный»,— она быстро наклонилась, коснулась щекой его лица и задержала губы на лбу, проверяя, как мать у ребенка, нет ли жара.

Снова, в который раз, ему вдруг показалось — это было уже когда-то: запах трав, ласковое прикосновение наклонившейся к нему женщины — все повторилось.

— Вы горите, как бы не захворать,— сказала Даша и поднялась.— Обождите, я сейчас.

Он услышал быстрые, легкие и как бы ускользающие шаги на лестнице, закрыл глаза и забылся. Волны запаха приподняли его и покачивали едва, тело сделалось бесплотным, кружилась голова. Очнулся он от слабых прикосновений. Стоя на коленях, Даша макала свернутую тряпицу в какую-то жидкость и осторожно обмывала ушибы и ссадины на его лице.

— Что это? — спросил Вербин.

— Свинцовая вода и бодяга. Я у старика взяла.

— Он здесь живет?

— Да. Здесь когда-то кордон был, лесник жил. Но давно, еще до войны. А потом дом пустой стоял, обветшал весь. Деревенские сюда не ходят, далеко, да и болото кругом. Еще говорят, место недоброе.

— А вы не боитесь?

— Нет,— она улыбнулась.

— А старик этот откуда?

— Говорят, он у нас в войну появился. Сначала где

придется жил, потом здесь поселился. Сюда до сих пор никто не ходит, боятся. А у него никого нет.

— Как же он живет?

— Ягоды собирает, грибы, травы... Хозяйки ему во дворах еду оставляют, он в дом редко к кому заходит, только если доверие имеет. Я ему тоже иногда приношу, меня он не боится. Видно, был у него кто-то раньше, и говорить он мог, да вот случилось что-то... Может, его напугали в войну, он с тех пор молчит и чужих стережется.— Даша обмыла все ссадины и наложила примочки.— Потерпите, я сейчас,— сказала она ласково, потом велела перевернуться и неожиданно раскрыла его; он не успел ничего подумать, как она взяла банку с мазью и стала растирать ему спину.— Сейчас согреетесь.

Он почувствовал легкое жжение, которое разлилось по всей спине и проникло под кожу. Спустя время горело уже все тело, стало жарко, на лбу выступила испарина.

Вербин лег на спину и посмотрел Даше в лицо. Она обтирала ладони, он взял ее руку, поцеловал; Даша замерла, опустив лицо.

— Даша...— Он попытался привлечь ее к себе, но она напряглась и отстранилась.— Даша...

Она молчала и не двигалась, размышляя о чем-то,— похоже, ее одолевали сомнения, и вдруг решительно, точно кидалась в воду, она отогнула край одеяла и легла рядом.

— Даша!..— прошептал он, задыхаясь от нежности, которая рвала грудь и теснила сердце.

— Быстрей!..— судорога переломила ей голос.

Вербин обнял ее, зарылся лицом в шею и волосы,— мгновение она была напряжена и неподвижна, потом порывисто обхватила его, прижалась и в беспамятстве, неумело стала целовать.

Они вместе пережили мучительную боль, потом долго лежали молча, оглушенные тем, что произошло. Вербин приподнялся на локте и заглянул ей в лицо. Одинокая слеза блестела в углу ее глаза, отражая огонь свечи.

— Вот я и стала женщиной,— спокойно, но каким-то чужим, неподвижным голосом сказала она.

— Даша...— Вербин поцеловал ее — ни он, ни она не испытывали радости; только печаль, и похмелье, и глухое сожаление присутствовали в одуряющем запахе трав.

Они уснули под утро, когда горечь ослабла и они привыкли немного к той оглушительной перемене, которая случилась ночью.

Щели в крыше посветлели, донеслись первые голоса ранних птиц. Усталость сморила их, они уснули и продолжали спать, когда вовсю разгорелся день. Солнце поднялось над лесом, нагрело воздух, душный полумрак чердака под ветхой крышей был во всех направлениях пронизан тонкими горящими иглами, в которых пыльно дымился воздух.

Настал высокий, ясный, просторный солнечный полдень, они все еще спали в своем укромном укрытии — вдали от всех и втайне.

7. Они проснулись, когда солнце стояло в зените. Душный, неподвижный, дурманящий зной висел под раскаленной крышей. Запах трав от жары сгустился настолько, что настоянный на нем воздух стал тягучим и клейким, его можно было мять, как глину.

Они проснулись оттого, что нечем было дышать, проснулись и удивились друг другу,— но легко, без удручающей тяжести похмелья.

Чердак вокруг был густо увешан вениками и пучками сухих трав, связками кореньев, от запаха кружилась голова. Здесь висели березовые почки, покрытые матовыми чешуйками и пахнущие смолистым бальзамом, листья вахты-травы, длинные жесткие стебли полевого хвоща, сильно и приятно пахнущий чебрец с длинными узкими листьями и маленькими сине-красными цветочками, желтые ароматные метелки бессмертника, желто-зеленые шишки хмеля, ветки череды, трава горицвет с узкими, похожими на укроп листьями и крупными золотистыми цветами, иван-да-марья, запах которой был слаб и нежен, ветки похожей на бруснику толокнянки, серая войлочная трава сушеница, корзинки пижмы, длинные стебельки пастушьей сумки с желтовато-белыми цветами, корни дягиля, лапчатки, называемой еще талганом или вязилем, чемерицы, девятисила... Даша называла ему все растения, которые росли в здешнем лесу и окрестных лугах.

Даже в полумраке было видно, какая у нее чистая и гладкая кожа, несмотря на духоту, от нее исходило ощущение свежести и опрятной прохлады. Вербин не удержался,

поцеловал ее плечо, потом лицо, губы, проснувшаяся страсть прервала рассказ.

Их обоих несла река. Они вместе кинулись в нее, их подхватило сильное течение, сопротивляться которому было невозможно. Поток топил их и выталкивал на поверхность, где они могли глотнуть воздуха, прежде чем снова проваливались, погружаясь с головой, они опускались на дно и вновь всплывали, возносясь на гребень волны.

Казалось, им не переплыть эту реку, другой берег не был виден — могло не хватить сердца. Умопомрачительный дух сухих трав кружил голову, забивал дыхание, путал мысли,— впрочем, какие мысли могли быть сейчас? — их подхватила последняя, самая высокая и сильная волна, взметнула вверх и изнемогающих выбросила на берег.

Не было сил шевельнуться, и, случись вдруг острая необходимость, крайняя надобность, пожар, к примеру, они сгорели бы заживо на месте.

Постепенно они пришли в себя и почувствовали голод, от которого в теле появилась легкость, а на душе стало весело, и появилась некая праздничность вокруг. Так же весело и легко они встали, покинули свое убежище, весело и легко расстались, хотя расставаться им не хотелось, но они понимали — это ненадолго: и он, и она уже испытывали нетерпение перед новой встречей.

Оставшись один, Вербин быстро направился в деревню. На ходу он запрокинул голову, у него зарябило в глазах: солнце играло в листьях, яркие, слепящие вспышки били сквозь просветы в лицо.

Снова, в который раз, ему показалось, что все это уже было когда-то, сейчас лишь повторялось прошлое — ослепительная солнечная рябь, веселый флирт света и тени, и он сам, запрокинувший голову,— было, было, не вспомнить когда. То ли было, то ли кажется.

Он вышел на косогор, сбежал вниз и резко остановился: перед ним лежал мостик, три бревна без перил, перекинутые над заросшим оврагом; снизу доносился плеск невидимого ручья.

Вербин стоял, глядя перед собой. Впереди никого не было, никто не стоял на дороге. Он почувствовал острую короткую радость и с легким сердцем пошел по мосту.

Часть четвертая

АВГУСТ

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1. В июле стояли долгие светлые дни. Даже частые дожди не омрачали их. Короткие дожди внезапно пробегали по земле, неожиданно обрывались, и земля быстро сохла на солнцепеке.

Вечерами подолгу пылал закат, медленно догорал, но не успевал погаснуть: вечерняя заря переходила в утреннюю.

В один из дней Вербин зашел в диспетчерскую колонны. Это была казенная комната с зарешеченным окном и обитой жестью дверью, в которой имелось запираемое изнутри оконце. Комната была увешана графиками и таблицами, на столе стояли телефонные аппараты местной связи, здесь же находились две коротковолновые радиостанции — «Полоса» и «Гроза»,— на ночь их убирали в металлический ящик, под замок.

— Я хочу связаться с трестом,— сказал Вербин диспетчеру, который был еще и радистом.

Диспетчер улыбнулся и показал на картонку с надписью, сделанной черной тушью: «ПОСТОРОННИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН».

— Это и ко мне относится? — спросил Вербин.

— А вдруг у вас заграница на связи,— с улыбкой ответил диспетчер.

— Сообщу, как дела у нас на болоте.

— Может, это им позарез нужно...

— Вот именно,— Вербин помолчал, ожидая, но радист дверь не открыл.— Вы что, серьезно?! — удивился Вербин.

— А вы для меня посторонний,— сказал радист уже без улыбки.— Мне распоряжение начальника колонны нужно.

Вербин направился к Родионову.

— Это вы приказали не давать мне связь? — спросил он.

— А что, не дают? — с интересом воззрился на него Родионов.

— А то вы не знаете! Боитесь, как бы мимо вас не прошло?

Родионов покачал головой.

— Понимают...— сказал он одобрительно.— Я не приказывал, они сами додумались. Вдруг вы на нас капнуть хотите.— Он глянул насмешливо.— Хотите?

— Не хочу.

— Неужто вступитесь?! — Родионов сделал большие глаза.

— Нет.

— А, понимаю,— улыбнулся начальник колонны.— Ваше дело сторона. Думаете, удастся?

Вербин не ответил, лишь смотрел молча, и Родионов сказал:

— Алексей Михайлович, вы ведь специалист, каких мало! Профессионал! Вы все наперед знаете!

— Ну и что?

— Да ведь мы правы! — запальчиво сказал Родионов.— Правы! Неужели вам никогда не хотелось постоять за правое дело?!

— Я же вам не мешаю,— спокойно ответил Вербин.

Родионов осекся, глянул на Вербина и даже с некоторым восхищением повертел головой.

— И как это вам удается?

— Что?

— Уходить от ответа. Научили бы. Я-то всегда как дурак: спрашивают — отвечаю: «Да!» «Нет!» Я по наивности, грешным делом, считал, рано или поздно человек «да» или «нет» сказать должен. Хоть раз в жизни. Как говорится, сколько веревку ни вить, а концу быть. Да, видно, теперь не так.

— Прикажите дать мне связь,— сказал Вербин.

— Конечно, конечно... Пожалуйста. Только, знаете, не откажите в любезности: позвольте присутствовать...

— Контроль?

— Что вы, что вы! — Родионов замахал руками.— Господь с вами!.. Поучиться хочу. Мне твердят, что я дипломат плохой. Никудышный, можно сказать. Так хоть вы, Христа ради, в науку возьмите. И не церемоньтесь со мной, не стесняйтесь... Знаете, как раньше мальчишку в ученье определяли. Колотушки, за вихры таскают... Правда, теперь уже не ухватишь особенно,— Родионов провел ладонью по редким волосам.

— Пожалуйста,— сказал Вербин.— Хотите — присутствуйте.

— Спасибо большое! — живо отозвался Родионов. Он сделал паузу, помолчал и усмехнулся криво, с каким-то со-

жалением, даже с печалью.— Это я пошутил. Говорите один, вам без меня свободнее будет.— Он опустил голову, уткнулся взглядом в бумаги и сразу приобрел отсутствующий вид.

Вербин направился в диспетчерскую. На этот раз радист, ни слова не говоря, впустил его, запер дверь и включил рацию.

— «Графин», «Графин», ответьте «Зурне»,— сказал он в трубку, трогая ручки настройки.— «Графин»? Милочка, с тобой будут говорить.— Он отнял трубку от уха и молча протянул Вербину.

— Диспетчер? Вербин говорит...

— Слушаю вас, Алексей Михайлович,— отозвался женский голос.

— Мне нужно поговорить с управляющим.

— Он в командировке.

— Надолго?

— Не знаю. Вы подождите, я позвоню секретарю...

Некоторое время в трубке было тихо, лишь слабые шорохи, скрипы и треск напоминали о расстоянии.

— «Зурна», я «Графин»,— донесся женский голос.— Алексей Михайлович, управляющего вызвали в главк. Подробностей я не знаю, но, кажется, по вашему делу.

— Хорошо. Зарегистрируйте мой вызов и дайте, если можно, главного инженера.

Он снова слышал шуршание эфира, отдаленные звуки, едва слышные голоса, слабую музыку, потом долетел голос главного инженера. Управляющего на самом деле вызвали в главк по делу о Марвинском болоте. Вербин сообщил, что решил вернуться, но сейчас ему кажется, что лучше остаться до приезда управляющего.

— Да, да! — обрадовался главный инженер.— Задержались. Я понимаю, тебе там уже невмоготу, но лучше подождать, чем потом ехать снова. Мы тебя вызовем на связь.

Итак, он оставался. Он был свободен и спокоен, никто не мог его упрекнуть, совесть его была чиста.

В июле в полную силу вошли травы: возле уреза реки, там, где над обрывом носились ласточки, огоньками горел дербенник, а по заводям расцветали стрелолист, белокрыльник и сусак...

Время исчезло. Его не стало, был один день, не имевший начала и конца, пропали недели,— был один день, на-

зываемый июль, длинный погожий день, в котором остановилось время.

И все же, хотя дни тянулись долго и медленно, Вербин не успел оглянуться, как июль отошел.

На людях они вместе не показывались, встречались в лесу. И он, многоопытный горожанин, с мальчишеским нетерпением ждал встреч с деревенской девушкой, выросшей в глуши громадного леса.

С Дашей было легко. Она не задавала лишних вопросов и понимала, а скорее угадывала, чего не следует трогать. Не было случая, чтобы она спросила не к месту или попала впросак с ответом. Она умела молчать, но не тягостно, а легко, свободно, в этой молоденькой деревенской девушке самопроизвольно, без подсказки и как бы от рождения жило умение понимать.

Ночи они нередко проводили в старом заброшенном доме среди болот. Даша устроила на чердаке подобие жилья и приносила из дома еду, Вербин покупал продукты в магазине и тайком, пряча от посторонних глаз, относил на кордон.

В погожие дни, когда и он, и она улучали время для встречи, прибежищем им служил лес, они без труда находили укромное место среди деревьев.

Впоследствии, когда Вербин вспоминал эти дни, у него начинала кружиться голова. Очертя голову, они вместе кидались в реку, сообща плыли к другому берегу, течение несло их, бороться с ним не было сил. И он, и она забыли о времени, каждая минута была подарком свыше, божьей милостью, не знающей границ.

Но присутствовала в их существовании некая постоянная печаль: и он, и она знали про себя твердо — не за горами конец. Не было у них прошлого, не могло быть и будущего, они могли жить лишь минутой, часом, в лучшем случае — днем.

Ему нравилось, когда она рассказывала, он узнавал от нее то, о чем не имел представления.

В один из вечеров Даша привела его к маленькому круглому озеру в глубине леса. Высокие деревья стеной окружали берег, вода неподвижно отражала небо и зубчатый край леса.

— Деревенские сюда не ходят,— сказала Даша.— Боятся. Говорят, здесь водяной.

— А ты не боишься?

— Нет,— улыбнулась Даша.

Он подумал, ей действительно в лесу нечего бояться, она была здесь своя.

— Я купаюсь тут часто. Глубоко, и вода чистая... И нет никого,— объяснила она.

— Даша, ты не скучаешь одна? — спросил Вербин.

Она задумалась и покачала головой.

— Нет... Если смотришь вокруг, то не скучно. Это что? — она неожиданно подняла с земли обломок валежника.

— Палка,— удивился Вербин.

— Это ветка можжевеловая, выпрямилась, видишь, к вёдру. К ненастью она дугой согнется. А вон комары-толкунцы столбом поднялись, пеньку толкут... Видишь? Тоже к погоде хорошей. А это что? — она сняла с ракитовой ветки пушинку.

— Пух...— пожал плечами Вербин.

— Вот видишь, ты не знаешь, тебе и скучно,— улыбнулась Даша.— Это семечко иван-чая летает. Помнишь цветы, крупные такие, красные, я показывала тебе? Вместо цветов теперь стручки длинные. Подсохнут, растрескаются, после пухом окутываются. На каждой пушинке семечко. Ветерок подует, они и полетят землю засевать.

Темная неподвижная вода в озере отражала светлое небо, косо отрезанное зубчатой линией еловых вершин.

— Хорошо бы одним здесь жить,— сказал Вербин.

Она посмотрела на него и улыбнулась печально.

— Ты не сможешь,— покачала она головой.— Поживешь — затоскуешь. Потянет тебя прочь так, что мочи не станет. Оттого и ко мне переменишься.

— Нет, что ты, почему...— забормотал он обескураженно.

— Я знаю,— сказала она.

Он понял, насколько она права, и умолк, чтобы не лицемерить. Где, когда, откуда получила она это знание, которое другие женщины приобретают лишь в зрелости, да и то гонят от себя и тщатся надеждой?

— Даша...— Вербин виновато поцеловал ее.

Она не ответила, осталась безучастной, но потом приняла его губы и стала отвечать — сильнее, сильнее, пока не загорелась сама.

Они встретились, на этот раз боль была еще острее и слаще, в ней присутствовал какой-то озноб, хворь, точно в лихорадке они поскорее хотели все забыть.

Позже они лежали без сил, забыв о времени. Неожиданно Даша поднялась, через голову стянула платье и направилась в воду. Не оборачиваясь она медленно шла вперед, тело ее ярко белело над темной водой; Вербин пораженно смотрел вслед. Подняв руки, Даша на ходу подколола волосы кверху.

Обнаженная женщина шла по мелкой воде, и казалось, она не погружается в нее, а лишь касается поверхности; только слабый плеск сопровождал движение. Чудесная тонкая фигура мнилась порождением леса или озера, причудливым отливом вечернего света, странной формой тумана, немыслимым сгустком озерной испарины: нельзя было поверить, что это человек из плоти и крови.

Даша легко и плавно шла по мелководью; у нее было гибкое, сильное тело, привычное к ходьбе и физической работе.

Это можно было понять: дома она вела хозяйство, ей приходилось косить траву, ворошить, копнить и скирдовать сено, часто она ходила с ношей, рубила дрова, копала огород, помогала отцу валить и распиливать в лесу сухостой, а кроме того, она запрягала и распрягала лошадь, ездила верхом и доила корову; она умело обращалась с топором, пилой, граблями, вилами, косой, лопатой, жизнь в лесу, на отшибе, приучила много ходить, а кроме того, Даша любила плавать и часто улучала время, чтобы сбегать на реку или к озеру.

В еде большого разносола у них не было, но в доме всегда имелись молоко, мед, творог, грибы и лесные ягоды; хлеб они покупали, но иногда, особенно зимой, Даша месила и заквашивала в маленькой кадке тесто и сама выпекала пышные круглые хлебы, от которых по всему дому шел вкусный, вызывающий слюну дух. Печь хлеб Даша научилась у покойной матери, она знала, каких трав нужно подмешать в тесто, чтобы придать хлебу нужный вкус и запах; этот секрет издавна знали женщины их рода, в сундуке до сих пор хранилась ветхая тетрадь, в которой было записано, сколько и чего класть.

Даша неожиданно поплыла, держа голову высоко над водой,— переплыла озеро и исчезла среди деревьев на другом берегу. Вербин не знал, что и думать. Было похоже, она отказалась от всего, что связывало ее с людьми и ушла в лес, чтобы жить вольно, как птица или зверь. Это был странный сон, бред, несуразность...

Ее долго не было. Вербин почувствовал тревогу и готов был кричать или плыть следом. Она появилась так же неожиданно, как исчезла: в зарослях на другом берегу возникло светлое размытое пятно, стало приближаться, и вскоре из него прорезалась женская фигура, которая с каждым шагом становилась все более явной. Даша поплыла назад.

Она спокойно плыла по темной застывшей воде, до него доносился едва слышный плеск. Даша приблизилась, Вербин увидел, что она плывет, держа во рту веточки с желтыми, похожими на янтарь ягодами.

Даша доплыла до мелководья, поднялась и теперь снова шла в полный рост. Она шла открыто, без стеснения, на ходу отколола волосы, они упали и свободно разметались по спине и плечам; Вербин смотрел, как она идет, в ней было что-то от лесного животного, прекрасная звериная плавность, полная свобода, никакой скованности.

Даша протянула ему веточки с желтой спелой морошкой, ягоды были кисло-сладкими на вкус и оставляли на губах маленькие капли сока, и он, и она медленно ели, растягивая удовольствие, но он подумал, что не стал бы плыть на другой берег ради нескольких ягод, а она не задумываясь поплыла,— захотела и тотчас поплыла, тогда как он прежде все обдумал бы и взвесил, стоит ли; это было одно из многих различий, которые существовали между ними.

И он, и она знали, что вскоре им предстоит расстаться, он не мог жить здесь, а ей не было места в его привычном существовании, они знали все наперед, хотя старались об этом не думать; но и он, и она в глубине души помнили об этом постоянно, даже в минуты страсти. Он не мог взять ее с собой и не мог остаться, она согласилась с этим заранее и принимала все как есть, без оглядки и сожаления.

В каждой их встрече присутствовала глухая, тайная горечь. Они без слов понимали неизбежное близкое расставание, не на время — навсегда, безнадежность отравляла радость встречи, точила обоих, но вместе с тем прибавляла приступам страсти особую едкую и острую силу, которой не знает благополучная любовь.

2. С половины июля погода менялась редко, стояли ясные, погожие дни. Но если случался дождь, то не пробегал мимолетно, как прежде, а заряжал надолго. Даша

обыкновенно предупреждала о ненастье: осина перед дождем гудела на многие голоса, как пчелиный рой, запотевала верба, сникал вместе с листьями клевер, а спорыш-трава закрывалась и редела; на полянах и в некосях лу́га меркли перед непогодой цветы, смолкали кузнечики, эхо в лесу прибавляло гулкости, и волгла хранимая открыто соль.

В один из дней Вербина вызвал на связь управляющий. Разумеется, первым делом диспетчер о вызове сообщил Родионову, но когда Вербин пришел, в комнате, кроме диспетчера, никого не было.

— Алексей Михайлович, как дела? — спросил управляющий.

— Без перемен,— ответил Вербин.

— Колонна в пойме?

— В пойме.

— Родионов упирается?

— Я думаю, вряд ли он изменит позицию...

— Алексей Михайлович, в главке мне сказали, что пока проект в силе, но разговоры о его пересмотре идут. Вы понимаете, если мы успеем зацепиться на Марвинском болоте, то выбить нас оттуда будет трудно. И тем труднее, чем больше мы там освоим. Родионов это понимает. Он потому и поставил всю колонну на низинные болота. Расчет простой: пока работа идет в пойме, проект могут пересмотреть.

— Максим Иванович, формально трест не может ему помешать. Он в своем праве.

— К сожалению. Иначе мы бы его давно остановили. Сейчас он совсем от рук отбился.— Управляющий помолчал и спросил: — Он там, рядом с вами?

— Нет,— ответил Вербин,— его здесь нет.

— Алексей Михайлович... Вам на месте виднее... Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы накинуть на него узду?

Вербин подумал и сказал:

— Юридически он неуязвим. И по работе у него все в порядке.

— А как вам кажется, даст ли что-нибудь технадзор?

— Не знаю. Я мало имел с ними дел.

— Попробуем... Я позвоню в дирекцию мелиоративных работ. В конце концов, трест лишь подрядчик, работу принимают они. Проект для них кровное дело. Вы пока оставайтесь в колонне, поможете инспекции.

Несколько дней его никто не трогал. Лето обещало хороший урожай — обильно выпадала ранняя роса, гремели частые грозы, а в радугах преобладали зеленый и желтый цвета, красного было мало: зеленый сулил урожай пшеницы, желтый — ячменя, красный же предвещал засуху.

Даша сказала, что сухой туман во время цветения к плохому наливу, воздух, подернутый серой мглой, обещает ржу на злаки. К счастью, плохих признаков не было, даже звезд прошлой осенью выдалось мало — обилие их сулит неурожай.

— Как ты запоминаешь? — удивлялся Вербин.

— Да я и не запоминаю вовсе,— смеялась Даша.— Я это всегда знала, сколько помню себя. Ты-то машины знаешь?

— Я учился, экзамены сдавал, на лекции ходил...

— Так-то! Ну, а я просто жила.

Она закончила в деревне восьмилетнюю школу и никуда не поехала, осталась с отцом. Она любила читать, в деревне имелась библиотека, в которой она брала книги, Вербин удивился, когда они заговорили о прочитанном,— лишний раз он убедился, насколько безошибочно у нее природное чутье: она сразу угадывала неправду.

Итак, кончился июль, начался август, среди зелени вспыхнули яркие красные пятна рябины и бузины, поспели костяника и ежевика, а в сухих сосняках подходила брусника.

В начале недели Родионову сообщили, что из колонны, работавшей в соседнем районе, приедет инспектор технического надзора. В механизированных колоннах инспектор представлял генерального подрядчика, дирекцию мелиоративных работ, следившую за соблюдением проекта.

— Это вам я обязан? — с горечью спросил Родионов у Вербина.

— Разве он никогда не приезжал?

— Приезжал. Но сейчас уж больно к месту.

— По правилам инспектор должен находиться в колонне постоянно.

— По правилам нельзя трогать верховые болота.

— Когда-то он должен наведаться...

— А сейчас с вашей помощью.

— А вы что, боитесь?

— Нет, но все же... Представляю, какие у него указания. Стереть нас в порошок.

— С чего вы взяли?

— Взял... Его, наверное, так накачали...— Неожиданно Родионов хмуро спросил: — Решили чужими руками?

— Что я решил?! — Вербин почувствовал раздражение.

— Вроде и рук не мараете, и не ссоритесь ни с кем... Чисто, благородно... Ловко!

— Что вы говорите!

— А то! Уж лучше бы вы против нас в открытую шли! По крайней мере полная ясность.

—Если бы я шел против вас, как вы говорите, колонна давно работала бы на Марвинском болоте!

Родионов неожиданно успокоился, глянул насмешливо и сказал:

— А для этого вы слишком умны. И специалист толковый. Вы отлично понимаете, что работать там — во вред. Рано или поздно спросят. Это раз. Но дело не в этом, вы человек не трусливый и не боитесь. Вам самому участвовать в этом неохота. Не хотите — и все тут. Да только слово свое сказать, а уж тем более за правду стоять — вам это тоже ни к чему. Не нужны вам приключения. Ведь правда? — Родионов посмотрел с понимающей улыбкой и добавил: — А поскольку давят на вас и вам в тресте работать, вы и придумали технадзор. Вроде бы и не вы, и законно, и все довольны... А?!

Вербин поморщился и медленно, с досадой сказал:

— Если б вы знали, как мне надоели все оракулы. Вещают, вещают... По горло сыт. Вы сами подумайте. Если инспекция у вас что-то обнаружит — поделом! Туда вам и дорога. Так?

— Так,— согласился Родионов.

— А если у вас все чисто и это отметят, для вас же польза. Лишний козырь. Да и время, пока разбираются, идет. И это вам на руку. Разве не так?

Родионов не ответил, только смотрел с каким-то прищуром, и казалось, глаза его странно освещены изнутри — то ли восторгом, то ли ненавистью.

— Молчу и немею,— признался он после долгой паузы.— Я эту науку в целый век не пройду.— Он умолк и лишь качал головой.— Это ж надо так уметь! Как захотите, так и повернете. Никогда не постигну.— Он сокрушенно вздохнул и заметил с почтением:— Вам бы в ООН работать, переговоры международные вести...

— Предлагали,— вяло ответил Вербин.

— Ну и что? — с живым интересом взглянул на него Родионов.

— Отказался.
— Почему?
— Сказал: «В колонну к Родионову поеду».

Родионов кротко опустил голову, слегка поклонился и развел руки в стороны, как бы признавая полное превосходство собеседника.

В последние дни Вербин рано вставал, поздно ложился и редко приходил домой: шел Успенский пост, хозяйка строго говела и почти не готовила. Она не позволяла себе ничего скоромного, даже кашу варила без молока, на одной воде, а поскольку растительного масла в магазине не было, она ела без заправки.

Казалось, она усохла еще больше, ее немощное тело бесшумно передвигалось по дому, как тень. Баба Стеша временами исчезала в полумраке, и старый дом только скрипами и шорохами выдавал ее бесплотное присутствие. Лишь иногда Вербин встречал идущий из полумрака вопрошающий взгляд, в глазах хозяйки жила тревога: Стеша знала, что он бывает у Аглаи.

Баба Стеша помогала односельчанам, лечила от болезней, заговаривала зубы и кровь, сводила чирьи и ячмени, но сердце ее изо дня в день болело о нем, Вербин чувствовал.

Подумать только — она до сих пор не отвернулась от него! Он ходил к Аглае, Стеша знала, но не отвергла, не оставила его своей заботой. Сколько ни остерегала она постояльца, сколько ни указывала опасность, он не внял, лишь посмеивался в ответ и беспечно шел туда, где душе грозила погибель. И все же хозяйка по-прежнему и неизменно тревожилась за него.

По привычному людскому пониманию ей давно уже следовало махнуть на него рукой, даже рассердиться за непонимание и глухоту, однако она продолжала его жалеть. Не могла она в досаде или гордости отринуть человека, бросить на произвол судьбы — даже того, кто пренебрег ею. Как невычерпный колодец, хранила она доброту, колодец всегда был полным, опустошить или замутить его было невозможно.

Таясь в закутках дома, хозяйка как бы исчезала в полумраке, растворялась в пахнущей травами сумеречной глубине, откуда следила за происходящим, готовая в любой момент прийти на помощь; Вербин часто не видел ее, лишь понимал ее затаенное присутствие,— могло показаться, что сам дом, огромный темный рассохшийся сруб, пе-

режививший многие поколения людей, стережет еще одну судьбу.

С Дашей Вербин виделся теперь реже, но иногда среди дел, в дневной толчее, он бросал все и спешил в лес.

— Даша, ты хотела бы жить в городе? — спросил он как-то.

— Не смогу,— ответила она спокойно, точно решила для себя когда-то.

— Почему?

— Что мне там делать? Своей не стану, чужой не хочу.

— Будешь учиться...

— Ты говорил, тебя из деревни маленьким увезли, а я-то... Не приживусь. Худо, когда от своего уйдешь, а к чужому не пристанешь, так посередке и будешь толочься невесть кем всю жизнь, бельмом торчать да чужие углы отирать.

Он подумал, что она по обыкновению права, подумал и удивился — в который раз.

Вербину казалось, он существует в разных проявлениях: один — в колонне, среди машин, в запахе металла, бензина и солярки, под гул и грохот моторов, которые как бы связывали его с привычной прежней жизнью; другой — с Дашей, в лесу; третий — в почерневших от времени, пропитанных запахом трав срубах, в полумраке, бок о бок со Стешей и Аглаей... Между ипостасями не было очерченных границ, в каждом из проявлений помнились прочие, он то и дело незаметно переходил из одного в другое, в то же время они составляли одно целое — его жизнь здесь, и она разительно отличалась от того, что было с ним прежде.

3. Лето заметно шло на убыль. Дни оставались теплыми, солнце грело, но уже не жгло, полуденный зной ослаб, ночи стали темнее и удлинились.

По ночам выпадала обильная ледяная роса, и, когда появлялось солнце, весь мир умыто блестел. В низинах и на болоте зацвел тростник, а покрывшийся доверху листьями камыш выбросил метелки.

В колонне работа шла заведенным порядком, отлаженный Родионовым механизм действовал наезженно и привычно.

Вскоре приехал инспектор, жгучий брюнет с узким, костлявым смуглым лицом, на котором выделялись черные глаза и горбатый нос; нижняя челюсть инспектора была из-

лишне велика, отчего лицо выглядело постоянно насмешливым. Но он на самом деле часто понимающе и едко ухмылялся, будто ему и впрямь был ведом особый, тайный, забавный смысл всего сущего на земле.

Было в нем нечто одесское, он выглядел веселым южным человеком, свойским, уживчивым, который не строит из всего проблем и с которым можно без труда найти общий язык.

— Ну что тут у вас? — спросил он с усмешкой, когда Вербин и Родионов пришли его встретить.— Слухи какие-то, разговоры... Что вам неймется? — Маркин сонливо, с ленцой озирался.— Легче, мужики, легче живите,— посоветовал он и стал рассказывать анекдот.

Но сразу, едва он приехал, он немедля потребовал проект и стал с таким рвением в него вникать, а потом так въедливо проверять ход работ, что само собой приходило на ум, будто весь этот пыл-жар разожгли посторонние силы. Впрочем, Маркин и не скрывал.

— Я много чего повидал,— сказал он.— Но чтобы сами на себя бочку катили, не приходилось.

Он то и дело заглядывал в проектное задание и целые дни проводил в пойме реки, где шли работы.

— Ну и как? — словно невзначай поинтересовался однажды Вербин, когда они остались вдвоем.— Есть выводы?

— Есть, есть...— как бы успокаивая его, ухмыльнулся инспектор и глянул насмешливо.— Только не делай вид, что ты здесь ни при чем.

Вербин изобразил удивление, Маркин в ответ криво усмехнулся:

— Брось! Ваши в тресте такой пожар развели, мое начальство до сих пор не очухалось. Сам подумай: трест просит, чтобы его колонну мы проверили с пристрастием. Умоляли что-нибудь отыскать. Это как?!— Он засмеялся.— Мне наша дирекция скипидару под хвост сыпанула так, что я полетел сюда без оглядки.

— И что? — вяло спросил Вербин.

Инспектор посмотрел на него насмешливо, но и с некоторой укоризной.

— За кого ты меня держишь? Я эти ваши штуки... насквозь, как на рентгене...— Он погрозил пальцем, приблизил лицо почти вплотную и доверительно, словно по секрету, но все так же насмешливо сказал:— Черта лысого вы ему что-нибудь сделаете.

— Кому?

— Родионову. У него комар носа не подточит. А то, что в пойме начал, его дело. Ему в этом никто не указ.

— Ты напрасно думаешь, что я против него,— заметил Вербин.

— Да? — инспектор понимающе кивнул.— Мы здесь вообще ни при чем. Нас тут и не было.

Проверка длилась три дня, перед отъездом инспектор сел писать заключение. Родионов неприкаянно бродил вокруг, слонялся из угла в угол: было видно, как он мучается и томится.

Некоторое время Маркин молча писал, потом насмешливо спросил:

— Невтерпеж?

— Да уж... поджилки трясутся,— признался Родионов.— Хоть бы намекнул, что и как... А то выдерживаешь меня.

— Чего там «выдерживаешь»! Тоже мне начальник колонны! Инспекцию принимает!..— Маркин возмущенно потряс рукой.— В других колоннах стол накроют, подарочек поднесут...

— Да неужто ты берешь?! Ведь не брал никогда!

— Мало ли что я не беру!.. А ты уважение окажи!

— Да знаю я тебя! Тебе предложи, ты еще хуже напишешь. Что было, чего не было...

— Правильно,— согласился Маркин.— Боишься?

— Боюсь.

— Это хорошо. Всех вас в страхе надо держать.

— Меня уже и так колотун бьет. Не тяни, отпусти душу на покаяние,— попросил Родионов.

— Да ладно, чего уж... прибедняется... Все в порядке,— сказал инспектор.— Твое счастье. А то всыпал бы я тебе по первое число. Ты бы у меня получил на орехи.

— Дай бог тебе здоровья,— истово сказал Родионов.— Порядок? Так и напишешь?

— Так и напишу, куда я денусь...

—Ну-у! — с какой-то угрозой помотал головой из стороны в сторону Родионов.— Меня теперь голыми руками не возьмешь.

— Во распетушился,— сказал Маркин.— А вообще ты самоубийца.

— Я знаю,— покорно согласился Родионов.

— Против своего треста прешь!

Родионов вздохнул.

— Уж больно цена велика, Семен,— сказал он кротко.

Некоторое время оба тихо сидели в задумчивой неподвижности, наконец инспектор встал.

— Поеду. Ты вот что, Николай... Дай знать, если невмоготу станет. Вместе покумекаем. Может, надумаем чего.— Он посмотрел в упор, и, хотя был серьезен, казалось, кривая насмешливая улыбка держится на длинном, костлявом смуглом лице.

4. Между тем август заметно клонился к осени. В полдень солнце еще могло припечь, с каждым днем креп запах отяжелевших листьев и трав, но в лесу уже тонко пахло грибами, по утрам долго не просыхала роса, и уже ладились к отлету кукушки, зорянки и камышовки.

В августе Вербин редко наведывался к Аглае. Встречала она его без упреков, была строга, но спокойна.

— Сила уходит,— заметила она в последний его приход и больше не вспоминала об этом. Было заметно, что она действительно ослабла, одышка усилилась, движения замедлились, и чаще, чем прежде, она застывала, чтобы перевести дух.

Медленно, часто отдыхая, она рассказывала о скрытой связи между днями недели, травами, частями человеческого тела, числами и цветом. Это было тайное знание, известное лишь редким, особым людям.

— Узнать такое не каждому выпадает,— сказала Аглая.— Многие о том помышляют, а дается редко кому. Понимай.

Она рассказала, что понедельнику принадлежит мозг человека, число два, белый цвет и растения, живущие в воде. Вторник, по ее словам, ведал желудком, красным цветом, числом три и влиял на чеснок, молочай и крапиву. Среда владела легкими, числом четыре, пестрой окраской, пролесной травой и орешником. Четверг оказывал действие на печень, ему принадлежали голубой цвет, число пять и пахучие травы — белена, мята и воловий язык, или красный корень...

Она перебрала все дни недели. Он узнал, что всякая трава полное действие имеет в свой день, тем же отличались число и цвет: лечить хворь или напускать порчу следовало строго по правилам, помня день, цвет и число.

Как бывало уже, голос ее по мере рассказа креп, кожа розовела, дыхание становилось ровнее, а движения тверже.

К ней как будто возвращались силы, должно быть, она сама возгоралась духом от своих слов и на короткое время забывала о немощи.

Сначала Вербин про себя посмеивался по привычке, но постепенно ярый огонь, разведенный в себе этой старухой, обжигал и его.

В полумраке, при свете свечи, ее лицо снова становилось похожим на маску, жесткий надтреснутый голос мутил мысли и проникал внутрь: исступление и накал в этой старухе были неподдельными, он видел. Ни в чем не принимала она участия вполсилы, частью натуры, но, слабея и берясь за дело все реже, она тем не менее тратила себя каждый раз без остатка.

Постепенно Аглая впадала в транс: прикрыв глаза и раскачиваясь, она плела завораживающую вязь слов,— стоило труда не раскачиваться вместе с ней. Да и вообще трудно было удержаться, чтобы не закрыть глаза и не погрузиться в забытье.

Каждая часть растения имела сообразность в неделе: плод соответствовал четвергу, семя и кора — среде, цветы — пятнице, корень — субботе, крона — вторнику, листья — понедельнику...

Растение уподоблялось человеческому телу: плод оказывал действие на печень, семя и кора — на легкие, цветы — на половые органы, корень — на селезенку, листья — на мозг... Сила действия зависела от дня недели.

Сначала для Вербина то была редкая игра, театр, причудливая забава, нелепица, но постепенно он терял спасительную снисходительность, забывал себя и погружался в действие: он начинал понимать закон, по которому человек жил тогда, когда был частью природы.

Аглая не говорила — вещала:

— Ежели сердце и левую ногу совы положить на спящего, то он, не проснувшись, скажет все, что собирался делать, и ответит на все вопросы.— При свете свечи Аглая сама напоминала такого спящего, который сквозь сон ведет рассказ.— Тот, кто съест горячее сердце угря, получит умение указывать будущее. Ежели носить на груди голову коршуна, то будешь люб женщинам.

Когда Вербин вернулся домой, баба Стеша спала. Он тихо разделся, лег и долго не мог уснуть. Сон не шел. Голова была воспалена, он ворочался, но возбуждение не утихало. Над Аглаей можно было посмеиваться, но ее неукротимость и огонь внушали безотчетное уважение. Этот огонь

не был добрым и не грел человека, но лютый внутренний жар Аглаи сжигал покой того, кто оказывался поблизости.

Среди ночи Вербин услышал, как хозяйка встала. Она подошла к нему в длинной белой полотняной рубахе и положила ему на лоб сухие, теплые руки.

— Измаялся, бедолага,— сказала она тихо.— Ах ты голубь мой, вишь, будоражит людей, окаянная. Вон она что с тобой сделала, не угомонишься никак. Щас, милый, я тебе покой дам.— Она вышла, вернулась с куском хлеба и солонкой и забормотала едва слышно:— Воскресенье с понедельником, вторник со средой, четверг с пятницей, а тебе, суббота, дру́жки нет, вот тебе хлеб-соль, а мне дай ясный сон.— Баба Стеша макнула хлеб в солонку, положила его в изголовье и легким движением пальцев стала оглаживать голову Вербина; он почувствовал, как пропадает возбуждение, мысли улеглись и появилась сонливость.

Позже его сморил сон, баба Стеша перекрестила Вербина и ушла едва слышно, как и появилась.

Август случился богатым на ягоды. Даша не раз угощала Вербина свежей костяникой, настаивала квас или выдерживала в сахаре: по ее словам, костяника улучшала кровь и помогала при простудах. Вербин нередко и сам набирал на ходу полные горсти ягод — кусты костяники ярко горели по всему лесу.

Несколько раз Даша и Вербин отправлялись за ежевикой, ее колючие заросли густо выстилали склоны оврагов и берега ручьев. Даша называла ежевику ожиной, сушила ее на зиму и варила из нее варенье. Вербин после ежевики ходил исцарапанным, кусты напоминали колючую проволоку, стебли по всей длине были усыпаны шипами. Даша быстро рвала сизые ягоды, ее ловкие пальцы проворно сновали среди игл, Вербин то и дело накалывал руки.

Иногда они проводили в лесу день напролет, после отъезда инспектора Вербин не следил за ходом работ. Колонна работала в пойме, трест молчал, Вербин решил, что все уже смирились и оставили Родионова в покое. Но, оказалось, это было затишье перед грозой.

В один из дней Вербин возвращался из леса домой и вдруг обнаружил, что не слышит привычного гула моторов, в пойме на берегу реки было безлюдно и тихо. Еще издали он заметил скопление людей вокруг дома, в груди холодком заныло недоброе предчувствие.

На улице в густой толпе стоял вездеход. Все молчали, женщины вытирали глаза, обстановка напоминала похо-

роны. Вербин увидел хмурые лица, растерянно озирался по сторонам Федька, потупившись, озабоченно думал о чем-то тучный председатель колхоза, и даже пьяница забулдыга Прохор морщился и кривился, как бы печалясь со всеми.

Вербин приблизился и сразу привлек общее внимание. Все повернулись к нему, одни вопросительно, даже с любопытством, некоторые явно ждали от него чего-то и смотрели с непонятной надеждой, другие, было видно, не ждали ничего хорошего, их лица выражали неприязнь.

Теряясь в догадках, Вербин в тишине прошел сквозь толпу и направился к дому. Навстречу с большим старым чемоданом вышел Родионов, за ним, вытирая слезы, в дверях появилась баба Стеша, притулилась к дверному косяку.

— Что случилось? — спросил Вербин.

— Уезжаю,— с грустью ответил Родионов.

— Куда?

— Укатали сивку,— как бы не слыша, криво усмехнулся Родионов и поставил чемодан.

— Вы мне толком объясните,— с некоторым раздражением попросил Вербин,— что стряслось?

— Отстранили. Теперь от вас зависит.— Он вздохнул и добавил:— Командуйте пока.

—Да, но... как же... а вы? — с трудом собирался с мыслями Вербин.

— В трест переводят,— едко улыбнулся Родионов и со значением поднял брови. — На повышение иду.

— Да-а...— протянул Вербин. Он сразу все понял: в тресте нашли выход.

— Только я не пойду,— неожиданно заявил Родионов.

— А куда же?

— Россия большая, работы хватает. Но что я вам скажу...— Он внезапно умолк, прищурился и посмотрел Вербину в лицо. Потом сказал тихо, так, чтобы не слышали вокруг:— Помните, что нам лесник говорил? «Не отстоите — брошу все, уеду». Помнишь? — настойчиво, в некоторой запальчивости повторил он.— Я тебе скажу... Нельзя, чтобы после человека пустошь оставалась, ты это знай.

Он замолчал. В тишине неподвижно стояла вокруг толпа, Родионов, хмурясь, озирался, все молчали; в окне соседнего дома Вербин заметил Аглаю, она неподвижно наблюдала за происходящим.

Родионов стоял возле старого, потертого, неуклюжего

чемодана, низкорослый, лысоватый, в мятом дешевом костюме — все в нем было неказисто и провинциально.

— А теперь что ж... теперь...— Родионов нерешительно и как-то обескураженно развел руками.— Передали, вы за начальника. Скоро замену пришлют.— В замешательстве он поднял чемодан и направился к машине.

— Прощай, Петрович,— сказал в толпе кто-то из мужчин.

Женщины открыто плакали. Заработал мотор, толпа заволновалась, плач усилился, какая-то старуха громко заголосила, вездеход тронулся с места и поехал по улице.

5. С отъездом Родионова выбираться в лес удавалось редко, Вербин почти все время проводил в колонне. Он вставал рано утром и приходил поздним вечером, когда хозяйка уже спала. Впрочем, он не знал, спит она или просто беззвучно лежит в темноте, вслушиваясь в шорохи и скрипы старого дома.

После отъезда Родионова баба Стеша не находила себе места. Она неприкаянно бродила по дому, прислушивалась, неподвижно смотрела в окна, будто ждала кого-то. Глаза ее потускнели, живость исчезла и бесцветным стал голос. Правда, она почти не говорила. Лишь однажды спросила, не обидит ли он их с болотом.

Этот вопрос он видел в глазах у многих. Все жители смотрели на него вопрошающе, он ловил взгляды, угадывал их со стороны и чувствовал спиной, когда ему смотрели вслед. Вся деревня в тревоге, напряженно следила за ним, порой ему казалось, что и дома застыли в молчаливом, неподвижном внимании и не отрываясь стерегут любое его движение. Все ждали, что станет с Марвинским болотом.

Работа в пойме шла, как прежде, по сетевому графику, составленному Родионовым. Порядок выглядел незыблемым и как бы заведенным на века. Вербин подумал, что самое лучшее, что он может сделать,— это не появляться здесь вовсе, по крайней мере не мозолить глаза.

Однажды на одном из участков в пойме, где работа уже подходила к концу, Вербин встретил председателя колхоза.

Вместе с агрономом и главным инженером тот расхаживал по участку, прикидывая, что где сажать и сколько понадобится труб, чтобы из реки качать воду для полива.

— У меня новость, Алексей Михайлович,— сказал председатель колхоза.— Получили весточку из Москвы, от на-

шего ходока. Записался на прием, что тоже труда немалого стоило. Положит на стол наши доводы. Так что, видите, мы не дремлем. Я считаю, новость хорошая.

— Для кого? — насмешливо поинтересовался Вербин.

— Как? — не понял председатель.— Для всех. Я считаю, вы наш союзник...

— Я не союзник и не противник. Я врио, временно исполняющий обязанности.

— Алексей Михайлович, вы ж посмотрите, какая выгода! Река в сохранности, лес цел, у нас земли прибавилось!.. И вы с планом.

— Насчет нас — вопрос. Мы могли бы намного перекрыть. Скоро в этой излучине заканчиваем, придется всю технику на другую перегонять. Еще неизвестно, как трест решит.

Председатель колхоза хмуро пожевал губы, подумал и решительно взглянул Вербину в лицо.

— Алексей Михайлович, позвольте задать вопрос напрямик. Если до разбирательства в Москве вам прикажут взяться за Марвинское болото, как вы поступите?

Вербин подумал и спокойно ответил:

— Я не думаю, что сейчас поступит такой приказ. Время упущено — август. Начинать к зиме...— он с сомнением покачал головой.— Вряд ли...

— С треста станет начать,— вмешался агроном.— Дабы всем потом заявить: поздно! Мол, где вы раньше были? Для вашего треста Марвинское болото лакомый кусок, лет пять — семь план за всю область может давать.

— Алексей Михайлович, вы не ответили,— напомнил председатель колхоза.

Вербин постоял молча, потом отступил, неопределенно пожал плечами и как бы в раздумье прошелся вперед и назад; все молча следили за ним. Он походил, будто собираясь с мыслями, потом отошел еще раз, но уже не вернулся и лишь обернулся издали.

— Я думаю, скоро приедет новый начальник колонны,— сказал он, повысив голос, чтобы все его слышали, и медленно пошел в сторону луга.

Он пересек луг, миновал опушку и вошел в лес. Какое-то время за деревьями просматривалось открытое светлое пространство, потом деревья сошлись, стали тесниться, пока не сомкнулись плотно; трудно было поверить, что поблизости просторно открыта даль. Вокруг вздымался старый сумрачный лес. Мощные стволы, как колонны, поднимались вы-

соко вверх, где кроны образовывали прочную кровлю. У подножья стволов густо кипел подлесок, в другом месте он сам считался бы лесом, здесь же над ним еще оставалось высокое тенистое пространство, за которым далеко наверху, почти в поднебесье, сквозь листья брезжил солнечный свет.

Лес был наполнен приглушенным шумом. Вербин приложил ухо к дереву — из ствола доносился едва слышный гул. Стоило отнять ухо, гул исчезал. По отдельности деревьев не было слышно, но все вместе они наполняли лес тихим гулом, который сливался с шелестом листьев, скрипом веток, шуршанием кустов в общий, похожий на ровное дыхание шум. Это и было дыхание леса, в спокойном ожидании он наблюдал за стоящим у его ног человеком.

Вербин внимательно осмотрелся. Он почувствовал исходящее из окрестных зарослей внимание; чей-то пристальный взгляд держался на нем ощутимо, как прикосновение,— не понять только, чей и откуда.

Вербин прислонился спиной к дереву и взглядом стал ощупывать пространство перед собой. Потом он обошел дерево и то же проделал с другой стороны. Но кругом было тихо, спокойно, ничего подозрительного он не заметил.

Он отправился дальше, но чувство, что за ним тайком наблюдают, не покидало его; время от времени он внезапно на ходу оборачивался и окидывал взглядом лес. Должно быть, со стороны это выглядело комично и странно, он напоминал мальчика, который один, сам с собой, играет в казаки-разбойники.

Вербин приблизился к лесному кордону. Он подкрался к кусту, за которым скрывался и прежде, и осторожно выглянул: Даша сидела к нему спиной, нанизывала иголкой грибы на нитку. Работая, она напевала без слов, чистый голос плыл по лесу.

Вербин стоял и слушал. Что-то знакомое обозначилось в памяти — пела когда-то женщина в летнем лесу, но так далеко и давно, что не открылось явно. Она проступила едва, лицо смутно брезжило в прошлом: голос, звучащий сейчас в лесу, приблизил ее, она существовала — но где, когда? — память его напряглась. Он застыл, пытаясь поймать черты в фокус, навести резкость, вот-вот, последнее усилие — размытое пятно постепенно оформлялось в образ; Вербин напрягся так, что окостенел: казалось, еще секунда — он увидит ее отчетливо. В это время голос Даши умолк — лицо женщины померкло и исчезло. Он не вспомнил ее.

— Что с тобой? — Даша стояла перед ним и удивленно смотрела ему в лицо.

— Ты пела, я слушал.— Вербин очнулся и пришел в себя.— Мне показалось, я уже слышал когда-то.

— Непогода будет,— сказала Даша.— Зяблик подолгу стонет. Туман утром вверх поднялся, после него пар от леса шел, тоже к ненастью.— Она посмотрела вокруг.— Кончается лето...

— Грустно...— улыбнулся Вербин. Его вдруг остро потянуло в город, на улицы, в толчею.

— Намедни отец об отъезде разговор вел.

— Почему? — озабоченно спросил Вербин.

— Тревога его одолела. Как Родионов уехал, сам не свой стал.

— Я пока есть, ничего не изменилось.

— Я сказала ему...

— А он?

Она помолчала и вздохнула:

— Он Родионову очень верил.

Молча они брели по лесу. Расходящиеся лучи света прорезали сверху вниз тенистое пространство и косо падали на землю. Вербин посмотрел вверх: высоко над головой в просветах между листьями играло солнце.

Одинокий желтый лист размашистыми зигзагами стриг воздух. Вербин следил за ним, не спуская глаз. Иногда казалось, лист не падает, даже взмывает вверх: он действительно поднимался, но потом замирал и круто скользил вниз; это было безнадежное плавание, рано или поздно он должен был коснуться земли.

— Даша, но ведь это нелепо — бросить все только потому, что уехал один человек! — сказал Вербин в сердцах.

Она не ответила. Они продолжали идти, и вдруг Вербин остановился и решительно направился в сторону, точно увидел кого-то. Но в зарослях никого не было, он осмотрел все внимательно, траву, ветки — трава показалась ему примятой, да мало ли, поди разберись. Даша беспокойно следила за ним, вид у нее был встревоженный, но, когда он вернулся, она не произнесла ни слова.

Через день по дороге в контору Вербин встретил Варвару.

— Здравствуй, радость моя,— сказала она, играя в улыбке глазами и губами.— Я уж и не чаяла, что увижу тебя. Жив?

— Жив, как видишь,— ответил Вербин.— Работы много,— добавил он, испытывая неловкость.

— Работы...— повторила она протяжно, подняв брови, и усмехнулась со значением.— Не по знанью знакомство — чай с чесноком.— И неожиданно спросила:— Ты хоть вспоминаешь шалашик наш аль забыл?

— Не забыл.

— И на том спасибо. Отчего ж не заладилось у нас, Алеша? Не понравилась я тебе?

— Что ты, занят я, Родионов уехал, я пока за него, ты знаешь, наверное...

— Знаю я, знаю, все я знаю, Алеша,— сказала она с улыбкой, в которой грусти было больше, чем веселья.— Хороша Маша, да не наша.— Лицо ее стало вдруг озабоченным.— На деревне болтают о тебе плохо. Будто к Аглае на выучку ходишь.

— Неужели верят? — засмеялся Вербин.

— Это тебе не город, Алеша, там соседи на одной лестнице живут и друг дружку не знают. У нас всему верят. Поостережись. Где дерево подрубят, на ту сторону оно и валится.

— Так ведь вы сами к ней ходите,— сказал Вербин.

— Верно. Коли нужда есть. А так-то у нас ее не любят, стерегутся. Дом у нее в деревне, а живет вроде на отшибе. Иной раз даже жалко: одна-одинешенька. Да жалеть ее нечего, зла больно. С собой носится, других ни в грош не ставит. Придешь к ней за помощью, она поглядит свысока да сперва тебя ногами потопчет, власть свою покажет. Боятся ее. Что угодно сотворить может. Я тебя остеречь хотела, потому как не чужой мне.

— Спасибо, Варя,— сказал он как можно искреннее.— Ты хороший человек.

— Что с того? — улыбнулась она невесело.— Пропадаю зазря. Нет мне здесь пары, Прохор, что ли? Внешность моя пропадает и душа. Любить мне, Алеша, охота — мочи нет. Ты, наверное, обо мне плохое подумал: ветрогонка какая... А я любить хочу, сердце у меня неутоленное. Кого полюблю, тому счастье большое выпадет, я б суженому своему по гроб верна была, верней меня не встретить.— Она умолкла, помолчала, глядя в сторону, потом сказала: — Уеду я отсюда. Заведу себе в городе сапоги длинные да каблуки тонкие, кого хошь поманю. Встретишь меня, пожалеешь, что упустил. Многих городских баб за пояс заткну.

— О чем речь, конечно,— улыбнулся Вербин. Он представил ее в одежде горожанок своего круга и решил, что она действительно мало кому уступит.

— Я скажу, ты не сердись, Алеша... Не будет тебе счастья,— неожиданно произнесла Варвара.

— Почему же? — Вербин почувствовал, как холод коснулся груди.

— Не любишь ты никого. Не умеешь. Надобно все сердце без оглядки отдать, а ты не можешь.

Он медленно осознавал, что так оно, пожалуй, и есть.

Варвара поигрывала стебельком, грызла его, ожидая от Вербина каких-то слов, но он ничего не сказал.

— Может, и вправду в городе встретимся,— сказала Варвара и пошла прочь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1. В августе заметно остудились ночи. Днем пригревало солнце, после полудня могло припечь, но уже на закате пар дыхания становился явным.

После отъезда Родионова Вербин в колонне ничего не менял, но понимал, что долго так не протянется. Вскоре его вызвал на связь управляющий трестом. Было ясно, что время упущено, лето кончается, и все же трест предложил начать работу на Марвинском болоте.

— Сейчас? — переспросил Вербин.— Надо закончить в пойме, раз уж там начали. Осень на носу.

— Правильно. Вот поэтому мы и должны на зиму иметь на Марвинском болоте хоть какой-то задел,— сказал управляющий.

— Я думаю, лучше оставить как есть. План года мы выполним в пойме. А весной...

— До весны это болото могут у нас отобрать!

— Но бросать работу в разгаре и переходить на новое место...

— А зачем бросать? — перебил его управляющий.— Не надо. Продолжайте работу в пойме. А на Марвинском болоте только начните, переведите одну-две бригады...

— Население против. Могут быть осложнения.

— А мы теперь будем умнее. Переходите медленно, тихо... не дразните гусей. Мало-помалу, без лишнего шума...

— А если пересмотрят проект?

— Мы должны опередить!

— Нас остановят.

— Это не так просто тогда. По крайней мере труднее, чем сейчас, Алексей Михайлович, в ближайшее время мы вам пришлем замену.

— Поскорее, пожалуйста,— попросил Вербин.

— Да, да, я помню, до связи,— закончил управляющий, и Вербин отдал трубку радисту.

На следующее утро Вербин отправил на Марвинское болото геодезиста и одного рабочего с рейкой. Формально он выполнял приказ, на самом деле это ничего не значило, потому что вся работа продолжалась в пойме.

После Успения, поделившего август надвое, шестнадцатого числа, когда баба Стеша разговелась с окончанием поста, ночь выдалась особенно холодной. В доме топилась печь, горячий воздух плотно заполнил горницу, нечем было дышать; Вербин набросил длинную старую кавалерийскую шинель и вышел во двор; в горло хлынул холодный воздух.

Был поздний вечер. На светлом высоком небе были видны редкие бледные звезды, неподвижный, чистый, прозрачный холод наполнил все пространство до края земли. Необычная ясность и стынь были как бы особыми признаками этой ночи: малейший звук явственно долетел издали, каждый шорох отчетливо был слышен, любой огонек был виден отовсюду, не измененный расстоянием.

Это была странная ночь. Она отличалась холодом и содержала в себе такую незамутненную даль и ясность, что приобретала особый смысл и значение и как бы заведомо предназначалась чему-то. Ночь уже не могла быть обычной ночью, это был чей-то умысел.

Вербин увидел, как в темном окне соседнего дома возник тусклый колеблющийся свет. Держа свечу, в окне появилась Аглая; какое-то время она неподвижно стояла, невидяще глядя наружу, потом вслепую поманила кого-то рукой. Вербин понял, она зовет его. Она не могла его видеть, он понимал, и все же она позвала, будто твердо знала, что он здесь стоит.

Аглая встретила его в дверях, посветила ему и закрыла за ним дверь на засов. Даже при свече было видно, как запали ее глаза, как побледнело и заострилось лицо. В тишине было слышно ее хриплое дыхание.

Она ничего не спросила, даже не упрекнула его за долгое отсутствие.

— Времени нет,— сказала она и как бы отвергла все

лишнее.— Подними,— она указала на крышку стоявшего у стены сундука.

Вербин поднял тяжелую крышку, увидел сложенное стопкой чистое белье, несколько старых тетрадей и книг.

— Это тебе, после посмотришь,— произнесла она с одышкой.— Мало у нас времени, надобно больше, а ты и раньше не больно усердствовал. Да ладно, теперь словами не поможешь.— Жестом она усадила его на скамью.— Запомни: силу свою употреблять можно каждую ночь, а лучше с пятницы на субботу, как сегодня. Да браться надо с желанием, всем сердцем, с жаром, а не то не получится. Смотри, кладу терлич, руту, шалфей,— горстями она стала брать со стола травы и бросать в горшок с водой.— Поставь на огонь, пусть закипят.

Слабое пламя свечи освещало стол с разложенными на нем пучками трав, кореньев, плошками, пузырьками, горшочками и бутылками.

— Есть три главных мази,— сказала Аглая.— Первая позволяет видеть и слышать сквозь стену и проникнуть всюду, куда ни пожелаешь, в любое место на земле. Мазь готовится из жира кошки или зайца вместе с травой прострелом. Вместо прострела можно взять другую траву из близких — вологуб, синеглазку или волчий корень — прикрыт. Туда же кладут могучник, называемый еще гусиной лапкой, а также паслен, который одни зовут вороньими ягодами, другие — сорочьими, а третьи — медвежьими, кто как. После добавляют сельдерей и сажу. Надобно натереться всему.

— Неужели пройду сквозь стену? — улыбнулся Вербин.

— Испробуй,— кратко ответила Аглая.

— Сейчас? — живо спросил он.

— Погоди,— ответила она, не принимая его веселости.— Другая мазь обращает человека в животных.

— Да ну! — засмеялся Вербин.— Сам себе кошка и собака! А в корову можно? Подоился — и назад, молоко пить! А курицей можно яйца себе нести. Ценная мазь, богатые возможности открывает!

— Третья мазь переносит по воздуху куда пожелаешь,— сказала Аглая. Было видно, она гнет свое в твердом желании довести начатое до конца.

— То есть... летать можно?

— Можно,— ответила она businessично.

— Значит, сегодня у нас с вами маленький шабашик?!

Аглая не ответила, заглянула в горшок и сказала:

— Скоро закипит, начинай...

— Что я должен делать? — с интересом спросил Вербин.

— Намажься да разотрись как следует.— Аглая подала пузырек с мазью.

Его съедало любопытство. Он, как ребенок, испытывал нетерпение и жгучее желание поскорее узнать, что будет дальше, он и на секунду не терял ощущения игры,— убежденность Аглаи в том, что все будет, как она говорит, занимала его, и он с острым любопытством ждал, чем это кончится.

Это была редкая удача, настоящее везение; многоопытному ироничному горожанину с высшим образованием, жителю большого города, искушенному в сложностях разноликой современной жизни, сведущему в формулах, графиках, чертежах, схемах и расчетах, представился случай пройти курс ведовства. Он понимал нелепость и несуразность положения, это обостряло и усиливало интерес. Он подумал, каково было бы его знакомым, многим мужчинам и женщинам, целому кругу современных городских людей, связанных между собой сложной сетью отношений, каково было бы всем им увидеть его в этой роли; он представил лица некоторых из них в эту минуту и непроизвольно улыбнулся.

Вербин быстро скинул рубаху и стал намазывать плечи, грудь и спину темной, с резким запахом мазью.

— Ежели по строгости, надо донага раздеться,— сказала Аглая.

— Это я так, для пробы,— ответил Вербин, растирая мазь ладонями.

— Лицо,— напомнила Аглая, и он стал мазать и растирать лицо, морщась от сильного запаха, который кружил голову и путал мысли.

Когда впоследствии Вербин вспоминал эту ночь, память его сохраняла отчетливость до этой минуты. Он помнил последовательно все, что происходило до того, как он намазал лицо и выпил терпкий, горький, обжигающий рот отвар.

Смутно, с большими провалами, он помнил то, что ему, как он впоследствии думал, показалось, но что происходило с ним на самом деле, он не мог вспомнить, как ни старался.

Конечно, он не допускал мысли, что то, что он помнил, происходило в действительности, но ничего другого на памяти не было.

Итак, он почувствовал звон в ушах, перед глазами возникли пульсирующие вспышки. Потом звон поутих, но слух обострился настолько, что казалось — слышно, как горит свеча; долетали какие-то шорохи, шепот, неразборчивые голоса, зрение стало острее и резче, он мог различить вдали соринку. Комната удлинилась, вытянутыми стали предметы — стол, лавки, свеча горела где-то вдали. В теле появилась легкость, он как бы потерял вес и осязаемую плотность и почувствовал, что может увеличиться невообразимо и заполнить любой объем или сжаться до размеров точки. Бревна сруба были видны отчетливо, но выглядели прозрачными и как бы отражались в воде, колеблясь зыбко,— труда не составляло пройти их насквозь. Вербин обнаружил, что руки и ноги его необычайно длинны, он поднял руку и увидел, как далеко она тянется в пространстве. Вдали он услышал голоса, смех, песни, чьи-то стоны и плач, он почувствовал, стоит ему захотеть — он проникнет взглядом в любое место, сам окажется там в мгновение ока.

В мглистой дали прорезались, стали отчетливыми чьи-то лица, они казались знакомыми и незнакомыми, колебались, будто на гладкой текучей поверхности, следили за ним — с интересом и в то же время отсутствующе.

Потом он впал в забытье. Когда он очнулся, кружилась и болела голова. В недоумении он осмотрелся и с трудом вспомнил, где он и что с ним; он лежал на лавке, упираясь головой в стену, комнату по-прежнему освещала свеча, Аглая сидела у стола и растирала что-то в ступе. Заметив, что он пришел в себя, она смочила тряпку резко пахнущей смолистой жидкостью и протянула ему.

— Оботрись,— предложила она.

Он снял с себя остатки мази, после обтирания кожа слегка горела.

— Испробуй,— Аглая придвинула плошку с новой мазью.— Обернешься кем пожелаешь.

— Что это? — Вербин понюхал мазь.

— Надобно смешать волчий жир да растереть с ним по ломтику мясо змеи, ежа, лисицы, трав с корнями, помет ворон, добавить крови летучей мыши да чуток людской крови. Не пугайся, самую малость.

— Где ж все это взять? — насмешливо спросил Вербин.

— Добудешь, коли надобность будет. Как намажешься да разотрешь усердно, так следует выпить варево из терлич-травы, с огня прямо.

— А третья мазь?

— Взять мозг кошки да настоять на крепком вине. После мешаешь с красавкой, называемой также волчьей ягодой или огурником. Пить следует отвар трех трав — терлича, шалфея, руты. Начинай...

— Голова болит,— пожаловался Вербин.

— С непривычки. Пообвыкнешь.

— Вряд ли,— усмехнулся Вербин.

— Не тяни, времени у нас нет,— хмуро сказала Аглая.

— Обещали — сквозь стену пройду, я уж и поверил,— засмеялся он.— А на деле... Обычные галлюцинации.

— Ну, ты меня не стыди! — рассердилась Аглая.— Молод со мной насмешничать! Говори толком да не ерничай!

— Ох, как вы со мной строго,— улыбнулся Вербин.— Это все кажется только. Галлюцинации.

— Не знаю такого слова. Язык блудлив.

— Вы не знаете, я знаю,— заметил он снисходительно.

Лицо Аглаи потемнело от гнева, но она сдержалась.

— Ты, видно, помыкать мной вздумал,— сказала она сухо и надменно.— Мол, довольно, надоела. Ну, так вот что я тебе скажу: не заносись! Я хоть и хвора, а силы своей не лишилась. Ты вершки узнал, а я жизнь прожила. Да и то сказать: что узнал, то ты от меня узнал, не забывай. Осерчаю — ты мне хуже врага будешь, всем сердцем на тебя восстану.— Она умолкла и перевела дыхание. Потом собралась с силами и продолжала: — Одно тебе скажу — мы с тобой одной веревкой повязаны. Я уйду, ты останешься.

— Я?! Вместо вас?! — спросил он пораженно.

— Молчи! Никто тебя не неволил, сам взялся. Теперь поздно отпираться да отлынивать. Ежели подумаешь, что тебе мое умение ни к чему, оплошаешь, жизнь добром не пройти, бока обомнут. А тут тебе сила в руки идет.— Она помолчала.— Я твои мысли знаю, ты от меня отмахнуться поскорее хочешь, мол, не чета вам, темным, все науки прошел. Верно, прошел. Умен да насмешлив, да знаешь много — здешним неровня. Да ты не думай, что умение мое только здесь к месту,— здесь для него пустяки одни. Может, в городской жизни оно пуще здешнего впору придется. Тут-то жизнь простая, а там толчея, всяк бежит, кто кого обойдет. Вот там умение мое впрок и пойдет. Не сейчас, так после, враги всегда найдутся. Вот ты думаешь: «На кой оно мне?» — а случай представится, помяни меня. Обидчик хитер, а ты сильнее. Что ж, уметь, да втуне держать? Силу иметь, да не употребить? Тут-то тебе моя наука и сгодится. А после и вовсе обыкнешь. В жизни первый тот,

кто сильней, а пошто не ты? Отчего чужой верх? Нет, пусть твой. Злости в тебе маловато, да злость не богатство, нажить легко.

— Ничего себе история! — засмеялся Вербин.— Я — в роли Фауста.

— Я открыто с тобой говорю. Мне знать надобно, что передала я. Коли откажешься, я тебя из могилы достану. Вся твоя жизнь прахом пойдет.

Через стол она смотрела в упор — глаза в глаза. Он подумал, что дело зашло слишком далеко. С самого начала он был убежден, что пройдет мимо, позабавившись на ходу,— была игра, редкая забава, в любую секунду он мог отстраниться, шагнуть в сторону, и вдруг незаметно и неожиданно открылось: нужно платить.

Она смотрела в упор и ждала ответа.

— Но... это же нелепо...— Он с сожалением усмехнулся.— Представьте, я — и вдруг...— Он посмотрел на нее и добавил с досадой:— Если б я мог вам объяснить... Но вы сами подумайте, насколько все это нелепо! Было мне интересно, не спорю, в наше время редкость все-таки, я потому и стал к вам ходить, но требовать от меня чего-то, какие-то обязательства... нет, чушь!

— Говоришь, интерес был? — спросила Аглая.

— Был, я не скрываю.

— Умел брать, умей и платить. Нынче много таких развелось — брать берут, а платить не хотят. Это тебе не забава. Думаешь, поиграл походя — и поминай, как звали? Славно дело, узнал, что людям знать не положено, да и пошел себе легким шагом! Не будет так!

— Поздно, пожалуй, в другой раз поговорим.— Вербин встал.

С Аглаей что-то произошло: она прикрыла глаза, лицо ее стало белым, застыло неподвижно и помертвело как бы.

— Что с вами? — спросил Вербин.

Она, как непосильную тяжесть, подняла веки и сказала отчужденно:

— Другого раза не будет.

— Что-то мрачные мысли вас посещают,— улыбнулся Вербин.

— Я знаю,— произнесла она глухо.— Книги да тетради в сундуке я тебе оставляю, возьмешь после. Не болтай, чужим на глаза не показывай, держи в сохранности, ценность редкая. Сам когда-нибудь передашь надежно. Ежели не передать, муку сулят, уговор издавна такой идет. Да помни,

я тебя не отпущу, не надейся, ты теперь наш,— повторила Аглая вслед.— Не захочешь, под белы руки поведут. Я тебя не оставлю.

Он вышел, прикрыл за собой дверь и с облегчением перевел дух. Его уже угнетала эта история. Он полагал себя сторонним зрителем, а его вдруг поволокли на сцену и объявили исполнителем главной роли. Он вспомнил предостережения бабы Стеши: стороной не пройдешь, заденет; коготок увяз — всей птичке пропасть... Он не задумался над угрозами Аглаи, но потом, позже, он не раз вспоминал их: ход событий возвращал его к ним.

2. В эту ночь баба Стеша не стала его расспрашивать. Ее разбирало нетерпение, и все же она и словом не обмолвилась о соседке.

— Тебе и так не сладко,— сказала она и ушла к образам молиться.

Она молилась о постояльце, просила уберечь от соблазна и спасти от лукавого. Это был переломный момент — кто кого, и она до рассвета молила о защите и помощи, забыв об усталости, возгоралась сердцем в надежде, что молитва ее будет услышана.

На другой день она выслушала его рассказ. Когда Вербин закончил, вид у нее был горестный.

— Жалко мне ее...— сказала она с грустью, и он поразился.

— Жалко?! Но ведь вы...— Он растерянно умолк.

— Всю жизнь враждовали, а все ж жалко. Ведь с рождения-то была чисто божья душа, это уж потом повернулось. Мы подругами были, бегали вместе, родители наши соседями жили. Я хоть радость знала, горе, детей растила, а она всю жизнь бобылкой, как перст одна. Вот наказание-то... Бог и люди от нее отвернулись, сладко ли? А помирать-то ей каково? Вишь, боится, о душе задумалась. Да поздно, срок-то вот он наш, выходит. Оттого можно и пожалеть. За то, что зло в себе носила, а добра не принимала. Что жизнь не заладилась. Что прощения ей не будет. Могла праведно жить, а жила худо. Потому и жалею.

Вербин слушал ее и думал, что всеобъемлющая, безграничная доброта этой женщины такая же редкость на земле, как и промысел Аглаи; они обе были редкостью в этом мире, будто не успели уйти со своим временем, нечаянно попали в чужое и задержались ненароком. Другая

жизнь затапливала землю, им предстояло вскоре кануть без следа.

На другой день пришло письмо от Родионова. Он сообщал, что добивается пересмотра проекта, и был убежден, что Марвинское болото можно отстоять. «Я надеюсь, Алексей Михайлович, вы сделаете по совести»,— писал он в конце письма.

Вербин посидел неподвижно и вышел на улицу. Возле здания конторы в земле рылись куры, поодаль стайкой слонялись собаки. Уставясь взглядом в землю, на скамейке неподвижно сидел глухонемой старик. От далекой речной излучины едва слышно доносился шум моторов. Вербин представил, как отдает приказ и грохочущий строй машин направляется в лес. Конечно, вскинется вся деревня, и угасшая война вспыхнет вновь. Он почувствовал желание все бросить, уехать.

Он брел и думал, что в любом случае станет козлом отпущения. Если колонна начнет в лесу, а проект отвергнут, вину свалят на него: зачем начал? Если же колонна из поймы не уйдет, а проект оставят прежним, виноват будет он же.

Он подумал, что такие мысли приходили в голову Родионову, пока тот не принял решение поступить по совести.

Нельзя сказать, чтобы Вербину до сих пор приходилось кривить душой: в любом деле всегда имелся выбор, приемлемый для всех выход. Решение обычно оставалось внутри технической проблемы, никому в голову не приходило подумать о совести. Ни в одной формуле, ни в одном расчете не было условного знака, обозначавшего совесть, на ответ она не влияла. То была чужая область, забота гуманитариев — здесь же все упиралось в расчет, в технологию, и скажи кто-нибудь, что возникнет надобность поставить в условие задачи значение совести, его подняли бы на смех.

На самом деле, что, кроме смеха, могло вызвать предложение решить задачу по совести, имея в виду не тщательность решения, а то, чтобы ответ учитывал категорию нравственности, называемую совестью. Автор предложения тотчас прослыл бы остроумцем, шутником, большим оригиналом.

Вербин подумал, какую, должно быть, легкость испытал Родионов, когда после мучительных раздумий решил поступить по совести. Наверное, гора с плеч. Вербин даже почувствовал досаду и раздражение, точно поступок по совести позволил Родионову умыть руки. «Ему хорошо, а

каково мне»,— подумал он со злой иронией, будто поступок по совести был недоступной роскошью; он даже едко пошутил с собой: «А если каждый станет поступать по совести?»

Вербин вспомнил свою квартиру, улицы, городские развлечения, его остро потянуло домой.

Он пересек луг, миновал опушку и вошел в лес. Тем же медленным шагом он дошел до оврага, спустился по склону и застыл: по мосту шел человек. Вербин узнал отца Даши.

Вербин не раз думал, что рано или поздно они встретятся; до сих пор ему удавалось избегнуть встречи. Он стоял на утоптанном пятачке и ждал, пока лесник перейдет мост. Неожиданно он почувствовал, что на них кто-то смотрит, из окрестных зарослей исходило постороннее пристальное внимание.

Вербин не знал, известно ли Кириллу о его встречах с Дашей, он поздоровался, в ответ лесник сдержанно коснулся пальцами лакированного козырька форменной фуражки.

— Смотрите? — хмуро спросил он.— Как подступиться сподручнее? — Кирилл сошел с бревна на землю, достал и протянул дешевые папиросы.

— Спасибо, я не курю,— ответил Вербин.

— Здоровье бережете? — поинтересовался Кирилл.— Что ж, здоровье бережете, а лес погубить хотите?

— Я не хочу,— сказал Вербин.

— Вам скажут, вы и погубите.— Лесник закурил.—Вон двоих уже сюда прислали. Каждый день с утра до вечера у нас по болоту ходят.

— Кто? — не понял Вербин.

— Да ваши... Один с прибором на треноге, другой с рейкой. Меряют что-то.

— А, геодезист... Это так, пустяки...

— С пустяков все и начинается. Один пустяк, другой, потом смотришь — поздно!

— Вам не кажется, что на нас кто-то смотрит? — неожиданно спросил Вербин.

— Может, и смотрит,— покуривая, спокойно согласился лесник.— Да нам-то что... Мне иной раз самому чудится, вроде кто тайком глядит. Лес смотрит. Лес у нас такой... живой.— Он обвел взглядом кусты и деревья.— Беспокойно вам? Что ж один ходите? Да разве кто вам что сделает? Бог вас не обидел, кому угодно острастку дадите.— Он затянулся, выпустил дым и неожиданно воскликнул, ткнув рукой в сторону:— Лес-то какой! Деревья — одно к одному!

Я за ними как нянька... пестовал. Руки — во, доски! — Кирилл показал жесткие, мозолистые ладони. Он помолчал и спросил горестно: — Что ж теперь с ним будет?

— Сейчас все от Москвы зависит,— сказал Вербин.

— А от вас? — Лесник умолк и подождал.— Москва что, Москва далеко. А болото — вот оно, рядом. И вы здесь. Пока там разберутся, вы тут много чего наворочать успеете. Так-то... Вам, понятное дело, зацепиться здесь надобно, а там пойдет. Потом вас от этого пирога никто не оттащит.

— Пока ничего не изменилось. Сезон кончается, работа в пойме идет,— возразил Вербин.

— То Родионов был, а теперь...— Не договорив, он махнул рукой.— Вам ведь что то болото, что это, что оно есть, что его нет...

— Родионов давно уехал. Если бы я хотел, колонна работала бы здесь.

— Значит, не прижимали вас. Я одно знаю: нечего мне попусту здесь торчать, надо подаваться отсюда.

— Это вы напрасно,— примирительно сказал Вербин.— Я думаю, разберутся во всем.

— Вы-то разобрались? — едко спросил лесник.

— От меня тут мало что зависит,— ответил Вербин.

— Эх, Алексей Михайлович! — с сожалением усмехнулся лесник.— Вы вон какой мужчина... Вам на медведя одному ходить, а вы...— Он горько махнул рукой, тщательно загасил окурок, сунул его в карман и пошел дальше.

3. Когда Вербин пришел на кордон, Даша во дворе готовила обед.

— Я твоего отца встретил,— сказал Вербин.

— На почту пошел, письмо опустить. Он последнее время в разные лесничества пишет насчет работы.

— Зря,— сказал Вербин.

Он сидел на вкопанной в землю скамье и смотрел, как Даша чистит и режет овощи. Она проворно и легко двигалась, на солнце ее волосы наполнялись слабым, прозрачным свечением.

Снова, в который раз, ему показалось, он уже видел это — когда-то в причудливой игре света и тени, так давно, что не определить — когда. Он смотрел на нее, напрягая память, силился что-то вспомнить — давний лес, свет, испускаемый женскими волосами, и лицо: оно брезжило в прошлом неясным пятном, но отчетливым не становилось.

— Я покормлю тебя,— сказала Даша, и он очнулся.
— Нет, спасибо, я пойду.— Вербин встал.
— Отец полдня проходит,— попыталась успокоить его Даша.
— Я только хотел тебя увидеть, больше ничего.
Она подошла к нему, молча обняла его и застыла. Он замер, испытывая нежность и едкое щемление, которое теснило грудь и подступало к горлу.
Они стояли в неподвижности и вдруг услышали металлический скрежет и лай. Лежавшая за углом собачонка неожиданно вскочила и понеслась вдоль проволоки, по которой скользила цепь; звонкий лай катился по лесу. Натянув цепь, собака рвалась к кустам, но вдруг умолкла, поплелась на место и легла. Даша не шевельнулась.
— Я пойду,— Вербин отступил.
Даша осталась на месте. Она стояла на границе солнца и тени, уронив руки как бы в бессилии и так, будто это было расставание навсегда. Она и смотрела так, точно не надеялась больше увидеть его,— потом, позже, он вспоминал этот взгляд, и даже спустя время он причинял ему боль.
Остаток дня Вербин был занят в колонне. Зашло солнце, когда он отправился домой.
Уже на меже, разделявшей огороды бабы Стеши и Аглаи, он почувствовал беспокойство. Соседний дом был беззвучен, окна наглухо были затянуты занавесками, Вербин вспомнил, что дом третий день стоит без признаков жизни.
Он пересек огород, с преувеличенным шумом поднялся на крыльцо и постучал. Никто не ответил. Он постучал сильнее и, не дождавшись ответа, толкнул дверь. Она была плотно закрыта, но не заперта, он вошел внутрь. Его встретили тишина и горький запах трав. Предчувствуя недоброе, Вербин открыл вторую дверь и остановился у порога.
Он сразу понял, что она мертва. Аглая лежала на кровати, вытянув руки и обратив лицо вверх, будто приготовилась заранее и заранее выбрала позу; неизвестно было, сколько она так лежит. Он стоял на пороге, ее лицо белело в полумраке; в том, как она лежала, заключалась такая каменная неподвижность, что сразу было понятно: это навсегда.
Он знал, что она мертва, и все же непроизвольно сказал:
— Баба Аглая...

Голос его отрезанно повис в воздухе и остался висеть, как предмет. Казалось, достаточно протянуть руку и достать его, будто с полки. Вербин стоял, не зная, что делать.

За спиной он услышал слабый шорох, краем глаза заметил мелькнувшую в сенях тень. Он обернулся и увидел стоявшего в полумраке сеней старика глухонемого.

— Умерла,— сказал Вербин в пространство, голос его снова повис над тем местом, где возник.

Старик неподвижно стоял за порогом, лицо его ничего не выражало, он бесстрастно смотрел перед собой, будто не понимал, что произошло.

Вербин постоял немного, потом прошел мимо старика и вышел на крыльцо; не оборачиваясь он пересек двор, достиг низкой шаткой ограды, перешагнул ее и направился в дом.

— Аглая умерла,— сказал он ровным, спокойным голосом.— Надо сообщить в сельсовет.

4. Аглаю похоронили на краю погоста, вдали от всех могил. Рядом находилось несколько заросших высокой травой холмиков без крестов: на этом месте спокон веку хоронили деревенских колдунов и ведьм; никто уже не мог вспомнить имен тех, кто здесь лежал. Только баба Стеша помнила старуху, от которой переняла дело Аглая, прежних же не помнила и она.

Самых старых могил нельзя было найти, они сровнялись с землей, такая же участь ждала и остальные могилы, они и так уже почти не были видны в высокой траве: ни одна рука не приводила их ни разу в порядок, никто не окашивал здесь траву, не носил в праздник цветов, не зажигал поминальных свечей.

И Аглае не поставили креста, старики забили в могилу осиновый кол, чтобы Аглая не вставала, а старухи, впрягшись сообща в старый плуг, при луне опахали место кругом на тот случай, если она все же встанет: перейти вспаханную железом полосу она не могла.

Прошло несколько дней, прежде чем Вербин заметил перемену в деревне: он вдруг обнаружил, что жители его избегают. Никто его не зазывал в дом, не заговаривал, а заметив издали, сворачивали, будто он нес пустое ведро. По непонятной причине его сторонились.

Когда он обращался к кому-то, жители отвечали кратко, прятали глаза и явно старались отделаться поскорее и

унести ноги. Старухи, он заметил, после встречи с ним быстро крестились и торопились прочь — те самые старухи, которые недавно еще ласково здоровались и умильными голосами приглашали зайти.

Постепенно он ощутил вокруг себя пустоту. Это было похоже на то, будто он сначала находился в толпе, а потом все расступились и вокруг образовалось свободное пространство. Никто его ни о чем не просил и не спрашивал, а одна старуха, которая до недавнего времени настойчиво приглашала его зайти, теперь, встретив его, круто повернулась и пошла в сторону, будто дорогу ей перебежала черная кошка.

Вербин терялся в догадках. Не то чтобы он огорчился или встревожился, он просто не знал, что думать.

Все прояснилось после разговора с хозяйкой.

— Остерегала я тебя, а ты не послушал,— сказала она с упреком.— Тебе мнилось, стороной пройдешь, а и угодил в силки. Говорила я, не отступится она от тебя, вот и дождался. На деревне бают, будто оставила тебя заместо себя. Вроде шепнула кому-то о том напоследок.

Вербин улыбнулся.

— Вот оно что...

— Веселья мало, люди молвою живут. У Аглаи на то расчет был: мол, сам не захочешь, молва заставит. И то правда, тебя теперь пуще нее страшатся. Все тропки, окромя своей, она тебе закрыла. Вишь, сколь зла от нее, померла, а все руки тянет. Не верил ты мне... Огнем пройти да не обжечься редко выходит.

Больше она не упрекала его, но понятно было, сколько он принес ей огорчений, последнее, самое сильное, камнем лежало у нее на душе.

Особенно боялись его дети. Стоило ему показаться, их словно ветром сдувало. Самый маленький однажды запутался на бегу в ногах, сел с размаху посреди улицы на землю и, глядя на приближающегося Вербина полными страха глазами, отчаянно заревел. Из ворот выскочила мать, схватила его в охапку и бегом унесла в дом.

Со смертью Аглаи переменилась и баба Стеша. Она все реже поднималась с лежанки, больше спала и ничего не ела; силы ее с каждым днем убывали. Было похоже, существовала некая зависимость между ней и Аглаей: наличие врага и необходимость противостоять, нужда людей в защите заставляли ее жить — не стало Аглаи, и ей самой не

было надобности оставаться. Как ни странно, выходило, только Аглаей и держалась она до сих пор на земле.

К концу недели хозяйка почти не вставала. Она не болела, хвори в ней не было, но силы таяли, жизнь постепенно вытекала из нее, как жидкость из накренившейся посуды.

«Все, конец, ухожу»,— сказала она как-то, и когда он постарался ее разубедить, она покачала головой: «Вишь как мы с ей связаны, друг без дружки не можем, враги — не разлей вода».

Через неделю она погасла, как свеча, лишенная воздуха, спокойно, без агонии, уснула и не проснулась. Вербина дома не было, фельдъегерь, легкий кавалерист Федька прибежал за ним в контору. Вербин подъехал к дому на машине, двор и сени были полны молчаливых людей, звук мотора выглядел неуместно и дерзко. Стоящие во дворе оглянулись, но не тронулись с места, он дошел до порога и не смог войти: внутри было тесно, никто не расступился.

Вербин постоял у живой стены спин и отошел в сторону; на него никто не смотрел,— похоже было, старались не смотреть. День был теплый, ленивый, солнце желтоватым пятном проступало сквозь тонкие белесые облака. Люди во дворе негромко переговаривались, их сосредоточенность и старательность, с которой они не замечали Вербина, выглядели умышленными. Он оглянулся — позади всех, у самой ограды, заметил старика глухонемого, с неизменной каменной неподвижностью тот стоял и смотрел перед собой; его лицо с редкой седой щетиной ничего не выражало, глаза были бесстрастно уставлены в одно место. На него тоже не обращали внимания, как и на Вербина, с той лишь разницей, что это получалось само собой; его не замечали, как дерево, как предмет,— при желании он мог присутствовать где угодно.

Вербин скользнул взглядом по дому Аглаи: окна и двери были заколочены досками. Теперь дому предстояло неопределенно долго ветшать, спустя поколение никто уже не вспомнит, кто здесь жил, лишь недобрая слава будет стойко держаться за ним, пугая и маня детей.

Впоследствии, спустя полгода, когда было вскрыто хранимое в сельсовете завещание Аглаи, Вербину пришло в город извещение о том, что ему завещан дом и он может вступить во владение наследством. Он не поехал, написал отказ, но снова, в который раз, подивился упорству Аглаи: она и мертвая цеплялась за него в старании удержать.

Сени были по-прежнему заполнены плотной молчаливой толпой, пройти внутрь он не мог; Вербин миновал стоящих кучками во дворе людей и вышел на улицу. Позади он услышал приглушенный разнобой голосов, сквозь толпу продрался председатель колхоза, после тесноты и духоты помещения вид у него был распаренный. Он заметил Вербина и следом за ним вышел на улицу.

— Алексей Михайлович, насчет жилья не волнуйтесь. У покойницы, правда, есть наследники, мы послали телеграммы, не знаем, успеют ли... Но жить сможете здесь, как и жили. А пока можете у меня, если хотите.— Тучный председатель колхоза старательно вытирал платком лицо и шею.

— Спасибо, не беспокойтесь,— сказал Вербин.— Я устроюсь.

Он побрел вдоль улицы, свернул в переулок, задворками вышел к лугу и направился в лес.

5. После светлой открытости луга он вошел в лес, как в большое сумрачное помещение. Высокая емкая тишина наполняла тенистое замкнутое пространство под самую кровлю; сквозь прорехи в листве блеклыми проталинами виднелось облачное небо. В тишине пели птицы. Голоса их громко и отчетливо были слышны по всему лесу — в укромных, заросших лощинах, в прохладных, сырых оврагах и на полянах, заполненных ровным размытым светом заоблачного солнца. Вербин шел прислушиваясь: птицы не нарушали тишины,— напротив, они как бы усиливали ее и делали заметной. Он шел привычной дорогой, каждое дерево на пути было знакомо.

В глубине зарослей Вербин не услышал — почувствовал новый звук. Еще неслышный, он незаметно соединился с переменчивыми шорохами и скрипами, с птичьими голосами, а потом так же незаметно возник из их переклички — прорезался и стал внятным. Это был женский голос.

Он звучал далеко-далеко, в глубине леса, долетел едва слышно, Вербин был уверен, что слышал его однажды. Голос возвращал его назад, то были не воспоминания, нет,— непостижимо вновь повторились минуты прошлого: спустя много лет он проживал их вновь.

Он шел на звук, голос приблизился, стал отчетливым — Вербин узнал голос Даши. Она умолкла, но звук ее голоса

какое-то время держался на слуху, и Вербин шел по памяти. Когда она запела снова, они оказались неожиданно близко.

Белый день проходит, ночка наступает,
Ночка наступает, заря потухает.
Ко мне, молоденьке, милый присылает...

Вербин обомлел. Он вдруг понял, что знает эту песню, слышал когда-то,— но когда, где?!

По естественной причине голос должен был стать в лесу посторонним и нарушать тишину, но по какой-то странности он посторонним в лесу не оказался и тишины не нарушал; мало того, возникнув, он стал ей принадлежать.

Это был негромкий чистый голос, и, как прочие лесные звуки, он был тишине не помехой, а скорее ее признаком.

Он принадлежал лесу, как голоса птиц, скрипы и шорохи, и был здесь своим, как шелест любого из его деревьев.

Милый присылает и сам приезжает.
— Дома ли, мила́я, радость дорогая?
Вышла б на крылечко, молвила б словечко!

Он стоял не шевелясь. Слова одно за другим неторопливо являлись из зарослей ивняка и можжевельника — каждое на мгновение отчетливо повисало в воздухе, и все напевно катились по лесу. Вербин не верил себе: то была не Даша. Пела другая женщина, он чувствовал, что хорошо знает ее, но кто она, не помнил.

А я, молоденька, была тороплива,
С постели вставала, башмачки вздевала,
На двор выходила, с другом говорила.

Вербин вдруг увидел себя — маленького, босоногого, отчетливо ощутил под ногами влажный холод росистой травы; женщина мерно нагибалась и собирала ягоды. Он даже вспомнил их вид и вкус.

Он испытывал жесткое, гнетущее напряжение: ближе, ближе, кто-то медленно наводил на фокус — проступили давние предметы, краски, запахи, потом появились размыто и стали отчетливыми корзины, одежда, белая косынка женщины,— казалось, еще секунда, вот-вот, последнее усилие — он увидит лицо. Но черты оставались смазанными, колеблющимися, текуче менялись, путались, пропадали и возникали вновь, но все так же неустойчиво и стерто.

Неожиданно плотную тень прорезали яркие лучи. Должно быть, солнце выглянуло из облаков, пробилось

сквозь листья и теперь бликами играло в траве. Вербин поднял голову — светлая рябь в кронах слепила глаза.

Голос плыл по лесу, не нарушая тишины,— между кустами и от ствола к стволу, над муравейниками, обросшими иван-да-марьей, и чистотелом, над ягодниками, над полянами, затянутыми высоким иван-чаем, над глухими бочажками, покрытыми зеленой ряской, над овражками с непроходимыми зарослями ежевики.

Спрошу я милóго про его здоровье,
Скажу я милóму про свое несчастье:
Сокол ты мой ясный, молодец прекрасный,
Куда отъезжаешь, меня покидаешь?

Внезапно он все отчетливо увидел. Это было похоже на высоковольтный разряд, голос, как электрод, коснулся обнаженного мозга: прикосновение, удар — он увидел лицо. Никогда не случалось с ним такого приступа памяти. Никакой анестезии. Ожог. Острая боль пригвоздила его к месту. Разряд пробил все пласты времени, годы, целую гору дней, бездонную, черную глубину. То была его мать.

Он с усилием удержал неустойчивые черты. Это лицо он знал когда-то, знал и любил, а потом потерял, забыл, и оно исчезло, погребенное временем.

Она умерла, когда ему было семь лет. Ближе ее никого не было, он помнил ее год или два, потом все меньше, все слабее, время поглотило черты — стерлись, исчезли, канули в кромешную темноту. Он и не вспомнил бы лица, но неожиданно по прихотливой случайности повторились признаки того мига: голос, слова, солнечная рябь в листьях, и он, он сам был сейчас тем давним, маленьким,— все совпало и повторилось: он увидел ее.

То была его мать, ее голос, та же песня; пронизывающая тоска едва не разодрала грудь. Он не мог тронуться с места.

Он стоял у какой-то черты, за которую не мог ступить и отчетливо видел все в прошлом: он как бы стоял в темноте у стеклянной стены и смотрел сквозь нее на ярко освещенную сцену, на которой все было уменьшенных размеров.

То была его мать, которую он забыл. В этом не было его вины, но сейчас он почувствовал остро горечь утраты и ощутил связь с матерью — впервые за столько лет.

Из кустов с корзиной ягод вышла Даша, увидела его и удивилась. Она поставила корзину и, оглянувшись, направилась к нему. В это время неподалеку ее окликнул отец:

— Даша!

Она остановилась, молча улыбнулась, лукавым жестом соучастницы показала: «После свидимся», взяла корзину и пошла на голос. Ее тут же закрыли ветки. Вербин шагнул в сторону, чтобы видеть ее: легким шагом она пересекала поляну.

А мой-то дружочек, сплеснувши руками,
Сплеснувши руками, залился слезами...
— Ты прости, милáя, радость, дорогая!
Знать, что нам с тобою долго не видаться,
Долго не видаться, нигде не съезжаться!

Он смотрел, как она удаляется, ее тонкая фигура оказывалась то в тени, то на солнце; мелькая среди стволов, Даша постепенно исчезала в пестрой ряби бликов. Она растворялась в пятнах света, в чересполосице теней, таяла в полупрозрачном воздушном дыме солнца — мелькнула в последний раз, исчезла, и когда ее уже не было видно, он все еще угадывал ее, придумывал в прихотливой сумятице веток, листьев и стволов.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

1. Очередной сеанс связи Вербин пропустил: разговаривать с управляющим ему не хотелось.

— Скажи, что я рано в поле ушел,— велел он диспетчеру.

В последние дни он избегал встреч с жителями деревни. Новость о том, что геодезист и реечник работают на Марвинском болоте, взволновала деревню, все напряженно ждали, что будет дальше. Геодезист между тем работал без большой охоты: кто-то из местных посулил ему трепку, а кроме того, рабочие колонны рассказывали, что деревенские мужики грозили поломать машины, если те пойдут на Марвинское болото.

Итак, вся деревня жила в тревожном ожидании. Со смертью бабы Стеши его не просто сторонились — боялись. Должно быть, и вину за ее смерть возлагали на него. Они были убеждены, что он перенял дело Аглаи и усилил его своими познаниями, мало того — в его руках промысел Аглаи выглядел намного страшнее, чуть ли не сокрушительным. То, что ему казалось нелепым, для них было вполне уместным, несовместимости между ним и делом Аглаи они не видели.

В колонне же ничего не менялось. Деревенских в ней почти не было, колонна кочевала по району, рабочие где-то имели дома и семьи, к которым отправлялись на зиму. Из деревни в колонне работали обученные наскоро девушки-дреноукладчицы да подсобники вроде Федьки, никто в колонне не верил в страхи местных жителей, напротив, над ними посмеивались.

Три дня перед похоронами хозяйки Вербин прожил в конторе. Бабу Стешу похоронили на деревенском кладбище, вдали от могилы Аглаи, свежий крест отчетливо белел среди темных соседних крестов. На похороны приехала одна падчерица хозяйки, она ни с кем не разговаривала и только молча плакала; братья ее жили где-то далеко.

После ее отъезда Вербин вернулся в дом. По-прежнему пахло травами, но в запахе появился грустный оттенок пустоты и печали. Иногда по вечерам Вербину казалось, что в окно кто-то смотрит, он выходил, но в предосеннем белесом сумраке никого не было; да и кто мог здесь оказаться, если все обходили дом стороной.

В один из вечеров в дверь постучали, и появилась заплаканная женщина. Она робко вошла и настороженно застыла у порога, потом сбивчиво рассказала, что ее бросил муж.

— Он уже уходил раз, Аглая вернула. Может, поможете? Я б не стала, да дети...

Он смотрел на нее и не мог поверить.

— Чем же я могу? — спросил Вербин после молчания.

— Аглая пошептала, потом траву дала, велела в одежу его зашить.

Вербин не знал, что делать. Он хотел отшутиться по привычке, но язык не повернулся, женщина была убита горем.

— Вы зря ко мне обратились,— сказал он сочувственно.

Она посмотрела на него с испугом.

— Я принесла, вот...— она протянула узелок.

Вербин молча покачал головой. Она опустила измученное лицо, постояла потерянно и собралась уходить.

— Он вернется,— сказал Вербин, чтобы хоть как-то ее утешить.

Она посмотрела на него с надеждой и недоверием и ушла.

Дни заметно остывали, слабело солнце, холодными и сырыми стали ночи. Часто дождило, земля между дождя-

ми не успевала просохнуть. Каждый день Вербин надеялся, что пришлют замену, на память навязчиво приходили южные города, море, пестрые толпы, взыгранное оживление набережных, будоражащий блеск непрерывного праздника, запах кислого вина и жареного мяса... Леность мысли, легкость во всем теле, курортная мишура, киоски, шум прибоя, запах соли и водорослей, сладостная праздность пляжей, неподвижность, солнцепек, истома — никаких проблем. Крик транзисторов, голые тела — гигантское лежбище тел,— провинциальная роскошь по вечерам, грохот сезонных оркестров, всеобщий флирт, приморский угар, неистовая толчея танцплощадок, шепот и стоны укромных углов, помрачительный аромат и одурь южной ночи, массовый променад, обстоятельная луна — и никаких проблем. И сонливое, застенчивое пробуждение моря... Он представил, как они с Дашей,— день дороги, день оформления отпуска, день полета,— «О море в Гаграх...»

Комната у моря, в ближайшем киоске купальник и плоские шлепанцы из Вьетнама для Даши. Вербин представил, как впервые она увидит море.

Каждый день он ждал замены, его не оставляла надежда, что он уедет раньше, чем решится судьба болота.

В один из дней на его пути вновь оказалась приходившая за помощью женщина, на этот раз она выглядела довольной.

— Вернулся муж, спасибо,— сказала она, сдерживая радость в голосе.

Он не сразу понял, за что она благодарит его, потом понял и растерялся; он неловко кивнул и двинулся дальше. Он представил, как новость облетает деревню: пообещал — сбылось. Новость кочевала из дома в дом, становилась притчей во языцех; деревней теперь, разумеется, овладеет непоколебимая убежденность в его возможностях, ничего не поделаешь. Мертвая Аглая плотно обкладывала его со всех сторон.

2. Он не пошел в контору, направился к излучине реки, где шли работы. Урчание моторов, лязг железа, тяжелое движение машин, четкая геометрия каналов — это было как раз то, в чем он нуждался сейчас. В этом была определенность. Больше всего он нуждался сейчас в чем-то несомненно конкретном. Его даже потянуло сесть в кресло машиниста и самому взяться за рычаги.

Он понимал, что надобности в его присутствии здесь нет, но не уходил, даже чад выхлопных газов казался ему сейчас привлекательным, это была твердая реальность. По гребню отвала Вербин шагал вдоль свежей траншеи, наблюдая работу дренажного экскаватора.

Горизонт за рекой был закрыт сизой мглой, исчерченной косой штриховкой дождя. На этом берегу пока было ясно, солнечно, но мгла приближалась, росла вширь и ввысь.

Кто-то окликнул его, он увидел бегущего к нему Федьку. Вербин остановился, экскаватор удалялся, оставляя за собой траншею.

Федька бежал, вскидывая высоко ноги в резиновых сапогах.

— Алексей Михайлович, к вам приехали! — крикнул он на бегу и, не добежав, перешел на шаг.

Вербин сразу почувствовал острую, веселую радость и нетерпение. Федька, едва поспевая, бежал рядом.

— Ох, и дождь будет,— сказал он, оглядываясь назад, и неожиданно спохватился, когда Вербин свернул к конторе: — Нет, вам домой надо, мне сказали — домой...

— Кто? — недоумевая, спросил Вербин.— Из треста?

— Не знаю. Велели домой позвать, я и побежал.— Федька растерянно смотрел на Вербина.— Я же не знал...

Вербин направился домой. Еще с улицы поверх штакетника он увидел сидящую на скамье Марьяну, от удивления он замедлил шаги.

— Что случилось? — спросил он, входя во двор.

— Здравствуй,— сказала она.— Ничего.

Марьяна была одета в джинсы, заправленные в узкие сапоги, и в нейлоновую куртку с откинутым капюшоном, она выглядела так, будто рекламировала одежду для осени; рядом с ней стояли чемодан и спортивная сумка. Вербин непонимающе смотрел на жену.

— Разве ты не поехала в отпуск? — спросил он.

— Поехала. Сюда.

Вербин ничего не сказал и сел рядом. Все было слишком неожиданно, чтобы можно было думать связно.

— Я решила, так больше не может продолжаться,— сказала Марьяна. Судя по всему, она волновалась, но старалась владеть собой.— Если мы вместе, то вместе, а нет,

так...— Она сделала паузу и с усилием произнесла: — Надо решать.

Он подумал, что она права, и покивал рассеянно — то ли согласился, то ли подтвердил, что слышал.

— Я думал, ты поехала с Бочаровыми,— сказал он без всякой связи.

— Если бы я поехала, меня бы уже не было,— ответила она.

Он повернулся к ней и вопрошающе уставился в упор: ему пришло в голову, что она подразумевает свой уход от него.

Марьяна достала из сумки сигареты и спички, закурила, несколько раз затянулась и сказала хрипло:

— Они разбились.

— Как? — не понял он. То есть понял, что она сказала, но не уразумел, что произошло.

— На машине, в Крыму...

— Да, но...— Он осекся и оцепенел.

Марьяна нервно курила, он оглушенно сидел рядом.

— Он превысил скорость,— сказала Марьяна.— Ты же знаешь, как он ездил.

Вербин кивнул, будто что-то понял, посидел неподвижно и снова кивнул самому себе.

— Мы с ним перед отъездом говорили,— сказал он отсутствующе — не Марьяне, а так, в пространство.— Перед самым отъездом. Он говорил, надо в полную силу,— Вербин произносил слова отрывисто и напряженно, словно неотвязно думал о чем-то.— Он свою жизнь имел в виду. Пока можно, надо в полную силу. Он сказал, до упора.— Вербин умолк, но какая-то мысль засела гвоздем и мучила, как зубная боль.

— Я узнала и поехала к тебе. Нельзя нам, Алеша, травить друг друга,— сказала Марьяна.

Он продолжал неподвижно сидеть и все не мог поверить в то, что произошло, в голове не укладывалось. Марьяна погасила сигарету.

— Возьми вещи. В сумке продукты. Покажи, где можно умыться.

3. Он стоял в комнате у окна. На лавке лежал открытый чемодан, заваленный женской одеждой, косметикой и бельем. В тишине было слышно, как стучит за

углом дома сосок рукомойника и льется в ведро вода. Мгла сгустилась, обложила все небо, плотный сумрак покрыл землю.

Вербин стоял над раскрытым чемоданом и думал: вся его жизнь решалась в эту минуту.

Ему вдруг померещилось, что он может быть счастлив. Стоит лишь захотеть — сейчас, сию минуту, остро,— так сильно, как еще никогда. Он подумал, что это единственный случай, все зависит от него, от него одного. С отчетливой ясностью до него дошло: мгновение не повторится, упусти он, это уже навсегда.

Он помедлил еще, копя твердость, и наконец решился.

Вербин вышел из дома, обогнул его с другой стороны и не оглядываясь прошел огород; задворками он спустился к лугу и направился в лес. Сначала он шел по тропинке, потом бросил ее и направился напрямик, сокращая расстояние; ходьба его убыстрялась, пока не перешла в бег.

Итак, он бежал по лесу. Скажи кто-нибудь об этом три месяца назад, в начале лета, он не поверил бы, сама вероятность подобного бега показалась бы ему невозможной. На бегу он подумал, что может сократить дорогу и свернул в сторону.

Лес вскоре стал редеть. Вербин бежал, деревья не могли угнаться за ним — задыхались и отставали. Он выбежал к просторной хмурой мшистой равнине, на которой виднелись ольховые и осиновые рощицы, одинокие искривленные сосны, низкорослые чахлые березы и скудный корявый кустарник.

Перед ним лежало Марвинское болото. Оно простиралось насколько хватало глаз и дальше — поднималось там, вдали, невидимое, почти нескончаемое, покрытое толстым слоем зеленого мха, огражденное лесом.

Вербин вдруг застыл на бегу. Ему почудилось, что эта мрачная, влажная, затянутая мхом равнина под низким небом полна отчетливой враждебности. Присутствовало здесь нечто гнетущее. Внятная угрюмая неприязнь. В то же время некая привлекательность была заключена в привольной пустоте открытого пространства. Какая-то печаль и что-то темное, глухое, ужасное и одновременно завораживающее таилось здесь. Болото пугало, влекло и отталкивало. Необъяснимую тайную власть имело оно над людьми, держало их в этой власти, и ни одна человече-

ская душа не могла оставаться здесь в покое. Вербин подумал, что ему пришлось испытать силу этой власти: болото изменило его жизнь, заставило приехать, привязало к себе и не отпускало,— неизвестно было, чем это кончится.

Вербин продолжал бежать. Пейзаж постепенно менялся, потянулись низкие затопленные места, обросшие густо камышом и рогозом. Тяжело дыша, Вербин бежал, оступался, пробирался сквозь плотные заросли, падал, перелезал через поваленные стволы; шатаясь, он брел по воде, раздвигая с трудом высокий тростник. Наконец, теряя силы, он выбрался на сухое место, насилу одолел склон и снова побежал в сторону кордона; ветки кустов на каждом шагу цепляли одежду, он не обращал внимания.

Вербин выбежал на поляну и застыл: дом был покинут людьми. Мертвые, крест-накрест заколоченные досками окна, пустой двор — тишина и следы спешного отъезда. Вербин приблизился и стоял, озираясь.

Упали первые капли, он их не заметил, спустя минуту пространство вокруг заполнила вода, воздух исчез, струи с силой молотили землю. Вербин поднялся на крыльцо и сел на прикрытую навесом верхнюю ступеньку; шум воды наполнял весь лес, кипящей водой была залита поляна вокруг, вода переполняла бочки, стоящие в углах дома под водостоками, лилась через край и растекалась по двору. Это был уже не дождь — потоп, посланный в наказание: небо рушилось вниз, затапливая землю.

Постепенно потоки стали редеть, струи ослабли, в пространстве появился воздух. Вскоре дождь прекратился, шум бегущей воды угас, открылась раскисшая земля; в тишине по всему лесу был слышен частый, отчетливый стук капель о листья.

Вербин сидел на ступеньке без малейшего желания двигаться. Он испытывал пустоту и усталость и безучастно смотрел перед собой, не думая ни о чем и как бы потеряв способность видеть и слышать. Долбящий стук капель в лесу покрывал все звуки.

И вдруг — неожиданно и страшно — за спиной у него от сильного удара распахнулась дверь. Вербин вздрогнул и замер, обернувшись. Из полумрака сеней на пороге возник немой старик. Лицо его было искажено гневом.

— Ты!.. Ты!..— хрипло произнес он в ярости, тыча в Вербина пальцем.— Это все ты! Из-за тебя! — Голос его срывался и лязгал, лицо дергалось в странных гримасах.— Ты ее погубил! Ты принес сюда горе! Всем! Ты! Из-за тебя! Такие, как ты... вы все... Как смерть! Я сразу понял... давно... Ты всем принес горе!

— Это вы следили за мной? — тихо и оцепенело спросил Вербин.

— Я! Я! Все это время! С тех пор, как ты здесь! Я сразу понял... Там, где ты, там беда! — Горло его перехватила судорога, он умолк, тяжело дыша. Грудь его, клокоча, вздымалась, он хотел еще что-то сказать, но голос обломился и пропал, из горла вырывались лишь хрипы и свист; по тонкой жилистой старческой шее волнами прокатывались спазмы. Как ни силился, он не мог исторгнуть из себя речь. Тогда он придвинулся и без голоса, вплотную, одними губами прошептал с ненавистью: — Будь ты проклят!

Старик прошел мимо, беззвучно сошел по ступенькам, пересек двор и скрылся в лесу. Он исчез, лес сомкнулся за ним, как вода,— ни звука не донеслось оттуда, только задетая ветка покачивалась слегка в гаснущей дрожи. Вербин смотрел на нее, пока она не застыла, потом опустил голову и больше не шевелился.

4. Спустя час он все так же сидел на крыльце, опустив голову и положив локти на согнутые колени. В лесу стучали капли, но теперь стук был редким, раздельным и как бы значительным в своей мерности. Потом из леса донесся треск, шлепающие шаги, надсадное дыхание, и на поляну выбежал Федька.

— Алексей Михайлович, насилу нашел... Там вас везде ищут!

Вербин медленно, будто с трудом, поднял голову и непонимающе уставился на гонца.

— Жена беспокоится, не знает, где вы... Потом из треста вызывали...

— Меня? — с отсутствующим видом спросил Вербин.

— Насчет болота спрашивали. Начали там или нет... А все вас ждут, как вы... Я передам... Вы скажите, я вперед побегу...

До Вербина постепенно доходил смысл слов: теперь все на самом деле зависело от него. Он хмуро посмотрел на

Федьку и снова опустил голову. Федька подождал и подал голос:

— Алексей Михайлович...— Вербин сидел с опущенным лицом и не шевелился.— Алексей Михайлович!

5. Вербин медленно, с мукой поднял лицо. Нужно было отвечать. Но что?

1979

СОДЕРЖАНИЕ

РАССКАЗЫ

ПОВЕСТИ

Владимир Семенович Гоник

СВЕТ НА ИСХОДЕ ДНЯ

М., «Советский писатель», 1982, 384 стр.
План выпуска 1983 г. № 25

Редактор *О. С. Ляуэр.*
Худож. редактор *Е. Ф. Капустин.*
Техн. редактор *Н. Н. Талько.*
Корректор *В. Е. Бораненкова*

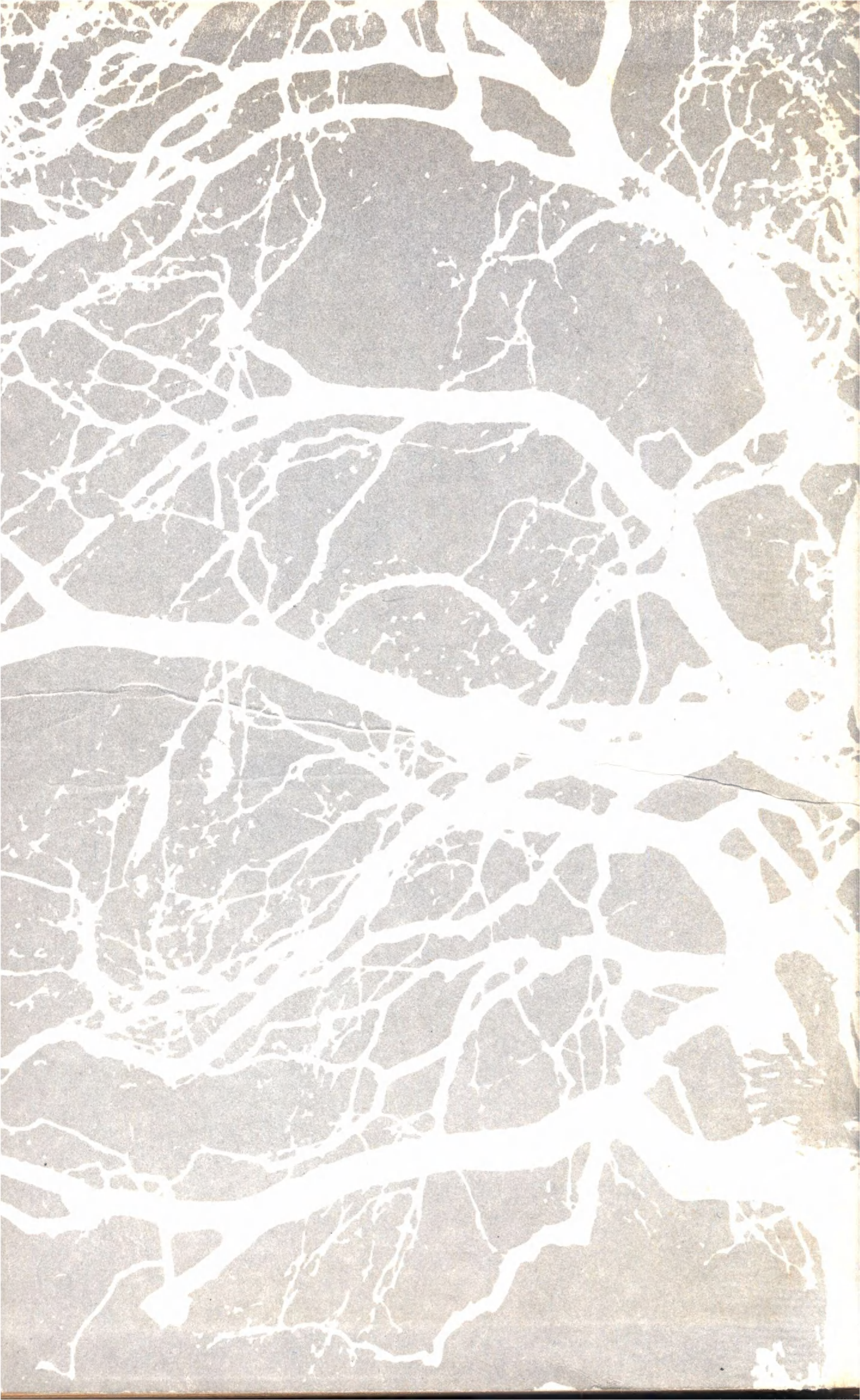
ИБ № 3493

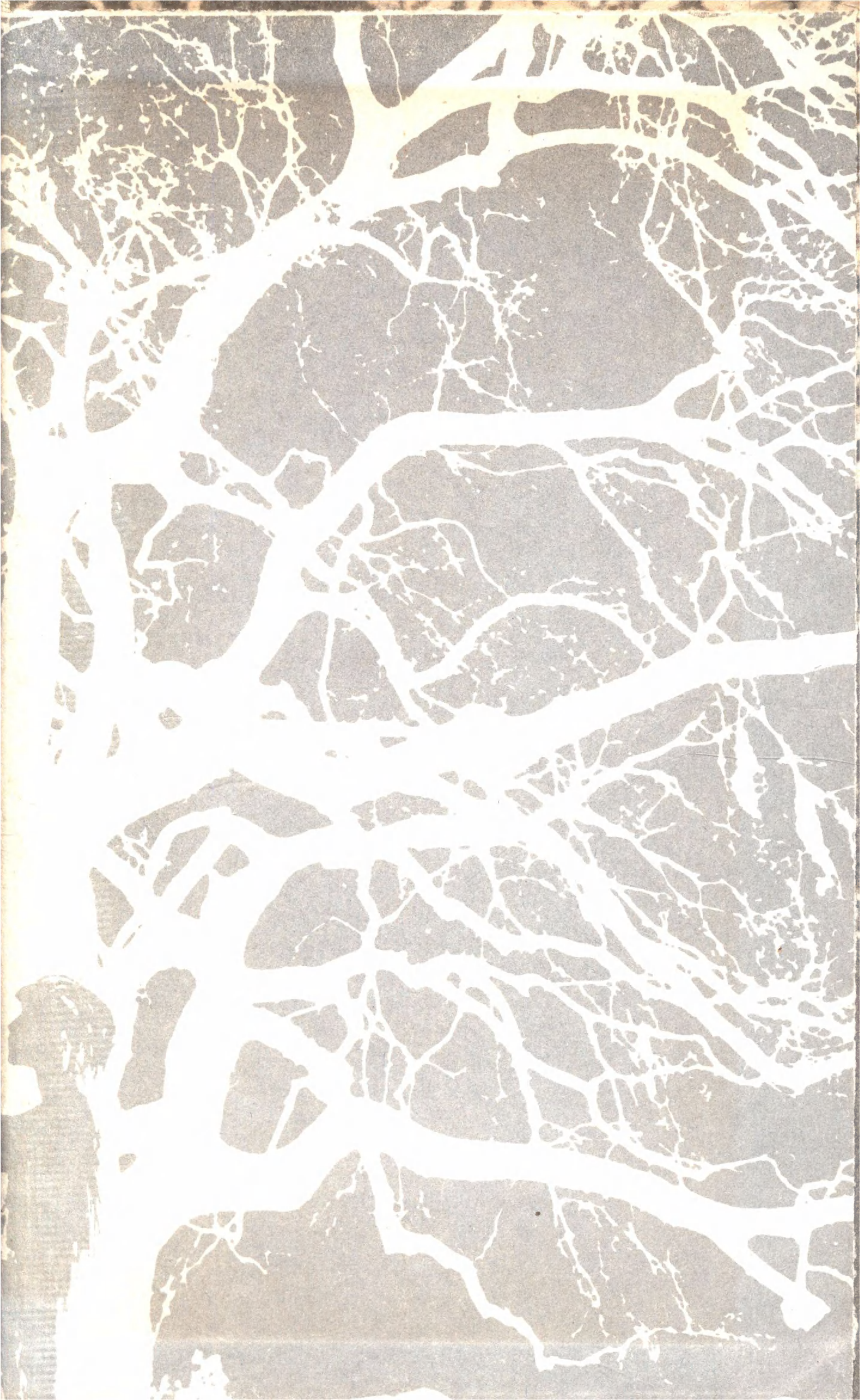
Сдано в набор 02.06.82. Подписано к печати 13.10.82. А 09188. Формат 84×108[1]/32. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 20,16. Уч.-изд. л. 21,93. Тираж 30 000 экз. Заказ № 127. Цена 1 р. 50 к.

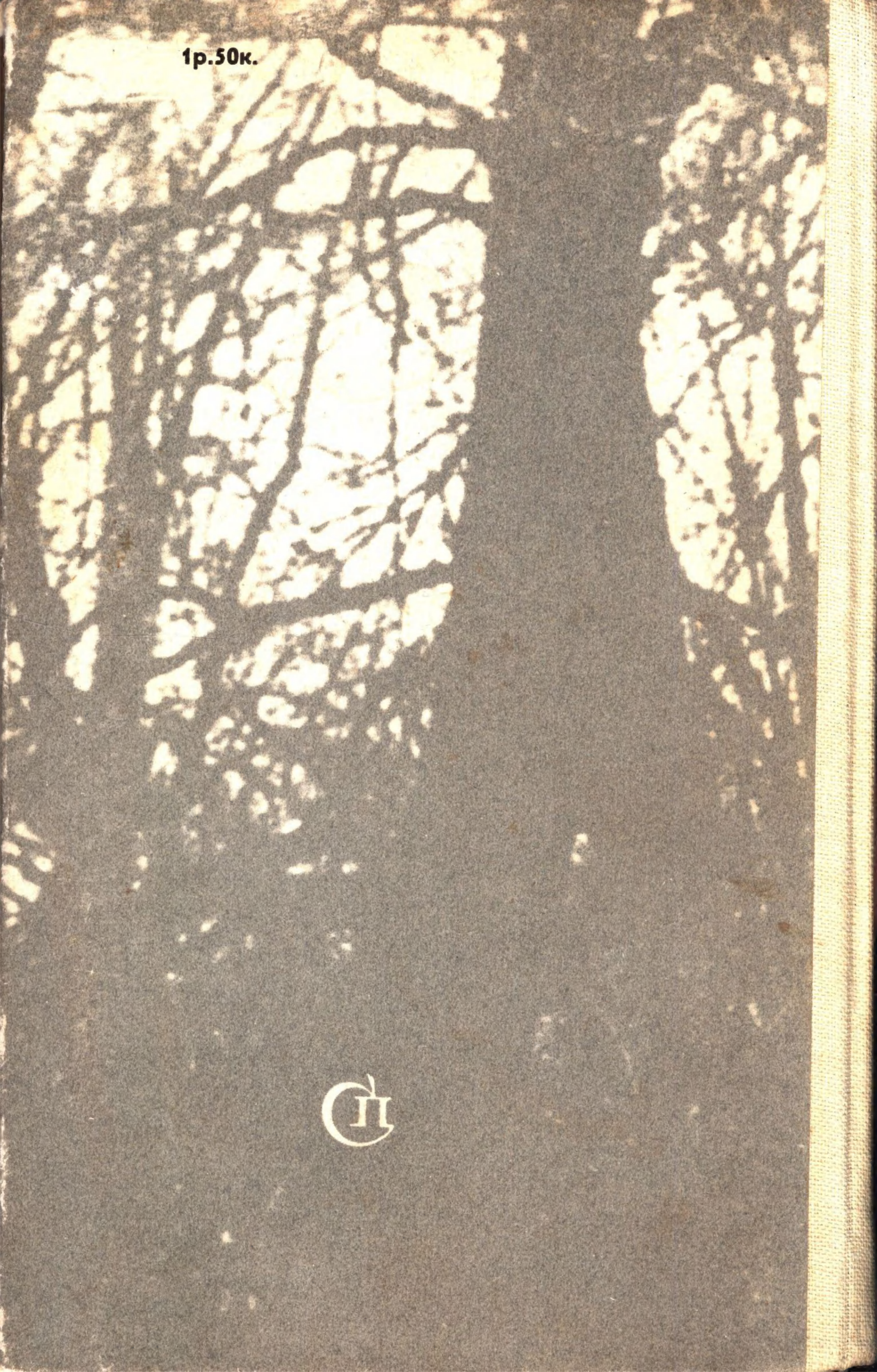
Издательство «Советский писатель, 121069, Москва, ул. Воровского, 11.

Типография издательства «Радянська Донеччина». 340015, Донецк, ул. Газеты «Социалистический Донбасс», 4









1р.50к.
СП

СВЕТ НА ИСХОДЕ ДНЯ

ВЛАДИМИР ГОНИК